

Александр Дюма Шевалье д'Армантадь







БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



АЛЕКСАНДР ДЮМА
ШЕВАЛЬЕ Д'АРМАНТАЛЬ
Роман

Перевод Л. Лунгиной и К. Наумова.

Иллюстрации Б. Дехтерева



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1962

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. КАПИТАН РОКФИНЕТ

22 марта 1718 года, в четверг, на третьей неделе великого поста, около восьми часов утра, на том конце Нового моста, который выходит на Школьную набережную, можно было видеть осанистого молодого дворянина верхом на прекрасной испанской лошади. Он так прямо и так твердо держался в седле, точно его поставил тут часовым сам начальник полиции мессир Вуайе д'Аржансон.

Он уже около получаса провел в ожидании, с нетерпением поглядывал на часы башни Самаритянки, когда наконец с удовлетворением остановил свой взор на человеке, который, выйдя с площади Дофина, повернул направо и двинулся в его сторону.

Тот, кто имел честь привлечь таким образом внимание всадника, был дородный молодец пяти футов восьми дюймов ростом, без парика, с копной тронутых проседью черных волос, наполовину в штатском, наполовину в военном платье с бантом, который первоначально был пунцовым, но под действием дождей и солнца стал оранжевым. Он был вооружен длинной шпагой, висевшей горизонтально и нещадно бившей его по икрам; на голове у него была шляпа, которую, по-видимому, когда-то украшали перо и позумент и которую, вероятно в память о былом великолепии, ее владелец так заламывал на левое ухо, что, казалось, она лишь чудом держится в этом положении. На вид этому человеку было лет сорок — сорок пять. Он шел вразвалку, никому не уступая дороги, одной рукой подкручивая ус, а другой подавая коляскам знак проезжать, и в его лице, походке, осанке — словом, во всей стати — сквозила такая беспечная удаль, что всадник, следивший за ним глазами, не мог удержаться от улыбки и проговорил сквозь зубы:

— Кажется, это то, что мне нужно!

Придя к этому выводу, молодой сеньор направился прямо к вновь прибывшему, явно намереваясь с ним заговорить. Тот, хотя и не знал всадника, понял, что зачем-то ему понадобился, тотчас остановился напротив башни Самаритянки и, выставив правую ногу в третью позицию, одну руку положив на эфес шпаги, а другою подкручивая ус, стал ждать, что скажет незнакомец, ехавший ему навстречу.

В самом деле, как и предвидел человек с оранжевым бантом, молодой сеньор остановил коня перед ним и, прикоснувшись к шляпе, сказал:

— Сударь, по вашей внешности и осанке я решил, что вы дворянин. Не ошибся ли я?

— Нет, черт возьми, сударь! — ответил тот, к кому был обращен этот странный вопрос, в свою очередь коснувшись рукой шляпы. — Поистине, я очень рад, что моя внешность и мои манеры так красноречиво говорят за меня, ибо если вы сообразовались обращаться ко мне по званию, которое мне принадлежит, то можете называть меня капитаном.

— Весьма счастлив, сударь, что вы военный, — снова кланяясь, сказал всадник. — Это внушает мне еще большую уверенность, что вы не способны оставить порядочного человека в затруднительном положении.

— Милости прошу, если только этот порядочный человек не хочет прибегнуть к моему кошельку, потому что, признаюсь вам со всей откровенностью, я только что оставил последний эску в кабачке на пристани де ла Турнель.

— Речь идет отнюдь не о вашем кошельке, капитан. Напротив, поверьте, мой кошелек в вашем распоряжении.

— С кем имею честь говорить, — спросил капитан, явно тронутый этим ответом, — и чем я могу быть вам полезен?

— Меня зовут барон Рене де Валеф... — ответил всадник.

— Простите, барон, — прервал его капитан, — но, помнится, я знал во времена фландрских войн одну семью по фамилии де Валеф.

— Это моя семья, сударь, ведь я родом из Льежа. Собеседники снова раскланялись.

— Итак, да будет вам известно, — продолжал барон де Валеф, — что шевалье д'Арманталь, один из моих близких друзей, этой ночью вместе со мной затеял ссору, которая должна кончиться сегодня утром дуэлью. Наших противников было трое, а нас только двое. Поэтому я с утра отправился к маркизу де Гасе и к графу де Сюржи, но, к несчастью, ни тот ни другой не ночевали дома, а так как дело откладывать нельзя, поскольку я через два часа уезжаю в Испанию и нам во что бы то ни стало нужно найти секунданта, вернее третьего участника, то я встал на Новом мосту с намерением обратиться к первому проходящему дворянину. Вы прошли, я к вам и обратился.

— И прекрасно сделали, клянусь Богом! Вот вам моя рука, барон, я к вашим услугам. А скажите, пожалуйста, на какой час назначена встреча?

— На половину десятого утра.

— Где она должна состояться?

— У ворот Майо.

— Черт возьми, нам нельзя терять времени! Но вы верхом, а я пеший. Как же мы это уладим?

— Есть одно средство, капитан.

— Какое?

— Окажите мне честь: сядьте сзади меня на круп.

— Охотно, барон.

— Только предупреждаю вас, моя лошадь немного горяча, — прибавил молодой сеньор с легкой улыбкой.

— О, я это вижу, — сказал капитан, отступая на шаг и бросая взгляд на благородное животное. — Если не ошибаюсь, ее родина где-то между Гранадскими горами и Сьерра-Мореной. Я ездил на таком коне в Альмансе и не раз одними шенкелями, когда он хотел понести, заставлял его ложиться, как барана.

— Тогда я спокоен. Так на коня, капитан!

— Я готов, барон.

И, не тронув стремени, которое освободил для него молодой сеньор, капитан одним движением вскочил на круп.

Барон сказал правду. Лошадь не привыкла к столь тяжелой ноше и сначала пыталась избавиться от нее; но и капитан не солгал, так что животное скоро почувствовало, что ему не совладать с таким седоком, и после двух или трех скачков в сторону, своей бесполезностью лишь подчеркнувших в глазах прохожих ловкость обоих всадников, пришло к повиновению. Валеф и его спутник проехали крупной рысью вниз по Школьной набережной, которая в то время была еще всего лишь пристанью, проскакали тем же аллюром по набережной Лувра и набережной Тюильри, миновали ворота Конферанс и, оставив слева дорогу в Версаль, помчались по авеню Елисейских полей, которая теперь ведет к Триумфальной арке на площади Звезды. Подъехав к Антенскому мосту, барон де Валеф несколько замедлил бег своей лошади, потому что увидел, что вполне успеет добраться до ворот Майо к условленному часу.

Капитан воспользовался этой передышкой, чтобы сказать:

— Могу ли я, сударь, теперь спросить, не проявляя нескромности, по какой причине мы будем драться? Вы понимаете, мне нужно быть осведомленным об этом, чтобы сообразно вести себя по отношению к моему противнику и знать, стоит ли его убивать.

— Совершенно справедливо, капитан, — ответил барон. — Вот как было дело. Мы ужинали вчера вечером у Фийон... Ведь вы, конечно, знаете Фийон, капитан?

— Еще бы, черт возьми! Я-то и вывел ее в люди в 1705 году, перед тем как отправиться в итальянский поход.

— Ах, вот как! — со смехом сказал барон. — Вы можете похвастаться своей воспитанницей, она вам делает честь! Итак, мы ужинали у нее с глазу на глаз с д'Арманталем.

— Без особ прекрасного пола? — спросил капитан.

— Представьте себе, да. Нужно вам сказать, что д'Арманталь — это какой-то траппист. Он бывает у Фийон только из боязни прослыть человеком, который к ней не ходит, любит не более одной женщины в одно время и в настоящую минуту влюблен в маленькую д'Аверн, жену

лейтенанта гвардии.

— Прекрасно.

— Итак, мы ужинали, разговаривая о своих делах, когда услышали, как в смежный кабинет вошла веселая компания. Поскольку то, о чем мы говорили, никого не касалось, мы замолчали и невольно услышали разговор наших соседей. И вот что значит случай! Они говорили именно о том, о чем нам не следовало бы слышать.

— Быть может, речь шла о возлюбленной шевалье?

— Вы угадали. При первых словах, которые донеслись до меня, я поднялся, чтобы увести Рауля, но, вместо того чтобы последовать за мной, он положил мне руку на плечо и заставил меня снова сесть. «Так, значит, — говорил один из собеседников, — Филипп влюблен в малютку д'Аверн?» — «Со дня именин супруги маршала д'Эстре, когда она, переодетая Венерой, поднесла ему перевязь для шпаги со стихами, в которых сравнивала его с Марсом». — «Но ведь с тех пор прошла уже неделя», — послышался третий голос. «Да, — ответил первый. — О, она в некотором роде оборонялась, то ли потому, что в самом деле дорожит этим беднягой д'Арманталем, то ли потому, что регент, как ей известно, любит только то, что не дается ему в руки. Наконец сегодня утром, получив корзину цветов и драгоценностей, она сооблаговолила ответить, что примет его высочество».

— А-а, — сказал капитан, — я начинаю понимать. — Шевалье рассердился?

— Вот именно. Вместо того чтобы посмеяться, как поступили бы мы с вами, и воспользоваться случаем, чтобы вернуть себе патент полковника, который у него отобрали под предлогом экономии, д'Арманталь так побледнел, что я испугался, как бы он не лишился чувств. Потом, подойдя к перегородке и постучав в нее кулаком, чтобы водворить тишину, он сказал: «Господа, я сожалею, что вынужден вам противоречить, но тот, кто сказал, что госпожа д'Аверн назначила свидание регенту или кому бы то ни было другому, солгал!» — «Это сказал я, сударь, и я это подтверждаю, — ответил первый голос, — а если вам что-нибудь в моих словах не по нраву, меня зовут Лафар, капитан гвардии». — «А меня — Фаржи», — раздался второй голос. «А меня — Раван», — произнес третий. «Прекрасно, господа, — сказал д'Арманталь. — Жду вас завтра от девяти до половины десятого у ворот Майо». И он сел на свое место напротив меня. Эти господа заговорили о другом, а мы закончили наш ужин. Вот и все дело, капитан, и теперь вы о нем знаете столько же, сколько и я.

Капитан сделал какое-то замечание в том смысле, что все это не очень серьезно; однако же, несмотря на это полуосуждение обидчивости шевалье, он решил всеми силами постоять за дело, поборником которого он столь неожиданно оказался, каким бы сомнительным оно ему ни представлялось по существу. К тому же слишком поздно было идти на попятный, даже если бы он возымел такое намерение. Они подъехали к воротам Майо и увидели молодого всадника, который, по-видимому, поджидал кого-то; заметив издали барона и капитана, он пустил лошадь в галоп и быстро приблизился к ним. Это был шевалье д'Арманталь.

— Дорогой шевалье, — сказал барон де Валеф, обменявшись с ним рукопожатием, — позволь за отсутствием старого друга представить тебе нового. Ни Сюржи, ни Гасе не было дома. Я встретил этого господина на Новом мосту, рассказал ему о нашем затруднении, и он с отменной любезностью вызвался помочь нам.

— Значит, я вдвойне обязан тебе, дорогой Валеф... — ответил шевалье, бросая на капитана взгляд, в котором сквозило легкое удивление. — А вам, сударь, приношу мои извинения за то, что сразу же, при первом знакомстве, впутываю вас в столь неприятную историю; но я надеюсь, что вы не сегодня-завтра доставите мне возможность отплатить вам тем же, и прошу вас, при случае, располагать мною, как я располагал вами.

— Хорошо сказано, шевалье, — ответил капитан, соскакивая с лошади. — Вы так обходительны, что ради вас я готов отправиться на край света. А вообще-то правду говорит пословица, что только гора с горой не сходится...

«Кто этот оригинал?» — спросил шепотом д'Арманталь у де Валефа, в то время как капитан притопывал на месте, чтобы размять ноги.

«Право, не знаю, — сказал де Валеф, — но без него нам пришлось бы туго. Наверное, какой-нибудь выслужившийся из рядовых офицер, который, как и многие другие, оказался не у дел благодаря заключению мира. Впрочем, сейчас мы увидим, чего он стоит».

— Ну что же? — сказал капитан, оживившийся после своих упражнений. — Где же наши милейшие противники? Я чувствую себя сегодня в ударе.

— Когда я поскакал вам навстречу, их еще не было. Но в конце авеню я заметил какую-то наемную карету; быть может, они едут в ней, и ее медлительность послужит им извинением, если они опоздают. Впрочем, — добавил шевалье, вытаскивая из жилетного кармана великолепные часы, украшенные брильянтами, — время не истекло: сейчас нет еще и половины десятого.

— Пойдемте же им навстречу, — сказал де Валеф, в свою очередь спешиваясь и бросая повод лакею д'Арманталя. — Если они придут на место в то время, как мы здесь болтаем, то получится, что мы, а не они заставили себя ждать.

— Ты прав, — сказал д'Арманталь и, тоже спешившись, направился в сопровождении обоих товарищей к входу в парк.

— Не закажут ли чего-нибудь господа? — спросил трактирщик, стоявший в дверях своего заведения в ожидании посетителей.

— Конечно, папаша Дюран, — ответил д'Арманталь, который, боясь, как бы им не помешали, делал вид, что они приехали сюда просто ради прогулки. — Завтрак на троих! Мы пройдемся по аллее и вернемся.

И он опустил в руку трактирщика три луидора.

Капитан увидел, как блеснули одна за другой три золотые монеты, и с быстротой завсегдатая подсчитал в уме, что можно получить в Булонском лесу за семьдесят два ливра; но так как он знал, с кем имеет дело, то счел нелишним со своей стороны дать указание хозяину ресторана и, подойдя к нему, сказал:

— Послушай, друг мой трактирщик, ты знаешь, что я стреляный воробей, и уж меня не надуешь, подводя счет. Так вот, чтобы вина были тонкие и разнообразные, а завтрак обильный, не то я тебе переломая кости. Понял?

— Будьте спокойны, капитан, — ответил папаша Дюран, — мне и в голову не пришло бы обмануть такого клиента, как вы.

— Хорошо. Вот уже двенадцать часов, как я ничего не ел, — прими это к сведению.

Трактирщик поклонился с видом человека, который знает, чем это грозит, и направился к кухне, начиная думать, что дело не так уж выгодно, как ему показалось. Что до капитана, то, сделав трактирщику вместо последнего наставления не то дружеский, не то угрожающий знак рукой, он ускорил шаг и нагнал шевалье и барона, остановившихся, чтобы его подождать.

Шевалье не ошибся. На повороте первой аллеи он увидел своих противников, которые выходили из наемной кареты. Это были, как мы уже сказали, маркиз де Лафар, граф де Фаржи и шевалье де Раван.

Да позволят нам читатели вкратце рассказать об этих трех людях, с которыми мы встретимся на протяжении нашей истории.

Маркиз де Лафар, наиболее известный из них благодаря стихам, которые он оставил, был человек лет тридцати шести — тридцати восьми, с открытым и честным лицом, неистощимо веселый и жизнерадостный, всегда готовый с кем угодно потягаться в возлияниях, сразиться в карты и скрестить оружие, сердечный и незлопамятный, пользующийся большим успехом у прекрасного пола и весьма любимый регентом, который сделал его капитаном гвардии. Приблизив к себе де Лафара десять лет назад, регент иногда находил в нем соперника, но всегда — верного слугу. Поэтому принц, имевший обыкновение давать прозвища всем повесам, которыми он себя окружал, как и всем своим любовницам, называл его не иначе, как «добрый малый». Однако, как ни прочна была завоеванная былыми похождениями популярность Лафара среди придворных дам и оперных див, в последнее время она заметно упала. Ходили слухи, что он возымел смешное намерение стать человеком строгих правил. Правда, кое-кто, желая спасти его репутацию, говорил потихоньку, что это кажущееся обращение не имело другой причины, кроме ревности мадемуазель де Конти, дочери герцогини и внучки великого Конде, которая, как утверждали, удостаивала капитана гвардии совершенно особой привязанностью. Впрочем, ее связь с герцогом де Ришелье, который со своей стороны слыл возлюбленным мадемуазель де Шароле, придавала известную обоснованность этим слухам.

Граф де Фаржи, которого обычно звали «красавцем Фаржи», меняя титул,

унаследованный от предков, на эпитет, дарованный природой, считался, как указывает его прозвище, самым красивым молодым человеком своего времени. В самом деле, сложен был он как нельзя лучше. Изящный и сильный, гибкий и крепкий, он, казалось, сочетал в себе прямо противоположные качества героя романа тех лет. Прибавьте к этому очаровательное лицо, равным образом сочетавшее самые различные приметы — черные волосы и голубые глаза, твердые черты и нежную, как у женщины, кожу, — прибавьте, наконец, ко всему этому ум, прямодушие, храбрость и светские манеры, и вы получите представление о высокой репутации, которой должен был пользоваться Фаржи в ту безумную эпоху, когда так ценились подобного рода достоинства.

Что касается шевалье де Равана, который оставил нам столь необычайные мемуары о своей молодости, что, несмотря на их подлинность, их все же склонны считать апокрифическими, то в ту пору он был еще ребенком, едва вышедшим из-под родительской опеки. Богатый и знатный, он вступил в жизнь с парадного входа и устремлялся навстречу наслаждениям, которые она сулила, со всем пылом, безрассудством и жадностью юности, доводя до крайности все пороки и все доблести своего времени, как это обычно бывает в восемнадцать лет. Легко понять поэтому, как он был горд участвовать с такими людьми, как де Лафар и де Фаржи, в дуэли, которая должна была наделать шуму.

II. ДУЭЛЬ

Как только де Лафар, де Фаржи и де Раван увидели своих противников, показавшихся в повороте аллеи, они направились им навстречу. Когда расстояние между ними сократилось до десяти шагов, те и другие сняли шляпы и, раскланявшись с изысканной учтивостью, отличавшей аристократов XVIII века при подобных обстоятельствах, сделали еще несколько шагов с непокрытой головой, так любезно улыбаясь, что в глазах прохожего, не осведомленного о причине их свидания, они сошли бы за друзей, обрадованных встречей.

— Господа, — сказал шевалье д'Арманталь, которому по праву принадлежало слово, — я надеюсь, что ни за вами, ни за мной никто не следил, но час уже не ранний, и здесь нам могут помешать. Я полагаю поэтому, что прежде всего было бы хорошо найти более уединенное место, где нам будет удобнее уладить небольшое дело, ради которого мы собрались.

— Господа, — сказал де Раван, — я укажу вам такое место: всего лишь в ста шагах отсюда есть настоящая обитель отшельников; вам покажется там, что вы удалились в пустынь.

— Что же, последуем за шевалье, — сказал капитан. — Устами младенца глаголет истина! Раван обернулся и смерил взглядом нашего друга, украшенного оранжевым бантом.

— Если вы еще ни с кем не условились скрестить оружие, сударь великовозрастный, — произнес юный паж насмешливым тоном, — я потребую, чтобы вы оказали мне предпочтение!..

— Минутку, минутку, Раван, — перебил его Лафар. — Мне нужно дать некоторые объяснения господину д'Арманталю.

— Господин Лафар, — ответил шевалье, — ваша храбрость так хорошо известна, что если вы предлагаете мне объясниться, то это только доказывает вашу деликатность, за которую, поверьте, я вам весьма признателен; но эти объяснения были бы лишь бесполезной тратой времени, а нам, я полагаю, не следует мешкать.

— Bravo! — сказал де Раван. — Золотые слова! Шевалье, после того, как мы сразимся, надеюсь, вы удостоите меня дружбой. Я много слышал о вас и давно уже хотел познакомиться с вами.

Д'Арманталь и де Раван снова раскланялись.

— Идем же, Раван, — сказал де Фаржи. — Раз ты взялся быть нашим проводником, показывай дорогу.

Раван бросился в лес, как молодой олень. Пятеро его спутников последовали за ним. Верховые лошади и наемная карета остались на дороге. Через десять минут, в течение которых противники сохраняли глубочайшее молчание — не то боясь, чтобы их не услышали, не то подчиняясь естественному побуждению человека перед лицом опасности на мгновение замкнуться в самом себе, — они оказались посреди поляны, окруженной плотным кольцом деревьев.

— Ну, господа, — произнес Раван, с удовлетворением оглядываясь вокруг, — что вы скажете об этом местечке?

— Скажу, что если вы хвастаетесь, будто открыли его, — заметил капитан, — то вы весьма забавный Христофор Колумб! Стоило вам только сказать, что вы собираетесь идти сюда, и я с закрытыми глазами привел бы вас на эту лужайку.

— Что ж, сударь, — ответил Раван, — постараемся, чтобы вы отсюда ушли так же, как, по вашим словам, вы могли сюда прийти.

— Вы знаете, что я имею дело к вам, господин де Лафар, — сказал д'Арманталь, бросая свою шляпу на траву.

— Да, сударь, — ответил капитан гвардии, следуя примеру шевалье, — и я знаю также, что для меня нет ничего более почетного и вместе с тем печального, чем дуэль с вами, в особенности по такому поводу.

Д'Арманталь улыбнулся, как человек, сумевший оценить эту любезность, но вместо ответа лишь взялся за шпагу.

— Дорогой барон, — обратился Фаржи к Валефу, — говорят, вы уезжаете в Испанию?

— Я должен был тронуться в путь еще ночью, дорогой граф, — ответил Валеф, — и я еду туда по столь важным делам, что только удовольствие увидеть вас сегодня утром могло заставить меня остаться до этого часа.

— Черт возьми, это меня огорчает! — сказал Фаржи, вытаскивая шпагу. — Потому что, если я буду иметь несчастье задержать ваш отъезд, вы на меня смертельно обидитесь.

— Нисколько. Я буду знать, что вы поступили так из чистой дружбы, дорогой граф, — ответил Валеф. — Итак, прошу вас, не стесняйтесь и пустите в ход все ваше искусство: я к вашим услугам.

— Начнем же, сударь, — сказал Раван капитану, который аккуратно укладывал свой мундир возле шляпы. — Вы видите, я вас жду.

— Терпение, милейший молодой человек, — сказал старый солдат со свойственной ему флегматичной насмешливостью, продолжая свои приготовления. — В бранном деле одно из важнейших качеств — хладнокровие. В вашем возрасте и я был таким же, как и вы, но, получив три-четыре удара шпагой, понял, что сбился с дороги, и вернулся на правильный путь. Так-то! — прибавил он, вытаскивая наконец свою шпагу, которая, как мы уже сказали, была весьма внушительной длины.

— Черт побери, сударь! — сказал Раван, бросая взгляд на оружие своего противника. — У вас очаровательная колишмарда. Она напоминает мне большой вертел на кухне моей матери, и я жалею, что не велел трактирщику принести мне такой же, чтобы сразиться с вами.



— Ваша матушка — достойная женщина, и у нее отменная кухня, я слышал о них обеих весьма хвалебные отзывы, шевалье, — ответил капитан почти отеческим тоном. — Поэтому мне было бы жаль отнять вас у той и у другой из-за безделицы, которая доставила мне честь скрестить с вами оружие. Вообразите же, что вы просто-напросто берете урок у вашего учителя фехтования, и упражняйтесь поусерднее.

Совет этот остался втуне: Равана выводило из себя спокойствие противника, спокойствие, достичь которого, несмотря на храбрость, ему не оставляла никакой надежды его молодая, горячая кровь. Он ринулся на капитана с такой яростью, что шпаги скрестились у самого эфеса. Капитан на шаг отступил.

— А, вы отступаете, сударь великовозрастный! — вскричал Раван.

— Отступать — не значит бежать, мой маленький шевалье, — ответил капитан, — это аксиома фехтовального искусства, над которой я вам рекомендую поразмыслить. К тому же я не прочь узнать вашу систему... А-а, вы ученик Бертло, насколько я понимаю. Это хороший учитель, но у него есть большой недостаток: он не учит парировать. Вот видите, — продолжал он, отвечая секундой на прямой удар, — сделай я выпад, я проткнул бы вас, как жаворонка.

Раван был в бешенстве, потому что в самом деле почувствовал на своей груди острие шпаги противника, которое, однако, коснулось его так легко, словно то была шишечка рапиры. Гнев юноши удвоился от сознания, что он обязан капитану жизнью, и он умножил свои атаки, нападая еще стремительнее, чем прежде.

— Ну-ну, — сказал капитан, — теперь вы теряете голову и норовите выколоть мне глаз. Стыдно, молодой человек, стыдно! Метьте в грудь, черт возьми!.. А-а, вы снова в лицо? Вы меня вынудите обезоружить вас!.. Опять?.. Сходите за вашей шпагой, молодой человек, и возвращайтесь на одной ножке, это вас успокоит... — И мощным ударом он выбил у Равана оружие, которое отлетело на двадцать шагов в сторону.

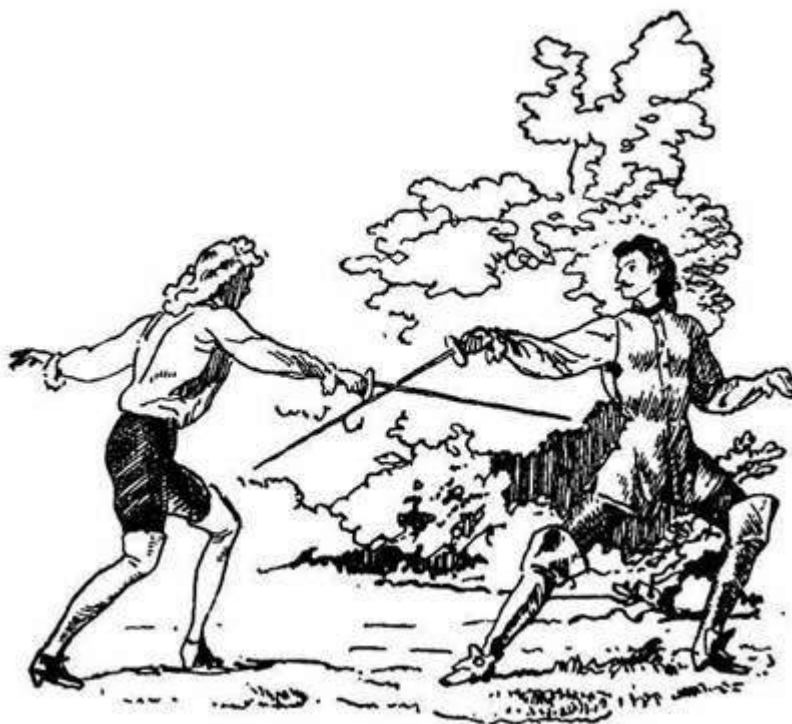
На этот раз Раван не пренебрег советом: он медленно пошел за шпагой и медленно вернулся к капитану, который ждал его, уперев острие своего клинка в башмак.

Однако молодой человек был бледен, как его атласная куртка, на которой проступила капелька крови.

— Вы правы, сударь, — сказал он, — я еще ребенок, но моя встреча с вами, надеюсь, поможет мне стать мужчиной. Еще несколько выпадов, прошу вас, чтобы нельзя было сказать, что вы стяжали все лавры, — и он снова встал в позицию.

Капитан был прав: шевалье не хватало только спокойствия, чтобы стать опасным бойцом. Поэтому с самого начала третьей схватки он увидел, что ему надобно напрячь все внимание для собственной защиты. Но он слишком хорошо владел фехтовальным искусством, чтобы его юный противник мог одержать над ним верх. Как легко было предвидеть, дело кончилось тем, что капитан опять выбил шпагу из рук Равана, но на этот раз он сам пошел за ней и, возвращая юноше оружие, сказал с учтивостью, на которую, казалось, не был способен:

— Господин шевалье, вы славный молодой человек, но послушайте старого завсегдатая фехтовальных классов и таверн, который проделал фландрские кампании еще до того, как вы родились, итальянскую, когда вы лежали в колыбели, и испанскую, когда вы были пажом, —



перемените учителя. Оставьте Бертло, который уже научил вас всему, что знает, перейдите к Буа-Роберу, пусть меня черт поберет, если через полгода вы не заткнете за пояс меня самого.

— Спасибо за урок, сударь! — сказал Раван и протянул руку капитану, не в силах удержать две слезы, скатившиеся по его щекам. — Надеюсь, он пойдет мне на пользу. — И, приняв свою шпагу из рук капитана, он последовал его примеру: вложил ее в ножны.

Затем они оба обратили взоры на своих товарищей, чтобы узнать, как обстоит дело. Бой был окончен. Лафар сидел на траве, опершись спиной о дерево: он получил удар шпагой в грудь, но, к счастью, острое клинка наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости, так что рана на первый взгляд казалась более серьезной, чем была на самом деле. Все же от потрясения он лишился чувств. Д'Армантадь, стоя перед ним на коленях, пытался с помощью носового платка остановить кровь.

У Фаржи и Валефа получился двойной удар: у одного было проколото бедро, у другого — рука. Оба приносили взаимные извинения и заверяли друг друга, что случившееся лишь упрочит их дружбу.

— Посмотрите, молодой человек, — сказал капитан Равану, указывая ему на поле боя, — посмотрите и поразмыслите: вот льется кровь трех честных дворян, и, наверное, из-за какой-то легкомысленной женщины!

— Ей-Богу, вы правы, капитан, — сказал Раван, совсем успокоившись. — И, быть может, вы один среди нас наделены здравым смыслом.

В эту минуту Лафар открыл глаза и узнал в человеке, который оказывал ему помощь, д'Арманталя.

— Шевалье, — сказал он ему, — хотите последовать дружескому совету? Пришлите ко мне хирурга, которого вы найдете в карете. Я привез его на всякий случай. Потом как можно скорее возвращайтесь в Париж, покажитесь сегодня вечером на балу в Опере и, если у вас спросят обо мне, скажите, что мы не виделись вот уже неделю. Что до меня, то вы можете быть совершенно спокойны: я не назову вашего имени. Впрочем, если у вас будут неприятности с властями, поскорее дайте мне знать, и мы устроим так, чтобы это дело не имело последствий.

— Спасибо, маркиз, — ответил д'Армантадь. — Я вас покину, потому что знаю, что оставляю вас в более надежных руках, чем мои; в противном случае, поверьте, ничто не заставило бы меня расстаться с вами, прежде чем я увидел бы вас в постели.

— Счастливого пути, дорогой Валеф, — сказал Фаржи, — я не думаю, чтобы такая царапина помешала вам уехать. По возвращении не забудьте, что у вас есть друг на площади Людовика Великого, номер четырнадцать.

— А если у вас, дорогой Фаржи, есть какое-нибудь поручение в Мадрид, вам стоит только сказать — и вы можете рассчитывать, что оно будет точно выполнено с рвением доброго товарища.

И они обменялись рукопожатием, как будто между ними решительно ничего не произошло.

— Прощайте, молодой человек, прощайте! — сказал капитан Равану. — Не забудьте мой совет: оставьте Бертло и перейдите к Буа-Роберу, а главное, сохраняйте спокойствие, отступайте в случае надобности, парируйте вовремя, и вы будете одним из самых искусных фехтовальщиков французского королевства. Моя колишмарда низко кланяется большому вертелу вашей матушки.

Раван при всей своей находчивости не нашелся, что ответить; он ограничился поклоном и подошел к Лафару, который показался ему раненным тяжелее, чем Фаржи.

Что касается д'Арманталя, Валефа и капитана, то они поспешно вышли на аллею, где нашли наемную карету, а в карете — задремавшего хирурга. Д'Армантадь разбудил его и объявил, показав дорогу, по которой он должен идти, что маркиз Лафар и граф Фаржи нуждаются в его услугах. Кроме того, он приказал своему лакею спешиться и последовать за хирургом, чтобы помочь ему. Затем он обратился к капитану:

— Капитан, я полагаю, что было бы неосторожностью отправиться на завтрак, который мы заказали. Позвольте же выразить вам живейшую благодарность за помощь, что вы мне оказали, и на память о нашей встрече соблаговолите принять, поскольку вы, кажется, пеший, одну из моих двух лошадей. Вы можете выбрать любую: это хорошие лошади; ни одна из них не

подведет вас, если вам понадобится сделать восемь — десять льё в час.

— Право, шевалье, — ответил капитан, искоса бросая взгляд на лошадь, которая была ему столь великодушно предложена, — такая малость не стоит благодарности: между благородными людьми принято ссужать друг другу кровь и кошелек. Но вы так щедры, что я не могу вам отказать. Зато, если когда бы то ни было я вам зачем-нибудь понадоблюсь, помните — я всегда к вашим услугам.

— А как я найду вас, сударь, в случае надобности? — с улыбкой спросил д'Арманталь.

— У меня нет постоянного местожительства, шевалье, но вы всегда можете получить известия обо мне, зайдя к Фийон, спросив там Нормандку и осведомившись у нее о капитане Рокфинете.

Увидев, что молодые люди садятся каждый на свою лошадь, капитан сделал то же самое, не преминув отметить про себя, что шевалье д'Арманталь оставил ему лучшую из трех.

Затем, поскольку они находились у самого перекрестка, каждый ускакал своей дорогой.

Барон де Валеф въехал в город через заставу Пасси, направился прямо к Арсеналу, взял поручения у герцогини дю Мен, в доме которой он был своим человеком, и в тот же день уехал в Испанию.

Капитан Рокфинет сделал три или четыре круга шагом, рысью и галопом в Булонском лесу, чтобы оценить различные качества своей лошади, и, увидев, что это было, как и сказал шевалье, прекрасное, породистое животное, весьма удовлетворенный, вернулся к папаше Дюрану, где один съел завтрак, заказанный на троих.

В тот же день он отвел свою лошадь на конный рынок и продал ее за шестьдесят луидоров. Она стоила вдвое дороже, но нужно уметь приносить жертвы, когда хочешь обратить свое имущество в деньги.

Что касается шевалье д'Арманталя, то он поехал по аллее ля Мюет, вернулся в Париж по авеню Елисейских полей и у себя дома, на улице Ришелье, нашел два письма.

Одно из этих писем было написано столь знакомым почерком, что шевалье вздрогнул всем телом, увидев его, и, протянув к нему руку так нерешительно, словно это был раскаленный уголь, вскрыл его с трепетом, показывавшим, какое значение он придавал этому письму. Оно гласило:

«Дорогой шевалье!

Сердцу не прикажешь, Вы это знаете, и одно из наших несчастий состоит в том, что мы по природе своей не можем долго любить ни одного и того же человека, ни одну и ту же вещь. Что до меня, то я хочу иметь перед другими женщинами хотя бы то преимущество, что не обманываю человека, который был моим возлюбленным.

Не приходите же ко мне в обычный час: Вам скажут, что меня нет дома, а я так добра, что не хотела бы рисковать спасением души лакея или горничной, заставляя их произнести столь грубую ложь.

Прощайте, дорогой шевалье; сохраните обо мне не слишком дурное воспоминание и постарайтесь, чтобы и через десять лет я, как и сейчас, считала Вас одним из самых галантных дворян Франции.

Софи д'Аверн».

— Проклятье! — вскричал д'Арманталь, ударом кулака разбив на куски очаровательный столик работы Буля. — Если бы я убил бедного Лафара, я бы не утешился до конца жизни!

Несколько успокоившись после этого взрыва, шевалье принялся расхаживать от двери к окну и обратно с таким видом, который доказывал, что бедняга нуждается еще в нескольких разочарованиях того же рода, чтобы быть на высоте философической морали, проповедуемой ему прекрасной изменницей. Потом, покружив некоторое время по комнате, он заметил на полу второе письмо, о котором совсем забыл. Еще два или три раза он прошел возле этого письма, глядя на него с надменным равнодушием; наконец, подумав, что оно, быть может, отвлечет его мысли от первого, с пренебрежением поднял его, не спеша вскрыл, посмотрел на почерк, который был ему незнаком, поискал подпись, которой не было, и, слегка заинтригованный этой таинственностью, прочел следующее:

«Шевалье,

если у Вас хотя бы на четверть такой романтический склад ума и хотя бы наполовину

такое храброе сердце, как утверждают Ваши друзья, Вам готовы предложить достойное Вас предприятие. Оно позволит Вам отомстить самому ненавистному для Вас человеку и вместе с тем приведет Вас к столь блестящей цели, что даже в самых прекрасных мечтах Вы не могли бы помышлять ни о чем подобном. Добрый гений, который поведет Вас по этому волшебному пути и которому Вам нужно всецело довериться, будет ждать Вас сегодня от полуночи до двух часов на балу в Опере. Если Вы приедете туда без маски, он подойдет к Вам; если Вы будете в маске, Вы узнаете его по лиловой ленте на левом плече. Пароль таков: «Сезам, откройся». Смело произнесите его, и Вы увидите, что перед Вами откроется еще более чудесная сокровищница, чем пещера Али-Бабы».

— В добрый час! — сказал д'Арманталь. — Если гений с лиловой лентой хотя бы наполовину сдержит свое обещание, право, он может рассчитывать на меня!

III. ШЕВАЛЬЕ Д'АРМАНТАЛЬ

Шевалье Рауль д'Арманталь, с которым, прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, необходимо ближе познакомить наших читателей, был единственным отпрыском одного из лучших семейств провинции Ниверне. Хотя его семья никогда не играла значительной роли в истории, она тем не менее была не лишена известности, которую приобрела отчасти благодаря самой себе, отчасти благодаря брачным союзам. Так, отец шевалье, господин Гастон д'Арманталь, возымев фантазию ездить в королевских каретах, в 1672 году прибыл в Париж и, преодолев все препятствия, доказал, что ведет свой род с 1399 года; это была геральдическая операция, повергшая в смущение, если верить парламентской записи, не одного герцога и пэра. С другой стороны, его дядя по материнской линии, господин де Торињи, пожалованный орденом Святого Духа в 1694 году, признался, указывая на шестнадцать колен своего рода, что в его жилах, как тогда говорили, течет главным образом кровь д'Арманталей, с которыми его предки на протяжении трехсот лет были связаны брачными союзами. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить требованиям аристократии той эпохи.

Шевалье был ни беден ни богат: иначе говоря, его отец оставил ему землю близ Невера, которая приносила около двадцати или двадцати пяти тысяч ливров годового дохода. В провинции на эти деньги можно было жить очень широко, но шевалье получил блестящее образование и был весьма честолобив; поэтому, достигнув совершеннолетия, в 1711 году он покинул провинцию и приехал в Париж.

Первый визит он нанес графу де Торињи, на которого очень рассчитывал в своем стремлении быть представленным ко двору. К несчастью, в это время граф де Торињи и сам уже не бывал при дворе. Но, поскольку он всегда вспоминал, как мы уже сказали, с большим удовольствием о роде д'Арманталей, он отрекомендовал своего племянника шевалье де Вилларсо, а шевалье де Вилларсо, который ни в чем не мог отказать своему другу графу де Торињи, ввел молодого человека в салон госпожи де Ментенон.

У госпожи де Ментенон было одно хорошее качество: она сохраняла дружеские чувства к своим прежним любовникам. В память о своей бывлой близости к шевалье де Вилларсо она как нельзя лучше приняла д'Арманталя, и, когда несколько Дней спустя маршал де Виллар приехал засвидетельствовать ей почтение, она так настоятельно рекомендовала ему своего молодого протеже, что маршал, радуясь случаю сделать приятное этой королеве *in partibus*, ответил, что с этого дня он зачисляет д'Арманталя в свою свиту и постарается предоставить ему все возможности оправдать доброе мнение, которое благоволила иметь о нем его высокая покровительница.

Для шевалье было большой радостью, что перед ним открывается такая карьера. Вопрос о предполагавшейся кампании был окончательно решен. Людовик XIV вступил в последний период, в пору превратностей судьбы. Таллар и Марсен были разбиты при Гохштедте, Вильруа — при Рамильи, и сам Виллар, герой Фридлингена, потерпел поражение от Мальборо и Евгения в знаменитой битве при Мальплаке. Вся Европа, на время подавленная Кольбером и Лувуа, поднялась против Франции. Положение было до крайности тяжелым. Король, словно отчаявшийся больной, ежечасно меняющий врачей, что ни день сменял министров, и каждый из

них обнаруживал свою беспомощность. Франция была уже не в силах вести войну и не могла добиться мира. Напрасно соглашалась она предоставить Испании самой себе и сократить свои границы. Этого унижения было все еще недостаточно: от короля требовали, чтобы он, сдав в обеспечение договора крепости Камбре, Мец, Ла-Рошель и Байонну, пропустил через Францию вражеские войска, посланные прогнать его внука с испанского трона, если только он не предпочитает действовать сам, обязавшись в течение года силой лишить его престола. Вот на каких условиях предлагалось перемирие тому, кто одержал блистательные победы в бельгийских дюнах — под Сенефом, Флёрюсом, Стенкеркеном — и при Марсилии; тому, кто доселе держал мир и войну в поле своей королевской мантии; тому, кого именовали великим, бессмертным властителем, раздающим короны и карающим нации; тому, наконец, ради кого в течение полувека тесали мрамор, лили бронзу, слагали александрийские стихи, курили фимиам.

Людовик XIV плакал на заседании совета. Эти слезы породили армию, и эта армия была дана Виллару.

Виллар двинулся прямо на врага, который стоял лагерем в Денене и чувствовал себя в полной безопасности, замороженный агонией Франции. Ни на одного полководца не ложилась большая ответственность. От успеха Виллара зависело спасение Франции.

Союзники возвели между Дененом и Маршьеном линию укреплений, которую граф Олбермерль и принц Евгений, заранее торжествуя победу, назвали дорогой в Париж. Виллар решил внезапным нападением взять Денен и разбить Евгения.

Чтобы осуществить столь смелое предприятие, надо было обмануть не только вражескую, но также и французскую армию, ибо шансы на успех заключались в самой невозможности такого маневра.

Виллар объявляет во всеуслышание, что намеревается взять укрепления Ландреси. Однажды ночью, в назначенное время, вся его армия снимается с места и движется в направлении к этому городу. Вдруг отдается приказ повернуть налево. Саперы наводят три моста через Эско. Виллар беспрепятственно переправляется через реку и бросается в болота, которые считались непроходимыми, где солдаты продвигаются по пояс в воде, идет прямо на первые редуты, берет их почти без боя, потом овладевает одним за другим укреплениями, растянувшимися на целое льё, достигает Денена, перебирается через окружающий его ров, проникает в город и, прибыв на площадь, находит там своего молодого протеже — шевалье д'Арманталя, вручающего ему шпагу Олбермерля, которого он только что взял в плен.

В этот момент доносят о подходе принца Евгения. Виллар поворачивает назад, занимает раньше противника мост, по которому тот должен пройти, и ждет. Тут завязывается настоящее сражение, ибо взятие Денена было лишь стычкой. Принц Евгений предпринимает атаку за атакой, семь раз подступает к мосту, но натиск его лучших войск неизменно разбивается об огонь артиллерии и штыки. Наконец, весь в крови от полученных им двух ран, в изрешеченном пулями платье, он садится на третью лошадь; победитель при Гохштедте и Мальплаке отступает, плача и кусая перчатки от ярости.

В течение шести часов все изменилось: Франция спасена, а Людовик XIV по-прежнему великий король.

Д'Арманталь вел себя как человек, который жаждет отличиться в первом же бою. Увидев его, покрытого кровью и пылью, Виллар, который посреди поля битвы писал на барабане реляцию, вспомнил, кто ему рекомендовал шевалье, и подозвал его к себе.

Когда д'Арманталь подошел, Виллар, оторвавшись от Письма, спросил:

— Вы ранены?

— Да, господин маршал, но так легко, что об этом не стоит и говорить.

— Чувствуете ли вы себя в силах промчаться шестьдесят льё во весь опор, не отдыхая ни часа, ни минуты, ни секунды?

— Я чувствую себя способным на все, чем могу служить королю и вам, господин маршал.

— Тогда отправляйтесь сейчас же, явитесь к госпоже де Ментенон, сообщите ей от моего имени о том, что вы видели, и передайте, что вскоре прибудет гонец с официальной реляцией. Если она захочет провести вас к королю, ступайте.

Д'Арманталь понял всю важность миссии, которая на него возлагалась, и, окровавленный, весь в пыли, не мешкая вскочил на свежую лошадь и пустился в путь. Через двенадцать часов

он был в Версале.

Виллар правильно предвидел, что произойдет. При первых словах шевалье госпожа де Ментенон взяла его за руку и повела к королю. Король работал с Вуазеном, против обыкновения, в своей спальне, так как был слегка нездоров. Госпожа де Ментенон открыла дверь, подтолкнула вперед шевалье д'Арманталя, который упал к ногам короля и, воздев руки к небу, сказал:

— Государь, возблагодарите Бога, ибо вы знаете, ваше величество, что сами по себе мы ничто и что всякая благодать от Бога.

— Что случилось, сударь? Говорите! — с живостью сказал Людовик XIV, удивленный тем, что видит у своих ног незнакомого молодого человека.

— Государь, — ответил шевалье, — дененский лагерь взят, граф Олбермерль в плену, принц Евгений обращен в бегство, и маршал Виллар повергает свою победу к стопам вашего величества.

Несмотря на свое самообладание, Людовик XIV побледнел; он почувствовал, что у него подкашиваются ноги, и оперся о стол, чтобы не упасть в кресло.

— Что с вами, государь? — воскликнула госпожа де Ментенон, подходя к нему.

— Ничего, мадам; просто я вам обязан всем: вы спасаете короля, а ваши друзья спасают королевство.

Госпожа де Ментенон склонилась и почтительно поцеловала руку короля.

Людовик XIV, все еще бледный и взволнованный, прошел за большой занавес, скрывавший его ложе; слышно было, как он вполголоса возносит благодарственную молитву Всевышнему за ниспосланную милость. Вскоре он вновь появился, серьезный и спокойный, словно ничего не произошло.

— А теперь, сударь, — сказал он, — расскажите мне во всех подробностях, как было дело.

Тогда д'Арманталь описал эту удивительную битву, которая чудом спасла монархию.

— А о себе, сударь, — сказал Людовик XIV, — вы ничего не говорите? Однако, судя по крови и грязи, которой еще покрыто ваше платье, вы не оставались в последних рядах.

— Государь, я старался сделать все что мог, — с поклоном сказал д'Арманталь, — но если обо мне есть действительно что сказать, то, с разрешения вашего величества, я предоставляю это маршалу де Виллару.

— Хорошо, молодой человек, и, если он случайно забудет о вас, мы сами вспомним. Вы, должно быть, устали, пойдите отдохнуть. Я доволен вами!

Д'Арманталь вышел вне себя от радости. Госпожа де Ментенон проводила его до двери. Д'Арманталь еще раз поцеловал ей руку и поспешил воспользоваться королевским разрешением отдохнуть: он целые сутки не пил, не ел и не спал.

Когда он проснулся, ему передали пакет, доставленный из военного министерства. Это был полковничий патент.

Через два месяца был подписан мирный договор; Испания потеряла половину своих владений, но Франция сохранила свою территорию в целости.

Спустя три года умер Людовик XIV. Налицо были две различные и, главное, непримиримые партии: партия побочных наследников, олицетворяемая герцогом дю Мен, и партия законнорожденных принцев, представляемая герцогом Орлеанским.

Если бы герцогу дю Мен были свойственны настойчивость, твердая воля и мужество его жены, Луизы Бенедикты де Кон-де, то, опираясь на королевское завещание, он, быть может, и восторжествовал бы; но защищаться надо было так же открыто, как на него нападали, а герцог дю Мен, малодушный и неумный, опасный лишь своей подлостью, умел только строить козни. Ему были брошены угрозы прямо в лицо, и все его бесчисленные уловки, клевета и подвохи оказались бесполезными. В один прекрасный день он почти без боя был низвергнут с той высоты, на которую вознесла его слепая любовь старого короля; падение было тяжким и, главное, постыдным; униженный, он отступил, оставив регентство своему сопернику, и из всех милостей, которыми он был осыпан, сохранил только звание главного интенданта воспитания юного короля, начальствование над артиллерией и первенство перед герцогами и пэрами.

Постановление, принятое парламентом, нанесло сокрушительный удар по старому двору и по всем, кто был с ним связан. Отец Летелье подвергся изгнанию, госпожа де Ментенон

избрала приютом Сен-Сир, герцог дю Мен затворился в прекрасном замке Со, чтобы продолжать там свой перевод Лукреция.

Шевалье д'Арманталь наблюдал за событиями как зритель, правда заинтересованный, но пассивный, ожидая, чтобы они приобрели такой характер, который бы позволил ему принять в них участие; если бы началась открытая, вооруженная борьба, он примкнул бы к тому лагерю, куда призывала его благодарность. Слишком молодой и слишком неискушенный в вопросах политики, чтобы, так сказать, держать нос по ветру, он сохранял почтение к памяти покойного короля и к руинам прежнего двора. Его отсутствие в Пале-Рояле, к которому в ту пору тяготели все, кто хотел вновь занять достойное место в политических сферах, было истолковано как оппозиция, и однажды утром — точно так же, как некогда он получил патент, давший ему полк, — он получил постановление, лишавшее его этого патента.

Д'Арманталь был наделен честолюбием, свойственным его возрасту. Единственной карьерой, открытой для дворянина того времени, была военная; он начал ее блистательно, и удар, который в двадцать пять лет разбил все его надежды на будущее, был для него чрезвычайно болезненным. Он помчался к господину де Виллару, в котором когда-то нашел столь пылко покровителя. Маршал принял его с холодностью человека, который был бы не прочь не только забыть прошлое, но и видеть, что оно забыто другими. Д'Арманталь понял, что старый царедворец меняет кожу, и скромно удалился.

Хотя эта эпоха была по преимуществу временем эгоизма, это первое столкновение с ним было для шевалье горьким испытанием; но он был еще в том счастливом возрасте, когда обманутое честолюбие редко вызывает глубокую и длительную боль. Честолюбие — это страсть тех, кто лишен других страстей, а шевалье был подвержен всем страстям, какие свойственны человеку в двадцать пять лет.

Впрочем, меланхолия была отнюдь не в духе времени. Это совсем новое чувство, порожденное крушением состояний и бессилием людей. В XVIII веке редко кто размышлял об отвлеченных предметах и стремился к неведомому; люди шли прямо к наслаждению, к славе или богатству, и всякий, кто был красив, смел или склонен к интригам, мог достичь желаемой цели. В то время никто не стыдился своего счастья. А в наши дни дух первенствует над материей, и никто не осмеливается признать себя счастливым.

К тому же, надо сказать, в воздухе повеяло веселостью. И Франция, казалось, плыла на всех парусах в поисках одного из тех волшебных островов, которые мы находим на карте «Тысячи и одной ночи». После долгой и угрюмой зимы, какой была старость Людовика XIV, вдруг наступила радостная и блестящая весна нового царствования, и каждый расцветал, обласканный новым солнцем, лучезарным и благодетельным, и беспечно кружился в новом рое своих собратьев, подобно пчелам и мотылькам в первые вешние дни. Исчезнувшее, изгнанное наслаждение вернулось, и все принимали его как друга, с которым уже не надеялись свидеться, встречали от всего сердца, с распростертыми объятиями и, верно, из боязни, что оно снова скроется, старались посвящать ему каждое мгновение. Шевалье д'Арманталь погрузился на неделю, потом замешался в толпу, дал увлечь себя вихрю, и этот вихрь бросил его к ногам хорошенькой женщины.

Три месяца он был счастливейшим на свете человеком; на три месяца он забыл о Сен-Сире, о Тюильри, о Пале-Рояле; он уже не ведал, существуют ли госпожа де Ментенон, король, регент, он знал только, что хорошо жить, когда ты любим, и не видел, почему бы ему не жить и не любить всегда.

Он вкушал этот сладостный сон, когда, как мы уже рассказали, ужиная со своим другом бароном де Валефом в почтенном заведении на улице Сент-Оноре, он был внезапно и грубо разбужен Лафаром. Влюбленным вообще суждено тягостное пробуждение, а, как мы видели, в этом отношении д'Арманталь был не выносливее других. Впрочем, для шевалье это было тем более простительно, что он считал себя любящим по-настоящему и с юношеским простодушием думал, будто ничто не сможет занять в его сердце место этой любви. То были остатки провинциального предрассудка, привезенного им из-под Невера. Поэтому, как мы видели, письмо госпожи д'Аверн, хотя и необычное, но, по крайней мере, откровенное, вместо того чтобы внушить ему восхищение, которого оно заслуживало в ту эпоху, прежде всего повергло его в глубокое уныние. Удуши так же, как у тела, есть свои раны, и они не так хорошо

заживают, чтобы не открыться от нового удара. В д'Армантале вновь проснулось честолюбие: утрата возлюбленной напоминала ему об утрате полка.

Поэтому лишь такое событие, как получение второго письма, столь неожиданного и таинственного, могло несколько отвлечь шевалье от его горя. Влюбленный наших дней с пренебрежением отбросил бы это письмо и стал бы презирать себя, если бы не усугубил свою грусть, превратив ее, по крайней мере, на неделю, в томную и поэтичную меланхолию; но влюбленный времен регенства был куда покладистее. Самоубийство, можно сказать, еще не было открыто, и когда, по несчастью, человек падал в воду, то тонул разве только в том случае, если под рукой не оказывалось ни малейшей соломинки, за которую можно было бы уцепиться.

Д'Арманталь поэтому не стал рисоваться своей печалью; он решил, правда вздохнув, пойти на бал в Оперу, а для влюбленного, испытавшего столь непредвиденную и жестокую измену, это было уже много.

Но мы должны сказать, к стыду нашего жалкого рода, что к этому философическому решению его склонило главным образом то обстоятельство, что письмо было написано женским почерком.

IV. БАЛ-МАСКАРАД ТОГО ВРЕМЕНИ. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Балы в Опере пользовались тогда бурным успехом. Это было новейшее изобретение шевалье де Буйона, которому за столь важную услугу, оказанную легкомысленному обществу того времени, простили титул принца Овернского, присвоенный им неизвестно на каком основании. Не кто иной, как он, придумал покатый пол, благодаря чему удалось поместить амфитеатр на уровне сцены. Регент, умевший по достоинству ценить всякое благое новшество, назначил ему в награду пенсию в шесть тысяч ливров — вчетверо больше той суммы, которую великий король выплачивал Корнелю.

Прекрасный зал богатой и прекрасной архитектуры, который кардинал де Ришелье обновил первым своим представлением «Мирам», зал, где Люлли и Кино ставили свои пасторали, а Мольер сам играл в своих шедеврах, стал в то время местом встречи всех тех, кто блистал при дворе знатностью, богатством и изяществом.

Д'Арманталь из чувства досады, вполне понятного в его положении, одевался перед балом с особой тщательностью. Поэтому он приехал в Оперу, когда зал был уже полон. У него даже шевельнулось опасение, что маска с лиловой лентой не сможет его найти, поскольку неведомый гений имел небрежность не указать ему места свидания. Он был рад, что решил не надевать маски. Это решение, кстати сказать, свидетельствовало о том, что он был вполне уверен в скромности своих противников, ибо им достаточно было хотя бы словом обмолвиться о дуэли, чтобы он предстал перед парламентом или, по крайней мере, отправился в Бастилию. Но доверие, которое дворяне того времени питали друг к другу, было так велико, что шевалье, проткнув утром шпагой одного из фаворитов регента, без всяких колебаний пришел бы вечером искать приключений в Пале-Рояль.

Первый человек, которого он увидел, был молодой герцог де Ришелье, начинавший пользоваться шумным успехом благодаря своему имени, своим похождениям, эlegantности, а быть может, и нескромности. Уверяли, что две принцессы крови оспаривали его любовь, что не мешало госпоже де Нель и госпоже де Полиньяк драться из-за него на пистолетах, а госпоже де Сабран, госпоже де Виллар, госпоже де Муши и госпоже де Тансен делить между собой его сердце.

Подойдя к маркизу де Канильяку, одному из повес, которыми окружал себя регент, называвший Канильяка за напускную чопорность своим ментором, Ришелье начал во весь голос и с громким смехом рассказывать ему какую-то историю. Шевалье был знаком с герцогом, но не настолько близко, чтобы вмешаться в завязавшийся разговор; к тому же он искал не его: поэтому д'Арманталь хотел пройти мимо, но герцог остановил его, удержав за полу фрака.

— Черт возьми, дорогой шевалье, — сказал он, — вы пришли очень кстати. Я рассказываю Канильяку одну историю, которая может быть ему полезна как ночному адъютанту господина регента, а вам — как человеку, подверженному той же опасности, какая угрожала мне. История эта произошла только сегодня, и тем лучше: я успел рассказать ее

только двадцати лицам, так что она почти никому не известна. Разглашайте ее: вы доставите этим удовольствие и мне, и господину регенту.

Д'Арманталь нахмурил брови: Ришелье неудачно выбрал время для своего рассказа. Но в эту минуту мимо прошел Раван, преследуя какую-то маску.

— Раван! — крикнул Ришелье. — Раван!

— Мне некогда, — ответил шевалье.

— Не знаете ли вы, где Лафар?

— У него мигрень.

— А Фаржи?

— Он вывихнул ногу.

И Раван, обменявшись со своим утренним противником дружеским поклоном, затерялся в толпе.

— Ну так что же это за история? — спросил Канильях.

— Так вот. Представьте себе, что шесть или семь месяцев тому назад, когда меня уже выпустили из Бастилии, куда я попал за дуэль с Гасе, и дня через три или через четыре после того, как я вновь появился в свете, Раффе передал мне очаровательную записочку от госпожи де Парабер, приглашавшей меня провести у нее вечер. Вы понимаете, шевалье, что, когда человек выходит из Бастилии, ему не следует пренебрегать свиданием, назначенным возлюбленной того, кто держит в руках ключи от этой крепости. Поэтому не надо спрашивать, был ли я точен. Я являюсь к маркизе в назначенный час, но отгадайте, кого я нахожу сидящим рядом с ней на софе. Держу пари, что ошибаетесь!

— Ее мужа! — сказал Канильях.

— Напротив — его королевское высочество собственной персоной! Я был тем более удивлен, что меня ввели со всяческими предосторожностями, словно мой приход нужно было сохранить в тайне. Тем не менее, как вы понимаете, я не растерялся, а принял подходящий случаю наивный и скромный вид — точно такой, как у тебя, Канильях, — и поклонился маркизе со столь глубокой почтительностью, что регент расхохотался. Я не ожидал такого взрыва смеха и был немного озадачен. Я взял стул, чтобы сесть, но регент сделал мне знак занять место на софе по другую сторону маркизы; я повиновался.

«Дорогой герцог, — сказал он, — мы написали вам, чтобы обсудить вместе с вами весьма важное дело. Наша бедная маркиза, которая вот уже два года живет в разлуке с мужем, беременна. А этот грубиян угрожает процессом под тем предлогом, что у нее будто бы есть возлюбленный».

Маркиза сделала все возможное, чтобы покраснеть, но, чувствуя, что это ей не удастся, закрыла лицо веером.

«Как только она мне сообщила об этом, — продолжал регент, — я вызвал д'Аржансона и спросил у него, кто бы мог быть отцом этого ребенка».

«О сударь, пощадите меня!» — сказала маркиза.

«Полно, моя птишка, — сказал регент, — сейчас я кончу, немного терпения... Знаете ли вы, дорогой герцог, что ответил мне шеф полиции?»

«Нет», — ответил я довольно смущенно.

«Он ответил мне, что это либо я, либо вы».

«Это гнусная клевета!» — вскричал я.

«Не запутайтесь в собственной лжи, герцог, маркиза во всем призналась».

«Ну, — заметил я, — если маркиза во всем призналась, я не знаю, что мне остается сказать вам».

«Я не прошу у вас более подробных объяснений, — продолжал герцог. — Речь идет просто о том, чтобы нам, как сообщникам в преступлении, вывести друг друга из затруднительного положения».

«А чего вам бояться, ваше высочество? — спросил я. — Что касается меня, то я знаю, что под вашей защитой я могу быть совершенно спокоен».

«Чего нам бояться, мой дорогой? Шума, который поднимает Парабер. Он захочет, чтобы я сделал его герцогом».

«Так отчего же нам не сделать его пэром в своем семействе?» — сказал я.

«Вот именно! — вскричал со смехом регент. — Вам пришла в голову та же мысль, что и маркизе».

«Клянусь Богом, сударыня, это большая честь для меня».

«Нам нужно добиться внешнего примирения между двумя нежными супругами. Это помешает маркизу докучать нам скандальным процессом».

«Но это нелегко, — возразила госпожа де Парабер. — Ведь он не появлялся здесь вот уже два года, я с ним за это время даже не разговаривала. И так как он ставит себе в заслугу ревность, строгий нрав и уж не знаю что еще, он поклялся, что, если когда-нибудь я окажусь в том положении, что сейчас, он отомстит за себя хорошим процессом».

«Вы понимаете, Ришелье, это становится тревожным», — прибавил регент.

«Проклятье! Я тоже так думаю, ваше высочество...»

«В моем распоряжении, конечно, есть кое-какие средства принуждения, но эти средства все же не столь могущественны, чтобы заставить мужа помириться с женой и принимать ее у себя».

«Ну а если его самого заставить прийти к жене?» — сказал я.

«Вот в этом-то и трудность».

«Подождите-ка... Маркиза, не сочтите за нескромность, если я спрошу вас, питает ли по-прежнему господин де Парабер слабость к шамбертену и романе?»

«Боюсь, что да», — сказала маркиза.

«Тогда, ваше высочество, мы спасены. Я приглашу господина маркиза отужинать у меня дома вместе с десятком шалопаев и очаровательных женщин; вы пошлете туда Дюбуа...»

«Как Дюбуа?» — спросил регент.

«Конечно. Нужно, чтобы кто-нибудь из нас сохранил способность соображать. Поскольку Дюбуа не может пить, он возьмет на себя миссию напоить маркиза и, когда все будут валяться под столом, отыщет его среди нас и сделает с ним все что захочет. Остальное — дело его кучера».

«Я вам говорил, маркиза, — сказал регент, хлопая в ладоши, — что Ришелье — хороший советчик!.. Послушайте, герцог, — продолжал он, — вы бы хорошо сделали, если бы перестали бродить вокруг некоторых дворцов, предоставили старухе спокойно умирать в Сен-Сире, а хромоту кропать вирши в Со и открыто примкнули к нам. Я бы взял вас в свой кабинет на место этой старой развалины д'Юкселя, и дела от этого, наверное, не пошли бы хуже...»

«Охотно верю, — ответил я, — но это невозможно: у меня другие виды».

«Вертопрах!..» — пробормотал регент.

— Ну, а господин де Парабер? — спросил шевалье д'Арманталь, которому не терпелось узнать, чем кончилась эта история.

— Господин де Парабер? А с ним все произошло, как было условлено. Он заснул накануне вечером у меня и проснулся наутро у своей жены. Вы, конечно, понимаете, что он расшумелся, но ему никак нельзя было поднимать скандал и возбуждать процесс: его коляска остановилась у особняка его жены, и все слуги видели, как он входил и выходил. Он помирился с маркизой вопреки своей воле. А если бы он все-таки решился жаловаться на свою дражайшую половину, ему бы доказали ясно, что он ее обожает, сам того не подозревая, и что она невиннейшая из женщин, о чем он тоже не подозревает. Так что мы спокойно ожидали, хотя нам, честно говоря, не терпелось узнать, на кого будет похож ребенок — на господина де Парабера, на герцога или на меня. Наконец сегодня в полдень маркиза разрешилась от бремени.

— И на кого же похож младенец? — осведомился Канильяк.

— На Носе! — ответил Ришелье, разражаясь хохотом. — Ну разве не хороша эта история, маркиз? А? Какая жалость, что этот бедный маркиз де Парабер имел глупость умереть до ее развязки! Как был бы он отомщен за шутку, которую мы с ним сыграли!

— Шевалье, — произнес в эту минуту на ухо д'Арманталя нежный и мелодичный голос, и маленькая ручка легла на его рукав, — когда вы кончите беседовать с господином де Ришелье, я попрошу вас уделить внимание и мне.

— Извините, герцог, — сказал шевалье, — но вы видите, меня похищают.

— Я отпущу вас, но с одним условием.

— С каким?

— Чтобы вы рассказали мою историю этой очаровательной «летучей мыши», а она пересказала бы ее всем знакомым ночным птицам.

— Боюсь, что у меня не будет для этого времени, — ответил д'Арманталь.

— О, тогда тем лучше для вас, ибо, очевидно, вы можете сказать ей кое-что более интересное, — заметил герцог, отпуская шевалье, которого он до сих пор удерживал за полу фрака.

И, повернувшись на каблуках, он, в свою очередь, взял за руку «домино», которое, проходя мимо, сделало ему комплимент по поводу его приключения.

Шевалье д'Арманталь бросил быстрый взгляд на подошедшую маску, чтобы проверить, она ли назначила ему свидание, и увидел на ее левом плече лиловую ленту, которая должна была послужить условным знаком для встречи. Он поспешил поэтому удалиться от Канильяка и Ришелье, чтобы ему не помешали вести беседу, которая, по всей вероятности, должна была быть для него небезынтесной.

Незнакомка, которая, заговорив, выдала свой пол, была среднего роста и казалась молодой женщиной — об этом можно было судить по упругости и гибкости ее движений. Она была одета «летучей мышью» — костюм весьма распространенный в ту эпоху и тем более удобный, что отличается крайней простотой, так как состоит всего лишь из двух черных юбок. Одну из них, как обычно, стягивали на талии, а другую, надев маску и просунув голову в разрез для кармана, спереди расправляли, так что получалось два крыла, а сзади приподнимали и скалывали так, что получалось два уха, после чего можно было быть почти уверенным, что собеседник измучается, пытаясь вас узнать, и разве только при крайнем старании достигнет своей цели.

Чтобы заметить все это, шевалье понадобилось меньше времени, чем нам для описания такого костюма. Не имея ни малейшего представления, кто та особа, с которой он имеет дело, д'Арманталь еще медлил к ней обратиться, но тут, повернув к нему голову, маска сказала, не давая себе труда изменить голос, очевидно уверенная, что он ему незнаком:

— Шевалье, я вам вдвойне признательна за то, что вы пришли, несмотря на ваше нынешнее состояние духа. К сожалению, положив руку на сердце, я могу приписать это только вашему любопытству.

— Прекрасная маска, — ответил д'Арманталь, — разве не написали вы в своем письме, что вы добрый гений. Но если вы действительно по природе своей принадлежите к существам высшего порядка, прошлое, настоящее и будущее должны быть вам ведомы; значит, вы знали, что я приду, а раз вы это знали, мой приход не должен вас удивлять.

— Увы, — ответила незнакомка, — сразу видно, что вы слабый смертный и что, на ваше счастье, вы никогда не поднимались выше своей сферы! Иначе вы знали бы, что если нам ведомо, как вы сказали, прошлое, настоящее и будущее, то наша наука нема, когда дело касается нас самих; то, чего мы более всего желаем, остается для нас покрыто самым непроницаемым мраком.

— Черт возьми! — ответил д'Арманталь. — Знаете ли вы, господин гений, что вы сделаете меня фатом, если будете продолжать в том же духе, ибо имейте в виду, вы сказали мне или дали понять, что весьма желали, чтобы я пришел на это свидание.

— Я думала, что не сообщаю вам ничего нового, шевалье; мне казалось, что мое письмо не должно было оставить у вас никакого сомнения насчет моего желания вас видеть.

— Не заставило ли вас это желание — которое, впрочем, я допускаю только потому, что вы сами в нем признаетесь, а я слишком галантен, чтобы вас опровергать, — обещать в письме больше того, что в вашей власти выполнить?

— Испытайте мои знания, и вы поймете, какова моя власть.

— О! Я ограничусь самым простым испытанием. Вы говорите, что знаете прошлое, настоящее и будущее. Погадайте же мне.

— Нет ничего легче. Дайте мне вашу руку. Д'Арманталь повиновался.

— Господин шевалье, — сказала незнакомка, посмотрев с минуту на его ладонь, — по направлению стягивающего мускула и по расположению продольных волокон соединительной ткани, покрывающей мышцы ладони, я ясно читаю пять слов — отвага, честолубие, разочарование, любовь, измена...

— Черт возьми! — прервал ее шевалье. — Я не знал, что гении так основательно изучают анатомию и должны, как саламанкские бакалавры, держать экзамен на степень лиценциата!

— Гении знают все, что знают люди, и еще многое другое, шевалье.

— Хорошо. Что же тогда означают эти слова, столь звучные и вместе с тем столь противоречивые, и что говорят они вам о моем прошлом, высокоученый гений?

— Они говорят мне о том, что вы только благодаря вашей отваге получили во фландрской армии чин полковника; что этот чин пробудил в вас честолюбие; что за вашими честолюбивыми мечтами последовало разочарование; что вы думали найти утешение в любви; но что любовь, как счастье, изменчива и что вы испытали измену.

— Неплохо, — сказал шевалье. — Даже Кумекая сивилла лучше вас не вышла бы из положения. То, что вы сказали, немного туманно, как и все гороскопы, но в основном верно. Перейдем к настоящему, прекрасная маска.

— К настоящему, шевалье? Будем говорить о нем шепотом — оно пахнет Бастилией!

Шевалье невольно вздрогнул: он думал, что об утреннем приключении не мог знать никто, кроме его участников.

— Сейчас, когда мы весело болтаем на балу, два славных дворянина в весьма плачевном виде лежат в своих постелях, и все потому, что некий шевалье д'Арманталь, большой любитель подслушивать у дверей, не вспомнил вовремя полустишие Вергилия.

— Какое же это полустишие? — спросил шевалье, все более удивляясь.

— *Facilis descensus Avernus*¹, — сказала со смехом «летучая мышь».

— Дорогой гений! — воскликнул шевалье, впиваясь взором в прорези для глаз на маске незнакомки. — Вот цитата, которую, позвольте вам сказать, вряд ли привела бы женщина.

— Разве вы не знаете, что бывают гении обоего пола?

— Да, но я никогда не слышал, что они так свободно цитируют «Энеиду».

— Разве эта цитата неуместна? Вы сравнили меня с Кумской сивиллой — я отвечаю вам ее языком. Вы требуете от меня чего-нибудь определенного — я выполняю ваше желание. Но вы, смертные, никогда не бываете довольны.

— Вы правы, потому что, признаюсь, ваше знание прошлого и настоящего внушает мне страшное желание узнать будущее.

— Будущее всегда двояко, — сказала маска. — Есть будущее малодушных и будущее сильных духом. Бог дал человеку свободу воли, чтобы он мог выбирать. Ваше будущее зависит от вас.

— Но ведь нужно знать и то и другое будущее, чтобы избрать лучшее...

— Так вот, одно из них ждет вас где-нибудь близ Невера, в глубокой провинции, где вам предстоит делить свое время между кроличьим садком и птичьим двором. Это будущее приведет вас прямо на скамью церковного старосты вашего прихода — легкодостижимая цель, и вам нужно только плыть по течению, чтобы прибыть в эту тихую гавань.

— Ну, а другое? — спросил шевалье, явно задетый предположением, что у него может быть подобное будущее.

— Другое? — сказала незнакомка, опираясь на его руку и глядя на него сквозь прорези маски. — Другое полно шума и блеска; другое сделает вас одним из актеров спектакля, который разыгрывается на подмостках мира; другое, проиграете ли вы или выиграете, по крайней мере, даст вам славу крупного игрока.

— Что же я потеряю, если проиграю?

— Вероятно, жизнь.

Шевалье сделал презрительный жест.

— А если выиграю? — прибавил он.

— Что вы скажите о чине полковника, титуле испанского гранда и ордене Святого Духа, не считая жезла маршала в перспективе?

— Скажу, что игра стоит свеч, прекрасная маска, и, если ты мне докажешь, что можешь сдержать свое обещание, я готов быть твоим партнером.

— Такое доказательство вам может дать лишь некто другой, а не я, и, если вы хотите его

¹ Легко спуститься в подземное царство (лат.)

получить, вам нужно последовать за мной.

— О-о! — сказал д'Арманталь. — Неужели я ошибся, и ты лишь гений второго ранга, подчиненный дух, промежуточная сила? Черт возьми, это несколько поубавило бы мое доверие к тебе.

— Что за беда, если я подчинена некой великой волшебнице и если это она прислала меня сюда.

— Предупреждаю тебя, что я ни о чем не договариваюсь через послов.

— В мою миссию входит доставить поэтому вас к ней.

— Значит, я с ней встречусь?

— Лицом к лицу, как Моисей с Господом Богом.

— В таком случае едем!

— Уж больно вы скоры, шевалье! Разве вы забыли, что всякому посвящению предшествуют некоторые церемонии, необходимые для того, чтобы быть уверенным в скромности тех, кого посвящают.

— Что же я должен сделать?

— Дать завязать себе глаза и отвести куда следует, а потом, у врат храма, произнести торжественную клятву, что вы никому на свете не откроете того, что вы там услышите и увидите.

— Я готов поклясться в этом Стиксом, — сказал со смехом д'Арманталь.

— Нет, шевалье — возразила маска серьезным тоном, — поклянитесь просто-напросто своей честью. Вас знают как благородного человека, и этого будет достаточно.

— А когда я дам эту клятву, — спросил шевалье после минутного раздумья, — мне будет позволено отказаться, если то, что мне предложат, окажется несовместимым с достоинством дворянина?

— Судьей будет только одна ваша совесть, и от вас не потребуют иного залога, кроме вашего слова.

— Я готов, — сказал шевалье.

— Идемте же, — ответила маска.

Шевалье хотел было пойти прямо к двери, пробиваясь через толпу, но, заметив у себя на пути Бранкаса, Брольи и Симиана, которые его, без сомнения, остановили бы, направился в обход, продвигаясь, однако, к той же цели.

— Что вы делаете? — спросила маска.

— Уклоняюсь от встречи, которая могла бы нас задержать. — А я уже начинала опасаться...

— Чего же вы опасались?

— Я опасалась, — со смехом ответила маска, — что ваш пыл убавился на столько же, на сколько диагональ квадрата меньше его двух сторон.

— Клянусь Богом, — сказал д'Арманталь, — я думаю, впервые дворянину назначили свидание на балу в Опере, чтобы побеседовать с ним об анатомии, античной литературе и математике! Мне жаль вам это говорить, прекрасная маска, но я в жизни не видел такого педантичного гения, как вы!

«Летучая мышь» рассмеялась, однако не парировала этот выпад, в котором прозвучала досада шевалье, убедившегося, что он не может узнать особу, по-видимому хорошо осведомленную о его похождениях; но, поскольку эта досада лишь разжигала его любопытство, через минуту они оба, поспешно спустившись по лестнице, оказались в вестибюле.

— Какой мы изберем путь? — спросил шевалье. — Помчимся ли мы под землей или в колеснице, запряженной двумя грифонами?

— Если позволите, шевалье, мы просто-напросто поедem в экипаже. Ведь, в сущности, хотя вы, кажется, не раз в этом сомневались, я все-таки женщина и боюсь темноты.

— В таком случае позвольте, мне вызвать мою карету, — предложил шевалье.

— Нет, благодарю вас, у меня есть своя, — ответила маска.

— Тогда прикажите подать ее.

— С вашего разрешения, мы будем не более горды, чем Магомет со своей горой, и, так как моя карета не может подъехать к нам, мы сами подойдем к моей карете.

При этих словах «летучая мышь» увлекла шевалье на улицу Сент-Оноре. На углу улицы Пьера Леско их ждала карета без гербов, запряженная двумя лошадьми темной масти. Кучер сидел на своем месте, закутанный в просторный плащ, скрывавший всю нижнюю часть лица, большая треугольная шляпа была надвинута на глаза. Выездной лакей одной рукой придерживал открытую дверцу кареты, а другой закрывал лицо носовым платком.

— Садитесь, — сказала маска.

Д'Арманталь с минуту колебался: эти двое неизвестных слуг без ливрей, которые, по-видимому, так же как их госпожа, старались сохранить инкогнито; эта коляска без всякого герба, без всякого вензеля; темное место, где она стояла; поздний час ночи — все внушало шевалье вполне естественное недоверие; но, рассудив, что он держит под руку женщину и что у него шпага на боку, он смело влез в карету. «Летучая мышь» села рядом, выездной лакей закрыл дверцу, и что-то щелкнуло наподобие ключа, дважды повернутого в замке.

— Ну что же мы не едем? — спросил шевалье, видя, что карета не трогается с места.

— Нам остается принять маленькую предосторожность, — сказала маска, вытаскивая из кармана шелковый носовой платок.

— Ах да, вы правы, — сказал д'Арманталь, — я и забыл. Вверяюсь вам. Завязывайте.

Незнакомка завязала ему глаза и, проделав это, сказала:

— Шевалье, дайте мне честное слово не сдвигать этой повязки, пока вы не получите разрешение снять ее совсем.

— Даю.

— Хорошо, — промолвила незнакомка и, приподняв переднее стекло, сказала, обращаясь к кучеру: — Поезжайте, куда следует, граф.

Экипаж помчался.

V. АРСЕНАЛ

Насколько оживленной была беседа на балу, настолько же полным было молчание, царившее во время пути. Приключение, которое вначале имело видимость любовной интриги, вскоре приобрело более серьезный характер и явно оборачивалось политической игрой. Если этот новый поворот и не пугал шевалье, то, во всяком случае, давал ему пищу для размышлений, и эти размышления были тем более глубокими, что д'Арманталь не раздумал о том, что сделал бы он, если бы попал в подобное положение.

В жизни каждого человека наступает момент, решающий все его будущее. Но, как ни важен этот момент, он редко бывает расчетливо подготовлен и предопределен нашей волей; почти всегда на новый, неизведанный путь человека увлекает случай, подобный ветру, уносящему опавший лист, и, раз ступив на этот путь, человек вынужден подчиняться высшей силе и, думая, что следует свободно принятому решению, всегда остается рабом обстоятельств и игрищем событий.

Так было и с шевалье. Мы уже видели, каким образом он попал в Версаль и как если не симпатия, то выгода и даже благодарность должны были связать его с домом старого короля. Д'Арманталь не высчитывал поэтому, чего больше — добра или зла — причинила Франции госпожа Ментенон; он не размышлял над вопросом, имел ли Людовик XIV право или власть узаконить своих побочных детей, не взвешивал на весах генеалогии притязания герцога дю Мена и герцога Орлеанского. Он понял инстинктом, что должен посвятить всю жизнь тем, кто вывел его из безызвестности и привел к славе. И когда умер старый король и д'Арманталь узнал, что его последней волей было, чтобы регентство получил герцог дю Мен, когда эта последняя воля монарха была попорана парламентом, он счел узурпацией приход к власти герцога Орлеанского и в уверенности, что возникнет вооруженное движение против этой власти, стал ждать, чтобы где-нибудь во Франции развернулось знамя, под которое он мог бы встать, повинувшись голосу совести.

Но, к его великому удивлению, ничего подобного не произошло. Испания, столь заинтересованная в том, чтобы во главе французского правительства стояла особа, настроенная к ней дружественно, даже не выразила протеста. Герцог дю Мен, устав от борьбы, длившейся, впрочем, всего один день, снова отступил в тень, откуда он вышел, по-видимому, против

собственной воли. Граф де Тулуз, мягкий, добрый, миролюбивый и почти стыдившийся милостей, которыми были осыпаны он и его старший брат, не давал даже повода заподозрить, что он может когда-нибудь возглавить партию. Жалкая оппозиция маршала де Вильруа ограничивалась мелкими уколами, в ней не было ни плана, ни расчета. Виллар не шел ни к кому, а явно ждал, чтобы пришли к нему. Д'Юксель примкнул к новому двору и принял пост министра иностранных дел. Герцоги и пэры набрались терпения и льстили регенту в надежде, что он отнимет, как обещал, у герцогов дю Мен и де Тулуз привилегии, которыми те пользовались по воле Людовика XIV. Наконец, в самом правительстве герцога Орлеанского чувствовались нелады, недовольство, оппозиция, но все это было неосознано, незримо, рассеяно. Нигде не имелось ядра, вокруг которого можно было бы объединиться, нигде не проявлялась воля, которой можно было бы подчинить свою. Повсюду были шум и оживление. Во всем обществе сверху донизу царила жажда удовольствий, заменявших счастье. Вот что увидел д'Арманталь, вот что заставило его вложить в ножны уже наполовину обнаженную шпагу. Шевалье полагал, что он видит выход из теперешнего положения. Однако он был убежден, что задуманное им останется лишь в его голове, ибо те, кто больше всего был заинтересован в результате, о котором он мечтал, считали план его настолько неосуществимым, что даже не пытались чем-либо помочь.

Но с момента когда выяснилось, что он ошибался, что под видимостью смеха и веселья готовится что-то тайное, а беззаботность — лишь завеса, скрывающая работу ради намеченной цели, его настроение совершенно изменилось. Надежда, которую он считал умершей, но которая на самом деле лишь дремала, теперь рисовала ему картины более соблазнительные, чем ему представлялись когда-либо раньше. Предложение сделанное ему только что, пусть и заключающее в себе преувеличение; будущее, обещанное ему, пусть невероятное — все это возбуждало его воображение. Ведь в двадцать шесть лет способность уноситься в мечтах — необычайный обольститель: это архитектор воздушных замков, это фея золотых мечтаний, королева безграничной державы. И хотя исполинские расчеты воображения покоятся лишь на сыпучем песке, оно видит их уже осуществившимися, как если бы основой их была неколебимая земная твердь.

Хотя экипаж ехал уже около получаса, шевалье это время ничуть не показалось долгим: он был так поглощен своими размышлениями, что можно было и не завязывать ему глаза — он все равно не заметил бы, по каким улицам его везли. Наконец колеса гулко загромыхали, как это бывает, когда экипаж проезжает под сводами арки, заскрипела решетка, которую открыли, чтобы впустить карету, и почти тотчас, описав круг, она остановилась.

— Шевалье, — сказала д'Арманталю его провожатая, — если вы передумали, еще не поздно вернуться назад; если же, напротив, вы не изменили решения, пойдемте.

Вместо ответа д'Арманталь протянул руку. Выездной лакей открыл дверцу кареты; незнакомка сначала вышла сама, потом помогла выйти д'Арманталю. Вскоре он почувствовал под ногами лестницу. Насчитав шесть ступенек, поднялся на крыльцо и по-прежнему с завязанными глазами в сопровождении дамы в маске пересек вестибюль, прошел по коридору и вошел в комнату. Тут до него донесся шум отъезжавшего экипажа.

— Вот мы и пришли, — сказала незнакомка. — Вы помните наши условия, шевалье? Вы вольны принять или отвергнуть роль, предназначенную вам в той пьесе, которая вскоре должна разыграться, но в случае отказа вы клятвенно обещаете никому не говорить ни единого слова о том, кого вы сейчас увидите и что вы услышите. Не так ли?

— Клянусь в этом честью! — ответил шевалье.

— Тогда садитесь, подождите в этой комнате и не снимайте повязки до тех пор, пока не услышите, как пробьет два часа. Будьте спокойны, вам уже не долго ждать.

С этими словами провожатая шевалье отошла от него; дверь открылась и снова закрылась. Почти сразу же вслед за тем пробило два часа, и шевалье сорвал с глаз повязку.

Он оказался один в самом чудесном будуаре, какой только можно вообразить: это была маленькая восьмиугольная комната, в которой все стены были обтянуты лиловато-серебристым китайским шелком, со штофной мебелью и портьерами; восхитительные столики и этажерки работы Буля были сплошь уставлены великолепными китайскими безделушками, пол покрыт персидским ковром, а потолок расписан Ватто, который становился

в то время модным художником. При виде этого будуара шевалье едва мог поверить, что его позвали по важному делу, и чуть не вернулся к своим первоначальным предположениям.

В эту минуту открылась дверь, скрытая портьерой, и вошла женщина, которую д'Арманталь в своем фантастическом расположении духа готов был принять за фею — так она была миниатюрна, стройна и изящна. Ее прелестное шелковое платье жемчужно-серого оттенка было усеяно букетами, вышитыми так искусно, что на расстоянии трех шагов их можно было принять за живые цветы; воланы, рукава и банты были из английского кружева, а застежки — из жемчуга с бриллиантовыми аграфами.

Лицо ее скрывала полумаска из черного бархата с кружевной вуалью того же цвета.

Д'Арманталь почтительно поклонился, ибо было нечто царственное в походке и осанке этой женщины. Теперь он понял, что первая незнакомка была лишь ее посланницей.

— Сударыня, — сказал он, — не перенесся ли я в самом деле, как начинаю верить, с земли, обитаемой людьми, в мир духов и не вижу ли я перед собой могущественную фею, которой принадлежит этот прекрасный дворец?

— Увы, шевалье, — ответила дама в маске нежным, но вместе с тем твердым и решительным голосом, — я вовсе не могущественная фея, а, напротив, бедная принцесса, преследуемая волшебником, который похитил у меня корону и жестоко угнетает мое королевство. Поэтому, как видите, я повсюду ищу храброго рыцаря, который освободил бы меня. И ваша громкая слава побудила меня обратиться к вам.

— Если нужна жизнь моя, чтобы вернуть вам ваше бывшее могущество, — сказал д'Арманталь, — произнесите одно только слово, сударыня, и я с радостью поставлю ее на карту. Кто этот волшебник, с которым надо сразиться? Кто этот гигант, которому надо снести голову? Поскольку вы среди всех избрали меня, я буду достоин чести, которую вы мне оказали. С этой минуты я клянусь служить вам, хотя бы это меня погубило.

— Во всяком случае, шевалье, вы погибнете в хорошем обществе, — сказала неизвестная дама, развязывая тесемки своей маски и открывая лицо, — ибо вы погибнете вместе с сыном Людовика XIV и внучкой великого Конде.

— Герцогиня дю Мен! — вскричал д'Арманталь, преклоняя колено. — Да простит мне ваше высочество, если, не зная, кто вы, я сказал что-нибудь такое, что не согласуется с моим глубоким почтением к вам.

— Вы сказали лишь то, что должно внушать мне гордость и признательность, шевалье. Но, быть может, вы раскаиваетесь в этом? В таком случае вы свободны и можете взять назад свое слово.

— Избави меня Бог, сударыня, чтобы, имея счастье отдать свою жизнь служению столь великой и благородной принцессе, как вы, я оказался таким презренным человеком, что лишил бы себя сам величайшей чести, о которой мог когда-нибудь помышлять! Нет, сударыня, напротив, примите всерьез то, что я только что предложил вам шутя, то есть, мою шпагу и жизнь.

— Идемте, шевалье, — сказала герцогиня дю Мен с чарующей улыбкой, которая давала ей такую власть над всеми, кто ее окружал. — Я вижу, что барон де Валеф отнюдь не ввел меня в заблуждение на ваш счет и что вы именно таковы, как он о вас говорил. Идемте же, я вас представлю моим друзьям.

Герцогиня дю Мен первой вышла из комнаты. Д'Арманталь последовал за ней, еще ошеломленный всем, что произошло, но твердо решив, наполовину из гордости, наполовину по убеждению, не идти на попятный.

Дверь выходила в тот самый коридор, по которому провела д'Арманталь его первая спутница. Госпожа дю Мен и шевалье прошли несколько шагов, и герцогиня открыла дверь в салон, где их ждали четверо других лиц. Это были кардинал де Полиньяк, маркиз де Помпадур, господин де Малезье и аббат Бриго. Кардинал де Полиньяк слыл возлюбленным госпожи дю Мен. Это был красивый прелат лет сорока — сорока пяти, всегда изысканно одетый, с елеинным голосом, ледяным лицом и робким сердцем, скупаемый честолюбием, над которым, однако, неизменно брала верх его слабохарактерность, удерживавшая его позади всякий раз, когда надо было идти вперед. Добавим, что он принадлежал к знатному роду, был весьма учен для кардинала и весьма просвещен для вельможи.

Господин де Помпадур, человек лет сорока пяти или пятидесяти, был приставлен когда-то к особе дофина, сына Людовика XIV, и питал с тех пор столь горячую любовь и столь благоговейное почтение ко всей семье великого короля, что, будучи не в силах без глубокой скорби видеть, как регент готовится объявить войну Филиппу V, душой и телом предался партии герцога дю Мена. Сверх того, гордый и бескорыстный, он явил весьма редкий в то время пример честности и прямодушия, отослав назад регенту свою и своей жены пенсионные грамоты и отвергнув от своего имени и от имени зятя, маркиза де Курсийона, одну за другой все должности, которые им предлагались.

Господину де Малезье было лет шестьдесят — шестьдесят пять. Сенешаль Домба и сеньор Шатне, он был обязан этим двойным титулом признательности герцога дю Мена, которого он воспитывал. Поэт, музыкант, автор маленьких комедий, которые он сам разыгрывал с бесконечным остроумием, рожденный для бездеятельной интеллектуальной жизни, всегда поглощенный заботами об удовольствии всех, и в особенности о счастье госпожи дю Мен, в привязанности к которой он доходил до обожания, это был тип сибарита XVIII века.

Но, как сибариты, увлеченные красотой Клеопатры, последовали за ней в Аквиум и добровольно погибли вокруг нее, так и он бы пошел в огонь и в воду за своей дорогой Бенедиктой и по ее первому слову без колебаний, без промедления и, я бы даже сказал, почти без сожаления бросился бы вниз с высоты башен собора Парижской Богоматери.

Аббат Бриго был сыном лионского негоцианта. Его отцу, тесно связанному коммерческими интересами с испанским двором, в свое время было поручено как бы по собственному почину прощупать почву относительно брака между молодым Людовиком XIV и инфантой Марией-Терезой Австрийской. Если бы его предложения были дурно приняты, послы Франции дезавуировали бы их, и все было бы кончено; но они были приняты благосклонно, и послы подтвердили их. Бракосочетание совершилось, и, так как маленький Бриго родился примерно в то же время, что и великий дофин, его отец попросил о том, чтобы в виде награды сын короля был крестным отцом его сына, на что последовало милостивое согласие. Кроме того, молодой Бриго получил место при особе дофина, где и познакомился с маркизом де Помпадур, который, как мы уже сказали, был приставлен к наследному принцу. Достигнув возраста, когда избирают поприще, Бриго поступил в конгрегацию ораторианцев и вышел оттуда аббатом. Это был хитрый, ловкий, честолюбивый человек, которому, однако, как это бывает даже с величайшими гениями, не представлялось случая сделать карьеру. За некоторое время до описываемых событий он встретил маркиза де Помпадур, искавшего умного и изворотливого человека, который мог бы быть секретарем госпожи дю Мен. Он предложил Бриго занять эту должность, объяснив ему, какой риск связан с нею в подобный момент. Тот взвесил благоприятные и противные шансы и, так как первые преобладали над вторыми, согласился.

Д'Армантадь был лично знаком только с маркизом де Помпадур, которого часто встречал у господина де Курсийона, дальнего родственника или свойственника д'Армантадей.

Господин де Полиньяк, господин де Помпадур и господин де Малезье беседовали, стоя возле камина; аббат Бриго сидел за столом, разбирая бумаги.

— Господа, — сказала, входя герцогиня дю Мен, — вот храбрый воин, о котором говорил нам барон де Валеф и которого привезла ваша дорогая де Лонэ, господин Малезье. Если его имя и его прошлое для вас недостаточная рекомендация, то я сама буду его поручительницей.

— Раз его так представляет ваше высочество, — сказал Малезье, — мы будем видеть в нем не только соратника, но и настоящего вождя, за которым готовы последовать, куда бы он нас ни повел.

— Дорогой д'Армантадь, — сказал маркиз де Помпадур, протягивая руку молодому человеку, — мы с вами и без того были почти родственниками, теперь же мы будем братьями.

— Добро пожаловать, сударь, — сказал кардинал де Полиньяк своим обычным елейным тоном, который так контрастировал с холодным выражением лица.

Аббат Бриго поднял голову и змеиным движением повернул ее к шевалье, уставившись на д'Арманталя блестящими рысьими глазами.



— Господа, — сказал д'Арманталь, ответив поклоном каждому из них, — я человек неискушенный и новый среди вас, а главное, не имею представления о том, что происходит и чем я могу быть вам полезен. Но если я связал себя словом всего лишь несколько минут назад, то уже много лет предан делу, ради которого мы собрались. Прошу вас поэтому оказать мне доверие, о чем так милостиво ходатайствовала за меня ее светлейшее высочество. После этого я попрошу лишь поскорее дать мне случай доказать вам, что я достоин его.

— В добрый час! — воскликнула герцогиня дю Мен. — Да здравствуют военные, они идут прямо к цели! Нет, господин д'Арманталь, у нас нет от вас тайн; а случай, о котором вы просите и который поставит каждого на его истинное место, надеюсь, не заставит себя ждать.

— Простите, герцогиня, — вмешался кардинал, теребя свои кружевные брыжи, — но вы говорите так, что шевалье может подумать, как будто речь идет о заговоре.

— А о чем же еще идет речь, кардинал? — нетерпеливо спросила герцогиня дю Мен.

— Речь идет, — сказал кардинал, — о совете, правда тайном, но отнюдь не предосудительном, на котором мы ищем средства устранить бедствия государства и просветить Францию насчет ее подлинных интересов, напомнив ей последнюю волю короля Людовика Четырнадцатого.

Послушайте, кардинал, — сказала герцогиня, топнув ногой, — вы меня уморите вашими разглагольствованиями!.. Шевалье, — продолжала она, поворачиваясь к д'Арманталю, — не слушайте его преосвященство — он в эту минуту, верно, думает о своем «Анти-Лукреции».



— Если бы речь шла о простом совете, то при блестящем уме его преосвященства мы справились бы с делом сами и не нуждались бы в вас. Речь идет о самом настоящем заговоре против регента — заговоре, в котором участвует король Испании, участвует кардинал Альберони, участвует герцог дю Мен, участвую я, участвует маркиз де Помпадур, участвует господин де Малезье, участвует аббат Бриго, участвует де Валеф, участвуете вы, участвует сам господин кардинал, участвует первый президент, будет участвовать половина парламента и три четверти Франции! Вот о чем идет речь, шевалье... Вы довольны, кардинал? Вам ясно, господа?

— Сударыня, — прошептал Малезье, складывая руки более набожным жестом, чем если бы он возносил молитву Непорочной деве.

— Нет, посмотрите только на Малезье! — продолжала герцогиня. — До чего он изводит меня своими неуместными увещаниями! Бог мой, стоит ли быть мужчиной, чтобы вечно топтаться на месте да оглядываться по сторонам!.. Что до меня, то я не прошу у вас шпаги, я не прошу у вас кинжала, пусть мне дадут только кол, и я, женщина, к тому же почти карлица, пойду как новая Иаиль, поразить им в висок этого Сисару. Тогда все будет кончено, и, если я потерплю неудачу, только я одна и буду скомпрометирована.

Кардинал де Полиньяк тяжело вздохнул, Помпадур расхохотался, Малезье попытался успокоить герцогиню, аббат Бриго опустил голову и принялся писать, как будто ничего не слышал.

Что касается д'Арманталя, то ему хотелось поцеловать край платья госпожи дю Мен, настолько эта женщина казалась ему выше окружающих ее четырех мужчин.

В эту минуту снова послышался шум экипажа, въехавшего во двор и остановившегося у

крыльца. Тот, кого здесь ждали, был, без сомнения, важной особой, потому что воцарилась тишина и герцогиня дю Мен в нетерпении сама пошла открывать дверь.

— Ну? — проговорила она.

— Вот он, — слышалось из коридора.

И д'Арманталю показалось, что он узнал голос «летучей мыши».

— Входите же, входите, принц! — сказала герцогиня. — Входите, мы вас ждем.

VI. ПРИНЦ ДЕ СЕЛЛАМАРЕ

На это приглашение вошел закутанный в плащ высокий, худощавый мужчина с загорелым лицом и важной, величавой осанкой; одним взглядом он окинул все, что было в комнате, — и людей и вещи. Шевалье узнал посла их католических величеств — принца де Селламаре.

— Ну, принц, — спросила герцогиня, — что скажете нового?

— Я скажу, сударыня, — ответил принц, почтительно целуя ей руку и бросая свой плащ на кресло, — я скажу, что вашему светлейшему высочеству надо бы сменить кучера. Я предрекаю вам несчастье, если вы будете держать у себя на службе шалопая, который привез меня сюда. По всему видно, что он подкуплен регентом, чтобы сломать шею вашему высочеству и вашим друзьям.

Все громко рассмеялись, и в особенности сам кучер, который без церемоний вошел в комнату вслед за принцем. Он бросил свою накидку и шляпу на стул, стоявший рядом с тем креслом, на котором принц де Селламаре оставил свой плащ, и оказался видным мужчиной лет тридцати пяти — сорока, у которого всю нижнюю часть лица скрывал подбородник из черной тафты.

— Вы слышите, дорогой Лаваль, что говорит о вас принц? — спросила герцогиня.

— Да, да, — сказал граф де Лаваль. — Стоит давать ему в услужение Монморанси, чтобы он с ним так обращался! Ах, вот как, господин принц, первые христианские бароны не годятся вам в кучера? Вы привередливы, черт возьми! Много у вас в Неаполе таких кучеров, которые ведут свою родословную от Роберта Сильного?

— Как, это вы, дорогой граф? — сказал принц, протягивая ему руку.

— Собственной персоной, принц. Герцогиня отправила своего кучера провести праздник в своей семье и на эту ночь взяла меня к себе на службу. Она решила, что так будет вернее.

— И прекрасно сделала, — сказал кардинал де Полиньяк. — Никакие предосторожности не лишни.

— Да, конечно, ваше преосвященство! — сказал Лаваль. — Хотел бы я знать, остались ли бы вы при том же мнении, если бы провели полночи на козлах экипажа для того, чтобы сначала поехать за д'Арманталем на бал в Оперу, а потом за принцем в отель Кольбер?

— Как, — сказал д'Арманталь, — это вы, граф, были так добры...

— Да, это я, молодой человек, — ответил Лаваль. — И я отправился бы на край света, чтобы привезти вас сюда, потому что я вас знаю. Вы храбрец! Ведь это вы одним из первых вступили в Денен и взяли в плен Олбермерля. Вам посчастливилось, вы не оставили там половину челюсти, как это случилось со мною в Италии, и хорошо сделали, потому что это было бы лишним поводом отнять у вас полк, который, впрочем, у вас и без того отняли.

— Мы вернем вам все, граф, будьте спокойны, и вернем сторицей... — сказала герцогиня. — Но сейчас поговорим об Испании. Принц, мне сказал Помпадур, что вы получили известия от Альберони.

— Да, ваше высочество.

— Каковы же они?

— Одновременно и хорошие и дурные. У его величества Филиппа обычный приступ меланхолии, и его нельзя склонить ни к какому решению. Он не может поверить в договор Четверного союза.

— Он не может в него поверить! — вскричала герцогиня. — а между тем этот договор должен быть подписан сегодня же ночью, и через неделю Дюбуа привезет его сюда!

— Я это знаю, ваше высочество, — холодно сказал Селламаре, — но его католическое величество этого не знает.

— Значит, он предоставляет нас самим себе?

— Пожалуй, что так.

— Но что же тогда делает королева и к чему сводятся все ее прекрасные обещания и та власть, которую она будто бы имеет над своим мужем?

— Она обещает, мадам, — ответил принц, — дать вам доказательства этой власти, как только что-то будет нами сделано.

— Да, — сказал кардинал де Полиньяк, — а потом она не сдержит слова.

— Нет, ваше преосвященство, я за нее ручаюсь.

— Во всем этом мне ясно одно, — сказал Лаваль. — Нужно скомпрометировать короля. Тогда он решится!

— Вот-вот! — сказал Селламаре. — Мы подходим к сути дела.

— Но как его скомпрометировать на расстоянии пятисот льё, не имея ни письма от него, ни хотя бы устного послания? — спросила герцогиня дю Мен.

— Разве у него нет своего представителя в Париже и разве этот представитель сейчас не у вас, сударыня?

— Послушайте, принц, — сказала герцогиня, — у вас, верно, более широкие полномочия, чем вы хотите показать.

— Нет. Я уполномочен лишь сказать вам, что Толедская цитадель и Сарагосская крепость в вашем распоряжении. Найдите средство ввести туда регента, и их католические величества так надежно запрут за ним дверь, что он уже не выйдет оттуда, за это я вам отвечаю!

— Это невозможно, — сказал кардинал де Полиньяк.

— Почему невозможно?! — воскликнул д'Арманталь. — Напротив, нет ничего проще, и в особенности при той жизни, которую ведет регент. Что для этого нужно? Восемь или десять храбрых людей, закрытая карета и перекладные до Байонны.

— Я уже предлагал взять это на себя, — сказал Лаваль.

— И я тоже, — сказал Помпадур.

— Вам нельзя, — сказала герцогиня. — Регент вас знает. И если вы потерпите неудачу, ему будет известно, кто был замешан в это дело, а тогда вы погибнете!

— Очень жаль, — холодно сказал Селламаре, — потому что по прибытии в Толедо или Сарагосу того, кто доставит туда регента, ждет титул испанского гранда.

— А по возвращении в Париж — голубая лента, — добавила герцогиня дю Мен.

— О, не продолжайте, умоляю вас, Сударыня! — сказал д'Арманталь. — Потому что, если ваше высочество будет говорить подобные вещи, преданность примет вид честолубия, которое отнимет у нее всякую цену. Я хотел предложить себя для этого предприятия, ведь регент меня не знает, а теперь я уже колеблюсь. И все же осмелюсь сказать, что считаю себя достойным доверия вашего высочества и способным его оправдать.

— Как, шевалье? — воскликнула герцогиня. — Вы готовы рисковать...

— Моя жизнь — вот все, чем я могу рисковать. Мне казалось, что я уже предложил ее вашему высочеству и что ваше высочество ее приняло. Не ошибся ли я?

— Нет, нет, шевалье, — с живостью сказала герцогиня, — вы храбрый и верный дворянин! Бывают предчувствия, я всегда в это верила. И с той минуты, когда Валеф произнес ваше имя, отозвавшись о вас, как вы того заслуживаете, я решила, что с вами придет к нам удача... Господа, вы слышите, что говорит шевалье. Чем вы можете ему помочь?

— Всем, чем угодно, — сказали Лаваль и Помпадур.

— Сундуки их католических величеств в его распоряжении, — сказал принц Селламаре, — и он может, не стесняясь, черпать из них.

— Благодарю вас, господа, — сказал д'Арманталь, поворачиваясь к графу де Лаваль и к маркизу де Помпадур, — но при вашей известности вы своим участием лишь затруднили бы мою задачу. Позаботьтесь только о том, чтобы достать мне паспорт для въезда в Испанию, из которого явствовало бы, что мне поручено доставить туда важного узника. Это, должно быть, нетрудно.

— Это я беру на себя, — сказал аббат Бриго. — Я получу у господина д'Аржансона готовый бланк, который надо будет только заполнить.

— Посмотрите-ка на нашего дорогого Бриго, — сказал Помпадур. — Он говорит редко,

но хорошо.

— Вот кому следовало бы быть кардиналом, — сказала герцогиня. — Скорее, чем некоторым известным мне сановникам. Но поверьте, господа, когда мы будем располагать голубыми лентами и красными мантиями, мы не поскупимся на них для наших друзей. А теперь, шевалье, вы слышали, что сказал принц: если вы нуждаетесь в деньгах...

— К сожалению, я не так богат, чтобы отказаться от предложения его превосходительства, — сказал д'Арманталь. — И, когда я исчерпаю ту тысячу пистолей, которая у меня, пожалуй, наберется, мне в самом деле придется прибегнуть к вам.

— К нему, ко мне, ко всем нам, шевалье, потому что каждый при подобных обстоятельствах должен обложить себя налогом в соответствии со своими средствами. У меня мало наличных денег, но много брильянтов и жемчуга, так что, прошу вас, не отказывайте себе ни в чем. Не все столь бескорыстны, как вы, и есть люди, чью преданность можно купить лишь ценой золота.

— Но, сударь, — сказал кардинал, — хорошо ли вы подумали, в какое дело ввязываетесь? А если вас схватят?

— Не беспокойтесь, ваше преосвященство, — презрительно ответил д'Арманталь, — у меня достаточно причин быть в обиде на регента, так что, если меня схватят, будет решено, что это личное дело между мной и им и что я мстил только за себя самого.

— Но все же в этом предприятии вам нужно бы иметь помощника, — сказал граф де Лаваль, — человека, на которого вы могли бы положиться. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Пожалуй, да, — ответил д'Арманталь. — Надо только, чтобы мне сообщали каждое утро, что регент будет делать вечером. У принца де Селламаре, как посла, должно быть, есть своя тайная полиция.

— Да, — смущенно сказал принц, — есть некие лица, которые меня осведомляют...

— Именно это я и имел в виду, — сказал д'Арманталь.

— Где вы живете? — спросил кардинал.

— У себя дома, ваше преосвященство, — ответил д'Арманталь. — На улице Ришелье, номер семьдесят четыре.

— А давно вы там живете?

— Три года.

— Тогда вас там слишком хорошо знают, сударь, и вам надо сменить квартиру. У вас в доме известно, кого вы принимаете, и когда появятся новые лица, это вызовет подозрения.

— На этот раз вы правы, ваше преосвященство, — сказал д'Арманталь. — Я найду себе новую квартиру в каком-нибудь глухом и отдаленном квартале.

— Я беру это на себя, — сказал Бриго. — Платье, которое я ношу, не внушает подозрений. Я найму квартиру якобы для молодого человека из провинции, которого мне рекомендовали и который должен приехать, чтобы получить какую-нибудь должность в министерстве.

— Поистине, дорогой Бриго, — сказал маркиз де Помпадур, — вы похожи на принцессу из «Тысячи и одной ночи», которая не могла раскрыть рта, чтобы из него не посыпались жемчужины.

— Ну что ж, по рукам, господин аббат, — сказал д'Арманталь. — Я полагаюсь на вас и сегодня же объявлю у себя дома, что уезжаю из Парижа на три месяца.

— Итак, значит, все решено? — радостно сказала герцогиня дю Мен. — В первый раз нам ясно, как обстоят наши дела, и все благодаря вам, шевалье. Я этого не забуду.

— Господа, — сказал Малезье, вынимая часы, — я обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что сейчас четыре часа утра и что мы смертельно утомили нашу дорогую герцогиню.

— Вы ошибаетесь, сенешаль, — ответила герцогиня. — Такие ночи доставляют облегчение. Я давно уже так не отдыхала душой.

— Принц, — сказал Лаваль, беря свою накидку, — вам придется удовольствоваться тем кучером, которого вы советовали выставить за дверь, если только вы не предпочитаете править лошадьми сами или идти пешком.

— О нет, — сказал принц, — я рискну поехать с вами. Ведь я неаполитанец и верю в

приметы. Если вы меня вывалите, это будет знаком, что нам пока лучше ничего не предпринимать, если же вы благополучно доставите меня куда следует, это будет означать, что мы можем действовать.

— Помпадур, вы отвезете господина д'Арманталя, — сказала герцогиня.

— Охотно, — ответил маркиз. — Мы давно не виделись, и нам нужно многое рассказать друг другу.

— Не могу ли я проститься с моей остроумной «летучей мышью»? — спросил д'Арманталь. — Ведь я не забыл, что это ей я обязан счастьем предложить свои услуги вашему высочеству.

— Де Лонэ! — сказала герцогиня, провожая до двери принца де Селламаре и графа де Лаваль. — Де Лонэ!.. Знаете, шевалье д'Арманталь утверждает, что вы самая большая чародейка, какую он когда-либо видел.

— Ну как, — улыбаясь, сказала та, которая оставила потом под именем мадам де Сталь столь очаровательные мемуары, — верите ли вы теперь в мои пророчества, господин шевалье?

— Верю, потому что надеюсь, — ответил шевалье. — Но теперь, когда я знаю фею, которая вас прислала, меня всего более удивляет не ваше предсказание насчет моего будущего, а то, как вы могли быть столь хорошо осведомлены о моем прошлом и в особенности о настоящем.

— Полно, де Лонэ, — сказала со смехом герцогиня, — будь добра к нему и не мучай его больше, не то он подумает, что мы с тобой волшебницы, и будет нас бояться.

— Не покинул ли вас сегодня утром в Булонском лесу кто-нибудь из ваших друзей, шевалье, чтобы поехать проститься с нами? — спросила мадемуазель де Лонэ.

— Валеф! Это Валеф! — вскричал д'Арманталь. — Теперь я понимаю!

— Ну вот, наконец-то! — сказала герцогиня дю Мен. — На месте Эдипа вы были бы уже десять раз съедены Сфинксом.

— Ну а математика, Вергилий, анатомия? — возразил д'Арманталь.

— Разве вы не знаете, — сказал Малезье, вмешиваясь в разговор, — что мы называем ее не иначе как нашей ученой, за исключением, впрочем, де Шолье, который зовет ее кокеткой и плутовкой, но только в виде поэтической вольности.

— Еще бы! — прибавила герцогиня. — Мы стравили ее как-то с Дювернуа, нашим медиком, и она побила его по части анатомии!

— Поэтому, — сказал маркиз де Помпадур, беря под руку д'Арманталя, чтобы увести его, — почтенный лекарь, разуверившись в своей учености, заявил, что эта девушка лучше всех во Франции знает человеческое тело.

— Вот первый ученый, который позволил себе сострить, — собирая свои бумаги, сказал аббат Бриго. — Правда, сам того не подозревая.

Д'Арманталь и Помпадур, простившись с герцогиней, со смехом вышли в сопровождении аббата Бриго, который рассчитывал на их экипаж, чтобы не возвращаться домой пешком.

— Ну, — сказала госпожа дю Мен, обращаясь к кардиналу де Полиньяк, — задержавшемуся вместе с Малезье после ухода остальных. — Находите ли вы по-прежнему, ваше преосвященство, что так ужасно состоять в заговоре?

— Сударыня, — ответил кардинал, не понимавший, как можно шутить, когда рискуешь головой, — я задам вам этот вопрос, когда все мы будем в Бастилии.

И он ушел вместе с добрым сенешалем, оплакивая свою злосчастную судьбу, по воле которой он оказался замешан в столь безрассудное предприятие.

Герцогиня дю Мен посмотрела ему вслед с презрением, которое не в силах была скрыть, и, оставшись наедине с мадемуазель де Лонэ, сказала ей радостно:

— Дорогая Софи, погасим наш фонарь, потому что, мне кажется, мы наконец нашли человека!

VII. АЛЬБЕРОНИ

Когда шевалье проснулся, ему показалось, что все случившееся с ним было сном. В последние тридцать шесть часов события сменялись с такой головокружительной быстротой,

словно д'Арманталь подхватил вихрь, унося Бог весть куда. Только теперь, оказавшись наедине с самим собой, он мог поразмыслить над прошлым и будущим.

Мы живем в эпоху, когда каждый может рассказать о себе, что он в большей или меньшей степени участвовал в заговорах. Мы знаем, следовательно, по собственному опыту, как все происходит в подобных случаях. После того как в порыве воодушевления человек взял на себя обязательство, первое чувство, которое он испытывает, бросая взгляд на свое новое положение, — это чувство сожаления, что он зашел так далеко, потом мало-помалу он свыкается с мыслью о грозящих ему опасностях; услужливое воображение устраняет их из поля зрения и ставит на их место честолюбивые и достижимые цели. Вскоре к этому примешивается гордость: человек понимает, что стал вдруг тайной силой в государстве, где еще вчера был ничем; он с презрением проходит мимо тех, кто живет обыденной жизнью, выше держит голову, горделивее смотрит вокруг, убаюкивает себя мечтами, засыпает, витая в облаках, и в одно прекрасное утро просыпается победителем или побежденным, поднятый на щит народом или размолотый шестернями той машины, которая зовется правительством.

Так было и с д'Арманталем. В то время, когда он жил, Лига еще не скрылась за историческим горизонтом, а Фронда была недавним прошлым, едва иссякло одно поколение с тех пор, как пушки Бастилии поддерживали мятеж великого Конде. Правда, на протяжении жизни этого поколения всю сцену занимал Людовик XIV, всем правила его могучая воля. Но теперь Людовика XIV уже не было, и его внуки думали, что в том же театре, с помощью тех же механизмов они смогут разыграть тот же спектакль, что и их отцы.

В самом деле, как мы уже сказали, после нескольких минут размышления д'Арманталь увидел вещи в том же свете, что и накануне, и снова порадовался тому, что сразу занял первое место среди столь высоких особ, как Монморанси и Полиньяк. От своих предков, именно потому, что они всегда жили в провинции, он унаследовал столь характерную для эпохи Людовика XIII рыцарскую отвагу, которую Ришелье не смог целиком уничтожить на эшафотах, а Людовик XIV — подавить в прихожих. Для молодого человека было нечто романтическое в том, чтобы встать под знамя женщины, и в особенности если эта женщина — внучка великого Конде. К тому же в двадцать пять лет так мало дорожат жизнью, что ежечасно рискуют ею из-за вещей куда более пустых, чем предприятие, главой которого стал д'Арманталь.

Поэтому он решил, не теряя времени, принять все меры к тому, чтобы выполнить данные им обещания. Он не скрывал от себя, что с этого момента уже не принадлежит себе самому и что на него обращены взоры всех заговорщиков, начиная с Филиппа V и кончая аббатом Бриго. Отныне высшие интересы были связаны с его волей, и от его мужества и осторожности зависели судьбы королевств и мировая политика.

В самом деле, регентство было в то время краеугольным камнем европейского здания. И Франция, не имея еще противовеса на севере, начинала приобретать, если не силой оружия, то, по крайней мере, дипломатией, то влияние, которое, к несчастью, ей не всегда потом удавалось сохранять. Расположенная в центре треугольника, образуемого тремя великими державами, устремившая взор на Германию и простершая одну руку к Англии, а другую — к Испании, готовая сохранять дружбу со всеми этими тремя государствами или обернуться недругом для одного из них, которое не будет относиться к ней сообразно с ее достоинством, Франция за последние полтора года, с того времени, как герцог Орлеанский пришел к власти, заняла исполненную спокойной силы позицию, какая не отличала ее никогда, и даже при Людовике XIV. Это было связано с борьбой различных интересов, к которой привели узурпация Вильгельма Оранского и вступление на престол Филиппа V. Верный своей ненависти к штатгальтеру Голландии, отказавшему ему в руке своей дочери, Людовик XIV постоянно поддерживал притязания Якова II, а после его смерти — шевалье де Сен-Жоржа. Верный своему семейному пакту с Филиппом V, он постоянно поддерживал своего внука, оказывая ему помощь людьми и деньгами в борьбе против императора, и, непрерывно ослабляемый этой двойной войной, которая стоила Франции столько крови и денег, в конце концов был вынужден подписать столь постыдный для него Утрехтский мир.

Но после смерти старого короля все изменилось, и регент усвоил не только новую, но и противоположную политику. Утрехтский мир был не более чем передышкой, прерванной, едва лишь политика Англии и Голландии перестала преследовать те же цели, что и французская

политика. Вследствие этого регент прежде всего протянул руку Георгу I. И 4 февраля 1717 года в Гааге был заключен договор о тройственном союзе, подписанный аббатом Дюбуа от имени Франции, генералом Кадоганом от имени Англии и главным пенсионарием Гейнзиусом от имени Голландии. Это был большой шаг вперед в деле умиротворения Европы, но не завершающий шаг. Противоречия Австрии и Испании по-прежнему оставались неразрешенными. Карл VI все еще не признавал Филиппа V королем Испании, а Филипп V, со своей стороны, не желал уступить ему права на те провинции испанской монархии, которые по Утрехтскому договору уступались императору в возмещение за трон Филиппа II.

Отныне регент думал только о том, чтобы путем дружеских переговоров склонить Карла VI к признанию Филиппа V королем Испании и принудить, если понадобится, силой Филиппа V отказаться от притязаний на провинции, переданные императору.

Именно с этой целью в тот самый момент, с которого мы начали наш рассказ, Дюбуа находился в Лондоне, добиваясь еще более ревностно, чем он подготавливал Гаагский договор, заключения договора о союзе четырех держав.

Этот договор, связывая воедино интересы Франции, Англии, Голландии и Империи, должен был нейтрализовать всякую претензию любого другого государства, которая не получила бы одобрения названных четырех держав. Этого и боялся больше всего на свете Филипп V или, вернее, кардинал Альберони; ибо что касается Филиппа V, то, коль скоро у него была жена и скамеечка для молитв, он совершенно не занимался тем, что происходило вне его комнаты и его часовни.

Совсем иначе обстояло дело с Альберони. Это был один из тех фаворитов, которые во все времена, словно из-под земли, вырастают вокруг тронов на удивление народам.

Его карьера была одной из тех причуд судьбы, которая возносит и сокрушает человека подобно гигантскому смерчу, что мчится по океану, грозя все уничтожить, и вдруг от камня, брошенного рукою последнего матроса, опадает, превращаясь в пар. Это была одна из тех лавин, которые угрожают поглотить города и засыпать долины только потому, что какая-то птица задела в полете снежный ком на вершине горы.

Было бы весьма любопытно проследить историю великих последствий, порожденных малыми причинами — от древних греков до наших дней.

Любовь Елены привела к Троянской войне и изменила судьбу Греции. Надругательство над Лукрецией изгнало Тарквиниев из Рима, ибо оскорбленный муж привел Бренна в Капитолий. Кава впустила мавров в Испанию. Плохонькая шутка, написанная на троне старого дожа молодым наглецом, едва не разрушила Венецию. Бегство Дерворгиллы с Мак-Мурхадом привело к порабощению Ирландии. Данный Кромвелю приказ сойти с корабля, на котором он вот-вот собирался отплыть в Америку, имел результатом казнь Карла I и падение Стюартов. Спор между Людовиком XIV и Лувуа по поводу одного из окон Трианона послужил причиной голландской войны. Стакан воды, пролитый миссис Мешем на платье, отнял командование у герцога Мальборо и спас Францию благодаря Утрехтскому миру. Наконец, Европа едва не была предана огню и мечу из-за того, что господин де Ван-дом увидел, что епископ Пармский сидит на его стульчаке.

Таков же был и источник карьеры Альберони.

Альберони родился в хижине садовника. Еще в детстве он стал звонарем, а в юности сменил холщовую блузу на сутану. Нрав у него был веселый и легкий. Однажды утром герцог Пармский услышал, как он смеется, да так заразительно, что бедный герцог, которому не всякий день доводилось смеяться, захотел узнать, что развеселило этого юношу, и велел позвать его. Альберони рассказал какую-то забавную историю. Она рассмешила его высочество, и герцог, заметив, что иногда не худо посмеяться, взял его к себе. Мало-помалу, забавляясь его рассказами, герцог нашел, что его шут не лишен ума, и понял, что ум этот может быть небесполезен в государственных делах. Между тем вернулся из своей поездки бедный епископ Пармский, весьма оскорбленный тем приемом, который ему оказал главнокомандующий французской армии. Обидчивость этого посланца могла поставить под удар интересы его высочества, помешав обсуждению важных вопросов, которые ему нужно было уладить с Францией. Его высочество счел, что Альберони, которого ничто не могло унижить, как раз такой человек, который ему нужен, и послал аббата завершить переговоры,

прерванные епископом.

Господин де Вандом, не посчитавшийся с епископом, тем более не стал церемониться с аббатом и принял второго посла его высочества так же, как и первого. Но, вместо того чтобы последовать примеру своего предшественника, Альберони нашел в преимущественном положении, в котором находился господин де Вандом, повод для столь забавных шуток и столь необычных восхвалений, что дело было тут же решено, и он вернулся к герцогу, уладив все согласно его желанию.

По этой причине герцог воспользовался им и для второго поручения. На сей раз, когда приехал Альберони, господин де Вандом собирался сесть за стол. Альберони, вместо того чтобы заговорить с ним о делах, попросил разрешения угостить его двумя блюдами собственного приготовления, спустился в кухню и вернулся оттуда, неся сырный суп в одной руке и макароны — в другой. Господину де Вандому суп так понравился, что он пригласил Альберони к столу — отведать это блюдо вместе с ним. За десертом Альберони завел разговор о своем деле и, воспользовавшись добрым расположением духа, в которое привел обед господина де Вандома, с вилкой в руке добился своего. Герцог был изумлен: самые талантливые люди, какие его окружали, никогда не одерживали такой победы.

Альберони поостерегся дать свой рецепт повару. Поэтому вскоре господин де Вандом сам запросил у герцога Пармского, не нужно ли ему обсудить с ним какое-нибудь дело. Его высочеству нетрудно было найти повод для нового посольства, и он опять послал Альберони. Аббат нашел способ убедить своего суверена в том, что он будет ему всего полезнее, находясь при господине де Вандоме, а господина де Вандома — в том, что тот не сможет жить без сырного супа и макарон. Поэтому господин де Вандом взял его к себе на службу, доверил ему самые секретные дела и в конце концов сделал его первым своим секретарем.

Вскоре господин де Вандом отправился в Испанию. Там Альберони завязал отношения с госпожой Юрсен. И, когда в 1712 году в Тиньяросе господин де Вандом умер, она предоставила аббату у себя ту же должность, какую он занимал у покойного. Это означало, что он поднялся еще выше. Впрочем, с самого начала своей карьеры Альберони непрестанно возвышался. Принцесса Юрсен начинала стареть — непростительное преступление в глазах Филиппа V. Она решила поэтому найти молодую женщину, которая могла бы заменить ему Марию Савойскую и через посредство которой она по-прежнему властвовала бы над королем. Альберони предложил ей для этой роли дочь своего бывшего владыки, изобразив ее как бесхарактерное и безвольное дитя, которое никогда не будет претендовать ни на что, кроме титула королевы. Принцесса Юрсен поверила этому обещанию, бракосочетание было решено, и молодая принцесса, покинув Италию, прибыла в Испанию.

Первым ее повелением был приказ арестовать принцессу Юрсен, вышедшую ей навстречу в придворном платье, и в десятиградусный мороз отправить ее в таком виде — в карете, стекло которой один из конвоиров разбил локтем, — сначала в Бургос, а потом во Францию, куда принцесса добралась, одолжив на дорогу пятьдесят пистолей у своих слуг. Кучер принцессы отморозил себе руку, которую пришлось отрезать.

После первой же беседы с Элизабет Фарнезе король Испании объявил Альберони, что отныне он первый министр.

С этого дня, благодаря молодой королеве, которая была ему обязана всем, бывший звонарь пользовался безграничной властью над Филиппом V.

И вот о чем мечтал Альберони, который, как мы уже сказали, всегда препятствовал Филиппу V признать Утрехтский мир: если заговор увенчается успехом, если д'Арманталю удастся похитить герцога Орлеанского и привезти его в Толедскую цитадель или в Сарагосскую крепость, Альберони добьется признания регентом герцога дю Мен, заставит Францию выйти из союза четырех держав, бросит флот под командованием шевалье де Сен-Жоржа к берегам Англии и приведет Пруссию, Швецию и Россию, с которыми у него есть договор о союзе, к столкновению с Голландией. Затем он воспользуется этой борьбой, чтобы отобрать у Империи Неаполь и Сицилию, обеспечит второму сыну короля Испании великое герцогство Тосканское, остающееся без властителя вследствие угасания рода Медичи, присоединит католические Нидерланды к Франции, отдаст Сардинию герцогам Савойским, Коммакьо — папе, Мантую — венецианцам, станет душой великой Лиги Юга,

противостоящей Северу, и, если Людовик XV умрет, сделает Филиппа V королем половины мира.

Надо признать, для «макаронника» это было неплохо задумано!

VIII. ЗНАКОМЫЙ НАМ ПАША

Осуществление всех этих планов зависело от молодого человека двадцати шести лет; неудивительно, что вначале его несколько испугала возложенная на него ответственность. Д'Арманталь был поглощен своими размышлениями, когда к нему вошел аббат Бриго. Тот уже успел позаботиться о будущем жилище шевалье и нашел ему на улице Утраченного Времени, номер пять, между улицами Гро-Шене и Монмартр, маленькую меблированную комнатку, подходящую для молодого человека из провинции, приехавшего в Париж искать счастья. Кроме того, он принес ему две тысячи пистолей от принца де Селламаре. Д'Арманталь хотел отказаться от них: ему казалось, что если он примет деньги, то станет как бы наемником, вместо того чтобы действовать, повинувшись лишь голосу совести или чувству преданности. Однако аббат Бриго дал ему понять, что в таком предприятии нужно располагать деньгами, чтобы побеждать щепетильность одних и покупать услуги других, и к тому же, если похищение удастся, д'Арманталю придется, не теряя ни минуты, отправиться в Испанию и, быть может, золотом проложить себе дорогу.

Бриго унес с собой полный костюм д'Арманталя, чтобы купить ему того же размера простое платье, подобающее молодому человеку, который домогается скромного места в министерстве. Аббат Бриго был поистине драгоценный человек.

Д'Арманталь провел остаток дня в приготовлениях к своему мнимому отъезду, не оставив на случай печального исхода событий ни одного письма, которое могло бы скомпрометировать кого-либо из его друзей; потом, когда стемнело, он направился на улицу Сент-Оноре, где надеялся узнать у Нормандки, как ему найти капитана Рокфинета.

В самом деле, как только с ним заговорили о помощнике в его предприятии, он подумал о своем случайном знакомом, который, будучи его секундантом, дал доказательство беспечной храбрости.

Д'Арманталю было достаточно бросить на него взгляд, чтобы распознать в нем одного из тех авантюристов, последних средневековых кондотьеров, всегда готовых продать свою кровь любому, кто даст за нее хорошую цену; после заключения мира они остаются не у дел и отдают свою шпагу, более не нужную государству, на службу частным лицам. У такого человека должны были быть темные связи с теми безымянными личностями, без которых не обходится ни один заговор и которые служат заговорщикам слепыми орудиями, не зная даже, какая пружина приводит их в действие и какой результат достигается благодаря им. Когда над их головами разражаются решающие события, будь то удача или провал, они рассеиваются и исчезают в низах общества, как те призраки, что проваливаются в люки сцены по окончании пьесы в хорошо оборудованном театре.

Итак, капитан Рокфинет был необходим для осуществления планов шевалье. И, поскольку, вступая в заговор, люди становятся суеверными, д'Арманталь начинал думать, что капитана послал ему сам Бог.

Не будучи постоянным посетителем заведения Фийон, шевалье все же время от времени заходил туда. В то время считалось хорошим тоном хотя бы изредка бражничать у этой женщины. Но так как д'Арманталь бывал у нее сравнительно редко, он не был для нее ни «сыном», как она фамильярно называла завсегдатаев, ни «кумом», как она величала аббата Дюбуа, а оставался просто «господином шевалье» — знак уважения, который весьма задел бы большинство молодых людей, старавшихся не отстать от моды. Фийон была несколько удивлена, когда д'Арманталь спросил у нее, не может ли он поговорить с той из девушек, которая была известна под именем Нормандки.

— Боже мой, господин шевалье, — сказала она, — я просто в отчаянии, что так не повезло именно вам, кого я так хотела бы видеть гостем этого дома, но Нормандка действительно занята до завтрашнего вечера.

— Черт возьми, — сказал шевалье, — вот это темперамент!

— О, это не темперамент, — отвечала Фийон, — это просто причуда старого друга, которому я бесконечно предана.

— Разумеется, если у него есть деньги.

— А, вот тут-то вы ошибаетесь! Он пользуется у меня кредитом в пределах известной суммы. Это слабость с моей стороны, но надо же быть благодарной: он-то и вывел меня в люди. Ведь это сейчас, господин шевалье, у меня бывает весь цвет Парижа, начиная с господина регента, хотя я всего лишь дочь бедного носильщика портшезов. О, я не такая, как большинство ваших прекрасных герцогинь, отрекающихся от своего происхождения, или как три четверти ваших герцогов и пэров, подделавших свои родословные. Нет, я всем обязана только себе и горжусь этим.

— Значит, — сказал шевалье, не испытывавший в этот момент особого интереса к истории Фийон, как бы увлекательна она ни была сама по себе, — вы говорите, что Нормандка будет здесь только завтра вечером?

— Она здесь, господин шевалье, она здесь; только, как я вам говорила, она сейчас занята всякими сумасбродствами вместе со своими подружками и моим хитрецом-капитаном.

— А скажите-ка, дорогая председательница (так иногда называли Фийон со времени одного недоразумения, связанного с супругой президента парламента, носившей то же имя), ваш капитан случайно не тот, которого я ищу?

— А как зовут вашего?

— Капитан Рокфинет.

— Он самый!

— Он здесь?

— Собственной персоной.

— Ах, так! Его-то мне и нужно. Я только для того и спрашивал Нормандку, чтобы узнать у нее адрес капитана.

— Тогда все в порядке, — сказала председательница.

— Так будьте добры попросить его выйти ко мне.

— О, он не спустится, даже если с ним пожелает говорить сам регент. Раз вы хотите его видеть, вам придется подняться к нему.

— А куда это?

— В кабинет номер два, тот самый, в котором вы ужинали в последний раз с бароном де Валефом. О, когда у этого человека есть деньги, он ни на что не скупится. Хотя он только капитан, сердце у него королевское.

— Прекрасно! — сказал д'Арманталь, поднимаясь по лестнице в ту комнату, где с ним случилась неприятность, воспоминание о которой не могло, однако, изменить направление его мыслей. — Королевское сердце, дорогая председательница! Это как раз то, что мне нужно.

Если бы д'Арманталь и не знал комнаты, о которой шла речь, он не мог бы ошибиться, ему бы послужил проводником голос капитана, который он услышал, едва поднялся на второй этаж:

— Итак, мои милашки, третий и последний куплет! Припев поют все вместе! И капитан затянул великолепным басом:

О Рок Святой, взгляни с высот
На христианский свой народ.
Пусть нам судьба грозит чумою -
Не страшно, если мы с тобою!
Будь нам оплотом, отведи
От нас любую кару Неба;
Но без собаки приходи:
У нас и людям мало хлеба!²

Четыре или пять женских голосов подхватили хором:

Но без собаки приходи:
У нас и людям мало хлеба!

² Перевод Г. Адлера

— Уже лучше, — сказал капитан, — уже лучше; а теперь споем о битве при Мальплаке.

— Ну уж нет, — раздался женский голос. — До чего она мне надоела, эта ваша битва!

— Как! Тебе надоела моя битва? Битва, в которой я сам, черт побери, участвовал?

— Ой, да мне это все равно! Я предпочту один романс всем этим вашим полоумным военным песням: в них одни только богохульные ругательства!

И женщина запела:

Ленваль любил Арсену...

Не мог ее забыть.

— Молчать! — скомандовал капитан. — Я разве здесь больше не хозяин? Пока у меня есть деньги, я хочу, чтобы меня развлекали на мой вкус. Когда у меня не останется ни су, другое дело: вы мне споете вашу жалобную дребедень, и мне нечего будет возразить.

Подружки капитана, похоже, сочли, что достоинство их пола не позволяет им слепо подчиниться подобному требованию, ибо в комнате поднялся такой шум, что д'Арманталь, решив положить этому конец, постучал в дверь.

— Дерните за веревочку — дверь и откроется, — отозвался капитан. Д'Арманталь последовал этому указанию, данному языком «Красной Шапочки», и, открыв дверь, увидел капитана, который, опираясь о подушки, возлежал на ковре посреди остатков обильного обеда. На плечах его была женская кофта, во рту — большая трубка, а голова повязана скатертью наподобие тюрбана. Вокруг него расположились три или четыре девицы. На кресле была разбросана его одежда, на которой замечен был свежий бант, а также шляпа, снабженная новым позументом, иколишемарда — знаменитая шпага, внушившая Равану забавное сравнение с большим вертелом на кухне его матери.

— Как! Это вы, шевалье! — воскликнул капитан. — Вы застаете меня, как господина де Бонневалья, в моем гареме посреди моих одалисок. Вы не знакомы с господином де Бонневалем, сударыни? Это мой друг, трехбунчужный паша, который, как и я, не переносил романсов, но умел-таки пользоваться жизнью. Храни меня Боже от такого конца, какой постиг его — это все, о чем я молю Всевышнего!

— Да, это я, капитан, — сказал д'Арманталь, который не мог удержаться от смеха при виде этой живописной группы. — Вы дали мне правильный адрес, и я рад еще раз убедиться в вашей правдивости.

— Добро пожаловать, шевалье!.. — продолжал капитан. — Прошу вас, барышни, служить этому господину с присущей вам любезностью и петь ему те песенки, какие он захочет послушать... Садитесь же, шевалье, да пейте и ешьте как у себя дома, поскольку я проедаю и пропиваю вашу лошадь. Бедное животное! От него осталось уже меньше половины, но остатки сладки.

— Спасибо, капитан, я недавно пообедал, и мне нужно, если позволите, сказать вам два слова.

— Нет, черт возьми, не позволю, — сказал капитан, — если только речь не идет опять о дуэли! О, это должно быть на первом месте. Если вы пришли из-за дуэли, в добрый час... Нормандка, подай мою шпагу!

— Нет, капитан, я пришел по делу, — прервал его д'Арманталь.

— Если так, от всей души готов служить вам, шевалье. Но я почище фиванского или коринфского тирана, Архиаса, Пелопидаса, Леонидаса... словом, не знаю, какого там фараона на «ас», который откладывал дела на завтра. У меня хватит денег до завтрашнего вечера. Итак, пусть серьезные дела подождут до послезавтра.

— Но, по крайней мере, послезавтра я могу рассчитывать на вас, не правда ли? — сказал д'Арманталь.

— На жизнь и на смерть, шевалье!

— Я тоже думаю, что, отложив это дело, мы поступим более благоразумно.

— В высшей степени благоразумно, — сказал капитан.

— Так до послезавтра, капитан?

— До послезавтра. Но где я вас найду?

— Послушайте, — сказал д'Арманталь, наклоняясь к капитану так, чтобы только он мог его услышать. — Прогуливайтесь как ни в чем не бывало с десяти до одиннадцати часов утра

по улице Утраченного Времени и посматривайте вверх. Откуда-нибудь вас окликнут, вы подниметесь и найдете знакомого вам человека. Там вас будет ждать хороший завтрак!

— Идет, шевалье, — ответил капитан. — Значит, с десяти до одиннадцати утра? Простите, что не провожаю вас, но у турок это не в обычае.

Шевалье жестом показал, что освобождает капитана от этой формальности, и, закрыв за собой дверь, стал спускаться по лестнице. Он не достиг еще четвертого марша, как услышал, что капитан, верный своей первоначальной идее, затянул во все горло знаменитую песню о драгунах при Мальплаке, песню, из-за которой, может быть, пролилось на дуэлях не меньше крови, чем на самом поле этой битвы.

IX. МАНСАРДА

На следующий день аббат Бриго пришел к шевалье в тот же час, что и накануне. Это был отменно точный человек. Он принес три вещи, весьма полезные шевалье: платье, паспорт и донесение тайных агентов принца де Селламаре о том, что должен был делать регент в тот день, то есть 24 марта 1718 года.

Платье было простое, подходящее для младшего сына добропорядочной буржуазной семьи, приехавшего искать счастья в Париж. Д'Арманталь примерил его, и оказалось, что благодаря счастливой наружности шевалье оно ему восхитительно идет. Аббат Бриго покачал головой: он предпочел бы, чтобы шевалье был не так хорош собой, но с этим ему пришлось примириться как с непоправимой бедой.

Паспорт был выписан на имя сеньора Диего, управляющего знатной семьи Орапеса, которому поручено доставить в Испанию некоего маньяка, побочного отпрыска вышеназванной семьи, помешанного на том, что он якобы регент Франции. Эта предосторожность, как легко видеть, предупреждала все заявления, какие мог бы сделать герцог Орлеанский из своей кареты. И так как паспорт, подписанный принцем де Селламаре и завизированный мессиром Вуайе д'Аржансоном, был в полном порядке, не было никаких оснований сомневаться в том, что регент, коль скоро его посадят в карету, благополучно доедет до Памплоны, где все будет кончено. Подпись мессира Вуайе д'Аржансона была так хорошо скопирована, что это делало честь каллиграфам принца де Селламаре.

Что касается донесения, то это был шедевр ясности и пунктуальности. Мы воспроизводим его дословно, чтобы дать представление об образе жизни герцога Орлеанского и вместе с тем об агентах испанского посла. Это донесение было помечено двумя часами пополудни.

«Сегодня регент встанет поздно: накануне был ужин в малых апартаментах. Там впервые присутствовала мадам д'Аверн вместо мадам де Парабер. Из женщин, кроме нее, были герцогиня де Фалари и фрейлина Ласери, а из мужчин — маркиз де Брольи, граф де Носе, маркиз де Канильях, герцог де Бранкас и шевалье де Симиан. Что касается маркиза де Лафара и господина де Фаржи, то они не могли приехать вследствие недомогания, причина коего неизвестна.

В полдень состоится заседание государственного совета. На нем регент должен сообщить герцогу дю Мен, принцу де Конти, герцогу де Сен-Симон, герцогу де Гиш и т. д. о проекте договора четырех держав, который прислал ему аббат Дюбуа вместе с сообщением, что он вернется через три или четыре дня.

Остаток дня будет всецело посвящен отцовским обязанностям. Позавчера господин регент выдал замуж свою дочь от госпожи Демаре, что воспитывалась в монастыре Сен-Дени. Она будет обедать со своим мужем в Пале-Рояль, а после обеда господин регент проводит ее в Оперу, в ложу Шарлотты Баварской. Демаре, не видевшая свою дочь шесть лет, уведомлена, что если она хочет ее увидеть, то может приехать в театр.

Несмотря на свое увлечение госпожой д'Аверн, господин регент по-прежнему ухаживает за маркизой де Сабран. Маркиза все еще кичится своей верностью, но не мужу, а герцогу де Ришелье. Чтобы продвинуть дело, регент назначил вчера господина де Собрана своим мажордомом».

— По-моему, хорошая работа, — сказал аббат Бриго, когда шевалье прочел донесение. —

Надеюсь, вы того же мнения.

— Да, конечно, дорогой аббат, — ответил д'Арманталь, — но, если регент не даст нам в будущем более удобного случая привести в исполнение наш план, мне будет нелегко доставить герцога в Испанию.

— Терпение, терпение! — сказал Бриго. — Всеу свое время. Если бы регент доставил нам такой случай сегодня, вы, вероятно, были бы не в состоянии им воспользоваться.

— Да, вы правы.

— Вы сами видите: что от Бога, то ко благу. Бог предоставляет нам нынешний день. Воспользуемся им, чтобы перебраться на новую квартиру.

Переезд не был ни долг, ни труден. Д'Арманталь взял деньги, несколько книг, узел с платьем, сел в экипаж, заехал к аббату и отослал коляску домой, сказав, что уезжает за город и пробудет в отсутствии дней десять-двенадцать, так что о нем не следует беспокоиться; потом, сменив свое элегантное платье на одежду, более соответствующую той роли, которую ему предстояло играть, он отправился в сопровождении аббата вступить во владение своей новой квартирой.

Это была комната, или, вернее, мансарда с чуланом, на пятом этаже дома номер пять по улице Утраченного Времени, которая теперь называется улицей Святого Жозефа. Домовладелица была знакомой аббата Бриго, и благодаря его рекомендации ради молодого провинциала были сделаны некоторые экстраординарные расходы: д'Арманталь нашел в своей комнате белоснежные занавески, тончайшее белье, нечто вроде этажерки с книгами и увидел с первого взгляда, что если здесь и не так хорошо, как в его квартире на улице Ришелье, то, по крайней мере, терпимо.

Госпожа Дени — так звали приятельницу аббата Бриго — ждала своего будущего жильца, чтобы проводить его в предназначенную ему комнату. Она расхваливала шевалье все удобства этой комнаты; поручилась ему, что, если бы не такие трудные времена, он не снял бы ее и за двойную плату; заверила его, что ее дом пользуется лучшей репутацией в квартале; обещала, что молодому человеку в его работе не будет мешать шум, поскольку улица слишком тесна, чтобы на ней могли разминуться два экипажа, и кучера весьма редко отваживаются заезжать сюда. На все это шевалье отвечал так скромно, что, спустившись на второй этаж, где она жила, мадам Дени с большой похвалой отозвалась привратнику и его жене о своем новом постояльце. Этот молодой человек, хотя и мог, без сомнения, поспорить в том, что касается наружности, с самыми видными вельможами двора, отнюдь не имел, как ей казалось, в особенности в обращении с женщинами, тех развязных и дерзких манер, бравировать которыми считалось хорошим тоном среди золотой молодежи того времени. Правда, аббат Бриго от имени семьи своего подопечного заплатил ей за три месяца вперед.



Через минуту аббат, в свою очередь, спустился к госпоже Дени, чтобы дать ей дополнительные сведения о своем молодом протеже, который, по его словам, не намерен был принимать решительно никого, кроме самого аббата да старого друга своего отца. Этот последний, несмотря на несколько грубоватые манеры, усвоенные на военной службе, был человек, достойный всяческого уважения. Д'Арманталь счел нужным прибегнуть к этому предупреждению, чтобы появление капитана не слишком испугало добрейшую госпожу Дени, если он ей случайно встретится.

Оставшись один, шевалье, успевший уже осмотреть свою комнату, решил, развлечения ради, поглядеть, что находится в ближайшем соседстве: он открыл окно и начал обозревать улицу.

Прежде всего он смог убедиться в том, что госпожа Дени сказала ему правду относительно улицы Утраченного Времени, имевшей не более десяти — двенадцати футов в ширину, а с высоты пятого этажа показавшейся д'Арманталю еще уже. Это обстоятельство, которое для всякого другого жильца было бы недостатком, он отнес, напротив, к ее достоинствам, так как сразу же рассчитал, что в случае преследования сможет при помощи доски, перекинутой из его окна в окно противоположного дома, перебраться на другую сторону улицы. Поэтому было важно на всякий случай установить с жильцами этого дома добрососедские отношения.

К несчастью, его соседу или соседке не была свойственна общительность: окно напротив было не только наглухо закрыто, как того требовало время года, но и плотно задернуто муслиновыми занавесками без малейшего просвета, сквозь который мог бы проникнуть взгляд. Второе окно, по-видимому относившееся к той же комнате, было закрыто с такой же тщательностью.

Дом напротив обладал тем преимуществом, по сравнению с домом госпожи Дени, что имел еще и шестой этаж, или, вернее, террасу. На эту террасу выходила комнатка типа мансарды, расположенная как раз над тем окном, которое было так плотно закрыто. Ее обитатель был, по всей вероятности, выдающимся садоводом, потому что его терпение и труд с помощью времени превратили эту террасу в сад, где на площади в двенадцать или пятнадцать квадратных футов были расположены фонтан, грот и беседка. Правда, фонтан действовал только благодаря укрепленному над ним баку, который зимой наполнялся дождевой водой, а летом — колодезной; правда, грот, сплошь выложенный ракушками и увенчанный игрушечной деревянной крепостью, казалось, не предназначался для того, чтобы при случае дать приют человеку, а был просто-напросто собачьей конурой; наконец, беседка, лишенная в суровую зимнюю пору листы растений, в которой и состояла ее главная прелесть, походила теперь на огромную клетку для цыплят.

Тем не менее д'Арманталь восхитился предприимчивостью парижского обывателя, который ухитряется создать себе сельские красоты на своем подоконнике, на уголке крыши и даже в желобе водосточной трубы. Он прошептал прославленный стих Вергилия: «*O fortunatos nimium...*»³; потом, почувствовав дуновение холодного ветра и видя перед собой лишь однообразную череду крыш, труб и флюгеров, закрыл окно, снял костюм, облачился в халат, имевший тот недостаток, что он был слишком роскошен для молодого человека, чью роль его владелец играл; уселся в кресло, положил ноги на каминную решетку, протянул руку за томиком аббата Шолье и, чтобы рассеяться, принялся читать его стихи, посвященные мадемуазель де Лонэ, о которых говорил ему маркиз де Помпадур и которые теперь, когда он знал их героиню, приобретали для него новый интерес⁴.

Результатом этого чтения было то, что шевалье, все еще улыбаясь над любовью доброго восьмидесятилетнего аббата, вдруг обнаружил, что сам-то он, может быть, еще несчастнее, ибо в его сердце царит пустота. Молодость, храбрость, изящество, гордый и смелый ум доставляли

³ «Сколь счастливы селяне...» (лат.)

⁴ «Лонэ, которая державно // Владеет даром всех пленять... и т.д.» (Прим. автора)

ему множество благоприятных возможностей, но при всем этом он никогда не шел на то, что ему предлагали, то есть на мимолетные связи. На какое-то мгновение он поверил, что любит госпожу д'Аверн и любим ею. Но любовь прекрасной ветреницы не устояла против корзины цветов и драгоценностей, против тщеславного желания нравиться регенту. Пока эта неверность не стала фактом, шевалье думал, что от нее можно прийти в отчаяние. Но вот ему изменили, он получил доказательства, он дрался на дуэли, ибо в те времена дуэли случались из-за чего угодно (быть может, потому, что они были строго запрещены). И тогда д'Арманталь заметил, как мало места занимает в его сердце эта большая любовь, которая, как он думал, владела им безраздельно. Правда, события последних трех-четырех дней направили его мысли в другое русло; но шевалье признавался себе, что этого, наверное, не произошло бы, будь он по-настоящему влюблен. Настоящее отчаяние не позволило бы ему искать развлечений на маскараде, а если б он туда не поехал, то последующие события, лишившись исходной точки, не смогли бы развиваться столь быстро и неожиданно. Размышляя таким образом, шевалье пришел к убеждению, что он совершенно не способен испытывать великую страсть и должен довольствоваться в отношениях с женщинами теми бесчисленными очаровательными злодействами, которые были тогда в обычае у молодых дворян. В конце концов он встал, сделал три круга по комнате с видом завоевателя, глубоко вздохнул при мысли о том, на какое, может быть, далекое время отложены все эти прекрасные проекты, и медленными шагами вернулся к своему зеркалу и своему креслу.

Спустя некоторое время он заметил, что окно напротив, час назад так плотно закрытое, теперь было распахнуто настежь. Д'Арманталь машинально остановился, отдернул занавеску и устремил взгляд в комнату, доступную теперь для обозрения.

По всей видимости, эту комнату занимала женщина. Возле окна, у которого стояла на задних лапках, опираясь передними о подоконник, очаровательная маленькая левретка, цвета кофе с молоком, с любопытством глядевшая на улицу, виднелись пальцы. В глубине комнаты, напротив окна, открытый клавишин отдыхал между двумя мелодиями; несколько пастелей, оправленных в рамки черного дерева с золотым ободком, висели на стенах, оклеенных персидскими обоями, а из-за муслиновых занавесок, так тщательно прикрывавших оконное стекло, выглядывали другие занавески, ситцевые, с тем же рисунком, что и на обоях. Через второе, полуоткрытое окно можно было видеть полог алькова, в котором, вероятно, помещалась кровать. Остальная обстановка была чрезвычайно проста, но отличалась опрятностью и очаровательной гармонией, которой она была явно обязана не богатству, а вкусу скромной обитательницы этого уединенного жилища.

Старая женщина смахивала пыль, подметала и прибирала комнату, по-видимому пользуясь для домашней работы отсутствием хозяйки, потому что, кроме старушки, в комнате никого не было, а между тем было ясно, что живет здесь не

Внезапно левретка, большие глаза которой до сих пор блуждали по сторонам со свойственной этим животным аристократической беспечностью, оживилась, наклонила голову, заглядывая на панель, потом с удивительной легкостью вспрыгнула на подоконник и уселась на нем, насторожив уши и подняв тонкую и изящную лапку. Шевалье понял по этим признакам, что приближается жилище маленькой комнаты, и тотчас открыл окно. К несчастью, было уже поздно, и он никого не увидел на улице. В ту же минуту левретка спрыгнула с окна и побежала к двери. Д'Арманталь заключил из этого, что дама поднимается по лестнице, и, чтобы без помехи рассмотреть ее, откинулся назад и спрятался за занавеской. Но тут старуха подошла к окну и закрыла его. Шевалье не ожидал такой развязки и в первую минуту был раздосадован. Он, в свою очередь, закрыл окно и опять уселся в кресло, положив ноги на каминную решетку.

Сидеть так одному было не слишком весело, и шевалье, всегда такой общительный, занятый всеми теми мелочами, которые становятся самым существом жизни для светского человека, почувствовал, как будет ему одиноко, если его затворничество окажется сколько-нибудь продолжительным. Он вспомнил, что когда-то тоже играл на клавишине и рисовал, и ему показалось, что, если бы у него был мало-мальски сносный спинет и несколько пастелей, ему было бы легче убить время.

Он позвонил привратнику и спросил у него, где можно достать эти предметы. Привратник ответил, что всякое прибавление мебели производится, конечно, за счет квартиронанимателя и

что, если он хочет иметь у себя клавесин, ему надобно взять его напрокат; постели же можно найти в писчебумажной лавке, которая помещается на углу улицы Клеры и Гро-Шене.

Д'Арманталь дал привратнику дублон, объявив, что желает иметь у себя через полчаса спинет и все необходимое для рисования. Дублон был аргументом, в неотразимости которого шевалье не раз имел случай убедиться. Однако, упрекнув себя в том, что на сей раз он употребил этот аргумент с легкостью, не вязавшейся с его скромным положением, д'Арманталь опять позвал привратника и сказал ему, что рассчитывает за свой дублон не только приобрести бумагу и постель, но и получить напрокат клавесин сроком на месяц. Привратник ответил, что если это и удастся, то только потому, что он будет торговаться как для самого себя, но что, конечно, ему надобно будет заплатить за перевозку. Д'Арманталь согласился. Через полчаса в его распоряжении было все, что ему требовалось, ибо Париж уже в то время был чудесным городом для всякого, кто обладал золотой волшебной палочкой.

Привратник, спустившись к себе, сказал жене, что молодой человек с пятого этажа швыряется деньгами и этак может разорить свою семью. И он показал ей две монеты по десять франков, которые сэкономил на дублоне д'Арманталя. Жена взяла монеты из рук мужа, назвав его пьяницей, и положила их в кожаный мешок, спрятанный под кучей тряпья, оплакивая злосчастную судьбу отцов и матерей, которые лишают себя самого необходимого ради таких шалопаев, как новый жилец.

Это было надгробное слово дублону шевалье.

Х. ОБЫВАТЕЛЬ С УЛИЦЫ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

В это время д'Арманталь сидел перед своим спинетом и старательно упражнялся. Торговец поступил с ним довольно совестливо, прислав ему более или менее настроенный инструмент, и шевалье, обнаружив, что клавесин чудесно звучит, начал думать, что у него самого врожденный музыкальный талант и что до сих пор ему не представлялось случая его развить. Вероятно, в этом была доля истины, потому что посреди одной из его самых изумительных трелей он увидел, как на другой стороне улицы нежные пальчики слегка приподняли занавеску, мешавшую узнать, откуда доносится эта необычная мелодия. К несчастью, при виде этих пальчиков шевалье забыл о музыке и живо повернулся на своем табурете к окну в надежде разглядеть не только ручку, но и лицо незнакомки. Этот плохо рассчитанный маневр все испортил. Хозяйка маленькой комнаты, уличенная в любопытстве, опустила занавеску. Д'Арманталь, уязвленный такой чрезмерной строгостью, закрыл окно и весь остаток дня был в обиде на свою соседку.

Вечер он провел за рисованием, чтением и игрой на клавесине. Шевалье никогда бы не подумал, что в одном часе столько минут и в одном дне столько часов. В десять вечера он позвонил привратнику, чтобы дать ему распоряжение на завтрашний день. Но привратник не пришел: он давно уже спал. Госпожа Дени сказала правду: это был спокойный дом. Д'Арманталь узнал, таким образом, что есть люди, которые ложатся в постель в тот час, когда он обычно садился в карету, чтобы начать свои визиты. Это наблюдение дало ему богатую пищу для размышлений о странных нравах того обездоленного класса общества, который не знает ни Оперы, ни званных ужинов, ночью спит, а днем бодрствует. Он подумал, что надо побывать на улице Утраченного Времени, чтобы увидеть подобные обычаи, и дал себе слово позабавить друзей, когда он сможет рассказать им об этом.

Но одно обстоятельство доставило ему удовольствие: его соседка бодрствовала, как и он, что указывало на ее духовное превосходство над вульгарными обитателями улицы Утраченного Времени. Д'Арманталь все еще думал, что люди бодрствуют только потому, что не хотят спать, или потому, что хотят развлекаться. Он забывал о тех, кто бодрствует по необходимости.

В полночь свет в комнате напротив погас, и д'Арманталь, в свою очередь, решил лечь спать.

На следующее утро, в восемь часов, к нему пришел аббат Брито. Он принес д'Арманталю второе донесение тайных агентов принца де Селламаре. Оно гласило:

«Три часа утра.

Ввиду того, что вчера регент вел себя исправно, он приказал разбудить его в девять часов.

Он примет нескольких особ, назначенных присутствовать при его утреннем выходе.

С десяти часов до полудня он будет давать публичную аудиенцию.

С двенадцати часов до часу пополудни регент будет работать с Ла Врийером и Лебланом над донесениями своих шпионов.

С часу до двух он с Торси будет читать письма.

В половине третьего он пойдет на регентский совет и посетит короля.

В три часа он отправится на улицу Сены играть в мяч в партии с Бранкасом и Канильяком против герцога де Ришелье, маркиза де Брольи и графа де Фасе.

В шесть часов он поедет ужинать в Люксембургский дворец к герцогине Беррийской и проведет у нее весь вечер.

Оттуда он вернется без охраны в Пале-Рояль, если только герцогиня Беррийская не даст ему свой эскорт».

— Черт возьми, без охраны, дорогой аббат! Что вы об этом думаете? — сказал д'Арманталь, принимаясь за свой туалет. — У вас от этого не потекли слюнки?

— Да, без охраны, но со скороходами, верховыми курьерами, кучером, а это все люди, которые дерутся, правда очень плохо, зато кричат очень громко. Терпение, терпение, мой юный друг! Вам, значит, хочется поскорее стать испанским грандом?

— Нет, дорогой аббат, но мне хочется поскорее выбраться из этой мансарды, где я терплю во всем недостаток и где мне приходится, как видите, самому совершать свой туалет. Повашему, значит, это пустяки — ложиться спать в десять часов вечера и утром одеваться без помощи лакея!

— Но зато у вас есть музыка, — возразил аббат.

— Да, это так, — сказал д'Арманталь. — Прошу вас, аббат, откройте окно, пусть все видят, что я принимаю людей из хорошего общества. Это послужит мне к чести в глазах соседей.

— Смотри-ка, смотри-ка, — сказал аббат, выполняя просьбу шевалье, — совсем неплохо!

— Неплохо? — отозвался д'Арманталь. — Да это просто прекрасно. Ария из «Армиды»! Пусть меня черт поберет, если я рассчитывал найти что-либо подобное на пятом этаже, и притом на улице Утраченного Времени.

— Шевалье, я вам предсказываю, — сказал аббат, — что, если только эта певица молода и красива, через неделю нам будет так же трудно заставить вас покинуть эту комнату, как сейчас — заставить в ней оставаться.

— Дорогой аббат, — ответил д'Арманталь, качая головой, — если бы у вас была такая же хорошая тайная полиция, как у принца де Селламаре, вы знали бы, что я надолго излечился от любви. А чтобы вы не думали, что я провожу дни в любовных воздыханиях, я попрошу вас, спустившись отсюда, прислать мне, скажем, паштет и дюжину бутылок отменных вин. Я полагаюсь на вас: мне известно, что вы знаток. К тому же, посланные вами, эти вина будут свидетельствовать о внимании опекуна к своему питомцу, тогда как, купленные мной, они свидетельствовали бы о распущенности подопечного, а мне надо беречь мою провинциальную репутацию в глазах госпожи Дени.

— Правильно. Я полагаюсь на вас и не спрашиваю, зачем вам все это нужно.

— И вы правы, дорогой аббат, — это нужно для пользы дела.

— Через час паштет и вино будут здесь.

— Когда я вас увижу?

— Вероятно, завтра.

— Итак, до завтра.

— Вы меня выпроваживаете?

— Я жду гостя.

— Тоже для пользы дела?

— Я отвечаю за это. Идите, и да хранит вас Господь!

— Оставайтесь, и да не искушает вас дьявол. Помните, что из-за женщины мы все изгнаны из земного рая. Остерегайтесь женщин!

— Аминь! — сказал шевалье, сделав рукой прощальный знак аббату Бриго.

В самом деле, как это заметил аббат, д'Арманталю не терпелось, чтобы он ушел. Его

любовь к музыке, которую он открыл у себя только накануне, так возросла, что он не желал, чтобы ему мешали наслаждаться ею. Насколько позволяло судить об этом проклятое окно, по-прежнему плотно закрытое, как голос, так и звуки клавесина, доносившиеся до шевалье, обличали в его соседке превосходную музыкантшу: туше у нее было мягкое, а голос, нежный и большого диапазона, вибрируя на высоких нотах, трогал до глубины души. Поэтому после одного особенно трудного и безупречно исполненного пассажа д'Арманталь не смог удержаться от аплодисментов и крика «браво». К несчастью, это не ободрило музыкантшу, которая в своем уединении не привыкла к подобным триумфам, а, напротив, смутило ее до такой степени, что в ту же минуту и голос и клавесин смолкли и полная тишина сменила мелодию, вызвавшую у шевалье столь неосторожные изъятия восторга.

Зато д'Арманталь увидел, как открылась дверь комнаты верхнего этажа, выходившая, как мы сказали, на террасу. Сначала из нее показалась вытянутая рука, вероятно вопрошавшая, какая погода. По всей видимости, ответ был получен успокоительный, потому что вслед за рукой выглянула голова в ситцевом колпаке, стянутом на лбу сизой шелковой лентой, а минуту спустя за головой последовало и туловище в капоте из той же материи, что и колпак. Это еще не позволяло шевалье в точности определить, к какому полу принадлежит особа, которой было так трудно решиться выйти на свежий воздух. Наконец луч солнца, проскользнувший меж туч, по-видимому, ободрил робкого обитателя мансарды, и он отважился ступить за порог. Тогда д'Арманталь узнал по его коротким штанам из черного бархата и ажурным чулкам, что персонаж, появившийся на сцене, — лицо мужского пола.

Это и был садовод, о котором мы говорили.

Дурная погода, стоявшая в предыдущие дни, без сомнения, лишала его утренней прогулки и мешала ему заботиться о саде, и потому он начал обозревать свои владения с видимым беспокойством, явно опасаясь найти какое-нибудь повреждение, причиненное ветром или дождем. Но после того как садовод тщательно осмотрел фонтан, грот и беседку, которые были главными украшениями террасы, по лицу его пробежал луч радости, подобный лучу солнца, только что пробежавшему по небу. Он не только увидел, что все на месте, но и обнаружил, что бак его до краев полон воды. Он решил поэтому, что может доставить себе удовольствие привести в действие фонтан, — расточительность, которую он, по примеру Людовика XIV, позволял себе только по воскресеньям. Он открыл кран, и струи фонтана, являя величественное зрелище, снопом взметнулись ввысь.



Добряка это так обрадовало, что он принялся напевать старинную пастушескую песенку, знакомую д'Арманталю с колыбели:

Пусти меня гулять,
Резвиться и играть
На травке под кустом,
В орешнике густом.⁵

Повторяя этот куплет, он подбежал к своему окну и дважды громко позвал:

— Батильда! Батильда!

Тут шевалье понял, что комнаты пятого и шестого этажей сообщаются между собой и что садовод и музыкантша находятся в каких-то отношениях. Решив, что если он останется у окна, то музыкантша ввиду ее скромности, в которой он только что убедился, весьма возможно, не поднимется на террасу. С беспечным видом он закрыл свое окно, позаботившись, однако, оставить маленький просвет между занавесками, через который он мог бы наблюдать все, оставаясь невидимым.

Произошло то, что он и ожидал. Через минуту в проеме окна показалась очаровательная девичья головка. Но так как поверхность, на которую отважно ступил тот, кто позвал обительницу пятого этажа,



⁵ Перевод А.Исаевой и З.Мирской

была без сомнения, слишком сырой, девушка не захотела выйти к нему. Левретка, не менее боязливая, чем ее хозяйка, осталась возле нее, положив лапки на подоконник и в знак отрицания трясая головой в ответ на все настояния садового, пытавшегося завлечь собачку дальше, чем соглашалась идти ее хозяйка.

Однако между мужчиной и девушкой завязался разговор, и д'Арманталь в течение нескольких минут имел возможность рассматривать свою соседку, ничем не отвлекаясь от этого занятия, так как через закрытое окно слова собеседников до него не доносились. Она, по-видимому, достигла того прелестного возраста, переходного между детством и юностью, когда все расцветает в сердце и облике девушки — чувство, грация, красота. С первого взгляда было видно, что ей не меньше шестнадцати, но и не более восемнадцати лет. В ней странным образом смешивались несхожие между собой черты: у нее были белокурые волосы, матовая кожа и лебединая шея англичанки, но вместе с тем черные глаза, коралловые губки и жемчужные зубы испанки. Так как она не употребляла ни белил, ни румян, а пудра в то время только-только начинала входить в моду, да к тому же предназначалась лишь для аристократических голов, — ее цвет лица отличался неподдельной свежестью, и ничто не стушевывало восхитительный оттенок ее волос. Шевалье застыл, словно в экстазе.

В самом деле, за свою жизнь он видел лишь два типа женщин: крестьянок Ниверне — грубых и толстых, с большими руками и ногами, в коротких юбках, чепцах в виде охотничьего рога — и бесспорно прекрасных парижских аристократок, чья красота от бессонных ночей, от губительных удовольствий, от неестественного образа жизни чахла и увядала, подобно цветам, которые видят лишь несколько редких лучей солнца и к которым живительный утренний и вечерний воз-дух не может проникнуть через стекла теплицы. Он не знал женщин-горожанок — тот, если можно так сказать, промежуточный тип между высшим обществом и сельским населением, — обладающих всем изяществом первого, всей свежестью и здоровьем второго. Итак, как мы уже сказали, шевалье оставался на месте как пригвожденный, и долго еще после того, как девушка скрылась, глаза его были прикованы к окну, где возникло это восхитительное видение.

Он очнулся, услышав шум открывавшейся двери: в мансарду шевалье торжественно внесли паштет и вино от аббата Бриго. При виде этих припасов он вспомнил, что сейчас не время вести созерцательную жизнь и что он назначил свидание капитану Рокфинету ради весьма важных дел. Он вытащил часы и увидел, что уже десять утра. Как мы помним, это и было условленное время. Д'Арманталь отпустил слугу, как только тот положил провизию на стол, сам сервировал завтрак, чтобы не посвящать привратника в свои дела, и, снова открыв окно, стал поджидать капитана Рокфинета.

XI. ДОГОВОР

Едва он занял свой наблюдательный пост, как увидел достойного капитана, который, высоко держа голову и положив руку на бедро, подходил с улицы Гро-Шене воинственной и решительной походкой человека, чувствующего, как греческий философ, что все свое он несет с собой. Шляпа, этот термометр, позволявший близким капитана узнавать истинное состояние его финансов, в счастливые дни так же твердо державшаяся у него на голове, как пирамида на своем основании, опять приобрела тот поразивший барона де Валефа удивительный наклон, благодаря которому один из трех ее углов почти касался правого плеча, в то время как другой мог бы подать Франклину идею громоотвода на сорок лет раньше, если бы Франклин в этот день встретил капитана. Пройдя треть улицы, он, как было условлено, поднял голову и как раз над собой увидел шевалье. Они обменялись знаком, и капитан, взглядом стратега оценив диспозицию и сообразив, какая дверь соответствует окну д'Арманталя, перешагнул порог мирного дома госпожи Дени с таким непринужденным видом, как будто входил в знакомую таверну. Шевалье, со своей стороны, закрыл окно и тщательно задернул занавеску. Как знать, сделал ли он это для того, чтобы прекрасная соседка не увидела его с капитаном, или для того, чтобы капитан не увидел ее самое?

Через минуту д'Арманталь слышал шаги капитана и шум его шпаги, славной колишемарды, стучавшей о перила лестницы. Поскольку свет пробивался только снизу,

капитан, поднявшись на четвертый этаж, оказался в весьма затруднительном положении, не зная, должен ли он остановиться или идти дальше.

Покашляв самым выразительным образом и увидев, что этот призыв остается непонятным тому, кого он искал, он промолвил:

— Черт возьми, шевалье, так как вы позвали меня, вероятно, не для того, чтобы я сломал себе шею, откройте свою дверь или, по крайней мере, запойте, чтобы я мог идти на свет или на ваш голос, не то я заблужусь, ни дать ни взять как Тесей в лабиринте.

И капитан сам принялся петь во все горло:

Ах, Ариадна, умоляю:

Отдай клубок, мне нужен он.

Тонтон, тонтон, тонтон, тонтон!

Шевалье подбежал к двери и открыл ее.

— В добрый час! — произнес капитан, показавшийся в полумраке. — В вашей голубятне дьявольски темная лестница. Ну вот и я. Как видите, на меня можно положиться: я соблюдаю условия и не опаздываю на свидания. На башне Самаритянки пробило десять как раз в тот момент, когда я проходил по Новому мосту.

Шевалье протянул руку капитану Рокфинету, сказав:

— Да, вы человек слова, я это вижу, но входите скорее: мне важно, чтобы соседи не обратили на вас внимания.

— В таком случае я нем как рыба, — ответил капитан. — К тому же, — прибавил он, указывая на паштет и бутылки, которыми был уставлен стол, — вы нашли верное средство заткнуть мне рот.

Шевалье захлопнул дверь за капитаном и запер ее на задвижку.

— А, тайна? Тем лучше, я за тайну. Почти всегда что-нибудь да выиграешь, имея дело с людьми, которые для начала говорят вам: «Тсс!» Во всяком случае, вы поступили как нельзя лучше, обратившись к вашему слуге, — продолжал капитан, возвращаясь к своему мифологическому языку, — ибо в моем лице вы видите сына Гарпократа, бога молчания. Итак, не стесняйтесь.

— Отлично, капитан! — заметил д'Арманталь. — Потому что, признаюсь, я должен сказать вам слишком важные вещи, чтобы не попросить вас заранее о скромности.

— Вы можете на нее рассчитывать, шевалье. Когда я давал урок маленькому Равану, я видел краем глаза, как мастерски вы владеете шпагой, а я люблю храбрых людей. И потом, чтобы отблагодарить меня за услугу, не стоившую ломаного гроша, вы подарили мне лошадь, стоившую сто луидоров, а я люблю щедрых людей. Но раз вы вдвойне заслуживаете моего уважения, почему бы мне не заслужить ваше?

— Прекрасно! — сказал шевалье. — Я вижу, что мы сможем поладить.

— Говорите, я вас слушаю, — ответил капитан, приняв самый серьезный вид.

— Вам будет удобнее слушать меня сидя, дорогой гость. Давайте сядем за стол и позавтракаем.

— Шевалье, вы проповедуете, как святой Иоанн Златоуст, — сказал капитан, отстегивая шпагу и кладя ее вместе со шляпой на клавесин. — С вами невозможно не согласиться. Я готов, — продолжал он, усаживаясь напротив д'Арманталя. — Командуйте операцией, и я ее выполню.

— Попробуйте вина, а я тем временем атакую паштет.

— Правильно, — сказал капитан. — Разделим наши силы и нападём на врага по отдельности, а потом соединимся и добьем его.

И, подкрепляя теорию практикой, капитан схватил за горлышко первую подвернувшуюся бутылку, откупорил ее и, налив себе полный стакан, осушил его с такой легкостью, словно природа одарила его особым глотательным аппаратом. Но надо отдать ему справедливость: едва он выпил вино, как заметил, что напиток, с которым он позволил себе так развязно обойтись, заслуживал более почтительного обращения.

— О-о! — произнес он, прищелкивая языком и ставя свой стакан с медлительностью, исполненной уважения. — Что же это я делаю, недостойный! Я глотаю нектар, как разбавленное вино! Да еще в начале трапезы! Ах, друг мой, Рокфинет, — продолжал он,

наливая себе второй стакан и покачивая головой, — ты начинаешь стареть. Десять лет назад при первой капле вина, коснувшейся твоего нёба, ты знал бы, с чем имеешь дело, а теперь тебе нужно сделать несколько проб, чтобы узнать цену вещам... За ваше здоровье, шевалье!

И на этот раз капитан, сделавшись более осмотрительным, медленно, в три приема, выпил второй стакан, прищулив глаза в знак удовольствия.

— Это «Эрмитаж» 1702 года — года битвы под Фридлингеном! — сказал он. — Если у вашего поставщика много такого вина и он оказывает кредит, дайте мне его адрес: он найдет во мне отличного клиента!

— Капитан, — ответил шевалье, положив на тарелку сотрапезника огромный кусок паштета, — мой поставщик не только оказывает кредит — моим друзьям он дает это вино даром.

— О, добрый человек! — воскликнул капитан проникновенным тоном. И после минутного молчания, во время которого поверхностный наблюдатель счел бы его столь же поглощенным оценкой паштета, сколь был он только что поглощен оценкой вина, Рокфинет, положив локти на стол и глядя на д'Арманталя с лукавым видом, сказал, не выпуская из рук ножа и вилки: — Итак, дорогой шевалье, мы состоим в заговоре, и мы, по-видимому, нуждаемся в помощи этого бедняги, капитана Рокфинета?..

— А кто вам это сказал, капитан? — прервал его шевалье, невольно вздрогнув.

— Кто мне это сказал, черт возьми! Хороша шарада! Если человек раздаривает лошадей ценой в сто луидоров и пьет в обычные дни вино, которое стоит пистоль за бутылку, а живет в мансарде на улице Утраченного Времени, что же, по-вашему, он делает, черт возьми, как не участвует в заговоре?

— Ну что же, капитан, — со смехом сказал д'Армантадь, — я не буду отпираться. Очень может быть, что вы и угадали. А что, вас пугает заговор? — продолжал он, наливая вина своему гостю.

— Меня? Пугает? Кто сказал, что есть на свете вещь, способная испугать капитана Рокфинета?

— Не я, капитан, потому что, едва зная вас, едва обменявшись с вами несколькими словами, после первой же встречи я подумал о том, чтобы предложить вам быть моим помощником.

— А это значит, что если вы будете повешены на виселице в двадцать футов высотой, то меня повесят на виселице высотой в десять футов, вот и все.

— Черт возьми, капитан! — сказал д'Армантадь, снова наливая ему вина. — Если с самого начала видеть вещи в черном свете, никогда нельзя ничего предпринять.

— Это вы к тому, что я заговорил о виселице? — спросил капитан. — Но это ничего не доказывает. Что такое виселица в глазах философа? Один из тысячи способов проститься с жизнью, и, пожалуй, один из наименее неприятных. Сразу видно, что вы никогда не сталкивались с ней лицом к лицу, раз вы так гнушаетесь его. К тому же ввиду нашего благородного происхождения нам отрубят голову, как господину де Рогану. Вы видели, как отрубили голову господину де Рогану? —



продолжал капитан, глядя д'Арманталю прямо в лицо. — Это был красивый молодой человек вроде вас и примерно вашего возраста. Он вступил в заговор, как собираетесь сделать это вы, но заговор не удался. Чего же вы хотите? Каждый может ошибиться. Для него построили прекрасный черный эшафот; ему позволили повернуться в ту сторону, где было окно его возлюбленной; ему отрезали ножницами ворот его рубашки; но палач был неумелый, привыкший вешать, а не обезглавливать, и три раза принимался за дело, чтобы отсечь ему голову, да и то покончил с этим только при помощи ножа, который вытащил из-за пояса, и, изрядно повозившись, наконец перерезал ему шею... Ну, вы смельчак! — продолжал капитан, видя, что шевалье не моргнув глазом выслушал подробный рассказ об этой ужасной казни. — Вот вам моя рука, можете на меня рассчитывать. Против кого же мы в заговоре? Выкладывайте. Против герцога дю Мена? Или против герцога Орлеанского? Надо сломать вторую ногу хромоту? Или выколоть второй глаз кривому? Я готов.

— Ничего подобного, капитан, и даст Бог, дело обойдется без кровопролития.

— О чем же тогда идет речь?

— Слышали ли вы когда-нибудь о похищении секретаря герцога Мантуанского?

— Маттиоли?

— Да.

— Черт возьми! Я знаю это дело лучше, чем кто бы то ни было. Я видел, как его везли в Пиньероль. Это сделали шевалье де Сан-Мартен и господин де Вильруа. Скажу вам даже, что они получили за это по три тысячи ливров для себя и для своих людей.

— Неважно же им заплатили! — с презрением сказал д'Арманталь.

— Вы находите, шевалье? Однако три тысячи ливров — круглая сумма.

— Значит, за три тысячи ливров вы бы взялись за такое дело?

— Взялся бы, — ответил капитан.

— А если бы вам предложили похитить не секретаря, а герцога?

— Это стоило бы дороже.

— Но вы бы все-таки взялись?

— А почему бы и нет? Я потребовал бы двойную плату, вот и все.

— А если бы, согласившись на двойную плату, такой человек, как я, сказал вам: «Капитан, я не подвергаю вас тайной опасности, бросив на произвол судьбы, а вместе с вами вступаю в борьбу и, как и вы, ставлю на карту свое имя, свое будущее и свою жизнь», — что бы вы ответили этому человеку?

— Я протянул бы ему руку, как протягиваю ее вам. Теперь скажите, о чем идет речь.

Шевалье наполнил стаканы и сказал:

— За здоровье регента и за то, чтобы он благополучно добрался до испанской границы, как Маттиоли добрался до Пиньероля!

— Ах, вот как!.. — сказал капитан Рокфинет, подняв свой стакан на уровне глаз, и после паузы продолжал: — А почему бы и нет? В конце концов регент лишь человек. Только в случае неудачи нас не повесят и не обезглавят, а четвертуют. Другому я сказал бы, что это будет стоить дороже, но для вас у меня нет двух цен. Вы дадите мне шесть тысяч ливров, и я найду вам двенадцать человек, готовых на все.

— И вы полагаете, что можете довериться этим людям? — с живостью спросил д'Арманталь.

— Да разве они будут знать, в чем дело? — ответил капитан. — Они будут думать, что речь идет о пари, и только.

— А я докажу вам, что не торгуюсь с друзьями, — сказал д'Арманталь, открывая секретер и доставая оттуда мешок с тысячью пистолей. — Вот вам две тысячи ливров золотом. Если мы одержим успех, они пойдут в счет условленной суммы, если же нас постигнет неудача, каждый останется при своем.

— Шевалье, — ответил капитан, принимая мешок и взвешивая его на руке с невыразимо довольным видом, — как вы понимаете, я не стану пересчитывать деньги: это значило бы оскорбить вас... А на какой день назначено похищение?

— Я еще ничего не знаю, дорогой капитан, но если вы нашли паштет недурным, а вино хорошим и если вы хотите ежедневно доставлять мне такое же удовольствие, как сегодня, я

буду держать вас в курсе дела.

— Нет, шевалье, об этом не может быть и речи, теперь нам уже не до шуток! — сказал капитан. — Если бы я стал бывать у вас каждое утро, не прошло бы и трех дней, как полиция этого проклятого д'Аржансона напала бы на наш след. К счастью, он имеет дело с таким же хитрецом, как он сам. Мы с ним давно уже играем в кошки-мышки. Нет, нет, шевалье, с этой минуты до того дня, когда настанет время действовать, мы должны видаться как можно реже, а еще лучше — не видаться вовсе. Ваша улица невелика, и так как она выходит с одной стороны на улицу Гро-Шене, а с другой — на Монмартр, мне даже нет надобности проходить по ней. Возьмите эту ленту, — продолжал он, развязывая бант на своем камзоле. — В тот день, когда я вам понадобится, вывесите ее на гвозде за окном. Я буду знать, что это значит, и поднимусь к вам.

— Как, капитан, — сказал д'Арманталь, видя, что его сотрапезник поднимается и пристегивает свою шпагу, — вы уходите, не прикончив бутылку? Чем провинилось перед вами это доброе вино, которому вы только что отдавали должное, за что вы теперь презираете его?

— Именно потому, что я по-прежнему отдаю ему должное, я с ним и разлучаюсь, а в доказательство того, что я его отнюдь не презираю, — прибавил он, снова наполняя свой стакан, — я скажу ему последнее «прости». За ваше здоровье, шевалье! Вы можете похвастаться превосходным вином! Гм... А теперь все, больше ни-ни! С этой минуты я не пью ничего, кроме воды, пока не увижу красную ленту, развевающуюся за вашим окном. Постарайтесь, чтобы это было как можно скорее, поскольку вода чертовски вредна для человека моей конституции.

— Но почему вы так скоро уходите?

— Потому что я знаю капитана Рокфинета. Это славный малый, но когда перед ним бутылка вина, он не может не пить, а когда он выпил, он не может не говорить. Но как бы хорошо человек ни говорил, помните: когда он говорит слишком много, то в конце концов скажет глупость... До свидания, шевалье, не забудьте про пунцовую ленту. Я иду по нашим делам.

— До свидания, капитан, — сказал д'Арманталь. — Я рад видеть, что мне нет надобности просить вас хранить молчание.

Капитан большим пальцем правой руки перекрестил рот, надвинул шляпу на лоб, приподнял прославленную колише-марду, чтобы она не стучала о стены, и спустился по лестнице так тихо, словно боялся, что каждый его шаг отзывается эхом в особняке д'Аржансона.

ХII. КАЧЕЛИ

Шевалье остался один. На этот раз то, что произошло между ним и капитаном, дало д'Арманталю столь обильную пищу для размышлений, что ему не было надобности, чтобы развеять скуку, прибегать ни к стихам аббата Шолье, ни к своему клавесину, ни к постели. В самом деле, до сих пор шевалье в некотором смысле был наполовину вовлечен в то рискованное предприятие, счастливый исход которого нарисовали ему герцогиня дю Мен и принц де Селламаре, а кровавые последствия, которыми оно было чревато, открыл ему, желая испытать его храбрость, капитан Рокфинет. До сих пор шевалье был лишь крайним звеном цепи. Ему достаточно было оборвать ее с одной стороны, чтобы выйти из игры. Теперь он стал промежуточным звеном, скованным с обеих сторон с другими звеньями и связывающим вершину общества с его низами. Наконец, с этого часа он уже не принадлежал себе; он был подобен заблудившемуся в Альпах путнику, который остановился на половине неведомой дороги и впервые измеряет взглядом гору, высившуюся над его головой, и бездну, открывавшуюся у его ног.

По счастью, шевалье обладал спокойной, холодной и решительной храбростью человека, в котором кровь и желчь — два противоположных начала, — вместо того чтобы уничтожать друг друга, лишь обретают новые силы в своем единоборстве. Он соглашался встретить опасность и делал это со всей быстротой сангвиника; но, согласившись, он измерял опасность с решительностью желчного человека. Поэтому шевалье должен был быть одинаково опасен как

в дуэли, так и в заговоре; ибо во время дуэли спокойствие позволяло ему использовать малейшую ошибку противника, а в заговоре хладнокровие давало ему возможность вновь связывать — как только они рвались — те незаметные нити, на которых часто держится успех самых великих предприятий. Госпожа дю Мен, следовательно, была права, говоря мадемуазель де Лонэ, что может погасить свой фонарь, так как уверена, что наконец нашла человека.

Но этот человек был молод, ему было двадцать шесть лет. Иными словами, сердце его было еще открыто всем иллюзиям и всей поэзии этой первой части земного существования. Ребенком он приносил венки к ногам матери; став молодым человеком, он пришел показать свою красивую полковничью форму любовнице. Короче, во всех событиях его жизни перед ним был некий любимый образ; и он бросался в самую гущу любой опасности с уверенностью, что если он погибнет, то его переживет кто-то, кто будет печалиться о его участии и хранить живую память о нем. Но его мать умерла. Последняя из женщин, которая, как он думал, его любила, предала его. Он чувствовал себя одиноким на свете, связанным лишь узами выгоды с людьми, для которых он станет помехой с той минуты, как перестанет быть их орудием, и которые, если его постигнет неудача, не только не будут оплакивать его смерть, но увидят в ней залог спокойствия. А такое одиночество, которого каждый должен был бы желать, подвергаясь смертельной опасности, почти всегда в подобных случаях, в силу присущего нам эгоизма, порождает глубокое уныние.

Небытие так страшит человека, что он надеется пережить себя хотя бы в чувствах, которые он внушает, и, зная, что ему суждено покинуть землю, в какой-то мере утешается мыслью о сожалениях, которыми будет овеяна его память, и о благоговейном почитании его могилы. Вот почему в эту минуту шевалье отдал бы все за то, чтобы быть любимым каким-нибудь живым существом, хотя бы собакой.

Д'Арманталь был всецело погружен в свои грустные размышления, когда, прохаживаясь взад и вперед мимо окна, заметил, что окно соседки открыто. Он вдруг остановился, вскинул голову, как бы для того чтобы стряхнуть с себя черные мысли, и прислонился к стене. Шевалье надеялся, что внешние впечатления изменят ход его мыслей. Но человек способен управлять ими наяву не больше, чем во сне. Открыты или закрыты наши глаза, мысли развиваются независимо от нашей воли, связываются — неизвестно как и почему — невидимыми нитями, которые приводят их в движение. И вот самые удаленные предметы сближаются, самые непоследовательные мысли притягиваются друг к другу; блики, которые могли бы озарить нам будущее, если бы не гасли с быстротой молнии, мелькают на мгновение. Человек чувствует, что в нем происходит нечто необычное, понимает, что отныне он лишь слепое орудие неведомой руки; и в зависимости от того, что он исповедует — фатализм или веру в Провидение, — он склоняется под неразумной прихотью случая либо перед таинственной волей Бога.

То же происходило и с д'Арманталем: он надеялся, что внешние впечатления, не связанные с его воспоминаниями и надеждами, отвлекут его от действительности, но они лишь продлили его горестные размышления.

Девушка, которую он увидел утром, сидела у окна, пользуясь последними лучами солнца; она была занята какой-то работой вроде вышивания. Позади нее был виден открытый клавесин, а у ее ног, на табурете, лежала левретка, заснувшая чутким сном, свойственным животным, которые предназначены природой для охраны человека; при каждом шуме, доносившемся с улицы, она просыпалась, настораживала уши, высовывала в окно свою изящную головку, а потом опять засыпала, положив лапки на колени своей хозяйке. Все это было восхитительно освещено заходящим солнцем; в его лучах яркими точками сверкали медные украшения на клавесине и уголок золотого ободка постели. Остальное тонуло в полутьме.

И вот шевалье показалось — без сомнения, благодаря тому расположению духа, в котором он находился, когда эта картина поразила его взор, — что девушка со спокойным и пленительно нежным лицом вступает в его жизнь, как те персонажи, что до времени остаются за кулисами и лишь во втором или третьем акте выходят на сцену, чтобы принять участие в действии, а иногда и изменить развязку пьесы. Давно уже, с того возраста, когда в сновидениях нам являются ангелы, он не встречал ничего подобного. Девушка не походила ни на одну из женщин, которых он до сих пор видел. В ней было сочетание красоты, наивности и простоты, какое иногда встречается в очаровательных головках Грёза, которые тот не копировал с натуры,

а видел отраженными в зеркале своего воображения. Тогда, забыв все — ее, без сомнения, низкое происхождение, улицу, где она жила, ее скромную комнату, — видя в ней только женщину и мысленно наделяя ее душой, столь же прекрасной, как ее лицо, д'Арманталь подумал о том, как счастлив был бы человек, который первым заставил бы заговорить ее сердце, заглянул бы с любовью в ее дивные глаза и вместе с первым поцелуем сорвал бы с ее свежих и чистых уст слова «Я люблю тебя», этот цветок души.

Одно и то же видится по-разному, приобретает совсем неожиданные оттенки в зависимости от положения, в котором мы находимся. Если бы еще неделю назад, окруженный роскошью, ведя жизнь, которой не угрожала никакая опасность, переходя от завтрака в таверне к охоте с гончими, от приглашения сыграть в мяч у Фароле к оргии у Фийон, д'Арманталь встретил эту девушку, он, без сомнения, увидел бы в ней лишь очаровательную гризетку, велел бы своему лакею проследить, где она живет, а на другой день, может быть, предложил бы ей оскорбительный подарок в двадцать пять луидоров. Но д'Арманталь был уже не тот, что неделю назад. Недавно красавец-дворянин, изящный, безрассудный, легкомысленный, уверенно взирающий на жизнь, теперь это был одинокий молодой человек, он брел во мраке, полагаясь лишь на свои силы, без путеводной звезды, поминутно ожидая, что земля разверзнется под его ногами или небо обрушится ему на голову. Он нуждался в опоре, сколь бы слабой она ни была; он нуждался в любви, он нуждался в поэзии. И нет ничего удивительного в том, что в поисках мадонны, которой можно было молиться, он в воображении поднял эту девушку из материальной, прозаической сферы, где она находилась, в свою сферу и вознес — не ту, несомненно, какой она была, а ту, какую он видел в своих желаниях — на опустевший пьедестал былых поклонений.

Внезапно девушка подняла голову, случайно взглянула на дом, расположенный напротив, и увидела сквозь оконное стекло задумчивое лицо шевалье. Ей показалось несомненным, что молодой человек оставался у окна из-за нее и что он наблюдал за ней. Ее лицо от смущения залилось краской. Однако она сделала вид, что ничего не заметила, и снова склонилась над вышиванием. Минуту спустя она встала, прошла по комнате, потом без жеманства, без ложной стыдливости, хотя и не без некоторого смущения опять подошла к окну и закрыла его.

Д'Арманталь не пошевелился, продолжая, несмотря на то, что девушка скрылась, странствовать в краю воображения. Раз или два ему показалось, что занавеска в окне его соседки приподнялась, словно та хотела узнать, все ли еще остается на своем посту спугнувший ее нескромный незнакомец.

Наконец послышалось несколько искусных и быстрых аккордов, за ними последовала нежная мелодия, и тогда д'Арманталь, в свою очередь, открыл окно.

Он не ошибся: его соседка была прекрасная музыкантша. Она исполнила два или три отрывка, не сопровождая, однако, музыку пением, и д'Арманталь ее слушал почти с таким же удовольствием, с каким раньше смотрел на нее. Вдруг посреди такта она остановилась. Д'Арманталь решил, что либо она его увидела и смутилась или захотела наказать его за любопытство, либо в комнату кто-то вошел и прервал ее; шевалье отступил назад, но так, чтобы не потерять из виду ее окна.

Вскоре он убедился, что его последнее предположение было верным. К окну подошел мужчина, отдернул занавеску и, прижавшись к стеклу добродушным толстым лицом, забарабанил пальцами по другому стеклу. Хотя теперь он был одет иначе, шевалье узнал в нем садовода, которого видел утром на террасе, возле фонтана, и который с такой фамильярностью дважды произнес имя Батильды.

Более чем прозаическое появление этого человека произвело следствие, которое и должно было ожидать, то есть вернуло д'Арманталя к действительности. Он забыл об этом обывателе, который, являя столь полный и странный контраст с девушкой, тем не менее был, очевидно, либо ее отцом, либо возлюбленным, либо мужем. А что могла иметь общего с благородным и аристократичным шевалье дочь, супруга или любовница такого человека? К несчастью, в силу своего извечного зависимого положения, женщина неизбежно приобщается к величию или перенимает вульгарность того, на чью руку она опирается, а нужно признаться, что садовник с террасы отнюдь не был создан для того, чтобы удержать Батильду на той высоте, на которую возвел ее в своих мечтах д'Арманталь.

Шевалье рассмеялся над собственным безумием, и так как со вчерашнего утра он не выходил из дому, то, когда стемнело, решил пройтись по городу, чтобы самолично убедиться в точности донесения тайных агентов принца де Селламаре.

Он закутался в плащ, спустился с пятого этажа и направился к Люксембургскому дворцу, куда, как говорилось в сообщении, переданном ему утром аббатом Бриго, регент должен был без охраны отправиться ужинать.

Остановившись напротив Люксембургского дворца, шевалье не увидел ни единого признака, который указывал бы на то, что герцог Орлеанский находится у своей дочери: у ворот стоял лишь один часовой, тогда как обычно во время посещений регента там ставили второго. Кроме того, во дворце не видно было ни кареты, ожидающей регента, ни скороходов, ни выездных лакеев. Было очевидно поэтому, что герцог Орлеанский еще не приехал. Шевалье подождал, чтобы увидеть, как он проедет. Регент никогда не завтракал, в два часа дня выпивал только чашку шоколада и редко ужинал после шести (а когда шевалье обогнул угол улицы Конде и улицы Вожирар, пробило уже три четверти шестого).

Д'Арманталь прождал полтора часа на улице Турнон, прогуливаясь от улицы Пти-Лион до дворца, и не заметил ничего похожего на прибытие регента. В восемь без четверти в Люксембургском дворце произошло какое-то движение. К подъезду была подана карета, сопровождаемая верховыми курьерами с факелами. Вскоре в нее сели три женщины, и кучер крикнул курьерам: «В Пале-Рояль!» Курьеры поскакали, карета последовала за ними, часовой взял на караул. И, как ни быстро проехал мимо шевалье элегантный экипаж с гербом Франции, д'Арманталь узнал герцогиню Беррийскую, ее фрейлину госпожу де Муши и ее камеристку госпожу де Понс. В донесении, присланном шевалье, была серьезная ошибка: не отец ехал к дочери, а дочь ехала к отцу.

Однако шевалье подождал еще, так как с регентом могло случиться какое-нибудь происшествие, удержавшее его в Пале-Рояле. Час спустя карета вернулась. Герцогиня Беррийская смеялась, слушая какую-то историю, которую рассказывал сопровождающий ее де Бройль. Значит, ничего серьезного не случилось. Все дело было в небрежности тайной полиции принца де Селламаре.

Шевалье, которого никто не встретил и никто не узнал, вернулся домой около десяти часов. Ему не сразу открыли, потому что, согласно патриархальным обычаям дома Дени, привратник уже лег спать. Наконец он с ворчанием отодвинул засов. Д'Арманталь сунул ему в руку экую, сказав, что будет иногда приходить поздно, но что всякий вечер, как это случится, привратник будет получать такое же вознаграждение. Тот рассыпался в изъявлениях благодарности и заверил д'Арманталя, что он волен приходить когда ему угодно и даже не ночевать дома.

Поднявшись в свою комнату, д'Арманталь увидел, что комната его соседки освещена, и, поставив свечу за ширму, подошел к окну. Таким образом, насколько позволяли муслиновые занавески, он мог видеть, что делается у нее, в то время как сам оставался невидимым.

Она сидела возле стола, вероятно рисуя на картоне, который держала у себя на коленях; свет падал на нее сзади, и ее профиль отчетливо выделялся на фоне стены. Вскоре другая тень, в которой шевалье узнал садовода, два или три раза промелькнула между лампой и окном. Наконец этот человек подошел к девушке, та подставила ему лоб, и, запечатлев на нем поцелуй, он удалился с подсвечником в руке. Минуту спустя осветилось окно мансарды. Все эти мелкие штрихи говорили языком, который невозможно было не понять: человек с террасы был не мужем Батильды, а, в худшем случае, ее отцом.

Д'Арманталь, сам не зная почему, почувствовал себя счастливым от этого открытия; он как можно тише распахнул окно, облокотился о подоконник и, устремив взор на силуэт девушки, снова впал в мечтательность, из которой днем его вывело забавное появление садовода.

Примерно через час девушка поднялась, положила на стол картон и карандаш, приблизилась к алькову, преклонила колени на скамеечке перед вторым окном и помолилась Богу. Д'Арманталь понял, что ее трудолюбивое бдение окончено; но, вспомнив о любопытстве, которое выказала его прекрасная соседка, когда он в первый раз стал музицировать, шевалье захотел узнать, не сможет ли он продлить это бдение, и сел за спинет. Случилось то, что он и

предвидел: при первых звуках девушка, не зная, что, благодаря расположению источника света, ее тень видна сквозь занавески, на цыпочках подошла к окну и, думая, что она скрыта от всех взоров, без стеснения стала слушать мелодичный инструмент, что, подобно поздней птице, пробудился, чтобы петь среди ночи.

Концерт продолжался бы, возможно, не один час, потому что д'Арманталь, ободренный достигнутым результатом, чувствовал себя в ударе и играл с легкостью, доселе ему незнакомой. К несчастью, жилец четвертого этажа был, вероятно, мужлан, ничего не смысливший в музыке, потому что д'Арманталь вдруг услышал как раз у себя под ногами удары палкой, которой внизу стучали в потолок с неистовством, не оставлявшим никакого сомнения в том, что это было прямое уведомление музыканту о необходимости перенести его занятие на более подходящее время. При других обстоятельствах д'Арманталь послал бы к черту этого наглеца, но тут он рассудил, что скандал, который дал бы возможность увидеть в нем дворянина, погубил бы его репутацию в глазах госпожи Дени, что он слишком многим рискует, если его узнают, и потому следует отнестись с философским спокойствием к некоторым неудобствам своего нынешнего положения. Поэтому, вместо того чтобы и дальше нарушать правила поведения в ночное время, по-видимому установленные в доме по обоюдному согласию между хозяйкой и жильцами, он внял предложению прервать игру на клавесине, забыв о том, в какой форме это предложение было сделано.

Как только музыка смолкла, девушка отошла от окна, и так как она при этом опустила еще и ситцевую штору, то скрылась из виду. Еще некоторое время ее комната была освещена, но вскоре свет погас. Что касается комнаты на шестом этаже, то она уже более двух часов была погружена в полную темноту.

Д'Арманталь тоже лег спать, радуясь, что существует точка соприкосновения между ним и его прекрасной соседкой.

На следующее утро в его комнате с обычной точностью появился аббат Брито. Шевалье встал уже час назад и успел раз двадцать подойти к окну, но так и не смог увидеть свою соседку, хотя было ясно, что она тоже встала, и даже раньше, чем он: проснувшись, он увидел сквозь верхние стекла ее окна, что большая штора снова поднята и закреплена на розетке. Поэтому, начиная приходить в дурное расположение духа, он был склонен сорвать на ком-нибудь досаду, и, как только аббат притворил за собой дверь, он сказал ему:

— А, дорогой аббат! Поздравьте от моего имени принца де Селламаре. Нечего сказать, отменные у него агенты.

— А что вы имеете против них? — спросил аббат Бриго со своей обычной тонкой улыбкой.

— Что я имею против них? А вот что: пожелав лично убедиться в достоверности их сведений, я вчера вечером отправился на улицу Турнон, пробыл там четыре часа и увидел, что не регент приезжал к своей дочери, а герцогиня Беррийская ездила к отцу.

— Ну что же, мы это знаем.

— Вы это знаете? — спросил д'Арманталь.

— Да, и даже знаем, что она отправилась из Люксембургского дворца вместе с госпожой де Муши и госпожой де Понс в восемь часов без пяти минут, а вернулась туда в половине десятого в сопровождении де Брольи, приехавшего занять за столом место регента, которого напрасно ждали.

— А где же был регент?

— Регент?

— Да.

— Это другая история, сейчас вы ее узнаете. Слушайте и не упустите ни одного слова, а потом посмотрим, скажете ли вы опять, что у принца плохие агенты.

— Я слушаю.

— В нашем донесении сообщалось, что регент должен в три часа поехать на улицу Сены играть в мяч.

— Да.

— Он поехал туда. Через полчаса после начала партии регент ушел с площадки, прижимая к глазам носовой платок. Он нечаянно ударил себя ракеткой по лицу с такой силой, что рассек

себе бровь.

— А, вот оно, происшествие!

— Подождите. Тогда регент, вместо того чтобы вернуться в Пале-Рояль, приказал отвезти себя к госпоже де Сабран. Вы знаете, где живет госпожа де Сабран?

— Она жила на улице Турнон, но, с тех пор как ее муж стал мажордомом регента, она живет, если не ошибаюсь, на улице Добрых Ребят, совсем близко от Пале-Рояля.

— Совершенно верно. Так вот, по-видимому, госпожа де Сабран, до сих пор сохранявшая верность Ришелье, была тронута плачевным состоянием, в котором она увидела принца, и решила оправдать поговорку: не везет в игре, везет в любви. В половине восьмого принц запиской, отправленной из столовой госпожи де Сабран, которая угощала его ужином, известил де Бройля, что не приедет в Люксембургский дворец, поручил де Бройлю поехать туда вместо него и принести от его имени извинения герцогине Беррийской.

— А, значит, это и есть та история, которую рассказывал в карете де Брольи и которая так насмешила дам?

— Вероятно. Теперь вы понимаете?

— Да, я понимаю, что регент, не будучи вездесущим, не мог находиться сразу у госпожи де Сабран и у своей дочери.

— И вы понимаете только это?

— Дорогой аббат, вы, как оракул, говорите загадками. Объясните же наконец!

— Сегодня я зайду за вами в восемь часов, и мы прогуляемся по улице Добрых Ребят. Мне не понадобится вам ничего объяснять: местоположение особняка госпожи де Сабран говорит само за себя.

— Понимаю! — сказал д'Арманталь. — Он находится так близко от Пале-Рояля, что регент вернется к себе пешком. После определенного часа тот подъезд Пале-Рояля, который выходит на улицу Добрых Ребят, запирают. Следовательно, регенту придется, чтобы войти во дворец, обогнуть его по Двору Фонтанов или по новой улице Добрых Ребят, и тут-то он наш! Черт возьми, вы великий человек, и, если герцог дю Мен не сделает вас кардиналом или, по крайней мере, архиепископом, нет на земле справедливости.

— Я на это рассчитываю. Теперь вы понимаете — вам нужно быть наготове.

— Я готов.

— Есть у вас средства привести в исполнение этот замысел?

— Есть.

— Значит, вы имеете связь с вашими людьми?

— Да, посредством условного знака.

— А этот знак не может вас выдать?

— Никогда.

— В таком случае все в порядке. Теперь нам нужно только позавтракать, потому что я так спешил к вам сообщить эти добрые известия, что вышел из дому натошак.

— Позавтракать, дорогой аббат? Хорошо вам говорить! Я могу предложить вам только остатки вчерашнего паштета да три или четыре бутылки вина, кажется уцелевшие в баталии, которая здесь происходила.

— Гм-гм! — пробормотал аббат. — Мы сделаем лучше, дорогой шевалье.

— Я к вашим услугам.

— Спустимся позавтракать к нашей доброй хозяйке, госпоже Дени.

— Какого черта я пойду к ней завтракать? Разве я с ней знаком?

— Это мое дело. Я представлю вас как своего питомца.

— Но у нас будет отвратительный завтрак.

— Не беспокойтесь. Я ее кухню знаю.

— Но ведь это будет убийственно скучно?

— Зато вы сведете дружбу с женщиной, хорошо известной в своем квартале строгими нравами и преданностью правительству, — словом, с женщиной, не способной дать приют заговорщику. Вы понимаете?

— Если это нужно для пользы дела, аббат, я приношу себя в жертву.

— Я уж не говорю о том, что это весьма приятный дом, где вы познакомитесь с двумя

молодыми особами, из которых одна играет на виоле-д'амур, а другая — на спинете, и с юношей, клерком стряпчего; в общем дом, в котором вы сможете проводить воскресные вечера за партией в лото.

— Подите вы к черту с вашей госпожой Дени! Ах, простите, аббат! Быть может, вы друг дома? В таком случае беру свои слова обратно.

— Я ее духовник, — скромно ответил аббат Бриго.

— Тогда тысяча извинений, дорогой аббат. Госпожа Дени в самом деле очень красивая, прекрасно сохранившаяся женщина. У нее роскошные руки и крохотные ножки. Черт возьми, я ее отлично помню! Спуститесь первым, я последую за вами.

— Почему бы нам не спуститься вместе?

— А как же мой туалет, дорогой аббат? Неужели вы хотите, чтобы я появился перед барышнями Дени в таком виде, совсем взлохмаченный? Должны же мы, черт возьми, следить за своей внешностью! К тому же будет приличнее, если вы предупредите о моем приходе, — я-то ведь не пользуюсь привилегиями духовника.

— Вы правы. Я спущусь, предупрежу о вас, а через десять минут придете и вы сами. Не так ли?

— Да, да, через десять минут.

— Я покидаю вас.

— До свидания.

Шевалье сказал только половину правды: возможно, он остался для того, чтобы заняться своим туалетом, но также и в надежде хоть на минуту увидеть свою прекрасную соседку, о которой грезил всю ночь. Надежда эта не сбылась: напрасно он подстерегал ее, спрятавшись за занавеской, окно девушки с белокурыми волосами и черными глазами оставалось плотно занавешенным. Правда, вместо нее он мог увидеть своего соседа, облаченного в уже знакомое шевалье утреннее одеяние, который, приоткрыв дверь, высунул так же осторожно, как накануне, сначала руку, а потом и голову. Но на этот раз он не отважился на большее, потому что стоял легкий туман, как известно в высшей степени вредный для организма парижского обывателя. Наш мещанин кашлянул раза два на самых низких нотах и, убрав голову и руку, опять спрятался в свою комнату, как черепаха в свой панцирь. Д'Арманталь с удовольствием увидел, что он может избавить себя от труда покупать барометр и что сосед вполне заменит ему обезьян-капуцинов, которые выходят из лесных убежищ в хорошую погоду и упорно остаются там в дождливые дни.

Появление садового произвело на шевалье обычное впечатление, отражавшееся на его отношении к бедной Батильде. Она была так мила и привлекательна, что всякий раз, когда д'Арманталю удавалось посмотреть на нее, он видел в ней лишь юную девушку, грациозную, красивую, одаренную талантом к музыке и рисованию, то есть самое прелестное и совершенное создание, которое ему доводилось встречать. В такие минуты — подобная тем призракам, что проходят в ночи наших грез, неся, словно алебастровый фонарь, свой свет в самих себе, — она озарялась небесным лучом, отбрасывающим во мрак все, что ее окружало. Но, когда взору шевалье являлся хозяин террасы с его заурядным лицом, вульгарными манерами и той неизгладимой печатью пошлости, которой отмечены некоторые люди, в душе д'Арманталя странным образом совершалось нечто подобное движению качелей: вся поэзия исчезала, как по свистку машиниста исчезает волшебный дворец со сцены театра; вещи представляли в новом свете; врожденный аристократизм д'Арманталя брал верх; Батильда снова оказывалась всего лишь дочерью этого человека, то есть гризеткой, и только; ее красота, грация, изящество и даже таланты становились игрой случая, ошибкой природы, чем-то вроде розы, расцветшей на кочане капусты. Тогда шевалье, пожимая плечами, разражался смехом над самим собой и, не в силах понять, откуда взялось столь сильное впечатление, которое он испытывал прежде, приписывал его своей озабоченности, необычности своего положения, одиночеству — словом, чему угодно, только не его подлинной причине: могучей и неодолимой власти изящества и красоты. Итак, д'Арманталь спустился к своей хозяйке, весьма расположенный найти очаровательными барышень Дени.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. СЕМЬЯ ДЕНИ

Шевалье вслед за аббатом вышел из мансарды и спустился к хозяйке. Госпожа Дени считала, что таким невинным созданиям, как ее дочери, не приличествует завтракать в обществе молодого человека, который, не прожив в Париже и трех дней, уже возвращается домой в одиннадцать вечера и до двух часов ночи играет на клавесине. И, хотя аббат Бриго потратил немало слов, стараясь убедить госпожу Дени, что это двойное нарушение правил внутреннего распорядка, установленных в доме, не должно в ее глазах порочить нравственность молодого человека, за которого он отвечает как за самого себя, он добился лишь того, что девицам Дени было разрешено появиться за столом во время десерта.

Однако шевалье заметил, что, хотя девицам и было запрещено показываться ему на глаза, им, видимо, не возбранялось услаждать его слух. Едва госпожа Дени и ее гости уселись за столом, на котором был сервирован обильный завтрак, состоящий из множества разнообразных блюд, аппетитных на вид и превосходных на вкус, как за стеной послышались прерывистые аккорды клавесина и зазвучал голос, не лишенный силы, но столь часто детонирующий, что плачевная неопытность певицы сразу становилась очевидной. При первых же аккордах госпожа Дени притронулась к руке аббата, а затем с довольной улыбкой несколько мгновений вслушивалась в доносящееся из соседней комнаты пение, от которого у шевалье мурашки побежали по коже.

— Слышите? — сказала она. — Это Атенаис играет на клавесине, а Эмилия поет.

Аббат Бриго кивнул головой в знак того, что наслаждается пением и музыкой, и, слегка наступив на ногу шевалье, дал ему понять, что настала минута сделать комплимент госпоже Дени.

— Сударыня, — тотчас сказал д'Арманталь, отлично поняв, что аббат взывает к его вежливости, — мы должны выразить вам двойную благодарность, ибо вы угощаете нас не только отменным завтраком, но и прекрасным концертом.

— Ах, — небрежно ответила госпожа Дени, — девочки просто развлекаются. Они не знают, что вы здесь, и поэтому музицируют. Я сейчас прикажу им прекратить. — И госпожа Дени сделала движение, чтобы встать.

— Помилуйте, сударыня! — воскликнул д'Арманталь. — Неужели оттого, что я приехал из провинции, вы считаете меня недостойным познакомиться с талантами столицы?

— Упаси Бог, сударь, я вовсе так не считаю, — ответила госпожа Дени, лукаво взглянув на шевалье. — Я ведь знаю, что вы музыкант. Мне уже сообщил об этом жилец с четвертого этажа.

— В таком случае, сударыня, вы вряд ли выслушали лестный отзыв о моем искусстве, — со смехом сказал д'Арманталь, — потому что мой сосед как будто не пришел в восторг от моих упражнений.

— Он сказал мне только, что вы выбираете странные часы для занятия музыкой... но прислушайтесь, господин Рауль, — добавила госпожа Дени, обернувшись к двери, — роли переменились. Теперь, дорогой аббат, поет Атенаис, а Эмилия аккомпанирует сестре на виоле-д'амур.

По-видимому, госпожа Дени испытывала слабость к Атенаис, ибо, вместо того чтобы разговаривать, как во время пения Эмилии, она безмолвно выслушала романс своей любимицы, не сводя умиленного взгляда с аббата Бриго, который, не отрываясь от еды и питья, лишь кивал в знак одобрения.

Впрочем, Атенаис фальшивила немного меньше, чем ее сестра; но это преимущество уравновешивалось другим недостатком, во всяком случае для слуха шевалье: ее голос был ужасающе вульгарен.

Что касается госпожи Дени, то она с блаженным видом покачивала головой в такт фальшивым аккордам, что скорее делало честь ее материнской снисходительности, чем музыкальной образованности.

За соло последовал дуэт. Очевидно, барышни Дени решили представить на суд слушателей весь свой репертуар. Тем временем д'Арманталь под столом пытался дотянуться до ног Бриго, чтобы размозжить хоть одну из них. Но ему удалось только натолкнуться на ноги госпожи Дени, которая приняла действия шевалье за заигрывание с ней и любезно повернулась в его сторону.

— Так, значит, господин Рауль, вы, такой молодой и неопытный, приехали сюда, не боясь опасностей, которые таит столичная жизнь? — грациозно склонившись к шевалье, сказала госпожа Дени.

— Увы, увy! — поспешил ответить аббат Бриго из боязни, что шевалье не устоит перед соблазном отпустить какую-нибудь шутку. — Этот юноша, госпожа Дени, сын моего покойного друга, который был мне безмерно дорог (тут аббат поднес салфетку к глазам), и я надеюсь, что те старания, которые я положил на воспитание моего питомца, не пропадут даром, ибо он, хоть это и не бросается в глаза, весьма честлюбив.

— И господин Рауль прав, — подхватила госпожа Дени. — С его талантами и внешностью можно, мне кажется, добиться всего.

— О сударыня, — сказал аббат Бриго, — если вы с самого начала будете его так баловать, то я его к вам больше не приведу, так и знайте... Рауль, дитя мое, — продолжал аббат, обращаясь к шевалье отеческим тоном, — надеюсь, вы не верите ни одному слову из этих комплиментов? — Затем, наклонившись к госпоже Дени, он шепнул ей на ухо: — Вы видите, каков он. Он мог бы остаться в Совиньи и стать там первым человеком после графа, ведь у него добрых три тысячи ливров годового дохода с недвижимости.

— Это как раз столько, сколько я собираюсь дать в приданое каждой из моих дочерей, — ответила госпожа Дени, повышая голос в надежде, что ее услышит шевалье, и искоса поглядывая на него, чтобы узнать, какое впечатление произвела на него такая щедрость.

К несчастью для будущего девиц Дени, шевалье думал совсем не о том, чтобы прибавить к тысяче экю годового дохода, коими наградил его аббат Бриго, три тысячи ливров приданого, которые давала за своими дочерьми эта великодушная мать. Фальцет мадемуазель Эмили, контральто Атенаис, убогость их аккомпанемента заставили д'Арманталя вспомнить чистый и певучий голос девушки из дома напротив, изысканность и совершенство ее исполнения.

В силу того, что внутренняя сосредоточенность дает нам возможность отгораживаться от внешних впечатлений, шевалье удалось отвлечься от кошачьего концерта, доносившегося из-за стены, и, уйдя в себя, наслаждаться нежной мелодией, которая лилась в его памяти и, словно волшебная кольчуга, защищала от резких, крикливых звуков, наполнявших комнату.

— Смотрите, с каким вниманием он слушает пение, — сказала госпожа Дени аббату Бриго. — Что ж, прекрасно. Для такого человека стоит постараться. Ну и намылю я голову господину Фремону!

— Кто этот господин Фремон? — спросил аббат, наливая себе вино.

— Жилец с четвертого этажа, жалкий рантье, у которого лишь тысяча двести ливров годового дохода. К тому же из-за его мопса я имела уже немало неприятностей в доме. Так вот, господин Фремон прибежал ко мне жаловаться, что господин Рауль мешает спать ему и его собаке.

— Дорогая госпожа Дени, — сказал аббат Бриго, — у вас нет причины ссориться с господином Фремоном. Два часа ночи в самом деле не подходящий час для музыки, и уж если моему питомцу не спится, то пусть он играет днем, а ночью рисует!

— Как, господин Рауль к тому же и рисует? — воскликнула госпожа Дени, изумленная таким изобилием талантов у молодого человека.

— Рисует ли он? Да он рисует не хуже Миньяра.

— О дорогой аббат, — сказала госпожа Дени, всплеснув руками, — если бы мы смогли добиться одной вещи...

— Какой? — спросил аббат.

— Если бы нам удалось уговорить его сделать портрет нашей Атенаис!

При этих словах шевалье очнулся от своих грез, подобно путнику, заснувшему на траве, который, еще не сознавая, что к нему подползает змея, инстинктивно ощущает, что ему грозит

страшная опасность.

— Аббат, — испуганно крикнул он, с яростью уставившись на Бриго, — не делайте глупостей!

— Господи, что это с вашим воспитанником! — растерянно спросила госпожа Дени.

К счастью, в тот момент, когда аббат, не зная, что ответить на вопрос госпожи Дени, искал какую-нибудь правдоподобную отговорку, чтобы скрыть истинный смысл восклицания шевалье, дверь в столовую отворилась, и на пороге, красные от смущения, появились девицы Дени и, отступив на шаг друг от друга, проделали реверанс из менуэта.

— Что это значит? — с напускной строгостью произнесла госпожа Дени. — Кто вам разрешил покинуть свою комнату?

— Простите, матушка, если мы дурно поступили, — ответствовала одна из девиц. По ее тонкому голосу шевалье догадался, что это и есть Эмилия. — Если вы прикажете, мы тотчас же вернемся к себе.

— Но, матушка, — подхватила другая девица, и шевалье по грудному голосу сразу же узнал Атенаис, — ведь нам было как будто сказано, чтобы мы вышли к десерту.

— Ну что ж, раз уж вы пришли, то оставайтесь. Было бы нелепо теперь отсылать вас. Впрочем, — добавила госпожа Дени, усаживая Атенаис между собой и Бриго, а Эмилию между собой и шевалье, — юным созданиям всегда хорошо быть под крылышком у матери... Не правда ли, аббат?

Госпожа Дени подвинула своим дочерям вазочку с конфетами, из которой обе девицы кончиками пальцев, со скромностью, делающей честь полученному ими воспитанию, взяли по конфете: мадемуазель Эмилия — засахаренный миндаль, а мадемуазель Атенаис — шоколадное драже.

Во время этих речей и маневров госпожи Дени шевалье имел возможность рассмотреть ее дочерей. Мадемуазель Эмилия была высокой и сухопарой особой лет двадцати двух — двадцати трех и обладала, как говорили, совершенным сходством с покойным господином Дени, своим отцом. Однако, этого преимущества было, по-видимому, недостаточно, чтобы вызвать в материнском сердце такую же привязанность, какую госпожа Дени питала к двум другим детям. Поэтому бедная Эмилия, постоянно опасаясь, что сделает что-нибудь не так и ее будут бранить, сохранила врожденную неловкость, которую не смогли устранить никакие усилия ее учителя танцев. Что же касается мадемуазель Атенаис, это была, в противоположность сестре, маленькая толстуха, румяная, кругленькая. Ее шестнадцать или семнадцать лет позволяли ей быть, говоря простонародным языком, чертовски хорошенькой. Внешне она не походила ни на господина, ни на госпожу Дени; эта странность задавала немало работы злым языкам улицы Сен-Мартен, пока госпожа Дени не продала свое суконное заведение и не переехала в дом на улице Утраченного Времени, который они с мужем купили на доходы от этого предприятия. Отсутствие сходства с родителями ничуть не мешало мадемуазель Атенаис быть признанной фавориткой госпожи Дени, что в свою очередь придавало ей уверенность, которой так недоставало бедной Эмили. Будучи доброй по натуре, Атенаис — в похвалу ей будь сказано — всегда использовала материнскую благосклонность, чтобы добиться прощения мнимых ошибок старшей сестры. Впрочем, шевалье, которого талант к рисованию сделал физиономистом, с первого взгляда заметил — во всяком случае, ему так показалось — некоторые сходные черты в лицах мадемуазель Атенаис и аббата Бриго, что в сочетании с необыкновенным сходством их телосложения могло бы послужить для любопытных точным указанием в установлении отцовства, если бы подобные расследования не были разумно запрещены нашими законами..

Обе сестрицы, несмотря на то что было только одиннадцать часов утра, разоделись, словно собирались на бал, и навешали на себя все драгоценности, какие только у них имелись.

Вид дочерей хозяйки всецело отвечал ожиданиям д'Арманталя, и это дало ему новую пищу для размышлений. Если девицы Дени оказались точь-в-точь такими, какими они и должны были быть, то есть если их облик вполне соответствовал их происхождению и полученному воспитанию, то почему же Батильда, которая по своему общественному положению, казалось, стояла чуть ли не ниже сестер Дени, была изысканна в той же мере, в какой они вульгарны? Откуда проистекало такое огромное различие во всем между девушками

одного возраста и одного сословия? Тут, несомненно, была какая-то тайна, и рано или поздно шевалье в нее проникнет.

Новый толчок со стороны аббата Бриго дал понять д'Арманталю, что если даже его размышления вполне справедливы, то предаваться им сейчас в высшей степени неуместно. И в самом деле, на лице госпожи Дени вдруг появилось выражение оскорбленного достоинства, а шевалье д'Арманталь понял, что ему нельзя терять ни минуты, если он хочет сгладить неприятное впечатление, которое произвела на хозяйку его рассеянность.

— Сударыня, — поспешно сказал он самым любезным тоном, — знакомство с вашими дочерьми, которым вы меня удостоили, вызывает во мне живейшее желание узнать все ваше семейство. Неужели вашего многоуважаемого сына нет дома, и я буду лишен удовольствия быть ему представленным?

— Сударь, — ответила госпожа Дени, которой любезный вопрос д'Арманталя вернул доброе расположение духа, — мой сын у стряпчего, господина Жулю, и, если случайно какие-нибудь дела не приведут его в наш квартал, маловероятно, что он будет иметь честь познакомиться с вами нынче утром.

— Ей-Богу, дитя мое, — сказал аббат Бриго, — вы словно Алладин из сказки. Стоит вам только выразить желание, как оно тотчас же осуществляется.

В самом деле, в ту же минуту с лестницы донеслись звуки песни «Мальбрук в поход собрался», которая в те годы еще обладала всей прелестью новизны, а вслед за тем распахнулась дверь, и в комнату ворвался толстый юнец с веселым лицом, очень похожий на мадемуазель Атенаис.

— Вот так так! — вскричал вновь прибывший, скрестив на груди руки и обводя взглядом мать и сестер, завтракавших в обществе аббата Бриго и шевалье д'Арманталя. — Однако, как я погляжу, мамаша Дени не больно стесняется! Отправила своего Бонифаса к стряпчему, сунула ему в руки ломоть хлеба с сыром, да еще приказала: «Иди, мой друг, да смотри не объедайся». А в его отсутствие она, оказывается, задает тут настоящие пиры! К счастью, у бедного Бонифаса прекрасный нюх. Проходя по улице Монмартр, он вдруг втянул в себя воздух и сказал: «Чем это так хорошо пахнет на улице Утраченного Времени, в доме номер пять?» Он помчался туда со всех ног, и вот он перед вами!... А ну-ка, дайте мне место!

И тут же, подкрепляя свои слова действиями, Бонифас потащил к столу стул, стоявший у двери, и уселся между аббатом Бриго и шевалье.

— Господин Бонифас, — сказала госпожа Дени, стараясь напустить на себя строгий вид, — разве вы не видите, что здесь посторонние?

— Посторонние? — изумленно спросил Бонифас, придвигая к себе блюдо. — А где они, эти посторонние? Может, это вы, папаша Бриго, или господин Рауль? Какой же он посторонний, он просто жилец!

И, завладев свободным прибором, он принялся насыщаться с усердием, не оставлявшим никакого сомнения в том, что он не замедлит наверстать упущенное.

— Госпожа Дени, — воскликнул д'Арманталь, — я с радостью вижу, что мои дела обстоят куда лучше, чем я думал! Я и не подозревал, что имею честь быть известным господину Бонифасу!

— Странно было бы, если бы я вас не знал, — проговорил с набитым ртом клерк стряпчего. — Ведь вы заняли мою комнату.

— Как, госпожа Дени, вы скрыли от меня, что я удостоен чести занимать апартаменты будущего наследника вашего дома? Теперь я не удивляюсь, что комната оказалась столь изящно обставленной. Чувствуется, что там ко всему прикоснулась рука любящей матери.

— Спасибо на добром слове. Но позвольте дать вам дружеский совет, шевалье: не глядите слишком много в окно.

— Почему? — спросил д'Арманталь.

— Да потому, что напротив вас живет некая особа...

— Мадемуазель Батильда! — не удержавшись, воскликнул шевалье.

— Ах, вы уже знакомы с ней? — подхватил Бонифас. — Так-так, тогда все пойдет как по маслу!

— Извольте замолчать, сударь! — приказала госпожа Дени.

— Нет уж. Надо предупреждать нанимателей, когда имеются обстоятельства, могущие послужить основанием для расторжения найма. Вы не служите у стряпчего, матушка, и не знаете этих тонкостей.

— Мальчик необычайно умен! — сказал аббат Брито таким тоном, что невозможно было разобрать, шутит ли он или говорит серьезно.

— Но что может быть общего между господином Раулем и мадемуазель Батильдой? — спросила госпожа Дени.

— Что может быть общего? Да то, что через неделю он будет от нее без ума, если он мужчина. А в кокетку влюбляться не стоит.

— В кокетку? — переспросил д'Армантадь.

— Да, она кокетка, кокетка! — упрямо повторил Бонифас. — Я это утверждаю и не откажусь от своих слов. С молодыми людьми разыгрывает из себя недотрогу, а живет со стариком. К тому же у нее есть премерзкая собачонка, по кличке Мирза, которая пожирала все мои конфеты, а теперь, как только завидит меня, норovit вцепиться мне в икры.

— Прошу вас удалиться, мадемуазель Эмилия и мадемуазель Атенаис, — сказала госпожа Дени, поднимаясь сама и заставляя тем самым подняться своих дочерей. — Вашего чистого слуха не должны касаться подобные легкомысленные речи.

И, подталкивая девушек к двери, она направилась вместе с ними в их комнату.

Что же касается шевалье д'Арманталя, то его охватило бешеное желание размозжить бутылкой голову господину Бонифасу. Однако, понимая весь комизм своего положения, он сделал над собой усилие и сдержался.

— А я-то думал, что этот добропорядочный обыватель, проживающий на террасе, — вы, видимо, его имеете в виду, господин Бонифас...

— Да, да, именно его, этого старого мошенника. И кто бы мог подумать!

— ... ее отец! — невозмутимо продолжал д'Армантадь.

— Ее отец? Да разве у мадемуазель Батильды есть отец? Нет у нее никакого отца!

— Или, скажем, дядюшка.

— Ха-ха, «дядюшка»! Какой-нибудь двоюродный дядюшка!

— Сударь, — величественно сказала госпожа Дени, вернувшись из комнаты девиц и плотно прикрыв за собой дверь, — я вас уже просила запомнить раз и навсегда, что не следует позволять себе столь легкомысленные речи в присутствии ваших сестриц.

— Ох, уж эти сестрицы! — воскликнул Бонифас, не унимаясь. — Неужели вы считаете их слишком юными,

чтобы выслушивать то, что я сказал, — особенно Эмилию, которой уже исполнилось двадцать три года.

— Эмилия невинна, как младенец, сударь! — сказала госпожа Дени, усаживаясь на свое место между Бриго и д'Арманталем.

— Да уж, невинна! Как бы не так, мамаша Дени. На днях в комнате этой невинной особы я нашел один прелестный романчик. Подходящее чтение для великого поста!.. Вам, папаша Бриго, как ее исповеднику, я дам его почитать. Может быть, это вы разрешили ей коротать предпасхальные вечера за этой книгой?

— Молчи, злой шалун! — сказал аббат. — Видишь, как ты огорчаешь свою мать?



В самом деле, госпожа Дени сгорала от стыда при мысли, что эта сцена, столь пагубная для ее дочерей, разыгралась на глазах молодого человека, на котором она, со свойственной матерям дальновидностью, уже успела остановить свой выбор. Казалось, она вот-вот упадет в обморок.

Меньше всего мужчины доверяют женским обморокам, и в то же время именно обмороками их легче всего провести.

Впрочем, поверил ли шевалье д'Арманталь в обморок своей хозяйки или не поверил, но он был слишком вежливым человеком, чтобы при этих обстоятельствах не оказать ей внимания. Протянув вперед руки, шевалье двинулся навстречу госпоже Дени, и она, не видя другой опоры, сделала несколько шагов по направлению к шевалье и, запрокинув голову, рухнула в его объятия.



— Аббат, — сказал д'Арманталь в то время, как господин Бонифас, воспользовавшись создавшимся положением, торопливо рассовывал по карманам все конфеты, которые еще оставались на столе, — аббат, придвиньте же кресло!

Аббат придвинул кресло со спокойной неторопливостью, которая свидетельствовала о том, что он привык к подобным происшествиям и нимало не опасался за их последствия. Госпожу Дени усадили в кресло, д'Арманталь дал ей нюхательной соли, а аббат стал похлопывать ее по ладоням. Однако, несмотря на все их старания, госпожа Дени, казалось, и не думала приходить в себя. Но вдруг в тот момент, когда этого меньше всего стоило ожидать, она вскочила на ноги как ужаленная и издала пронзительный вопль.

Д'Арманталь подумал, что за обмороком последовал нервный припадок. Он не на шутку испугался — такой неподдельный ужас прозвучал в крике бедной женщины.

— Ничего, ничего, — сказал Бонифас, — просто я ей вылил за шиворот графин холодной воды — от этого она и очнулась. А то, вы же сами видели, она не знала, как ей прийти в себя. Что ты так смотришь? — спросил безжалостный сорванец в ответ на пылающий гневом взгляд госпожи Дени. — Ну да, это я. Ты что, не узнаешь меня, твоего маленького Бонифаса, который так тебя любит!

— Сударыня, — сказал д'Арманталь, который чувствовал себя весьма неловко, — я просто в отчаянии от всего, что произошло.

— О сударь, — воскликнула госпожа Дени и разразилась слезами, — я так несчастна!

— Ну ладно, будет тебе плакать, матушка Дени, ты и так уже насквозь промокла, — сказал Бонифас. — Ступай-ка лучше перемени рубашку. Ничто так не вредит здоровью, как сырая рубашка, которая прилипает к спине.

— Этот ребенок полон здравого смысла, — сказал аббат Бриго. — Мне кажется, вам надо последовать его совету, сударыня.

— Если бы я осмелился присоединить свой голос к голосу аббата Бриго, я бы настоятельно просил вас не церемониться с нами, — продолжал шевалье. — К тому же нам пора идти, мы как раз собирались проститься с вами.

— И вы тоже, аббат? — спросила госпожа Дени, бросив умоляющий взгляд на Бриго.

— Да, меня ждут в особняке Кольбер, — ответил Бриго, которому, видимо, нимало не улыбалась роль утешителя, — и я вынужден вас покинуть.

— Что ж, прощайте, господа, — сказала госпожа Дени и сделала реверанс, потерявший, правда, значительную долю своей величавости из-за лужи, которая образовалась на полу от стекающей с ее платья воды.

— Прощайте, матушка, — сказал Бонифас, обнимая госпожу Дени с уверенностью избалованного ребенка. — Вам ничего не надо передать метру Жулю?

— Прощай, негодник, — ответила бедная женщина, целуя сына. Она уже улыбалась, хотя еще продолжала сердиться: как всякая мать, она не могла устоять перед сыновней лаской. — Прощай и будь умником.

— Я буду послушненьким, мамаша Дени, но при условии, что ты мне припасешь к обеду какое-нибудь лакомство. Ладно?

И третий клерк метра Жулю вприпрыжку догнал аббата Бриго и д'Арманталя, которые уже спускались по лестнице.

— Эй, послушай, шалопай, — воскликнул аббат, хватаясь за карман своего сюртука, — ты куда лезешь?

— Не обращайтесь внимания, папаша Бриго. Я хотел лишь проверить, не завалилась ли там какая-нибудь мелкая монета для вашего друга Бонифаса.

— Вот тебе целый эю, — сказал аббат, — только поскорей уходи и оставь нас в покое.

— Папаша Бриго, — завопил Бонифас в порыве благодарности, — честное слово, у вас сердце кардинала! И, если король назначит вас только архиепископом, считайте, что вас обокрали... Прощайте, господин Рауль, — обратился он к шевалье так фамильярно, словно был знаком с ним уже десять лет. — Повторяю вам, остерегайтесь мадемуазель Батильды, если вы не хотите потерять голову, и не скупитесь на сахар для Мирзы, если вам дороги ваши икры! — И, ухватившись руками за перила, он одним махом спустился с лестницы и оказался на улице, не коснувшись ногой ни одной ступеньки.

Бриго, условившись с д'Арманталем о свидании в восемь часов вечера, спокойно сошел вниз вслед за своим другом Бонифасом. А шевалье в глубокой задумчивости поднялся в свою мансарду.

II. ПУНЦОВАЯ ЛЕНТА

Однако шевалье д'Арманталя в эту минуту не занимала ни близившаяся развязка драмы, в которой он избрал себе такую ответственную роль, ни мудрая предусмотрительность аббата Бриго, который поселил его в доме, где вот уже десять лет аббат бывал почти ежедневно и не мог поэтому привлечь ничьего внимания своими посещениями, будь они еще даже более частыми; он не думал ни о высокопарной речи госпожи Дени, ни о сопрано мадемуазель Эмили, ни о контральто мадемуазель Атенаис, ни о шутках господина Бонифаса. Все мысли д'Арманталя были поглощены бедной Батильдой, о которой только что так пренебрежительно отзывались в доме его хозяйки.

Но читатель глубоко ошибся бы, решив, что грубое обвинение господина Бонифаса хотя бы в малой степени повлияло на те смутные и безотчетные чувства, которые шевалье испытывал к девушке. Правда, поначалу слова господина Бонифаса произвели на него тягостное впечатление, и ему стало как-то не по себе. Но даже минутного размышления оказалось для него достаточно, чтобы понять всю невозможность подобной связи. Волею случая у человека низкого звания может вырасти прелестная дочь, судьба может соединить изящную молодую женщину с вульгарным стариком... Но незаконные связи, подобные той, какую подозревали между девушкой, живущей на пятом этаже, и мещанином с террасы, порождаются только страстью или расчетом. Однако любви между двумя этими существами, столь во всем противоположными друг другу, быть не могло. Еще меньше оснований было предполагать, что дело здесь в корысти, потому что, если они и не знали настоящей бедности, то, во всяком случае, не поднимались над уровнем весьма скромной жизни. И даже не той скромной жизни, позлащенной довольством, которую воспевают Гораций и которая протекает где-нибудь в деревенском домике в Тибуре или Монморанси и обеспечивается пенсией в тридцать тысяч сестерций из личных средств Августа или же государственной рентой в шесть тысяч франков, а скромной, убогой и жалкой жизни людей, которые кое-как перебиваются со дня на день и не впадают в нищету лишь благодаря упорному, каждодневному, а нередко и ночному труду.

Единственный вывод, который следовал из всего этого для д'Арманталя, состоял в том, что Батильда, без всякого сомнения, не могла быть ни дочерью, ни женой, ни любовницей его отвратительного соседа, одним своим видом омрачавшего зарождающуюся любовь шевалье. А

это значило, что происхождение Батильды связано с какой-то тайной и, следовательно, Батильда была не тем, чем казалась. Таким образом, все объяснялось: аристократическая красота, грация и безупречное воспитание Батильды переставали быть непостижимой загадкой. Ее теперешнее жалкое положение не соответствовало ее происхождению. Очевидно, эта девушка испытала превратности судьбы, которые для человека примерно то же, что землетрясение для города. Что-то в ее жизни рухнуло, и она вынуждена была опуститься до той среды, в которой ныне прозябала.

Шевалье пришел поэтому к убеждению, что может, не теряя уважения к самому себе, влюбиться в Батильду. В поединке с гордостью — своим надменным и вечно брюзжащим врагом — сердце неистоимо на хитрости. Если бы происхождение Батильды было известно, она не могла бы покинуть пределы круга, к которому принадлежала ее семья, — так сказать, Попилиева круга, — но, поскольку ее жизнь была окутана мраком таинственности и она могла выйти из него в сиянии блеска и величия, ничто не мешало человеку, который любил Батильду, вознести ее в своем воображении на такую высоту, какой она сама, быть может, не осмелилась бы достигнуть даже мысленным взором.

И вот, вместо того чтобы послушаться дружеского совета господина Бонифаса, д'Арманталь, едва войдя в свою комнату, тотчас же бросился к окну узнать, дома ли его соседка. Ее окно оказалось распахнутым настежь.

Если бы неделю назад кто-нибудь сказал шевалье, что такая простая вещь, как открытое окно, может заставить учащенно забиться его сердце, он бы, конечно, расхохотался. Однако теперь дело обстояло именно так. Прижав руку к груди, как человек, наконец свободно вздохнувший после мучительного удушья, шевалье другой рукой оперся о стену и украдкой заглянул в комнату Батильды в надежде увидеть девушку, оставаясь в то же время незамеченным. Он боялся отпугнуть ее, как накануне, своим настойчивым вниманием, которое она могла приписать лишь любопытству.

По истечении нескольких минут д'Арманталь решил, что комната пуста: в противном случае деятельная и подвижная девушка уже не раз промелькнула бы перед его глазами. Тогда д'Арманталь осмелился распахнуть свое окно, и то, что он увидел, подтвердило его предположение. Комната Батильды была, видимо, только что убрана; в аккуратном симметричном расположении вещей легко было узнать руку старой служанки; крышка клавесина была плотно закрыта, ноты, обычно разбросанные в беспорядке, теперь лежали стопкой, придавленные тремя томами, сложенными в виде пирамиды, и кусок великолепного гипюра был перекинут через спинку стула так, что его концы одинаково свисали с обеих сторон. Впрочем, предположение д'Арманталя, что хозяйки нет дома, вскоре перешло в уверенность, так как на шум, который он произвел, открывая свое окно, из окна Батильды выглянула левретка. Эта изящная собачка, вполне достойная чести сторожить дом своей хозяйки, всегда была начеку. И на этот раз она тотчас же проснулась и, приподнявшись на подушке, стала искать глазами нахала, который осмелился нарушить ее сон.

Благодаря звучному басу обитателя мансарды и злопамятству юного Бонифаса, шевалье уже успел узнать две важные для него вещи, а именно: что его соседку зовут Батильдой — именем нежным и благозвучным, как нельзя более подходящим для красивой, изящной и грациозной девушки, а левретку — Мирзой, как ему казалось, не менее изысканным и аристократическим именем для представительницы собачьей породы.

Поскольку ничем нельзя пренебрегать, когда хочешь завладеть крепостью, и так как ничтожная хитрость подчас скорее приводит врага к капитуляции, чем самые грозные военные орудия, д'Арманталь решил прежде всего подружиться с левреткой и самым нежным и ласковым голосом позвал: «Мирза!»

Мирза, которая тем временем опять лениво растянулась на своей подушке, живо подняла голову; на ее мордочке было написано полнейшее удивление. В самом деле, умному и понятливому животному должно было показаться странным, что какой-то совершенно незнакомый человек позволяет себе ни с того ни с сего звать ее по имени. Поэтому она не двинулась с места, а лишь с тревогой устремила на шевалье взгляд своих глаз, горевших, как два рубина, в тени, отбрасываемой оконной занавеской, и, скребя передними лапами, издала глухой звук, похожий на ворчание.

Д'Арманталь вспомнил, что маркиз д'Юксель приручил болонку мадемуазель Шуэн — существо куда более сварливое, чем все левретки на свете, — угощая ее жареными кроличьими головами, и что это утонченное внимание принесло ему жезл маршала Франции. Поэтому шевалье не терял надежды смягчить с помощью такого же приношения брюзгливый прием, который мадемуазель Мирза оказала его первой попытке. Он направился к сахарнице, напевая сквозь зубы:

Могущество собак достойно восхищенья, Престиж их при дворе невиданно высок, И жезл свой заслужить удачней, без сомненья, Никто и никогда из маршалов не смог!

Затем он вернулся к окну, держа в руках два больших куса сахара, которые он затем расколол на части.

Д'Арманталь не ошибся в своих расчетах. Едва первый кусочек упал на пол рядом с Мирзой, левретка как бы нехотя повернула к нему голову. Когда же нюх подсказал Мирзе, какую приманку ей кинули, она протянула к сахару лапу, пододвинула его к своей морде, осторожно взяла передними зубами и, подхватив этот кусочек коренными, принялась грызть его с томным видом, столь характерным для той породы, к которой она имела честь принадлежать. Закончив эту операцию, она облизала губы розовым язычком в знак того, что, несмотря на кажущееся равнодушие — объясняющееся, несомненно, полученным ею превосходным воспитанием, — она не осталась нечувствительной к приятному сюрпризу, сделанному ей соседом. И вместо того, чтобы снова улечься на подушку, как это было в первый раз, она осталась сидеть, грустно и грациозно зевая, но одновременно помахивая хвостиком в знак того, что готова немедленно очнуться от дремоты, если ее пробуждение будет вознаграждено двумя-тремя любезностями, подобными только что оказанной.

Д'Арманталь, который привык к манерам болонок, принадлежавших красивейшим женщинам того времени, прекрасно понял выражаемое мадемуазель Мирзой благорасположение и, чтобы не дать ему остыть, бросил другой кусок сахара с таким расчетом, чтобы он упал подальше и ей пришлось покинуть свою подушку, отправляясь за лакомством. Это испытание должно было показать, к какому из двух смертных грехов — лени или чревоугодия — больше склонно сердце той, кого он хотел сделать своей сообщницей. На мгновение Мирза застыла в нерешительности; но второй из названных грехов победил, и она отправилась в глубь комнаты искать сахар, закатившийся под клавишину. В этот момент третий кусок упал возле окна, и Мирза, повинаясь закону притяжения, перешла от второго к третьему, как раньше от первого ко второму. Но щедрость шевалье на этом закончилась. Он считал, что дал уже достаточно для того, чтобы получить кое-что взамен. Поэтому он ограничился тем, что снова позвал собаку, но теперь уже более властным тоном, чем в первый раз: «Мирза!» — и показал ей оставшиеся куски сахара, лежавшие у него на ладони.

На этот раз Мирза уже не бросала на шевалье тревожных и пренебрежительных взглядов, а, встав на задние лапки и положив передние на подоконник, стала смотреть на него с таким дружелюбным и даже умильным видом, словно он был старым знакомым. Д'Арманталь достиг своей цели — Мирза была приручена. Он отметил про себя, что для достижения этого результата понадобилось ровно столько же времени, сколько пришлось бы затратить, чтобы соблазнить горничную с помощью золота или герцогиню с помощью бриллиантов.

Теперь настала очередь шевалье выказать Мирзе пренебрежение. Он заговорил, обращаясь к собаке, чтобы та привыкла к звуку его голоса. Однако, опасаясь, как бы его «собеседницу», усердно поддерживающую разговор тихим подвыванием и ласковым ворчаньем, вновь не обуяла гордыня, шевалье кинул ей еще один кусок сахара, на который та набросилась с еще большей жадностью, ибо на этот раз д'Арманталь заставил ее ждать подачки дольше прежнего. Проглотив сахар, Мирза вернулась к окну, не дожидаясь, чтобы ее позвали.

Шевалье торжествовал полную победу, настолько полную, что если накануне Мирза проявила высокоразвитый интеллект, выглянув из окна, когда Батильда возвращалась домой, и подбежав к двери, когда Батильда поднималась по лестнице, то на этот раз она не сделала ни того ни другого. Таким образом, когда хозяйка неожиданно вошла в комнату, она застала свою левретку у окна, всецело поглощенную заигрыванием с соседом. Правда, справедливость требует отметить, что, как ни поглощена была Мирза вымогательством сахара у шевалье, едва услышав шум хлопнувшей двери, она обернулась и, узнав хозяйку, одним прыжком оказалась

подле нее и принялась ластиться к ней самым нежным образом. Но как только обряд встречи был совершен, Мирза, к стыду своего собачьего рода, поспешно вернулась к окну. Такое необычное для левретки поведение, естественно, привлекло внимание Батильды, которая поглядела в окно и встретила взглядом с д'Арманталем. Девушка покраснела, шевалье поклонился, и Батильда, смутившись и не отдавая себе отчета в том, что делает, ответила на его поклон.

Первым ее намерением было подойти к окну и тотчас же закрыть его. Но своего рода инстинкт заставил девушку отказаться от этого; она поняла, что поступить так — означало бы, что она придает некий смысл событию, которое, в сущности, никакого значения не имело, и что оборона в данном случае была бы признанием атаки со стороны молодого человека. Поэтому Батильда спокойно отошла от окна в ту часть комнаты, где ее не мог достать взгляд шевалье. Несколько минут спустя, когда девушка решила вернуться на прежнее место, она увидела, что окно соседа уже закрыто. Батильда по достоинству оценила скромность д'Арманталя и преисполнилась к нему благодарности.

Действительно, шевалье сделал мастерской ход. Поскольку у него еще не установилось никаких отношений с соседкой, их окна, расположенные близко друг от друга, не могли оставаться открытыми одновременно. Следовательно, оставь д'Армантадь свое окно открытым, девушке неизбежно пришлось бы закрыть свое, а как шевалье уже знал, оно закрывалось, да еще завешивалось занавеской так плотно, что сквозь стекло и материю он не смог бы увидеть даже кончика носа Мирзы. Но раз шевалье закрыл свое окно, то соседка могла оставить свое открытым, что позволяло ему наблюдать, как она ходит взад и вперед по комнате или склоняется над работой. Легко понять, что это было большим развлечением для бедного шевалье, вынужденного жить в полном затворничестве. Впрочем, сегодня он сделал большой шаг вперед в своих отношениях с Батильдой — он ей поклонился, и она ответила на его поклон. Итак, они уже не были совсем чужими друг другу — их знакомство состоялось, но для того чтобы знакомство это стало более близким, надо было, пока не подвернется благоприятный случай, действовать весьма осмотрительно. Попытаться заговорить с ней — значило рисковать всем, что уже было завоевано. Пусть лучше Батильда считает, что сегодняшнее происшествие просто случайность. Конечно, Батильда так не думала, но она легко могла сделать вид, что думает именно так. Поэтому она не затворила своего окна и, увидев, что окно шевалье закрыто, устроилась возле подоконника с книгой в руках.

Мирза прыгнула на скамеечку для ног, которая была ее излюбленным местом, но, против обыкновения, положила морду не на округлые колени девушки, а на жесткий подоконник, что свидетельствовало о сильном впечатлении, которое произвел на Мирзу великодушный незнакомец, так щедро угощавший ее сахаром.

Шевалье уселся в глубине своей комнаты, взял ящик с пастелью и начал рисовать прелестную сценку, открывавшуюся его взору, потому что угол оконной занавески был словно невзначай приподнят.

К несчастью, дни стояли короткие — к трем часам уже начинало смеркаться. Солнечный свет, с трудом пробивавшийся сквозь мрачные тучи и сетку дождя, постепенно угасал, и Батильда вскоре затворила свое окно. Но, несмотря на то что в распоряжении шевалье было очень мало времени, он все же успел набросать головку девушки, достигнув замечательного сходства: пастель, как известно, наиболее подходящий материал для изображения тонких, изящных лиц, которые масло всегда несколько огрубляет. Волнистые волосы девушки, нежная, прозрачная кожа, плавная линия лебединой шеи — все это было передано д'Арманталем на редкость выразительно, и портрет достигал той высоты, на какую только может подняться искусство, когда художник имеет перед собой поистине неподражаемую модель.

Едва спустилась ночь, к шевалье пришел аббат Брито, и, закутавшись в плащи, они отправились в Пале-Рояль. Как помнит читатель, они хотели осмотреть место предполагаемой засады.

Дом, в котором поселилась госпожа де Сабран, с тех пор как ее муж был назначен мажордомом регента, значился под номером двадцать вторым и находился между особняком Ла Рош-Гюйон и пассажем, который в старое время называли пассажем Пале-Рояля, потому что это был единственный проход, соединявший улицу Добрых Ребят с улицей Валуа. Ворота этого

узкого проулка, впоследствии переименованного в пассаж Лицея, запирались одновременно со всеми входами в сад Пале-Рояля, то есть ровно в одиннадцать часов вечера. Таким образом, людям, которые засиделись в одном из домов на улице Добрых Ребят позже одиннадцати часов вечера, приходилось, если из этого дома не было другого выхода на улицу Валуа, делать большой круг либо через улицу Нев-де-Пти-Шан, либо через Двор Фонтанов, чтобы попасть в Пале-Рояль.

Такое же неудобство имел и дом госпожи де Сабран. Это был прелестный маленький особняк, построенный в конце семнадцатого столетия, то есть лет двадцать — двадцать пять назад, каким-то откупщиком, желавшим во всем подражать вельможам.

Дом этот имел всего два этажа и был по карнизу опоясан каменной галереей, на которую выходили мансарды, где жила прислуга, и покрыт почти плоской черепичной крышей.

Под окнами второго этажа находился балкон, выступавший от стены на три-четыре фута и тянувшийся вдоль всего фасада. Балкон был разделен на части высокими железными решетками, доходившими до галереи, которые отделяли по два окна с обеих сторон фасада от трех окон, расположенных в середине, как это часто бывает в домах, где хотят избежать сообщения между комнатами с наружной стороны. Оба фасада особняка — тот, что выходил на улицу Добрых Ребят, и тот, что выходил на улицу Валуа, — были совершенно одинаковы, но со стороны улицы Валуа, которая по уровню была на восемь — десять футов ниже улицы Добрых Ребят, устроили каменную террасу и разбили в ней небольшой сад, весной украшенный прелестными цветами. Однако эта терраса не имела спуска на улицу Валуа, и, следовательно, попасть в особняк, так же как и выйти из него, можно было только с улицы Добрых Ребят.

Лучшего места для засады нашим заговорщикам нельзя было и желать. В самом деле, если бы регент посетил госпожу де Сабран, то при условии, что он придет к ней пешком (а это было возможно) и засидится у нее позже одиннадцати часов (а это было вполне вероятно), — он попался бы, как в мышеловку, потому что улица Добрых Ребят была одной из самых пустынных и темных в районе Пале-Рояля и больше других подходила для осуществления замысла заговорщиков.

К тому же в те времена, как, впрочем, и теперь, дома на этой улице пользовались дурной славой, и посещали их большей частью люди весьма подозрительные. Поэтому можно было поставить сто против одного, что никто не обратит никакого внимания на крики — слишком часто они там раздавались, чтобы кого-либо обеспокоить. Даже в случае появления ночного дозора, который обычно собирается весьма медленно и приходит с большим опозданием, дело может быть закончено прежде, чем он успеет вмешаться.

После того как д'Арманталь и Бриго осмотрели местность, составили стратегический план и заметили номер дома, они расстались. Аббат поспешил в Арсенал сообщить герцогине дю Мен, что шевалье д'Арманталь по-прежнему хорошо настроен. Д'Арманталь возвратился в свою мансарду.

Как и накануне, в комнате Батильды горел свет, но на этот раз девушка не рисовала, а занималась шитьем. Ее окно было освещено до часу ночи. Жилец с террасы поднялся к себе задолго до того, как д'Арманталь вернулся домой.

Шевалье не спалось в эту ночь. Неизведанные доселе чувства, вызванные зарождающейся любовью и близившимся к развязке заговором, не давали ему уснуть. Однако под утро усталость взяла свое, и он проснулся только тогда, когда его несколько раз довольно сильно потрясли за плечо. Должно быть, в эту минуту шевалье снился дурной сон, потому что, не успев проснуться, он схватился за пистолеты, лежавшие на ночном столике.

— Эй, эй, погодите, молодой человек! — воскликнул аббат

Брито. — До чего же вы прытки, черт возьми. Протрите-ка глаза получше!.. Вот так. Теперь узнаете меня?

— А, это вы, аббат! — со смехом сказал д'Арманталь. — Ваше счастье, что вы меня остановили. А то бы вам не поздоровилось. Мне снилось, что пришли меня арестовать.

— О, это добрый знак! — подхватил аббат Бриго. — Добрый знак. Вы же знаете, что сны сбываются, но только наоборот. Все будет в порядке.

— Есть новости? — спросил д'Арманталь.

— Допустим. А как бы вы к этому отнеслись?

— Черт возьми, я был бы в восторге! — воскликнул д'Арманталь. — Чем раньше покончишь с таким делом, тем лучше.

— Ну что ж, в таком случае читайте, — сказал аббат Бриго, вынимая из кармана сложенный вчетверо лист и подавая его шевалье. — Читайте и благодарите Всевышнего, ибо ваши желания исполнились.

Д'Арманталь взял протянутую ему бумагу, спокойно развернул ее, словно это была какая-нибудь пустяковая записка, и прочел вполголоса:

«Донесение от 27 марта.

Два часа пополудни.

Сегодня в десять часов вечера регент получил из Лондона депешу, в которой сообщалось, что завтра, 28-го, в Париж прибывает аббат Дюбуа. Регент ужинал у Мадам, то, несмотря на поздний час, эта депеша была ему немедленно вручена. За несколько минут до этого мадемуазель де Шартр попросила у своего отца позволения отправиться на богомолье в Шельский монастырь, и было решено, что регент будет сам сопровождать ее. Но, как только регент прочитал депешу, он тут же изменил свои намерения и приказал, чтобы завтра в полдень собрался государственный совет. В три часа дня он отправился в Тюильри к его величеству и попросил, чтобы его величество принял его без свидетелей, ибо упорство маршала де Вильруа, который считает своим долгом присутствовать при всех разговорах между его величеством и регентом, начало выводить герцога из себя. Ходят слухи, что, если маршал будет упорствовать и впредь, дело кончится для него плохо. В шесть часов вечера регент, шевалье де Симиан и шевалье де Раван будут обедать у госпожи де Сабран...»

— А-а! — вырвалось у д'Арманталя, и он прочел последние две строчки, взвешивая каждое слово.

— Ну, что вы думаете насчет последнего пункта? — спросил аббат.

Шевалье быстро вскочил с кровати, накиннул халат, вынул из ящика комода пунцовую ленту, взял с письменного стола молоток и гвоздь, открыл окно и, бросив украдкой взгляд на окно соседки, стал прибивать ленту к наличнику.

— Вот мой ответ, — сказал шевалье.

— Что это значит, черт возьми?

— Это значит, что вы можете сообщить герцогине дю Мен, — продолжал д'Арманталь, — что я надеюсь нынче вечером выполнить свое обещание. А теперь уходите, дорогой аббат, и возвращайтесь не раньше чем через два часа. Я жду посетителя, с которым вам здесь лучше не встречаться.

Аббат, воплощенная осторожность, не заставил шевалье повторять свой совет. Он надел шляпу, пожал руку д'Арманталю и поспешно вышел.

Минут через двадцать в комнату шевалье вошел капитан Рокфинет.

III. УЛИЦА ДОБРЫХ РЕБЯТ

В то же воскресенье, часов около восьми, когда вокруг уличного певца, который аккомпанировал себе, одновременно ударяя рукой по тамбурины и звеня тарелками, привязанными к коленям, собралась изрядная толпа, запрудившая улицу Валуа, какой-то мушкетер в сопровождении двух шеволежеров спустился по задней лестнице Пале-Рояля и направился к пассажиу Лицея, выходившему, как уже сказано, на улицу Валуа.

Увидев, что толпа преграждает им путь, военные остановились. Посовещавшись, они, видимо, решили изменить свой маршрут, ибо мушкетер, а за ним и оба шеволежера пересекли Двор Фонтанов и свернули на улицу Добрых Ребят. Когда мушкетер, который, несмотря на свою тучность, шел быстрым шагом, поравнялся с домом номер двадцать два, дверь отворилась как по волшебству и, едва мушкетер и оба шеволежера успели войти в дом, тут же захлопнулась.

В тот самый момент, когда военные решили направиться в обход, неизвестный молодой человек в темном костюме, таком же плаще и надвинутой на глаза широкополой шляпе отделился от толпы, окружавшей певца, и, напевая себе под нос на мотив песенки о повешенных «Двадцать четыре, двадцать четыре, двадцать четыре», быстро двинулся к пассажиу

Лицея. Он прошел его насквозь вовремя, так как успел увидеть, что в названный нами дом входят трое именитых гуляк.

Тогда молодой человек огляделся по сторонам и при свете одного из трех фонарей, которые благодаря щедрости городских властей освещали или, вернее, должны были освещать всю улицу Добрых Ребят, заметил одного из тех толстых угольщиков с лицом, вымазанным сажей, которых так часто на своих полотнах изображал Грёз. Угольщик отдыхал перед особняком Ла Рош-Гюйон, положив свой мешок на каменную тумбу. Молодой человек с минуту помедлил, словно не решаясь подойти поближе, но, когда угольщик сам запел на мотив песенки о повешенных тот же припев, что и молодой человек, последний приблизился к нему без колебаний.

— Значит, вы их видели, капитан? — спросил молодой человек в плаще.

— Точно так же, как вижу вас, шевалье. Это были мушкетер и два шеволежера. Но я не мог их узнать. Судя по тому, что мушкетер прикрывал лицо платком, я предполагаю, что это и был регент.

— Вы не ошиблись. А в мундирах шеволежеров были Симиан и Раван.

— А, мой ученик! Мне было бы приятно с ним встретиться. Он славный малый.

— Во всяком случае, капитан, смотрите, чтобы он вас не узнал.

— Куда там! Сам дьявол не узнает меня в этом виде. Это вам, шевалье, надо быть поосторожней. У вас, к несчастью, вид важного господина, который никак не вяжется с вашим костюмом. Но сейчас дело не в этом. Они попали в мышеловку, и у нас задача не дать им оттуда выбраться. Все ли наши люди предупреждены?

— Вам ведь известно, капитан, что я ваших людей не знаю, так же как и они не знают меня. Я вышел из толпы, напевая песенку, которая служит нам паролем. Но услышали ли они и поняли ли меня, этого я вам сказать не могу.

— Не беспокойтесь, шевалье. Мои ребята слышат даже то, что говорится шепотом, и понимают все с полуслова.

И в самом деле, едва молодой человек в плаще успел отойти от толпы, собравшейся вокруг уличного певца и состоявшей, казалось, исключительно из праздношатающихся, как там началось странное и совершенно непредвиденное движение. И, хотя песня не была допета до конца, а певец еще не приступил к сбору денег, толпа стала заметно редеть. Многие мужчины, подавая друг другу едва заметные знаки рукой, поодиночке или по двое выходили из круга; одни поднимались вверх по улице Валуа, другие пересекали Двор Фонтанов, третьи шли через Пале-Рояль, но все они стекались на улицу Добрых Ребят, которая по-видимому, была у них условленным местом встречи.

В результате этого маневра, цель которого понять нетрудно, перед певцом осталось всего десять-двенадцать женщин, несколько детей и добропорядочный мещанин лет сорока, который, видя, что вот-вот начнется сбор денег, тоже удалился. Всем своим видом он выражал при этом глубокое презрение к новым песням и шел, напевая себе под нос старинную пастораль, которую, по всей вероятности, ставил куда выше новомодных вольных куплетов. Правда, этому добропорядочному мещанину показалось, что незнакомые мужчины, мимо которых он проходил, делают ему какие-то знаки, но так как он не принадлежал ни к тайному обществу, ни к масонской ложе, то преспокойно продолжал свой путь, по-прежнему мурлыча под нос полюбившийся ему припев:

Пусти меня гулять, Резвиться и играть На травке под кустом, В орешнике густом.

Пройдя по улице Сент-Оноре до шлагбаума заставы Двух Сержантов, он свернул на Петушиную улицу и исчез из виду.

Примерно в то же время молодой человек в плаще, который напевая: «Двадцать четыре, двадцать четыре, двадцать четыре», первым отделился от толпы зрителей, вновь появился у лестницы пассажа Пале-Рояля и, подойдя к певцу, сказал:

— Приятель, моя жена больна, а твоя музыка не дает ей уснуть. Если у тебя нет особых причин выступать именно здесь, отправляйся-ка лучше на площадь Пале-Рояля. Вот тебе эю, чтобы возместить убытки.

— Благодарю вас, монсеньер, — ответил певец, определяя социальное положение незнакомца по его щедрости. — Я ухожу. Может, у вас есть поручения, которые следует

исполнить на улице Муфтар?

— Нет.

— А то я бы охотно выполнил их за ту же цену.

И певец убрался восвояси. А так как именно он был центром и причиной скопления народа, то и те немногие зеваки, которые еще остались на месте, исчезли вслед за ним.

В тот момент на башне Пале-Рояля пробило девять. Молодой человек в плаще вытащил из жилетного кармана часы, усыпанные бриллиантами, что никак не вязалось с его скромным костюмом. Так как часы спешили на десять минут, молодой человек поставил их точно по бою, потом пересек Двор Фонтанов и пошел по улице Добрых Ребят.

Подойдя к дому номер двадцать четыре, он вновь повстречал угольщика.

— Как там певец? — спросил тот.

— Убрался.

— Отлично.

— А почтовая карета? — в свою очередь спросил молодой человек.

— Ждет на углу улицы Байиф.

— Надеюсь, колеса кареты и копыта лошадей обмотаны тряпками?

— Да.

— Превосходно! Тогда нам остается только ждать, — сказал молодой человек в плаще.

— Подождем, — ответил угольщик. И вновь воцарилась тишина.

Прошел час. Все реже и реже появлялись запоздалые прохожие, и наконец улица совсем опустела. Кое-где еще светились окна, но они одно за другим гасли, и вскоре темнота, которой теперь приходилось бороться только с тусклым светом фонарей, висевших против часовни Сен-Клер и на углу улицы Байиф, поглотила весь квартал.

Прошел еще час. С улицы Валуа донеслись шаги ночного дозора. Вслед за тем послышался скрип ворот. Это сторож запирал пассаж.

— Отлично! — прошептал человек в плаще. — Теперь нам уже никто не помешает.

— Да, — подтвердил угольщик, — только бы он там не остался до утра.

— Если б он был один, можно было бы опасаться, что он останется. Но вряд ли госпожа де Сабран оставит у себя всех троих.

— Гм! Она может отдать свою комнату одному и оставить двух других спать под столом.

— Черт возьми! Вы правы, капитан, об этом я не подумал. Ну ладно; вы приняли все меры предосторожности?

— Все.

— Ваши люди верят, что речь идет просто-напросто о пари?

— Во всяком случае, они делают вид, что верят, а большего от них требовать нельзя.

— Итак, капитан, мы с вами обо всем уговорились. Вы и ваши люди изображаете пьяных. Вы меня толкаете, я падаю между регентом и его спутниками. Вы набрасываетесь на него, затыкаете ему рот кляпом. По свистку подъезжает карета. Симиану и Равану приставляют пистолеты к виску и не дают им двинуться с места.

— Но как нам быть, если он назовет себя? — спросил угольщик, понижая голос.

— Если он назовет себя?.. — повторил молодой человек в плаще и добавил едва слышно: — Если он назовет себя, вы его убьете. В таком деле не может быть полумер.

— Черт побери! — воскликнул угольщик. — Что ж, постараемся сделать так, чтобы он себя не назвал.

Человек в плаще ничего не ответил, и вновь воцарилась тишина.

Прошло еще четверть часа, за это время ничего нового не случилось.

Но вот осветились три центральных окна особняка.

— Смотрите, смотрите! — одновременно воскликнули человек в плаще и угольщик.

В этот момент послышались шаги. Кто-то шел с улицы Сент-Оноре и, видимо, намеревался пройти по улице Добрых Ребят. Угольщик пробормотал сквозь зубы такое проклятье, что небу стало жарко.

А прохожий тем временем приближался. То ли он вообще боялся темноты, то ли заметил, что во мраке движутся какие-то подозрительные тени, но, так или иначе, было ясно, что он чем-то встревожен. И действительно, поравнявшись с часовней Сен-Клер, он прибегнул к

обычной хитрости трусливых людей, которые хотят показать, что они ничего не боятся: он запел. Но чем дальше он продвигался, тем неувереннее звучал его голос. И, хотя наивные слова, которые он напевал, казалось, свидетельствовали о его безмятежном расположении духа, у пассажи прохожего охватил столь явный приступ трусости, что он закашлялся. А кашель в гамме проявлений страха, как известно, указывает на большую степень испуга, нежели пение. Однако, убедившись, что вокруг все спокойно, он несколько приободрился и вновь запел дрожащим голосом, который более соответствовал его состоянию, чем смыслу слов:

Пусти меня гулять,
Резвиться и играть
На травке под кустом,
В орешнике густом.

Вдруг он оборвал на полуслове свою песню и остановился как вкопанный, увидев, что в подъезде одного из домов, освещенные светом, падающим из окон особняка, притаились двое мужчин. Почувствовав, что у него пропал голос и подкосились ноги, певец застыл в оцепенении. К несчастью, как раз в это время в салоне госпожи де Сабран кто-то подошел к окну. Угольщик, поняв, что случайный крик может погубить все дело, кинулся было к прохожему, но человек в плаще остановил его.

— Капитан, — сказал он, — не трогайте этого человека... — И, подойдя к прохожему, приказал: — Проходите, мой друг, но только быстро и не оглядывайтесь!

Певец не заставил повторять себе это дважды и, дрожа всем телом, засеменил по улице так быстро, как только ему позволяли его короткие ноги. Через несколько секунд он уже завернул за угол сада, окружавшего отель Тулуз.

— Он вовремя убрался! — прошептал угольщик. — Они открывают балконную дверь.

Оба заговорщика отступили в тень подъезда. Дверь в самом деле отворилась, и один из шевалежеров вышел на балкон.

— Ну, какая погода, Симиан? — послышалось из глубины комнаты.

Угольщик и молодой человек в плаще узнали голос регента.

— Мне кажется, — ответил Симиан, — идет снег.

— Как? Тебе кажется, что идет снег?

— А может быть, дождь. Не разберу, — продолжал Симиан.

— Ты что, болван, не можешь отличить снега от дождя? — воскликнул Раван и тоже вышел на балкон.

— А может быть, нет ни снега, ни дождя, — проговорил Симиан.

— Он мертвецки пьян, — сказал регент.

— Я пьян? — вскричал Симиан, задетый за живое. Он счел это оскорбительным для своей репутации гуляки. — Идите сюда, монсеньер. Идите, идите...

Хотя это приглашение было сделано в весьма непочтительной форме, регент тут же со смехом присоединился к своим товарищам. Впрочем, по его походке легко было понять, что он сам хватил лишнего.

— Я мертвецки пьян? — продолжал Симиан, протягивая руку регенту. — Держу пари на сто луидоров, что хоть вы и регент Франции, а не решитесь сделать того, что сделаю я.

— Вы слышите, монсеньер, — послышался из комнаты женский голос, — вам бросают вызов.

— И я его принимаю, — ответил регент. — Готов держать пари на сто луидоров.

— А я готов войти в долю с любым из вас, — вставил Раван.

— Бейся об заклад с маркизой, — возразил Симиан. — Я не желаю, чтобы кто-нибудь участвовал в моем пари.

— И я также, — подхватил регент.

— Маркиза, — воскликнул Раван, — ставлю полсотни луидоров против поцелуя!

— Спросите у Филиппа, разрешит ли он мне держать такое пари.

— Пожалуйста, — сказал регент. — Вам предлагают выгодную сделку, маркиза, — в любом случае вы выигрываете... Так ты готов, Симиан?

— Готов. Вы последуете за мной?

— Повсюду. А что ты будешь делать?

- Смотрите.
- Куда тебя черт несет?
- Я возвращаюсь в Пале-Рояль.
- Каким путем?
- По крышам.

И Симиан, схватившись за железную решетку, которая, как мы уже говорили, отделяла окна гостиной от окон спальни, начал карабкаться вверх, наподобие обезьяны, взбирающейся по веревке на третий этаж, чтобы получить там монетку.

— Ваше высочество, — воскликнула госпожа де Сабран, выбежав на балкон и схватив регента за руку, — надеюсь, вы не последуете за ним?

— Я не последую? — переспросил регент, освобождаясь от руки маркизы. — Вы же знаете, что я взял себе за правило делать все, что пытаются делать другие. Даже если ему вздумается забраться на луну, я окажусь там одновременно с ним... Раван, ты держал пари за меня?

- Да, ваше высочество, — ответил Раван, смеясь от души.
- Что ж, тогда целуй маркизу, ты выиграл.



И регент, в свою очередь, подбежал к решетке и начал по ней взбираться вверх за ловким, высоким и худым Симианом, который мигом оказался на каменной галерее.

— Надеюсь, что хоть вы, Раван, останетесь здесь?

— Только чтобы получить свой выигрыш, — ответил юноша и поцеловал в щеку красавицу де Сабран. — Ну а теперь прощайте, любезная маркиза. Я паж его высочества. Вы сами понимаете, что я должен следовать за ним.

И Раван бросился вдогонку за своими двумя спутниками.

У толстого угольщика и молодого человека в плаще одновременно вырвался возглас изумления, который многократным эхом прокатился по всей улице.

— Гм... Что бы это значило? — спросил Симиан. Он уже стоял на галерее и поэтому первый обратил внимание на этот звук.

— Что там тебе мерещится, пьянчуга? — сказал регент, уцепившись рукой за карниз галереи. — Это же ночной дозор. Мы еще по твоей милости попадем в кордегардию. Имей в виду, я тебя оттуда вызволять не буду.

Услышав эти слова, заговорщики притаились в надежде, что регент и его спутники не доведут свою шутку до конца, спустятся вниз и выйдут из дома обычным путем.

— Уф! Вот и я, — произнес регент, взобравшись на галерею. — Ну, хватит с тебя, Симиан?

— Никак нет, ваше высочество, никак нет... — ответил Симиан и, наклонившись к Равану, прошептал ему на ухо: — Это не дозор; не слышно ни лязганья штыков, ни скрипа ремней.

— Что там еще? — спросил регент.

— Ничего, — ответил Симиан, подавая знак Равану, чтобы тот молчал, — ничего. Просто я продолжаю свой подъем и призываю вас, ваше высочество, последовать за мной.

С этими словами он начал взбираться на крышу и, протянув руку регенту, потащил его за собой; Раван подталкивал регента сзади.

При виде этой сцены, которая не оставила никаких сомнений насчет намерений беглецов, у толстого угольщика вырвалось проклятие, а молодой человек в плаще просто завопил от бешенства.

В этот самый момент Симиан добрался до трубы.

— Э, что же это такое? — произнес регент, садясь верхом на гребень крыши и вглядываясь в темноту улицы.

Свет, падавший из окон особняка маркизы де Сабран, помог ему разглядеть восемь или десять мужчин, притаившихся в тени подъездов.

— Ах, вот как, небольшой заговор? Можно подумать, что они намерены взять дом приступом. До чего же они разъярены! Меня так и подмывает спросить, не могу ли я быть им чем-нибудь полезен.

— Сейчас не до шуток, ваше высочество, — сказал Симиан. — Нам нужно торопиться.

— Бегите по улице Сент-Оноре, — скомандовал своим людям молодой человек в плаще. — Вперед, вперед!

— Да они и в самом деле охотятся за нами, Симиан, — сказал регент. — Скорее перевалим на ту сторону! Назад!

— Не понимаю, — воскликнул молодой человек в плаще, — не понимаю, почему я не собою его, как куклу в тире!

Он выхватил из-за пояса пистолет и прицелился в регента.

— Тысяча чертей! — выругался угольщик, удерживая молодого человека за руку. — Нас всех четвертуют из-за вас!

— Но что же делать?

— Подождем, чтобы они сами свалились и сломали себе шею. Если судьба справедлива, она уготовила нам этот маленький сюрприз.

— Что за вздорная мысль, Рокфинет?

— Эй, шевалье, прошу вас не называть имен!

— Вы правы, простите!..

— Охотно. Давайте лучше сообразим, что делать.

— За мной, за мной! — крикнул вдруг молодой человек в плаще и бросился к пассажиру. — Взломаем ворота и схватим их, когда они спрыгнут на землю с той стороны крыши.

Все заговорщики, кроме тех пяти или шести человек, которые побежали в обход по улице Сент-Оноре, устремились за ним.

— Скорее, скорее, монсеньер, мы не можем терять ни мгновения, — сказал Симиан, — съезжайте-ка на спине, это, правда, не очень благородно, но зато безопасно.

— Они как будто бегут по пассажи. — Регент прислушался. — Тебе не кажется, Раван?

— Не думаю, ваше высочество. Я скольжу вниз.

И все трое одновременно съехали вниз по скату крыши и спрыгнули на каменную галерею.

— Сюда! Сюда! — слышался женский голос в тот момент, когда Симиан уже перекинул ногу через перила галереи, чтобы спуститься вниз по железной решетке.

— А, это вы, маркиза? — сказал регент. — Вы, признаться, появились вовремя, словно ангел-хранитель.

— Скорее спускайтесь и прыгайте сюда! — крикнула маркиза.

Трое беглецов мигом оказались в комнате.

— Быть может, вы хотите остаться здесь? — спросила госпожа де Сабран.

— Конечно, — ответил Раван. — А я тем временем сбегая за Канильяком, пусть придет со своей ночной стражей.

— Нет, нет, — возразил регент, — мы не можем тут оставаться. Заговорщики действуют столь решительно, что не остановятся перед штурмом вашего дома, маркиза, и тогда они поведут себя здесь, как в побежденном городе. Нам надо пробираться в Пале-Рояль, так будет лучше.

Во главе с Раваном они быстро спустились по лестнице и открыли дверь в сад. Там было слышно, как их преследователи отчаянно колотят в железные ворота.

— Стучите, стучите, милые друзья! — крикнул регент и побежал, как беспечный юноша, в конец сада. — Ворота надежные — вам будет над чем потрудиться.

— Осторожно, ваше высочество, — предупредил Симиан, который благодаря своему высокому росту легко перемахнул через ограду и, повиснув на руках, спрыгнул на землю. — Они уже показались в том конце улицы Валуа. Поставьте ногу мне на плечо... Вот так, хорошо. Теперь другую и спускайтесь ко мне на руки... Слава Всевышнему — вы спасены!

— Шпагу из ножен! Шпагу из ножен, Раван! — приказал регент. — Проучим этих мерзавцев!

— Именем Господа Бога заклинаю вас, монсеньер, следовать за нами! — воскликнул Симиан, увлекая за собой регента. — Тысяча чертей, я сам не трусливого десятка, но то, что вы хотите сделать, — сущее безумие... Ко мне, Раван, ко мне!

И молодые люди, подхватив регента под руки, промчались с ним по одному из всегда открытых проходов Пале-Рояля как раз в то мгновение, когда группа заговорщиков, бежавшая по улице Валуа, была уже в двадцати шагах от них, а ворота пассажа рухнули под ударами другой группы. Таким образом весь отряд заговорщиков, соединившись, оказался перед воротами, которые только что заперли за собой трое беглецов.

— Господа, — крикнул регент, приветствуя заговорщиков рукой, ибо шляпу он потерял Бог знает где, — надеюсь, что это была лишь шутка, не то не сносить вам головы! Ведь совладать с таким противником, как я, вам не по плечу! Что же касается начальника полиции, то ему завтра не поздоровится. А пока желаю вам доброй ночи!

Вслед за этой тирадой раздался взрыв смеха, который окончательно смутил обоих заговорщиков, стоявших перед закрытыми воротами во главе своих запыхавшихся от быстрого бега людей.

— Этот человек заключил сделку с самим дьяволом! — произнес шевалье д'Арманталь.

— Мы проиграли пари, друзья, — обратился Рокфинет к своему отряду, ожидавшему его приказаний. — Но мы вас еще не отпускаем, придется только отложить наше предприятие. Что же касается вознаграждения, то половину вы уже получили. Завтра в условленном месте вы получите остальное. До скорой встречи!

Люди разошлись. И д'Арманталь с Рокфинетом остались одни.

— Вот так, шевалье! — сказал Рокфинет, расставив ноги и глядя д'Арманталю прямо в глаза.

— Вот так, капитан! — ответил шевалье. — Я хочу просить вас об одной услуге.

— О какой? — спросил Рокфинет.

— Я хочу просить вас пойти вместе со мной на какой-нибудь перекресток и выстрелом в упор из пистолета разmozжить мне голову, чтобы эта жалкая голова была наказана и никем

никогда не узнала.

— А зачем это?

— Вы еще спрашиваете, зачем? Да затем, что только ничтожный дурак мог провалить такое дело! Что я скажу теперь герцогине дю Мен?

— Так вы волнуетесь из-за этой финтифлюшки? Ну, черт возьми, вы чересчур чувствительны, шевалье! Какого дьявола ее колченогий муж сам не обделяет свои дела! Хотел бы я сейчас взглянуть на нее, на эту вашу жеманницу: сидит, наверное, где-нибудь в Арсенале со своими двумя кардиналами да с тремя-четырьмя маркизами, которые подышают со страха, в то время как мы остались хозяевами поля битвы. Поглядел бы я, как они стали бы лазить по стенам, словно ящерицы... Хотите услышать совет стреляного воробья? Чтобы быть хорошим заговорщиком, прежде всего надо обладать тем, что у вас есть в избытке, — мужеством, но нужно еще и то, чего вам недостает, — терпение. Проклятье! Если бы мне было поручено такое дело, клянусь, я бы рано или поздно довел его до конца, и если вам когда-нибудь захочется мне его передать... Впрочем, об этом мы еще поговорим.

— Но что бы вы сказали герцогине дю Мен на моем месте? — спросил шевалье.

— Что бы я сказал? А вот что: «Герцогиня, регент, видимо, был предупрежден полицией, потому что он не вышел из дома там, где мы предполагали, и мы повстречали только его чертовых бездельников, которые обвели нас вокруг пальца». На это принц де Селламаре вам ответит: «Дорогой д'Арманталь, вся наша надежда только на вас». А герцогиня дю Мен добавит: «Еще не все потеряно, раз отважный д'Арманталь с нами». Граф де Лаваль пожмет вам руку и тоже попытается сказать комплимент, но у него ничего не выйдет, ибо с тех пор, как ему сломали челюсть, он едва ворочает языком, особенно когда дело касается любезностей. Кардинал де Полиньяк начнет креститься, а от ругательств Альберони затрясется небо. Таким образом, вы с честью выйдете из положения, самолюбие ваше не пострадает, и вы вернетесь в свою мансарду, которую, кстати, я вам советую не покидать в течение ближайших дней, если не хотите быть повешенным. Время от времени я буду навещать вас, а вы будете делить со мной дары Испании, потому что я хочу жить в свое удовольствие и поддерживать в себе бодрость. А потом при первом удобном случае мы вновь соберем наших молодцов, которые сейчас разошлись по домам, и возьмем реванш.

— Да, конечно, всякий другой на моем месте поступил бы именно так, но у меня, капитан, дурацкий характер: я не умею лгать.

— Кто не умеет лгать — не умеет действовать! — ответил капитан. — Но что я вижу? Уж не штыки ли это ночного дозора? Узнаю тебя, надежная охрана, ты всегда появляешься на четверть часа позже, чем надо. Но как бы то ни было, нам надо расстаться. Прощайте, шевалье. Вы пойдете этой дорогой, — добавил капитан, показывая на пассаж Пале-Рояля. — А я сверну вот сюда. — И он показал рукой в направлении улицы Нев-де-Пти-Шан. — Главное — спокойствие. Идите не торопясь, чтобы никто не мог подумать, будто на самом деле вам следует бежать сломя голову. Идите подбоченься и пойте: «Мамаша Годишон...»

И пока д'Арманталь проходил по пассажи, капитан спускался по улице Валуа не быстрее, чем дозор, отделенный от него расстоянием в сотню шагов. Капитан шел впереди и шел так бесечно, словно ничего не произошло:

Так осушим бокалы до дна.

Что нам Франция — грош ей цена!

Так восславим испанский дублон:

Из чистейшего золота он!

А шевалье тем временем вновь вышел на улицу Добрых Ребят, ставшую теперь настолько же тихой, насколько она была шумной десять минут назад. На углу улицы Байиф он нашел карету, которая, в точности выполняя его указания, не сдвинулась с места. Дверца кареты была открыта, на запятках стоял лакей, а на козлах сидел кучер.

— К Арсеналу! — приказал шевалье.

— Незачем, — раздался голос, от звука которого д'Арманталь вздрогнул. — Я знаю все, что здесь произошло. Я видел все своими глазами и сообщу об этом кому следует. Ваш приход в такой поздний час опасен.

— А, это вы, аббат? — проговорил д'Арманталь, силясь распознать Бриго под ливреей

лакея, которую тот на себя напялил. — Что ж, вы мне окажете большую услугу, рассказав вместо меня о происшедшем, ибо пусть черт меня заберет, если я знаю, что мне следует рассказать.

— Я скажу, — продолжал Бриго, — что вы смелый и честный дворянин и что, если бы во Франции нашлось с десяток таких храбрецов, как вы, порядок скоро был бы восстановлен. Но мы здесь не для того, чтобы говорить друг другу комплименты. Скорей садитесь в карету. Куда вас отвезти?

— Не стоит, — сказал д'Арманталь, — я пойду пешком.

— Нет, садитесь, так будет безопаснее.

Д'Арманталь сел в карету, и Бриго, хоть он и был одет в лакейскую ливрею, уселся подле него.

— Остановите на углу улицы Гро-Шене и улицы Клери, — распорядился аббат.

Кучер, которому надоело столь долгое ожидание, тотчас же тронул лошадей; карета остановилась там, где было приказано. Шевалье вышел и двинулся по улице Гро-Шене. Вскоре он исчез, завернув за угол улицы Утраченного Времени.

А карета быстро и бесшумно покатилась по направлению к бульвару. Издали она казалась похожей на волшебную колесницу, которая несется по воздуху, не касаясь земли.

IV. ПРОСТАК БЮВА

Теперь необходимо, чтобы наши читатели разрешили нам познакомить их поближе с одним из главных действующих лиц истории, которую мы начали рассказывать, ибо до сих пор об этом лице было упомянуто лишь мимоходом. Мы имеем в виду того добропорядочного мещанина, который, как мы знаем, отошел от группы горожан, слушавших певца на улице Валуа, и направился к заставе Двух Сержантов как раз в то время, когда уличный артист приступил к сбору денег. Этому же человека вы вновь повстречали, если помните, в самый разгар ночных событий, когда он в поздний час шел по улице Добрых Ребят.

Боже избави нас сомневаться в догадливости наших читателей и предположить, что они не узнали в этом бедняге, которому д'Арманталь так своевременно пришел на помощь, жильца с террасы на улице Утраченного Времени. Но для читателя остается неизвестным, если мы не расскажем об этом подробно, каковы были внешность, нрав и общественное положение этого человека.

Если вы не забыли то небольшое, что мы уже имели случай сообщить о нем, то помните, что это был человек лет сорока — сорока пяти. Как известно, после сорока у парижского обывателя уже не бывает возраста, ибо с этого времени он окончательно перестает следить за собой, чем, впрочем, он и раньше особенно не занимался. Он одевается как придется, причесывается как попало, и от этой небрежности заметно страдает его представительность, особенно если он не отличается выгодной внешностью. Именно так и обстояло дело с нашим героем.

Это был человек ростом в пять футов и один дюйм, предрасположенный к полноте и с каждым годом становившийся все более тучным. Черты его лица, никогда не терявшего своего благодушного выражения, нельзя было различить на расстоянии десяти шагов, а волосы, брови, глаза, кожа, казалось, были одного цвета.

Поэтому даже самый одержимый физиономист, поставь он себе целью найти на этом лице приметы значительной личности, отказался бы от своего намерения, как только взгляд его скользнул бы от голубых фаянсовых глаз к низкому лбу или спустился от простодушно приоткрытых губ к двойному подбородку. Он сразу бы понял, что подобным людям неведомы волнения, что страсти их — безразлично, хорошие или дурные — никогда и ни в чем не проявляются, а в их пустых головах не оседает ничего, кроме банального припева какой-нибудь простенькой песенки, вроде тех, что распевают няньки, укачивая детей.

Добавим, что Провидение, которое никогда не бросает свою работу незавершенной, подписало оригинал, копию с которого мы сейчас предложили вниманию читателей, характерным именем Жана Бюва. Правда, люди, имевшие случай оценить ничтожность ума и доброту сердца этого честного человека, обычно не обращались к нему по имени, которое он

получил при крещении, а называли его попросту «папаша Бюва».

С самого раннего детства малютка Бюва, преисполненный глубокого отвращения ко всякого рода учению, проявлял, однако, удивительную склонность к каллиграфии. Каждое утро он приходил в коллеж ораторианцев, где мать для него выхлопотала право бесплатного обучения, с сочинениями и переводами, изобилующими самыми грубыми ошибками, но зато написанными таким четким, правильным и красивым почерком, что приятно было смотреть. В результате маленького Бюва ежедневно секли за леность ума, но ежегодно награждали за чистописание.

В пятнадцать лет он перешел от священной истории, которую долбил в течение пяти лет, к греческой истории, но после первых выполненных им переводов учителя убедились, что прыжок, который они понуждали сделать своего ученика, ему не по силам, и он вернулся на шестой год к священной истории.

Хотя внешне молодой Бюва казался ко всему крайне равнодушным, он, однако, не был лишен известного самолюбия. Он пришел к матери в слезах, жалуясь на несправедливость учителей; горькая обида заставила его на этот раз признаться в том, что он до сих пор скрывал: оказывается, в коллеже были десятилетние дети, учившиеся в старших классах, в то время как он, пятнадцатилетний, продолжал сидеть в младшем.

Вдова Бюва, славившаяся своей оборотливостью, видела, что каждое утро ее сын отправляется в коллеж с тетрадками, в которых великолепно выведены все буквы, и считала поэтому, что придраться здесь не к чему. Она тут же побежала в коллеж объясняться с монахами-учителями. Монахи ответили ей, что если сын — хороший мальчик, которого нельзя обвинить в дурных мыслях, неугодных Богу, или в дурных поступках по отношению к товарищам, но при этом отличается такой удивительной неспособностью, то они ей советуют развить в нем тот единственный талант, которым природа все же соизволила его наделить, а именно — сделать из него учителя чистописания.

Совет этот был своего рода озарением для госпожи Бюва. Она поняла, что таким образом сразу же сможет пожать плоды образования, полученного сыном. Придя домой, она тут же сообщила юному Бюва свои новые планы относительно его будущего. Юный Бюва увидел в них средство избежать порки и строгого надзора, и, так как эти каждодневные мучения не искупались в его представлении книгой в кожаном переплете, которую он получал ежегодно в качестве награды за каллиграфию, он с огромной радостью принял новое решение своей мамы и обещал ей, что не пройдет и полугода, как он станет первым каллиграфом столицы. В тот же день он купил на свои ничтожные сбережения перочинный ножик с четырьмя лезвиями, связку гусиных перьев, две школьные тетрадки и принялся за работу.

Добрые ораторианцы не ошиблись насчет истинного призвания молодого Бюва. Каллиграфия превратилась у него в искусство, мало чем отличающееся от рисования. По истечении полугода он уже, как обезьяна из «Тысячи и одной ночи», превосходно писал шестью различными шрифтами и искусно рисовал всевозможные заставки, изображая штрихами человеческие лица, деревья и животных. Спустя год Бюва сделал такие успехи, что почувствовал себя вправе объявить о наборе учеников. В течение трех месяцев он круглые сутки работал над объявлением и чуть было не потерял при этом зрение, но справедливость требует отметить, что в конце концов он создал настоящий шедевр. Это была не простая табличка, а настоящая картина, воспроизводящая сцены сотворения мира, выполненная штрихами различной толщины и напоминавшая по своей композиции «Преображение» Рафаэля. В верхней части листа, посвященной Эдему, был нарисован Создатель, влекущий Еву к спящему Адаму, окруженному львом, лошадью, собакой — животными, которые в силу природного благородства достойны приблизиться к человеку. В нижней части листа было изображено море, в глубинах которого резвились фантастические рыбы, а на поверхности красовался великолепный трехпалубный корабль. По бокам были нарисованы деревья со множеством птиц на ветвях, соединяющие небо, которого они касались своими вершинами, с землей, в которую они уходили своими корнями. В середине же листа по идеальной горизонтали было выведено шестью различными шрифтами наречие «неумолимо».

На этот раз художник не обманулся в своих ожиданиях: картина произвела должное впечатление. Спустя неделю у молодого Бюва было уже пять учеников и две ученицы.

В дальнейшем его слава все росла, а госпожа Бюва, прожив еще несколько лет в довольстве, неведомом ей даже при жизни супруга, имела счастье скончаться, нимало не тревожась за будущность своего сына. Что же касается самого Бюва, то он, достойно оплакав свою мать, продолжал жить той однообразной жизнью, в которой каждый следующий день в точности повторял предыдущий. Так он дожил до двадцати шести — двадцати семи лет, проведя самую бурную пору человеческой жизни в безмятежном покое, который дарует невинность и добродетель.

Именно в эти годы ему представился случай совершить благороднейший поступок, и он совершил его, повинувшись инстинкту, наивно и простодушно, как и все, что он делал. Быть может, умный человек прошел бы мимо этого случая, не заметив его, а если бы и заметил, то отвернулся.

В ту пору на втором этаже дома номер шесть по улице Орти, в котором Бюва занимал скромную мансарду, проживала молодая чета, вызывавшая восхищение у жителей всего квартала взаимной любовью и согласием. Правда, следует отметить, что супруги, казалось, были созданы друг для друга. Мужу было лет тридцать пять; он был южанин; волосы, глаза и борода у него были черные, кожа смуглая, а зубы как жемчуг. Звали его Альбер дю Роше. Он был сыном одного из бывших севенских вождей, вынужденного со всей семьей принять католичество во время преследований господина де Бавиля. Отчасти из-за своей принадлежности к оппозиции, отчасти из молодого задора Альбер дю Роше, уже показав себя отважным дворянином, поступил к герцогу Шартрскому, который как раз в то время переформировывал свой отряд телохранителей, сильно потрепанный в первой военной кампании герцога, предшествовавшей битве при Стенкеркене. Дю Роше получил таким образом место Ля Невилья, убитого во время той великолепной атаки королевских солдат, которая решила исход сражения.

Наступившая зима прервала военные действия. Но весной герцог Люксембургский призвал под свои знамена всех блестящих офицеров, деливших свою жизнь в зависимости от времени года между войной и развлечениями. Герцог Шартрский, так страстно мечтавший о бранных подвигах и вынужденный к бездействию подозрительностью Людовика XIV, одним из первых откликнулся на этот призыв. Вместе со всем его отрядом за ним последовал и дю Роше. Наступил великий день Нервинденского сражения. Герцог Шартрский, как обычно, возглавлял войска и сам вел их в наступление. В пылу сражения он так далеко оторвался от своих отрядов, что пять раз за этот день оказывался почти один среди врагов. В пятый раз рядом с ним скакал лишь малознакомый ему юноша. Но по быстрому взгляду, которым они обменялись, герцог понял, что в груди его спутника бьется отважное и верное сердце. Вместо того чтобы сдаться в плен, как предложил герцогу узнавший его вражеский бригадир, он разможил врагу голову выстрелом в упор из пистолета. В ответ раздалось два выстрела. Одна пуля пробила герцогу шляпу, а другая попала в эфес его шпаги. В тот же миг молодой соратник герцога уложил обоих стрелявших: одного — ударом сабли, а другого — метким выстрелом. Тогда на герцога и на молодого человека со всех сторон посыпались пули, но, по счастливой случайности, а вернее, благодаря чуду, ни одна из них не причинила им вреда. Только лошадь герцога, смертельно раненная в голову, рухнула под седоком. Юноша, сопровождавший герцога, тут же спешил и предложил ему своего коня. Герцог не захотел воспользоваться этой услугой, которая могла так дорого стоить тому, кто ее оказывал, но рослый и сильный юноша, решив, что сейчас не время для церемоний, схватил герцога на руки и посадил его в седло.

В это время маркиз д'Арси, во время схватки потерявший из виду своего ученика, герцога Шартрского, бросился на его розыски во главе кавалерийского отряда и пробился к нему как раз в тот момент, когда герцогу и его товарищу, несмотря на все их мужество, неизбежно грозила смерть или плен. Однако, хотя мундир герцога Шартрского был пробит пулями в четырех местах, ни герцог, ни его спутник не были ранены. Когда подоспела помощь, герцог протянул руку своему боевому товарищу и спросил, как его зовут, ибо, несмотря на то что лицо юноши было ему знакомо, имени его он не помнил, так как молодой офицер служил у него недавно. Юноша ответил, что его зовут Альбер дю Роше и что среди телохранителей герцога он

заменял Ля Невилля, убитого в бою при Стенкеркене⁶.

Тогда герцог обратился к вновь прибывшим со следующими словами:

— Господа, вы помогли мне избежать плена, но вот кто, — сказал он, указывая на дю Роше, — спас мне жизнь!

К концу этой кампании герцог Шартрский назначил дю Роше своим первым адъютантом, а три года спустя, все еще преисполненный благодарности, женил юного офицера на девушке, в которую тот был влюблен, и в знак своего к нему расположения назначил ей приданое. К сожалению, герцог Шартрский, будучи сам в те годы еще молодым человеком, не мог дать за ней большого приданого, но зато позаботился о продвижении своего любимца по службе.

Девушка эта была по происхождению англичанкой. Ее мать сопровождала принцессу Генриетту, когда та приехала во Францию для бракосочетания с братом короля. После того как Генриетта была отравлена шевалье д'Эффия, мать невесты дю Роше стала камеристкой наследной принцессы. Но в 1690 году, после смерти жены великого дофина, камеристка, исполненная чисто английской гордости, не пожелала служить мадемуазель Шуэн, поселилась в маленьком деревенском домике, который наняла неподалеку от Сен-Клу, и всецело посвятила себя воспитанию своей маленькой Клариссы, расходуя на это пожизненную ренту, которой она была обязана щедрости дофина. Во время поездок герцога Шартрского в Сен-Клу дю Роше познакомился с этой девушкой, на которой герцог, как мы уже говорили, и женил его в 1697 году. Эта молодая чета, жившая в полном согласии, занимала второй этаж дома шесть по улице Орти, в котором Бюва снимал скромную мансарду. Вскоре у молодых супругов родился сын, а когда малышу исполнилось четыре года, Бюва было поручено обучать его искусству каллиграфии. Малыш стал делать уже заметные успехи, как вдруг он заболел корью и умер. Легко понять, сколь велико было горе родителей. Бюва разделял его тем более искренне, что у его покойного ученика были явные способности к чистописанию. Такое сочувствие к горю родителей со стороны постороннего человека привязало супругов дю Роше к Бюва. Поэтому однажды, когда тот сетовал на ненадежное положение всех людей, занимающихся искусством, Альбер дю Роше вызвался похлопотать за него, надеясь, что благодаря своему влиянию он сумеет добиться для Бюва должности в королевской библиотеке. Учитель каллиграфии пришел в восторг при мысли, что сможет стать государственным служащим. В тот же вечер он написал прошение своим самым красивым почерком. Первый адъютант герцога горячо рекомендовал Бюва, и месяц спустя каллиграф получил свидетельство служащего отдела рукописей королевской библиотеки с окладом в девятьсот ливров в год.

Начиная с этого дня Бюва, преисполнившись вполне естественной гордости в силу своего нового общественного положения, забросил учеников и учениц и всецело отдался изготовлению книжных ярлыков. Пожизненное жалование в девятьсот ливров было для него целым состоянием, и достойный каллиграф начал жить благодаря королевской щедрости в свое удовольствие, беспрестанно твердя своим соседям, что если у них родится второй ребенок, то только он, Жан Бюва, научит его писать. Несчастные родители, со своей стороны, страстно желали дать Бюва возможность выполнить его обещание. Бог внял их мольбам. К концу 1702 года Кларисса родила дочь. Это было большой радостью для всего дома. Бюва был в восторге, он бегал по лестницам, хлопал себя по ляжкам и напевал вполголоса припев своей любимой песенки: «Пусти меня гулять, резвиться и играть...» В этот день, впервые с тех пор как Бюва получил место в королевской библиотеке, то есть впервые за два года, он явился на работу не ровно в десять, а в четверть одиннадцатого. Это было событие из ряда вон выходящее, и внештатный писец, решив, что Бюва умер, тут же подал прошение о предоставлении ему

⁶ Дабы никто не подумал, что вместо описания действительных событий мы преподносим читателю некий вымысел, просим разрешения привести следующий отрывок из свидетельства современника: «Герцог Шартрский вел в наступление отряд королевской гвардии. Он скакал во главе отряда и воодушевлял всех примером своей воинской доблести. Пять раз он оказывался в окружении врагов. Господин дю Роше, один из его оруженосцев, помог ему избежать плена и убил двух вражеских солдат, каждый из которых выстрелил из пистолета в герцога, чей мундир оказался пробитым пулями в четырех местах. Один из офицеров, скакавших рядом с герцогом, был убит наповал. Маркиз д'Арси, потерявший из виду герцога Шартрского, пробился затем к нему, причем мундир маркиза также был прострелен четырьмя пулями. Лошадь под герцогом была подбита». (Выдержка из донесения о битве при Нервиндене, составленного де Визе. Ж. Вату — «Заговор Селламаре»)

освободившейся должности.

Маленькой Батильде еще не было недели, а Бюва уже собирался учить ее писать палочки, повторяя при этом, что, если хочешь в совершенстве изучить какой-нибудь предмет, приниматься за него следует с раннего детства. Весьма трудно было его убедить, что с обучением каллиграфии ему следует повременить года два-три. Бюва примирился с этим и в ожидании, пока, наконец, подрастет его будущая ученица, старательно готовил ей прописи. Три года спустя Кларисса сдержала свое слово. И Бюва торжественно вложил перо в пальчики Батильды.

Наступил 1707 год. Герцог Шартрский, получивший после смерти брата короля титул герцога Орлеанского, был наконец назначен командующим войсками в Испании, куда он и повел свои полки на подмогу маршалу де Бервику. Все офицеры герцога тотчас же получили приказ быть готовыми выступить 5 марта. В качестве первого адъютанта Альбер обязательно должен был сопровождать герцога. Эта новость, которая в любое другое время преисполнила бы дю Роше радостью, теперь была для него скорее печальной, так как здоровье Клариссы начинало внушать серьезные опасения, и врач намекнул на возможность чахотки. То ли Кларисса сама чувствовала, как серьезно она больна, то ли, что еще более естественно, она опасалась за жизнь мужа, но сообщение о предстоящем походе вызвало у нее такой взрыв отчаяния, что Альбер не мог не плакать вместе с ней, а при виде этих слез плакали и маленькая Батильда, и Бюва.

Настало 5 мая — день выступления войск герцога. Несмотря на свое горе, Кларисса собственноручно занялась экипировкой мужа. Она хотела, чтобы он был достоин герцога, которого сопровождал.

Кларисса в слезах провожала мужа, но, когда она увидела Альбера в элегантном мундире, верхом на прекрасном боевом коне, лицо ее на мгновение осветилось горделивой радостью. Что же до самого Альбера, то он был полон надежд и честлюбивых помыслов. Молодая женщина грустно улыбалась, слушая его, но, чтобы не огорчать Альбера в минуту прощания, глубоко затаила горе в своем сердце и не выказала терзавшей ее тревоги за его судьбу, а быть может, и за свою. Кларисса сама сказала ему, что теперь он должен думать не о ней, а о своей чести.

Герцог Орлеанский со своими войсками достиг Каталонии в самом начале апреля и тотчас же форсированным маршем двинулся через Арагон. Прибыв в Сегорб, герцог узнал, что маршал де Бервик готовится дать решающий бой. Преисполненный желанием прибыть в срок и принять участие в этом сражении, герцог отправил Альбера вперед с поручением передать маршалу, что к нему на помощь движется герцог Орлеанский с десяти тысячной армией, и просить де Бервика, если это не нарушает его планов, не начинать боевых действий до прибытия подмоги.

Альбер прибыл. Но, заблудившись в горах из-за плохих проводников, он лишь на день опередил армию герцога Орлеанского и прискакал к де Бервику в тот самый момент, когда маршал намеревался начать бой. Альбер попросил указать ему ставку маршала. Ему показали на небольшой холмик на левом фланге, с которого видна была вся долина; на холме стоял де Бервик, окруженный офицерами штаба. Альбер галопом поскакал прямо к ним.

Посланец представился маршалу и доложил ему о цели своего прибытия. Вместо ответа маршал указал ему на поле боя и приказал скакать назад к герцогу и сообщить обо всем виденном. Но Альбер, почуяв запах пороха, не захотел уезжать. Он попросил разрешения остаться здесь до конца битвы, чтобы принести герцогу весть о победе. Де Бервик милостиво согласился. В этот момент маршал решил, что драгунам настало время броситься в атаку, и отправил одного из своих адъютантов к полковнику с приказом атаковать врага. Молодой человек умчался галопом, но не проехал и трети расстояния, отделяющего холм, где расположился маршал, от занятой драгунами позиции, как пушечное ядро снесло ему голову. Не успел он рухнуть на землю, как Альбер, ухватившись за этот предлог, чтобы принять участие в бою, галопом поскакал к драгунам. Передав полковнику приказ, Альбер, вместо того чтобы вернуться в ставку маршала, выхватил свою шпагу и ринулся в атаку во главе полка.

Эта атака была одной из самых блестящих за весь день. Драгуны так глубоко ворвались в расположение врага, что ряды имперцев дрогнули. Маршал невольно следил за действиями храброго молодого офицера, которого он издали узнавал по мундиру. Маршал видел, что

адъютант герцога Орлеанского пробился к вражескому знамени, завязал рукопашный бой со знаменосцем, а минуту спустя, когда драгуны начали отходить, поскакал назад, сжимая в руках свой трофей. Вернувшись, Альбер бросил к ногам маршала вражеское знамя и хотел отпарировать, но тут из его горла хлынула кровь. Маршал увидел, как он пошатнулся в седле, и хотел поддержать его, но было поздно — Альбер упал: вражеская пуля навывлет прострелила ему грудь. Маршал соскочил с коня и увидел, что храбрый офицер мертв: он упал на вражеское знамя, захваченное им во время атаки.

V. ПРОСТАК БЮВА (Продолжение)

Герцог Орлеанский прибыл со своей армией на следующий день после описанной битвы. Он пожалел об Альбере, как жалеют о погибших храбрецах. Но в конце концов дю Роше погиб как герой, на вражеском знамени, которое он захватил в победоносной атаке. Мог ли мечтать о лучшей смерти истинный француз, солдат и дворянин?

Герцог Орлеанский пожелал собственноручно написать бедной вдове. Если что-нибудь и может утешить жену в такой горе, то именно подобное письмо. Но несчастная Кларисса прочла в нем только одно: у нее нет больше мужа, а у Батильды — отца.

В четыре часа Бюва вернулся из библиотеки. Ему сказали, что Кларисса спрашивала его. Бюва тотчас же спустился к ней. Горе свалило ее. Бедная женщина не плакала, не жаловалась. У нее не было ни слез, ни слов, чтобы выразить свое отчаяние. Пристальный взгляд ее запавших глаз был устремлен в одну точку, как у безумной. Когда Бюва вошел, Кларисса, не обернувшись к нему, даже не повернув головы в его сторону, протянула ему письмо герцога.

Оторопев и растерянно озираясь по сторонам, Бюва силился угадать, что же произошло, но не обнаружил ничего, что бы могло быть путеводной нитью в его догадках. Тогда он перевел глаза на протянутый ему лист почтовой бумаги и прочел вслух:

«Сударыня, Ваш супруг погиб за Францию и за меня. Ни Франция, ни я не можем вернуть Вам его. Но, если Вам когда-нибудь что-либо понадобится, помните, что мы у Вас в долгу.

С искренней дружбой Филипп Орлеанский».

— Как?! — воскликнул Бюва, глядя своими большими, круглыми глазами на Клариссу. — Господин дю Роше?.. Не может быть!

— Папа умер? — спросила, подходя к матери, маленькая Батильда, игравшая в сторонке со своей куклой. — Мама, это правда, что папа умер?

— Увы, это так, мое бедное дитя! — громко произнесла Кларисса, обретая вдруг дар речи. — Да, да, это правда! О, как мы несчастны! — зарыдала она.

— Сударыня, — сказал Бюва, не обладавший достаточной находчивостью, чтобы сразу придумать убедительное утешение, — не надо так отчаиваться. Быть может, произошла ошибка.

— Ах, разве вы не видите, что это письмо написал сам герцог Орлеанский!.. — вырвалось у несчастной вдовы. — Да, дитя мое, обратилась она к Батильде, — да, твой отец умер. Плачь, плачь, дочь моя! Быть может, при виде твоих слез Бог смилостивится над тобой!

После этих слов на бедную женщину напал такой мучительный приступ кашля, что Бюва показалось, будто кашель этот разрывал его собственную грудь. Но еще больший ужас охватил его, когда он увидел, что платок, который Кларисса подносила к губам, был весь в крови. Тут Бюва понял, что маленькой Батильде грозит еще большее несчастье, чем гибель отца.

Квартира, которую занимали дю Роше, теперь оказалась для Клариссы слишком большой, и никто не удивился, когда вдова перебралась в маленькую квартирку на третьем этаже.

Помимо горя, которое совершенно парализовало Клариссу, своего рода стыд, понятный каждому человеку с гордым сердцем, мешал ей просить у родины вознаграждения за пролитую ради нее кровь, особенно когда кровь эта еще не успела остыть. Вполне понятно поэтому, что бедная вдова не сразу решилась отправиться в военное министерство хлопотать о пенсии. Когда же по прошествии трех месяцев Кларисса оказалась в состоянии предпринять первые шаги, взятие Ракены и Сарагосы заставило всех забыть о битве при Альмансе. Кларисса предъявила секретарю министра письмо герцога Орлеанского. Тот ответил ей, что это письмо бесспорно дает ей все права на пенсию, но с хлопотами следует подождать до возвращения его

высочества. Кларисса взглянула в зеркало на свое исхудавшее лицо и грустно улыбнулась: «Подождать, что ж, пожалуй, так будет лучше, я согласна. Но один Бог знает, успею ли я дожидаться».

После неудачи с пенсией Клариссе пришлось покинуть квартиру на третьем этаже и переехать в две крошечные комнатки на четвертом. У бедной вдовы не было никаких средств к существованию. Небольшое приданое, полученное ею в свое время от герцога, ушло на обзаведение мебелью и снаряжение Альбера в поход. Теперь, поскольку ее новая квартира была значительно меньше прежних, никто не удивился тому, что она продала часть мебели.

Предполагалось, что герцог Орлеанский вернется в столицу к зиме. И Кларисса надеялась, что с возвращением герцога ее денежные дела поправятся. Но, наперекор всем военным традициям того времени, армия, вместо того чтобы прервать кампанию и стать на зимние квартиры, продолжала поход. Вскоре разнеслась весть, что герцог Орлеанский не только не собирается вернуться в Париж, а, напротив, готовился осадить Лериду. А поскольку в 1647 году сам великий Конде потерпел неудачу под Леридой, осада даже при благоприятном ходе дела обещала быть весьма длительной.

Кларисса вынуждена была решиться на новые хлопоты. Но министерские чиновники за это время успели забыть даже имя дю Роше. Тогда она вновь показала письмо герцога. Письмо, как обычно, произвело впечатление, но ей сказали, что герцог по окончании осады Лериды непременно вернется в Париж. А пока бедной вдове надлежит запастись терпением.

Из двух комнат на четвертом этаже Кларисса перебралась в маленькую мансарду, напротив той, где жил Бюва, и продала всю мебель, оставив себе только стол, несколько стульев, кровать Батильды и свою кровать.

Бюва наблюдал за всеми этими переездами и распродажами и, хотя не обладал изощренным умом, отлично понял, в каком бедственном положении находилась его соседка. Как человек осмотрительный, он имел небольшие сбережения, и ему очень хотелось передать их в распоряжение Клариссы. Но вместе с нищетой Клариссы росла ее гордость. И Бюва никак не мог решиться сделать ей такой подарок. Раз двадцать он заходил к ней с небольшим сверточком, в котором было пятьдесят или шестьдесят луидоров — все его состояние, — и всякий раз уходил, наполовину вытащив этот сверток из кармана, но так и не осмелившись предложить деньги бедной вдове. Однажды отправляясь на службу, Бюва повстречал на лестнице хозяина дома, который обходил неисправных жильцов и требовал у них платы за квартиру. Бюва сообразил, что хозяин намерен нанести подобный визит и к Клариссе и что, несмотря на ничтожность суммы, он, быть может, поставит ее в весьма затруднительное положение. Тогда Бюва пригласил хозяина к себе и объявил, что госпожа дю Роше накануне передала ему деньги с тем, чтобы он оплатил квартиру сразу за полгода. Хозяин, опасавшийся, что ему вовсе не заплатят, был весьма рад получить всю сумму сполна, нимало не беспокоясь о том, кто производит оплату. Он схватил деньги обеими руками, выдал Бюва по квитанции за каждый триместр и отправился дальше в свой обход.

Следует заметить, что содеянное доброе дело в силу душевной чистоты и наивности Бюва мучило его, словно преступление. Три или четыре дня после этого он не смел показаться на глаза своей соседке. Когда же он наконец решился к ней заглянуть, то застал ее весьма опечаленной его долгим отсутствием, которое она приписывала лишь равнодушию. Бюва нашел Клариссу сильно изменившейся за эти дни. Это его так огорчило, что он вышел от нее, покачивая головой и вытирая глаза. И, быть может, впервые за много лет, прохаживаясь по привычке перед сном взад и вперед по своей комнате, он не напевал при этом любимой песенки:

Пусти меня гулять. Резвиться и играть...

А это свидетельствовало о том, что Бюва угнетен печальными мыслями.

В конце зимы стало известно, что Лерида пала, но одновременно с этим разнеслась весть, что молодой и неутомимый полководец намеревается взять осадой Тортосу. Этот последний удар сразил несчастную Клариссу. Бедная женщина поняла, что с наступлением весны начнется новый поход, который опять задержит возвращение герцога во Францию. Силы изменили ей, и она слегла.

Положение Клариссы было ужасным. Она нисколько не обманывалась насчет свой

болезни: она сознавала, что больна смертельно, и понимала, что ей не на кого оставить маленькую дочь. Несчастливая женщина страшилась смерти не потому, что боялась умереть, а потому, что ее крошка не сможет даже поплакать на могиле матери, ибо таких бедняков хоронят в общей могиле. У ее покойного мужа были, правда, какие-то дальние родственники, но она не могла и не хотела взывать к их жалости. Что же касается родных самой Клариссы, то она их никогда не знала, так как родилась во Фракции, где и умерла ее мать. К тому же Кларисса понимала, что если и были какие надежды на помощь со стороны английских родственников, то теперь уже было поздно к ним обращаться. Смерть подстерегала ее.

Однажды Бюва просидел у больной до позднего вечера; она вся пылала. А ночью, проснувшись от душераздирающих стонов Клариссы, он вскочил с постели, оделся и бросился к ее комнате. Но, добжевав до двери, он не посмел ни войти, ни постучать: Кларисса рыдала и молилась вслух. Маленькая Батильда проснулась и позвала мать. Кларисса зарыдала еще громче, взяла девочку из кровати и, поставив на колени в своей постели, велела ей повторять за собой все молитвы, какие только знала, заключая каждую словами: «Господи, услышь мою бедную девочку!» Малютка, едва вышедшая из колыбели, и мать, стоявшая одной ногой в могиле, обращались к Богу как к единственной поддержке.



И эта ночная сцена была так печальна, что Бюва, упав на колени, тут же поклялся про себя в том, чего не смел произнести вслух. Он поклялся, что, если Батильда останется сиротой, он о ней позаботится. Бог услышал молитву ребенка и матери и внял ей. На другое утро Бюва, зайдя к Клариссе, сделал то, на что раньше никогда не осмеливался: он взял Батильду на руки, прижался своей толстой щекой к прелестному личику ребенка и прошептал:

— Будь спокойна, бедная невинная малютка, свет не без добрых людей! Девочка обхватила руками шею Бюва и поцеловала его. Бюва почувствовал, что слезы навертываются ему на глаза, но, вспомнив, что при больных не следует плакать, так как их нельзя волновать, вынул часы и проговорил нарочито грубым голосом, стараясь скрыть свое волнение:

— Гм, уже без четверти десять, мне пора идти, госпожа дю Роше.

На лестнице Бюва повстречался с врачом и спросил его о состоянии больной. Врач, который навещал Клариссу из милости и поэтому не считал себя обязанным церемониться, ответил, что дня через три ее уже не будет в живых.

Вернувшись со службы в четыре часа, Бюва застал весь дом в волнении. Уходя, врач сказал привратнице, что настало время причащать больную. Тут же поехали за священником, который вскоре пришел и в сопровождении служки, позванивающего колокольчиком, стал подниматься по лестнице. Без всякого предупреждения они вошли в комнату больной. Кларисса встретила священника как посланца Господня, молитвенно сложив руки и возведя глаза к небу. Однако внезапное появление священнослужителей глубоко потрясло ее. Услышав церковное пение, Бюва догадался, что происходит в мансарде. Он быстро взбежал наверх. В комнате Клариссы и на площадке перед ее дверью толпились кумушки со всего квартала, которые, следуя обычаю того времени, пришли вслед за служкой. Возле кровати, на которой лежала умирающая, такая бледная и неподвижная, что, если бы не полные слез глаза, ее можно было бы принять за мраморную статую на могиле, священник и служка пели молитвы. Батильду увели от матери, чтобы больная не отвлекалась во время совершения последнего церковного обряда. Девочка забилась в уголок, не смея ни плакать, ни кричать. Незнакомые люди и непонятное ей пение испугали ее. Едва завидев Бюва, Батильда кинулась к нему, как к единственному человеку, которого она знала среди этого мрачного сборища. Бюва взял ее на руки и вместе с ней стал на колени у кровати умирающей. В этот момент Кларисса низвела свой взор с неба на землю.



Очевидно, она вновь молила Бога, чтобы он ниспослал ее дочери покровителя. И тут она увидела Батильду на руках своего единственного друга. Проникновенный взгляд умирающей достиг самых глубин чистого и преданного сердца Бюва, и, видимо, Кларисса прочла в нем все то, чего он не решался ей сказать, ибо вдруг, приподнявшись с постели, она протянула ему руку. С уст ее сорвался крик радости и благодарности, понятный лишь ангелам. Затем, словно истратив последние жизненные силы в этом материнском порыве, Кларисса без чувств упала на постель.

Религиозный обряд закончился. Первыми ушли священник и служка, за ними последовали люди набожные. Дольше всех не расходились праздные зеваки. В их числе было несколько женщин. Бюва спросил у них, не могут ли они рекомендовать опытную сиделку. Одна из присутствующих отрекомендовалась таковой, заверив под одобрительный гул своих товаров, что она наделена всеми необходимыми для этой почетной профессии добродетелями и именно в силу этого обстоятельства ей обычно платят за неделю вперед, так как она всегда нарасхват. Бюва осведомился, сколько она берет за неделю. Женщина ответила, что с любого другого она взяла бы шестнадцать ливров, но так как эта бедная дама, наверное, не богата, то она готова согласиться и на двенадцать. Бюва, который в этот день получил свое месячное жалованье, вынул из кармана два экю и, не торгуясь, протянул их женщине. Если бы она потребовала вдвое больше, он заплатил бы ей с такой же готовностью. Эта неожиданная щедрость вызвала всевозможные предположения, не делающие чести умирающей. Добрый поступок, видимо, и в самом деле такая редкость, что, когда он совершается на глазах у людей, они, униженные его величием, ищут ему объяснения в нечистых помыслах или в корыстолюбии.

Кларисса все еще была в беспамятстве, и сиделка тотчас же приступила к исполнению своих обязанностей, поднеся ей за неимением нюхательной соли уксус. Бюва удалился к себе, а маленькой Батильде сказали, что ее мать уснула. Бедная девочка еще не знала разницы между сном и смертью и, забившись в уголок, снова стала играть со своей куклой.

Через час Бюва вновь навестил Клариссу. Больная очнулась от забытья, глаза ее были открыты, но она уже не могла говорить, хотя еще узнавала окружающих. Увидев Бюва, она сложила руки в безмолвной молитве, затем как будто стала что-то искать у себя под изголовьем. Но для этого требовалось усилие, слишком большое при ее слабости, и, издав стон, она вновь неподвижно застыла на подушке. Сиделка покачала головой и, подойдя к больной, сказала:

— Да в порядке ваша подушка, в порядке, матушка; нечего ее двигать. Повернувшись к

Бюва, она добавила, пожимая плечами:

— Ох уж эти больные, не говорите мне о них! Всегда им кажется, будто что-то мешает. А это смерть, чего там! Да, да, смерть! Но они этого не понимают.

Кларисса испустила глубокий вздох, но оставалась неподвижной. Сиделка подошла к ней и помазала ей губы бородкой пера, смоченной в раздобытом ею сердечном лекарстве — собственного изобретения аптекаря.

Бюва не мог вынести этого зрелища: поручив мать и дитя сиделке, он вышел.

На следующее утро больной стало еще хуже. Кларисса уже никого не узнавала, кроме дочери, которую уложила рядом с собой на постель. Она крепко сжимала в своих руках ее маленькую ручку. Девочка, словно почувствовав, что это была последняя ласка матери, лежала неподвижно и молчала.

Лишь завидев своего друга Бюва, она тихо произнесла:

— Мама спит. Спит...

Тут Бюва показалось, что Кларисса сделала какое-то еле уловимое движение, словно услышала и узнала голос своего ребенка, но, быть может, это была всего лишь нервная дрожь. Бюва спросил у сиделки, не нужно ли что-нибудь больной.

Сиделка покачала головой и сказала:

— К чему бросать деньги на ветер. И так эти негодяи-аптекари зарабатывают слишком много.

Бюва очень хотелось побыть подле Клариссы; он понимал, что жить ей осталось недолго, но ему и в голову не могло прийти пропустить хоть один присутственный день, разве что если бы он сам умирал. Он пришел в королевскую библиотеку в положенный час, но был так печален и подавлен, что королю на этот раз было от него мало проку. К тому же Бюва, как это с удивлением отметили все служащие библиотеки, не стал дожидаться, пока часы пробьют четыре, и, сняв синие нарукавники, которые он надевал, чтобы не запачкать рукавов сюртука, с первым ударом часов встал, надел шляпу и ушел. Внештатный писец, тот самый, который подавал уже прошение о замещении места Бюва, посмотрел ему вслед и, когда дверь за ним закрылась, сказал достаточно громко, чтобы его слова были услышаны начальником:

— Вот это я понимаю! Он-то уж не изнуряет себя работой. Опасения Бюва подтвердились. Вернувшись домой, он спросил у привратницы, как себя чувствует Кларисса.

— Слава Богу, — ответила та, — успокоилась, бедняжка. Больше она не страдает.

— Умерла?! — воскликнул Бюва с той дрожью в голосе, которую всегда вызывает у человека это ужасное слово.

— Пожалуй, уже три четверти часа прошло. — И привратница, склонившись над чулком, вновь замурлыкала себе под нос какую-то веселую песенку, которую прервала, чтобы ответить на вопрос Бюва.

Бюва медленно, со ступеньки на ступеньку, стал подниматься по лестнице, останавливаясь на каждом этаже, чтобы вытереть капли пота, выступившие на лбу. Дойдя до площадки, на которую выходили двери его комнаты и комнаты Клариссы, он был вынужден прислониться к стене, так как почувствовал, что у него подкашиваются ноги.

Вид мертвого тела таит в себе нечто страшное и торжественное, и, как бы ни владел собой человек, этого впечатления ему не избежать. Бюва оставался на площадке, безмолвный, неподвижный, колеблясь, войти или нет, пока не послышался плач маленькой Батильды, и тогда он сразу вспомнил о бедном ребенке, и это придало ему смелости. Однако, подойдя к двери, он вновь остановился; но тут стали отчетливее слышны стенания девочки.

— Мама! — кричала она прерывающимся от слез голосом. — Мама, проснись же! Мама, почему ты такая холодная?

Потом девочка подошла к двери и, стуча в нее ручонкой, стала звать:

— Добрый друг, добрый друг, иди сюда! Я совсем одна, мне страшно!

Бюва не мог понять, как это никто не увел ребенка из комнаты сразу же после смерти матери, и глубокая жалость, которую он испытывал к малютке, взяла верх над тяжелым чувством, заставившим его остановиться у двери. Бюва решительно нажал на дверную ручку, но дверь оказалась запертой. Тут ему послышалось, будто его зовет привратница. Он подбежал к лестничному пролету и спросил, у кого ключ от комнаты покойной госпожи дю Роше.

— За этим я вас и зову, — ответила снизу привратница. — Подумать только, до чего же я стала рассеянна, забыла вам передать, когда вы поднимались по лестнице.

Бюва быстро сбежал вниз.

— А почему ключ у вас? — спросил он привратницу.

— Его передал мне хозяин, после того как увез мебель.

— Куда увез?! — воскликнул Бюва.

— Как же не увезти?! Ваша соседка, господин Бюва, была небогата, наверняка она кругом должна. А зачем хозяину все эти дразги? Вот он и вывез мебель в счет оплаты за квартиру. Что ж, это справедливо, господин Бюва. А бедняжке мебель теперь не нужна.

— Но где же сиделка?

— Сиделка, как увидела, что ее подопечная умерла, так сразу и ушла. Ведь ее работа окончилась. Если вы заплатите ей еще один экую, она, пожалуй, придет обрядить покойницу, хотя обычно это заработок привратницы; я, правда, за это не возьмусь, слишком уж чувствительна.

Содрогнувшись от ужаса, Бюва понял, что произошло. И если в первый раз он поднимался по лестнице, стараясь идти как можно медленнее, но теперь он вихрем взлетел наверх.

Дрожащими руками он с трудом вставил ключ в замок и распахнул дверь.

Кларисса лежала на снятом с кровати соломенном тюфяке посреди совершенно пустой комнаты. Угол простыни, брошенный на нее, был откинут; очевидно, это сделала маленькая Батильда, чтобы увидеть лицо своей покойной матери, которое она покрывала поцелуями, когда Бюва вошел.

— Ах, добрый друг, добрый друг! — вскричала Батильда, — разбуди же мою мамочку! Почему она хочет все время спать? Разбуди ее, прошу тебя!

Бюва подвел Батильду к покойнице.

— Поцелуй в последний раз свою мать, бедное дитя, — сказал он.

Девочка повиновалась.

— А теперь, — продолжал он, — пусть она спит. Настанет день, когда Господь разбудит ее.

Бюва взял девочку на руки и унес в свою комнату. Она не сопротивлялась, словно понимала всю свою беспомощность и все свое одиночество.

Затем он уложил Батильду в свою постель, ибо хозяин увез из комнаты Клариссы всю мебель вплоть до детской кроватки.

Когда девочка уснула, Бюва отправился заявить полицейскому комиссару о смерти госпожи дю Роше и распорядиться насчет похорон.

Вернувшись домой, он повстречал привратницу, и та передала ему бумагу, обнаруженную сиделкой в руках покойницы.

Бюва развернул эту бумагу и увидел, что это письмо герцога Орлеанского. Оно было единственным наследством, которое бедная мать оставила своей дочери.

VI. БАТИЛЬДА

После того как Бюва вернулся от полицейского комиссара и из похоронной конторы, он занялся поисками женщины, которая могла бы ухаживать за маленькой Батильдой, ибо эту обязанность, которую он, не имея ни малейшего представления о воспитании детей, никак не мог взять на себя. Кроме того, он ежедневно уходил в библиотеку на шесть часов, и ребенок не мог все это время оставаться без присмотра. К счастью, подходящую женщину и искать не пришлось. Бюва вспомнил о славной женщине лет тридцати пяти — тридцати восьми, которая прислуживала его матери последние три года ее жизни. Он в тот же день уговорился с Нанеттой — так звали служанку, — что она переедет к нему, чтобы стряпать и ухаживать за маленькой Батильдой, и положил ей, кроме питания, жалованье — пятьдесят ливров в год.

Такое решение нарушало все установившиеся годами привычки Бюва; теперь он, одинокий холостяк, всегда столовавший у других, обзавелся хозяйством и, следовательно, уж никак не мог оставаться в своей мансарде, слишком тесной, чтобы в ней могли поселиться и те, с кем он отныне связал свою жизнь. И вот на следующее утро Бюва принялся искать другое

жилье. Он нашел подходящую квартиру на улице Пажевен, так как ни в коем случае не хотел удаляться от королевской библиотеки, чтобы не лишать себя возможности в любую погоду добираться туда без особых затруднений. Квартира состояла из двух комнат, чулана и кухни. Бюва немедленно снял ее и отправился на улицу Сент-Антуан купить недостающую мебель, чтобы обставить комнаты Батильды и Нанетты. В тот же вечер, по возвращении Бюва из библиотеки, они и переехали.

На другой день состоялись похороны Клариссы. Было воскресенье, и Бюва даже не пришлось просить у своего начальника разрешения пропустить рабочий день, чтобы отдать Клариссе последний долг.

В течение первых двух недель маленькая Батильда поминутно говорила о своей маме, но так как ее добрый друг Бюва подарил ей в утешение множество красивых игрушек, девочка стала все реже и реже вспоминать о Клариссе. Ей сказали, что мама уехала к отцу. И Батильда почти перестала спрашивать, когда они оба вернутся. А затем тонкая вуаль, отделяющая в нашей памяти годы детства от остальной жизни, постепенно стала уплотняться, и Батильда забыла о своих родителях до того дня, когда, немного повзрослев, она вдруг поняла, что значит быть сиротой. И тогда из глубины ее детских воспоминаний вновь всплыли образы отца и матери.

Лучшую из двух комнат Бюва отдал Батильде, в другой поселился сам, а чулан определил для прислуги. Добрая Нанетта готовила не так уж хорошо, но зато отлично вязала, а пряла и того лучше. Однако, несмотря на столь разнообразные таланты Нанетты, Бюва понял, что ни он, ни она не смогут дать Батильде настоящего воспитания и что, когда у девушки выработается отличный почерк, когда она научится читать, а также шить и прясть, она все же будет знать лишь половину того, что ей положено. Бюва сознавал, как велики были взятые им на себя обязательства. Он был человеком, который, как говорится, думает сердцем. И он понимал, что, став его воспитанницей, Батильда не перестала быть дочерью Альбера и Клариссы. Поэтому он твердо решил дать ей образование, соответствующее не ее нынешнему положению, а ее имени — дю Роше.

Прийти к такому выводу Бюва помогло несложное рассуждение: своей службой он обязан Альберу, а значит, все заработанные им деньги принадлежат Батильде. И Бюва распределил свой годовой доход в девятьсот ливров следующим образом: четыреста пятьдесят ливров пойдет на оплату учителей музыки, рисования и танцев; четыреста пятьдесят ливров надо ежегодно откладывать на приданое Батильде.

Если предположить, что Батильда, которой было в это время четыре года, выйдет замуж через четырнадцать лет, то есть когда ей исполнится восемнадцать, то ее приданое, считая и капитал и проценты, ко дню свадьбы составит девять или десять тысяч ливров. Правда, Бюва отлично понимал, что это небольшая сумма, но сколько он ни огорчился, сколько ни ломал себе голову, ничего лучшего придумать не мог.

Что же касается расходов на питание и оплату квартиры, на одежду для девочки и для него самого, а также на жалованье Нанетте, то Бюва решил, что на это он заработает уроками чистописания или перепиской бумаг. Правда, ему придется вставать часов в пять утра и ложиться в десять вечера. Но Бюва считал, что он только выиграет от нового распорядка дня, поскольку таким образом он сможет продлить свою жизнь на четыре-пять часов в день.

На первых порах Божье благословение, казалось, сопутствовало всем его делам. У Бюва не было недостатка ни в уроках, ни в переписке, а так как его первые два года он сам занимался воспитанием Батильды, то сбереженную на этом сумму в девятьсот ливров он мог присоединить к тем деньгам, которые были положены в банк на имя Батильды. Но, как только девочке исполнилось шесть лет, у нее появились учителя танцев, музыки и рисования, что не часто бывает у детей ее возраста даже в богатых и знатных семьях.

Каким удовольствием было приносить жертвы ради этого очаровательного ребенка! Бог, казалось, вручил Батильде тот счастливый дар, который заставляет поверить, что человек живет не один раз. Те, кто владеет этим даром, как будто не постигают новое, а вспоминают забытое. Ну а юная красавица подавала блестящие надежды и уже сейчас в ней проявлялось все то, что обещала в будущем.

Всю неделю, слыша, как учителя после каждого урока хвалят его воспитанницу, Бюва

бывал чрезвычайно горд. Когда же по воскресным дням, надев свой кафтан цвета семги, черные бархатные штаны и ажурные чулки, Бюва брал за руку маленькую Батильду и отправлялся с ней на прогулку, он был просто вне себя от счастья. Они направлялись к дороге на Поршерон, где парижане обычно играли в шары. Бюва был прежде большим любителем этой игры. Но теперь, не имея возможности играть, он стал судьей и разрешал любые споры игроков. Надо отдать должное Бюва: глаз у него был верный, и он издали видел, какой шар ближе всех подкатывался к лунке. Поэтому игроки беспрекословно подчинялись его решениям, как если бы их выносил Людовик Святой в Венсене. Однако в похвалу Бюва следует сказать, что не только эгоистическое желание посмотреть на игру в шары привлекало его в этот уголок парка. Дело в том, что аллея Поршеронской дороги выходила к прудам Гранж-Бательер. Темная вода этих прудов манила к себе множество золотистых стрекоз, которых так любят ловить дети. Батильда с зеленым сачком в руке гонялась за бабочками и стрекозами, и ее прекрасные белокурые волосы развевались по ветру; это было одной из ее самых любимых забав. Правда, к концу игры ее белое платье нередко оказывалось испачканным или разорванным, но Бюва, заботившийся лишь о том, чтобы девочка всласть повеселилась, относился к пятну или дырке на платье с философским спокойствием — пусть об этом думает Нанетта. Тетушка Нанетта, разумеется, бранилась, но Бюва живо успокаивал ее одной и той же фразой: «Так уж положено: молодость веселится, старость бранится». Нанетта, очень любившая всевозможные поговорки и сама всегда норовившая вернуть какую-нибудь прибаутку, смирялась, покоренная мудростью слов Бюва.

Иногда, в дни больших праздников, Бюва уступал просьбам маленькой Батильды, которой хотелось посмотреть вблизи на ветряные мельницы, и отправлялся с ней пешком на Монмартр. На такие прогулки они выходили раньше, чем обычно. Нанетта несла в корзине обед, который они съедали на площади перед монастырем. Затем они быстро пересекали предместье, шли по мосту Поршерон, огибали слева кладбище Сент-Эташ и, минуя часовню Нотр — Дам-де-Лоретт, выходили через заставу на дорогу, которая, извиваясь по лугам, вела к Монмартрскому холму.

В эти дни они возвращались домой не раньше восьми вечера. У креста перед мостом Поршерон Бюва брал маленькую Батильду на руки, и она тотчас же засыпала.

Так они жили до 1712 года, когда финансовые дела короля оказались настолько запутанными, что он не нашел иного выхода из положения, как перестать платить своим служащим. Об этой административной мере Бюва узнал в тот день, когда, по обыкновению, пришел получать свое месячное жалованье. Кассир сказал, что денег в кассе нет. Бюва удивленно взглянул на кассира, так как ему никогда не приходила в голову мысль, что у короля может не быть денег. Но слова кассира его нимало не встревожили. Бюва был убежден, что лишь случайное происшествие могло прервать платежи, и он вернулся к своему рабочему столу, напевая любимую песенку: «Пусти меня гулять, резвиться и играть...»

— Простите, — обратился к нему известный нам писец, который после семилетнего ожидания получил наконец штатную должность, — должно быть, у вас очень весело на душе, раз вы поете, невзирая на то, что нам перестали платить.

— Как? — воскликнул Бюва. — Что вы имеете в виду?

— А вы разве еще не были у кассира?

— Как же, я иду от него.

— Быть может, вам заплатили?

— Нет, мне сказали, что денег нет.

— И что вы об этом думаете?

— Ну... я думаю, — сказал Бюва, — что нам заплатят за два месяца сразу.

— Как бы не так! Держите карман шире! «За два месяца...»! Послушай, Дюкудре, — обратился писец к своему соседу, — Бюва полагает, что нам заплатят за два месяца сразу. Ну и простак же этот папаша Бюва!

— В этом мы убедимся через месяц, — ответил Дюкудре.

— Вот именно, — подхватил Бюва и повторил слова Дюкудре, показавшиеся ему весьма мудрыми, — и в этом мы убедимся через месяц.

— А если вам не заплатят ни в следующий месяц, ни позднее, что вы тогда будете делать,

папаша Бюва?

— Что я буду делать? — переспросил Бюва, удивленный, что кто-нибудь может сомневаться в его решении. — Это же совершенно ясно. Все равно буду продолжать работу.

— Как, вы будете работать, даже если вам перестанут платить? — изумился писец.

— Сударь, — сказал Бюва, — в течение десяти лет король исправно выплачивал мне жалованье. И я думаю, что теперь король, будучи стеснен в деньгах, может рассчитывать на небольшой кредит с моей стороны.

— Гнусный льстец! — пробурчал бывший внештатный писец.

Прошел месяц; вновь настал день выплаты жалованья. Бюва подошел к кассе в твердой уверенности, что ему заплатят за оба месяца, но, к его великому удивлению, ему сообщили, так же как и в прошлый раз, что в кассе денег нет. Бюва осведомился, когда же они будут, на что кассир ответил, что он очень любопытен. Бюва поспешил извиниться и вернулся на свое место; на этот раз он, правда, уже не пел.

В тот же день бывший внештатный писец подал в отставку. Заменить его было трудно, поскольку за работу перестали платить. Но работа не ждала — и начальник поручил Бюва, кроме обычных занятий, еще и обязанности ушедшего в отставку писца. Бюва безропотно взялся за дело, и так как надписывание книжных ярлыков отнимало у него, в сущности, немного времени, то к концу месяца вся порученная ему работа была выполнена.

По истечении третьего месяца жалованье также оказалось невыплаченным. Это было настоящее банкротство.

Но, как мы уже видели, Бюва никогда не уклонялся от того, что считал своим долгом. Обязательства, которые он брал на себя в первом душевном порыве, он всегда выполнял неукоснительно и точно. Но ему пришлось тронуть свои сбережения — небольшое состояние, которое он скопил в течение двух лет, регулярно откладывая все свое жалованье.

Тем временем Батильда росла. Теперь это была девушка лет тринадцати-четырнадцати, которая с каждым днем становилась все краше и уже начинала понимать всю трудность своего положения. Поэтому вот уже почти год она под тем предлогом, что предпочитает рисовать или играть на клавесине, отказывалась от прогулок к аллее Поршеронской дороги, от игр возле прудов Гранж-Бательер и от походов на холм Монмартра.

Бюва недоумевал, почему у девушки появилось такое пристрастие к сидячему образу жизни. Попробовав раза два-три погулять в одиночестве, он убедился, что без Батильды эти прогулки не доставляют ему никакой радости, а поскольку парижскому обывателю, проводящему всю неделю взаперти, необходимо дышать свежим воздухом хотя бы по воскресеньям, Бюва решил приискать себе маленькую квартирку с садиком. Но квартиры с садиками оказались теперь бедняге Бюва не по карману, и поэтому, когда он обнаружил во время своих поисков маленькую квартирку на улице Утраченного Времени, ему пришла в голову блестящая мысль заменить сад террасой. Он даже подумал, что воздух там, наверху, будет еще чище. Вернувшись домой, Бюва поспешил рассказать Батильде о найденной им квартире. Квартира эта, во всех отношениях вполне подходящая, имела, как он считал, лишь одно неудобство. Оно заключалось в том, что их комнаты будут разделены. Батильде с Нанеттой придется жить на пятом этаже, а ему в мансарде. Но то, что Бюва казалось неудобством, в глазах Батильды выглядело преимуществом. С некоторых пор естественная стыдливость, присущая всякой женщине, подсказывала ей, что не подобает девушке жить в комнате, смежной с комнатой мужчины, еще нестарого и не являющегося при этом ни отцом ее, ни мужем. Поэтому Батильда уверила Бюва, что, судя по всем его рассказам, им вряд ли удастся найти более подходящую квартиру. И она посоветовала Бюва снять ее как можно скорее. Бюва с радостью отказался от прежней квартиры и внес задаток за новую. А по истечении срока, за который было уплачено вперед, они переехали на улицу Утраченного Времени. В третий раз за двадцать лет Бюва менял квартиру, причем каждый раз его вынуждали к этому особые обстоятельства. Как явствует из нашего повествования, у Бюва не было склонности к переменам.

Батильда была права в своем стремлении к уединенному образу жизни, ибо, с тех пор как под ее черной накидкой стали угадываться дивной красоты плечи, а из митенок выглядывали самые изящные в мире пальчики, с тех пор как от прежней Батильды осталось разве что детская

ножка, все вдруг заметили, что Бюва еще молод. Люди вспомнили также, что раз пять или шесть Бюва, всегда слышшему человеком положительным и ежемесячно посещавшему своего нотариуса, представлялись случаи сделать приличную партию, но он почему-то не воспользовался этой возможностью. Вызывало пересуды и то, что опекун и его воспитанница жили под одной крышей, так как кумушки, которые были готовы целовать следы ног Бюва, когда Батильде было шесть лет, теперь, когда ей исполнилось пятнадцать, первыми завопили о его безнравственности.

Бедняга Бюва! Если о чьей-нибудь душе можно было сказать, что она чиста и невинна, то это в первую очередь о душе Бюва: десять лет он прожил в комнате, смежной с комнатой Батильды, и ни разу даже во сне ему в голову не приходила дурная мысль.

Однако, когда они поселились на улице Утраченного Времени, положение стало еще более двусмысленным. Как уже известно читателю, Бюва и Батильда переехали с улицы Ор-ти на улицу Пажевен, где еще помнили о редком благородстве, проявленном Бюва по отношению к сироте. И это спасало его от клеветы. Но с тех пор прошло уже много лет, и о его добром поступке стали забывать даже на улице Пажевен. Поэтому нечего было и ожидать, чтобы слухи, которые начали преследовать Бюва и Батильду еще на старой квартире, заглохли в новом квартале, где они теперь поселились. Здесь их никто не знал, а разные фамилии, исключавшие мысль о близком родстве, неизбежно вызывали подозрения. Правда, оставалось еще предположение, что Батильда является плодом не освященного церковью раннего брака Бюва, которому, таким образом, приписывалась бурная молодость. Но стоило пристальнее взглянуть на Батильду, как и это предположение приходилось отвергнуть. Батильда была высокой и стройной, в то время как Бюва — низкорослым и толстым. У нее были горящие черные глаза, а у него — голубые, лишенные всякого выражения, словно фаянсовые. Кожа у Батильды была бледной и матовой, у Бюва же — розовой и лоснящейся. Наконец, в девушке все дышало изяществом и изысканностью, тогда как бедняга Бюва был с ног до головы воплощением вульгарного добродушия. В результате всех этих толкований соседки стали поглядывать на Батильду с презрением, а мужчины — называть Бюва «счастливым пройдохой».

Впрочем, справедливость требует отметить, что госпожа Дени была одной из последних в квартале, кто поверил всем этим слухам.

Тем временем стали сбываться предсказания писца, подавшего в отставку. Прошло полтора года с того дня, как Бюва в последний раз выплатили жалованье. И, хотя он не получал теперь ни одного су за свою работу, это не мешало ему исполнять свои обязанности с прежней пунктуальностью. Более того, с тех пор как опустела королевская касса, Бюва охватил безумный страх, что министр решит в целях экономии уволить треть государственных служащих. А для Бюва, несмотря на то что работа в библиотеке ежедневно отнимала у него шесть часов, которые он мог бы использовать более выгодным образом, потеря этой должности была бы непоправимым несчастьем.

Поэтому, по мере того как он терял надежду на возобновление выплаты жалованья, он работал все с большим усердием. Вполне понятно, что никто не собирался выставлять на улицу человека, который работал тем больше, чем меньше у него оставалось надежд на получение жалования.

Бюва был в полном неведении относительно того, когда же изменится, наконец, это неопределенное положение; его сбережения все таяли, и недалек был день, когда он мог оказаться совсем без средств. Все это так омрачало настроение Бюва, что Батильда не могла не понять, что он что-то скрывает от нее. С тактом, присущим женщинам, она решила, что бессмысленно расспрашивать Бюва о секрете, который он не хочет ей доверить добровольно. Поэтому она обратилась к Нанетте. Служанка, правда, заставила себя просить, но так как и она была под влиянием Батильды, то в конце концов все рассказала. Только тогда Батильда вполне оценила бескорыстную преданность и деликатность Бюва. Она узнала, что Бюва, решив сохранить свое жалованье ей на приданое и на оплату учителей, ежедневно работал с пяти утра до восьми, а по вечерам — с девяти часов до полуночи. А печальным он был потому, что, несмотря на эту непрерывную работу, ему предстояло вскоре признаться Батильде в том, что им надо отказаться от всех расходов, кроме самых необходимых. Узнав об этой святой преданности, Батильда в первый момент хотела броситься к ногам Бюва, когда он вернется, и

целовать его руки. Но вскоре она поняла, что для осуществления задуманного ею лучше всего сделать вид, будто она ничего не знает. И в дочернем поцелуе, который она запечатлела на лбу Бюва, когда тот пришел со службы, он не мог угадать всю меру ее признательности и благоговения.

VII. БАТИЛЬДА (Продолжение)

Но на следующий день Батильда, смеясь, сказала Бюва, что учителя, как ей кажется, уж не смогут ничему ее научить, что она знает теперь не меньше их и продолжать брать уроки значило бы бросать деньги на ветер. Так как Бюва считал, что нет ничего прекраснее, чем рисунки Батильды, а слушать ее пение было для него блаженством, он без труда поверил своей воспитаннице; к тому же ее учителя, проявившие редкую добросовестность, признали, что она уже знает достаточно, чтобы заниматься дальше самостоятельно. Знакомство с Батильдой пробуждало в людях самые благородные чувства.

Понятно, что и слова Батильды, и уверения ее учителей доставили Бюва большое удовольствие. Но Батильде было мало того, что ей удалось сократить расходы. Она решила сама зарабатывать деньги. Хотя Батильда примерно одинаково успевала и в музыке и в рисовании, она поняла, что только рисование может стать для нее источником доходов, а музыка будет всего лишь отдохновением для души. Поэтому все свое усердие она отдала рисованию. Так как Батильда и в самом деле обладала исключительными способностями, она вскоре стала делать прелестные рисунки пастелью. Настал день, когда она решила узнать, имеют ли ее работы какую-нибудь ценность. Поэтому она попросила Бюва, чтобы он по дороге в библиотеку зашел к торговцу красками на углу улицы Клери и Гро-Шене, у которого она всегда покупает бумагу для рисования и карандаши, показал ему две нарисованные ею детские головки и спросил, во сколько он их ценит. Бюва, ничего не подозревая, взял на себя это поручение и выполнил его с присущим ему простодушием.

Торговец, привыкший к подобным предложениям, с пренебрежением повертел в руках рисунки, сильно их раскритиковал и сказал, что может предложить не больше пятнадцати ливров за штуку. Бюва, оскорбленный не ценой, а тоном, которым торговец говорил о таланте Батильды, выхватил у него рисунки из рук и сказал, что покорнейше его благодарит. Торговец, решив, что Бюва нашел назначенную цену слишком низкой, заявил, что в честь их знакомства он готов дать сорок ливров за оба рисунка. Но Бюва, будучи дьявольски злопамятным, когда дело касалось того, что он считал оскорбительным для его воспитанницы, сухо ответил: эти рисунки вообще не продаются, он просто хотел их оценить. Уже одно то, что рисунки не продавались, сразу же повысило их цену. Тогда торговец предложил за них пятьдесят ливров. Но Бюва, которому и в голову не приходило воспользоваться этим предложением, остался к нему вполне равнодушен, положил рисунки в папку, вышел из лавки с видом оскорбленного достоинства и направился в библиотеку. Когда вечером Бюва шел домой, торговец как будто случайно стоял у дверей своей лавки. Бюва, завидев его, хотел было пройти мимо, но торговец направился прямо к нему и, положив ему обе руки на плечи, спросил, не отдаст ли он ему рисунки за предложенную цену. Бюва повторил, на этот раз еще более сухим тоном, что рисунки не продаются.

— Жаль, — сказал торговец, — а то бы я дал за них восемьдесят ливров.

И он с безразличным видом повернулся к двери, продолжая, однако, уголком глаза наблюдать за Бюва. А тот продолжал свой путь с гордым видом, что придавало его облику еще больше комичности, и, ни разу не обернувшись, исчез за углом улицы Утраченного Времени.

Батильда услышала, что Бюва идет по лестнице, постукивая по перилам палкой; он имел привычку сопровождать свой подъем этим однообразным звуком. Сгорая от нетерпения, она выбежала его встречать прямо на площадку:

— Добрый друг, что же сказал господин Папийон? (Так звали торговца красками).

— Господин Папийон? — переспросил Бюва, вытирая пот со лба. — Господин Папийон — наглец!

Бедняжка Батильда побледнела:

— Почему наглец?

— Да, наглец, который, вместо того чтобы преклониться перед твоими рисунками, позволил себе их раскритиковать.

— Если дело только в этом, — сказала Батильда, смеясь, — то он прав. Вы не должны забывать, что я пока всего-навсего ученица. Но хоть что-нибудь он предложил за них?

— Да, — ответил Бюва, — он имел эту наглость.

— Сколько? — спросила Батильда, дрожа от волнения.

— Он предложил восемьдесят ливров.

— Восемьдесят ливров?! — воскликнула Батильда. — О, вы, должно быть, ошибаетесь, добрый друг.

— Нет. повторяю, он осмелился предложить мне восемьдесят ливров за оба рисунка, — ответил Бюва, подчеркивая каждый слог.

— Да ведь это в четыре раза больше, чем они стоят! — вырвалось у девушки, и от радости она захлопала в ладоши.

— Возможно, и так, — продолжал Бюва, — хотя я этому не верю. Но господин Папийон все равно наглец.

Батильда не могла с этим согласиться. Однако, не желая вступать в столь затруднительный для нее спор с Бюва, она переменяла тему, сообщив, что обед подан. Такого сообщения обычно оказывалось достаточно, чтобы у Бюва сразу же изменился ход мыслей. И на этот раз он без лишних слов передал папку Батильде и поспешил в маленькую столовую, похлопывая себя по ляжкам и напевая:

Пусти меня гулять,

Резвиться и играть...

Обедал он с таким аппетитом, словно его самолюбию не было нанесено никакого урона, словно господин Папийон вовсе не существовал на свете.

В тот же вечер, едва только Бюва поднялся в свою комнату, чтобы заняться перепиской, Батильда дала папку с рисунками Нанетте и велела ей снести их господину Папийону и получить те восемьдесят ливров, которые он предлагал Бюва.

Нанетта отправилась, а Батильда в страшной тревоге принялась ждать ее возвращения, так как ей трудно было поверить, что Бюва не ошибся в цене. Однако спустя десять минут она успокоилась, так как служанка вернулась с восемьюдесятью ливрами. Батильда взяла у нее деньги и посмотрела на них со слезами на глазах. Затем, положив их на стол, она молча преклонила колени перед распятием у постели, как делала всегда, молясь на ночь. Но сегодня это была благодарственная молитва. Наконец она сможет хоть чем-нибудь отплатить доброму Бюва за все, что он для нее сделал.

На следующий день, возвращаясь из библиотеки, Бюва захотел пройти мимо лавки Папийона хотя бы для того, чтобы подразнить его. Но сколь велико было его удивление, когда сквозь витрину лавки он увидел в роскошных рамах детские головки, нарисованные Батильдой. Дверь тут же открылась, и на пороге появился торговец.

— Что ж, папаша Бюва, — сказал он, — значит, вы все же передумали? Все же решились расстаться с этими двумя головками, которые не продаются? Да уж, сосед, никак не предполагал, что вы такой хитрец! Ловко вы у меня выманили восемьдесят ливров! Но все равно, скажите мадемуазель Батильде, что из уважения к ней, такой славной и доброй девушке, я готов брать у нее за ту же цену два таких рисунка каждый месяц, при условии, что она обязуется в течение года не продавать их никому другому.

Бюва был сражен. Он пробурчал что-то в ответ — торговец так и не расслышал, что именно, — и пошел по улице Гро-Шене, выбирая булыжники, прежде чем коснуться их палкой, что было у него признаком сильной озабоченности. Потом он поднялся на свой пятый этаж, не стуча по перилам, и неожиданно для Батильды открыл дверь ее комнаты. Девушка рисовала.

Увидев, что ее добрый друг с озабоченным лицом стоит в дверях, Батильда поспешно положила на стол картон и пастель и кинулась к нему, спрашивая, что случилось. Но Бюва молча вытер две слезы, катившиеся у него по лицу, а потом проговорил с непередаваемой тоской:

— Итак, дочь моих благодетелей, дочь Кларисы Грей и Альбера дю Роше, вынуждена работать, чтобы жить!

— Да ведь я вовсе не работаю, папочка, — ответила Батильда, не то смеясь, не то плача, — я не работаю, а забавляюсь.

Слово «папочка» вместо «добрый друг» Батильда употребляла в особо важных случаях, и обычно оно успокаивало самые сильные горести добряка. Но на этот раз хитрость не удалась.

— Никакой я вам не папочка и не добрый друг... — пробормотал Бюва, покачивая головой и с удивительным простодушием глядя на девушку. — Я всего-навсего бедный Бюва, которому король больше не платит жалованья и который перепиской не может заработать достаточно денег, чтобы дать вам воспитание, подобающее такой девушке, как вы.

И в отчаянии он опустил руки, уронив на пол свою палку.

— Так вы хотите, чтоб я умерла от горя! — воскликнула Батильда, разражаясь слезами при виде лица Бюва, искаженного страданием.

— Я хочу, чтобы ты умерла от горя, дитя мое?! — воскликнул Бюва с глубокой нежностью. — Что же я такое сказал тебе? Что же я сделал?

Бюва стиснул руки и готов был упасть перед нею на колени.

— Вот так, — сказала Батильда. — Я люблю, папочка, когда вы говорите «ты» вашей дочери. Не то мне кажется, что вы на меня сердитесь, и тогда я плачу.

— Я не хочу, чтобы ты плакала! — сказал Бюва. — Не хватает только, чтобы ты еще плакала!

— А я буду все время плакать, — сказала Батильда, — если вы мне не позволите делать то, что я хочу.

От этой ребяческой угрозы Бюва задрожал, потому что с тех пор, как Батильда еще ребенком оплакивала свою мать, ни одна слезинка не упала из ее глаз.

— Что ж, — сказал Бюва, — делай что хочешь и как хочешь, но обещай мне, что в тот день, когда король заплатит свой долг...

— Ладно, ладно папочка, — прервала Батильда Бюва, — посмотрим, что будет потом. А пока по вашей вине стынет обед.

И девушка, взяв Бюва под руку, прошла с ним в их маленькую столовую; вскоре ей удалось своими шутками и веселостью стереть с доброго, круглого лица Бюва всякую тень грусти.

Что было бы, если бы Бюва знал все!

В самом деле, Батильда рассудила, что изготовление рисунков на продажу не потребует слишком большого труда. И, как мы знаем, это ее предвидение оправдалось, ибо торговец красками обещал Бюва покупать по два рисунка в месяц, но при условии, что Батильда не будет работать ни на кого другого. Эти два рисунка Батильда могла сделать за восемь или десять дней, так что у нее оставалось, по крайней мере, полмесяца, которые она не считала себя вправе терять впустую. Полученное воспитание сделало ее светской девушкой, но она была в не меньшей степени и хорошей хозяйкой. В то же утро Батильда поручила Нанетте втайне поискать у своих знакомых какую-нибудь работу, связанную с рукоделием, сложную и поэтому хорошо оплачиваемую, которой она могла бы заниматься в отсутствие Бюва. Эта плата помогла бы упрочить благосостояние дома. Нанетта, которая беспрекословно повиновалась молодой хозяйке, принялась за поиски в тот же день, и ей не пришлось далеко ходить, чтобы обрести желаемое. То было время кружев и прорех: дамы из высшего общества платили по пятьдесят луидоров за локоть гипюра и затем небрежно разгуливали по садам в платьях более тонких и прозрачных, чем те, которые Ювенал называл тканым воздухом. В результате, как нетрудно понять, на этих платьях появлялось множество дыр, которые надо было скрыть от глаз матери или мужа. Таким образом, в то время починкой кружев можно было заработать, по всей вероятности, больше, чем их продажей. Уже с первых попыток Батильда в этом ремесле творила чудеса. Ее игла казалась иголкой феи. И Нанетта постоянно выслушивала комплименты неведомой Пенелопе, которая днем воссоздавала то, что было разорвано ночью.

Благодаря решению Батильды работать — оно оставалось неизвестным всем, даже сам Бюва не все знал о нем, — недостаток в доме, грозивший иссякнуть, стал пополняться из двойного источника. Хотя Батильда ничего об этом не говорила, Бюва, несколько успокоившись, понял, что надо все же отказаться от воскресных прогулок, которые без Батильды потеряли для него всякое очарование. И тогда он решил извлечь пользу из

знаменитой террасы, имевшей столь большое значение при выборе жилья. В течение недели он каждое утро и каждый вечер уделял по часу каким-то приготовлениям, но никто, даже Батильда, не знал, что же такое он собирается сделать. А он решил соорудить фонтан, грот и беседку.

Надо видеть парижского обывателя, охваченного какой-либо фантастической идеей вроде той, что пришла к Бюва, решившему устроить на своей террасе парк, чтобы понять — человеческое терпение способно помочь свершению деяний, на первый взгляд невозможных. Сделать фонтан, в сущности, ничего не стоило: как мы уже говорили, кровельные желоба, находившиеся на восемь футов выше террасы, легко позволяли это. Да и построить беседку было сущим пустяком: требовалось всего-то несколько реек, выкрашенных в зеленый цвет, сбитых в виде ромбовидной сетки и увитых жасмином и жимолостью. Но грот — вот что должно было стать шедевром этих новых садов Семирамиды.

И каждое воскресенье с рассветом Бюва уходил в Вен-сенский лес. Там он принимался за поиски причудливых камней, форма которых напоминала бы то обезьяньи головы, то присевших кроликов, то шампиньоны, то соборные колокола. Как только таких камней набиралось достаточно много, он давал распоряжения погрузить их в тачку и за один турецкий ливр, еженедельно откладываемый им для этой цели, доставить на шестой этаж дома по улице Утраченного Времени. Через три месяца была собрана целая коллекция.

Затем Бюва занялся растениями. Каждый неосторожно выглянувший из-под земли корешок, похожий на змею или как-то необыкновенно искривленный, становился собственностью Бюва, который прогуливался с садовым ножом в руках, разглядывая почву с таким вниманием, как это делает человек, отыскивающий потерянное сокровище. Заметив причудливое растение, он бросался на землю с неистовством тигра, кидающегося на добычу. Он прибегал ко всевозможным ухищрениям — копал, рубил, тянул — и в конце концов вытаскивал росток из земли. Этот упорный поиск, которому сторожа Венсена и Сен-Клу не раз пытались помешать, — однако безуспешно, ибо все их действия разбивались о настойчивость Бюва, — длился еще три месяца, пока наш строитель не увидел с большим удовлетворением, что необходимый материал собран.

Тогда начались строительные работы — весьма трудные, ибо каждый камень этой современной Вавилонской башни, даже самый маленький, приходилось рассматривать со всех сторон, пока он не открывался взору наиболее выигрышной гранью. Потом его надо было поставить, укрепить, зацементировать таким образом, чтобы любой выступ представлял собой странное подобие либо человеческой головы, либо какого-нибудь зверя, растения, цветка или плода. Вскоре возникло химерическое скопление совершенно невероятных образов, к ним присоединились, извиваясь, всползая и взбираясь на них, все растения, похожие на змей или на лягушек, которые Бюва в свое время хватал на месте преступления, когда обнаруживал их сходство с этими существами.

Наконец свод был возведен. Он послужил пристанищем для особенно ценного предмета коллекции — семиголовой гидры, которой Бюва, чтобы она стала еще страшнее, приделал глаза из эмали и языки из ярко-красного сукна. В результате, когда это произведение обрело законченность и совершенство, Бюва не без колебания приближался к страшной пещере и первое время ни за что на свете не согласился бы в одиночестве прогуляться ночью по террасе.

VIII. ЮНАЯ ЛЮБОВЬ

Вавилонский труд Бюва длился двенадцать месяцев. За это время Батильда из пятнадцатилетнего возраста вступила в шестнадцатилетний, из прелестной девочки она стала очаровательной девушкой. Именно тогда ее заметил сосед, Бонифас Дени. Он рассказал о ней своей матушке, которая ни в чем не могла отказать ему. Собрав предварительно сведения из надежного источника, то есть на улице Пажевен, она начала с того, что под предлогом соседства представилась Бюва и его воспитаннице, а закончила тем, что пригласила их проводить у нее воскресные вечера. Приглашение было сделано так непринужденно, что Бюва не смог отказаться, хотя и знал, как ненавистна Батильде любая попытка нарушить ее уединение. Он даже был рад, что ей представился случай развеяться. Кроме того, зная, что у

госпожи Дени есть две дочери, он, в сущности, не прочь был насладиться — ведь родительской гордости не лишены и самые высокие души — той победой, которую его воспитанница, несомненно, одержит над мадемуазель Эмилией и мадемуазель Атенаис.

Однако события развивались совсем не так, как предполагал добряк Бюва. Батильда с первого взгляда увидела, с кем имеет дело, и поняла всю посредственность своих соперниц. Так что, когда зашел разговор о живописи и ее заставили восхищаться рисунками, сделанными этими девицами с гипсовых моделей, она сказала, что у нее дома нет ничего, что стоило бы показать. А ведь Бюва прекрасно знал, что у нее есть два рисунка — изображение младенца Иисуса и святого Иоанна, и оба очаровательные. Но это было еще не все. Когда дело дошло до пения и гости познакомились с искусством девиц Дени, Батильда выбрала маленький и простой романс из двух куплетов, длившийся пять минут, вместо большой арии, на которую рассчитывал Бюва (она должна была продолжаться три четверти часа). Однако, к великому удивлению Бюва, от такого поведения гостии отношение госпожи Дени к ней стало, по-видимому, необычайно дружеским, ибо эта женщина, давно слышавшая, как все хвалят таланты Батильды, при всей своей материнской гордости, не могла не испытывать беспокойства за исход артистического состязания. Поэтому добрая женщина осыпала Батильду ласками и, когда гости ушли, объявила во всеуслышание, что эта девушка — воплощение талантов и скромности и поэтому в похвалах ей нет ни слова преувеличения. А когда одна удалившаяся на покой торговка платьем попыталась заикнуться о странных отношениях между воспитанницей и ее опекуном, госпожа Дени заставила сплетницу замолчать, заявив, что досконально знает эту историю и что в ней нет ни малейшей подробности, которая не служила бы к чести ее соседей. Говоря о своей осведомленности, госпожа Дени чуточку солгала, но Бог, несомненно, простил ее, ибо действовала она с добрыми намерениями.

Что касается Бонифаса, то, с тех пор как он вышел из возраста, когда играют в чехарду и кувыркаются, он оставался совершенно пустым малым, ничтожным и необыкновенно глупым. В тот вечер Батильда не обратила на него никакого внимания, даже не заметила.

Но иначе было с Бонифасом. Бедняга, который до этого был лишь издали влюблен в Батильду, просто потерял рассудок, увидев ее вблизи. Чувства так его переполняли, что он больше не отходил от своего окна, и это, понятно, вынудило Батильду закрывать свое (как мы помним, господин Бонифас занимал в то время комнату, где позднее поселился шевалье д'Армантадь).

Такое поведение Батильды, в котором невозможно было увидеть что-либо иное, кроме предельной скромности, могло лишь разжечь страсть ее соседа. Он так настойчиво приставал к матери, что та отправилась с улицы Пажевен на улицу Орти и там, расспросив старую привратницу, почти ослепшую и совершенно глухую, узнала подробности скорбной сцены, о которой мы рассказывали, когда Бюва сыграл такую благородную роль. Старушка уже забыла имена главных действующих лиц; она помнила только, что отец девочки был красивый офицер, что его убили в Испании, а мать была очаровательной молодой женщиной, умершей от горя и нищеты. Помнила она все так живо потому, что — и это ее особенно поражало — катастрофа, о которой шла речь, случилась в тот же год, когда умерла ее моська.

Бонифас со своей стороны тоже предпринял розыски. Господин Жулю — стряпчий, у которого он служил, — был другом господина Ладюро, нотариуса Бюва. От этих людей Бонифасу удалось узнать, что Бюва вот уже десять лет ежегодно помещает у своего нотариуса пятьсот франков на имя Батильды. Эти ежегодные взносы вместе с процентами составляют небольшой капитал в семь или восемь тысяч франков. Для Бонифаса такой капитал, конечно, казался незначительным: по словам матери, он мог рассчитывать на ренту в три тысячи ливров. Но в конце концов этот капитал, сколь бы мал он ни был, свидетельствовал, что, хотя Батильда и не имела состояния, была во всяком случае не нищей.

По прошествии месяца, в течение которого госпожа Дени, увидев, что любовь Бонифаса все возрастает, а ее собственное уважение к Батильде, продолжающей вместе с Бюва бывать у нее по вечерам, не претерпело никаких изменений, решила сделать предложение по всем правилам. И однажды вечером, когда Бюва в обычный час возвращался со службы, госпожа

Дени стала поджидать его у двери своего дома. Добряк хотел пройти к себе, но она, подмигнув, сделала знак, что хочет что-то ему сказать. Бюва отлично понял это приглашение и

галантно сняв шляпу, последовал за госпожой Дени. Та провела его в самую дальнюю комнату, закрыла двери, чтобы никто не мог ей помешать, предложила ему сесть и после этого торжественно попросила руки Батильды для своего сына Бонифаса.

Бюва был совершенно ошеломлен: ему и в голову никогда не приходило, что Батильда может выйти замуж. Жизнь без нее показалась ему просто невозможной, он даже изменился в лице при мысли, что она его покинет.

Госпожа Дени была слишком наблюдательна, чтобы не увидеть, какое необычное действие произвело ее предложение на чуткую натуру Бюва. И, решив подчеркнуть, что это не осталось незамеченным, она предложила собеседнику свой флакон с нюхательной солью, который всегда держала на камине для всеобщего обозрения, чтобы иметь случай повторять два-три раза в неделю, что у нее крайне чувствительные нервы. Бюва, совсем потеряв голову, вместо того чтобы просто-напросто понюхать соль на известном расстоянии, откупорил флакон и воткнул его себе в нос. Лекарство подействовало мгновенно: Бюва вскочил, как будто ангел пророка Аввакума поднял его за волосы; лицо его из безжизненно-белого стало темно-малиновым; в течение десяти минут он так чихал, что, казалось, в голове у него растрясутся мозги. Наконец мало-помалу успокоившись и постепенно вернувшись к состоянию, в котором застало его заявление госпожи Дени, он ответил, что понимает, насколько оно делает честь его воспитаннице. Но, как госпожа Дени, несомненно, знает, он всего лишь опекун Батильды; поэтому его обязанность — передать ей это предложение, но его же долг — предоставить ей полную свободу согласиться или отказать. Госпожа Дени нашла ответ совершенно справедливым и проводила Бюва до входной двери, говоря, что в ожидании ответа остается его покорнейшей слугой.

Бюва поднялся к себе и застал Батильду в сильном беспокойстве; она не спускала глаз со стенных часов, так как он опоздал на полчаса, чего не случалось ни разу вот уже десять лет. Тревога девушки усилилась, когда она заметила грустный и озабоченный вид Бюва. Она пожелала тут же узнать, что означает такое выражение лица ее доброго друга. Бюва, не успевший приготовить свою речь, попытался отложить объяснения на послеобеденное время, но Батильда заявила, что не сядет за стол, пока не узнает, что случилось. И пришлось ему прямо с ходу, без всякой подготовки передать своей воспитаннице предложение госпожи Дени.

Батильда вначале залилась румянцем, как всякая девушка, с которой говорят о замужестве, а затем, положив ладони на руки Бюва — он сел, боясь, что ноги ему откажут, — и глядя ему в лицо с нежной улыбкой, этим солнцем для бедного писца, сказала:

— Итак, папочка, вам надоела ваша бедная дочка и вы хотите от нее избавиться?

— Я? — вскричал Бюва. — Я хочу от тебя избавиться?! Да я умру в тот день, когда ты меня покинешь!

— Но тогда, папочка, — ответила Батильда, — почему вы говорите мне о замужестве?

— Но... — сказал Бюва, — потому что... потому что... ведь рано или поздно тебе нужно будет устроить свою жизнь, и тогда ты можешь не найти такой хорошей партии; хотя, благодарение Всевышнему, моя маленькая Батильда заслуживает кое-что получше, чем господин Бонифас.

— Нет, папочка, — возразила Батильда, — я не заслуживаю лучшего, чем господин Бонифас; но...

— Но...?

— Но... я никогда не выйду замуж.

— Как это ты никогда не выйдешь замуж? — сказал Бюва.

— Зачем мне выходить замуж? — спросила Батильда. — Разве сейчас мы не счастливы?

— Наоборот, счастливы! Ах, сабля деревянная! — вскричал Бюва. — Я-то хорошо знаю, что мы счастливы!

Слова «сабля деревянная!» были вполне благопристойным ругательством, которое Бюва употреблял лишь в особо важных случаях, и оно, несомненно, указывало на миролюбивые наклонности этого добряка.

— Ну вот! — продолжала Батильда с ангельской улыбкой. — Если мы счастливы, то оставим все как есть. Вы же знаете, папочка, что не следует искушать судьбу.

— Ах, — сказал Бюва, — обними меня, дитя мое! У меня просто Монмартр с плеч

свалился!

— Так, значит, вы не хотите этого брака? — спросила Батильда и прикоснулась своими губами ко лбу опекуна.

— Мне хотеть этого брака?! — воскликнул Бюва. — Мне хотеть видеть тебя женой этого маленького прощелыги Бонифаса, этого чертова мошенника?! Я его сразу невзлюбил, сам не зная почему. Ну, теперь-то я знаю!

— Если вы не желаете этого замужества, то почему вы мне о нем говорите?

— Потому что ты хорошо знаешь, что я не твой отец, — сказал Бюва, — потому что ты знаешь, что я не имею на тебя никаких прав, потому что ты знаешь, что ты свободна.

— Действительно, я свободна! — ответила, смеясь, Батильда.

— Свободна, как птица.

— Что ж! Если я свободна, я отказываюсь от замужества.

— Черт возьми, — сказал Бюва, — ты отказываешься, и я очень рад, право. Но как я скажу об этом госпоже Дени?

— Как? Скажите ей, что я слишком молода, что я не хочу выходить замуж; скажите, что я хочу навсегда остаться с вами.

— Пойдем обедать, — сказал Бюва, — может быть, за супом мне придет какая-нибудь хорошая идея. Вот забавно — у меня вдруг аппетит появился! Только что желудок у меня был так стиснут, что, казалось, и капли воды не смогу проглотить, а сейчас выпил бы Сену!

Бюва ел, как обжора, и пил, как швейцарский гвардеец, нарушая свои гигиенические привычки, но никакая хорошая идея его не осенила. Таким образом, он был вынужден сказать госпоже Дени, что Батильда весьма польщена этим сватовством, но не хочет выходить замуж.

Этот неожиданный ответ просто обескуражил госпожу Дени, она ни за что бы не поверила, что бедная маленькая сирота может отказаться от такой блестящей партии, как ее сын. Поэтому она весьма сухо приняла объяснения Бюва, ответив, что каждый волен распоряжаться собой и что если мадемуазель Батильда желает причислять святую Екатерину, то это полностью ее право.

Но когда она задумалась над этим отказом, которого в своей материнской гордости совершенно не могла понять, ей пришли на ум давние сплетни по поводу девушки и ее опекуна; и поскольку теперь она была особенно расположена в них поверить, то без всяких сомнений приняла все услышанное за доказанную истину. И, передавая Бонифасу ответ прекрасной соседки, она, чтобы утешить его в неудачном сватовстве, добавила, что такой исход переговоров должен быть для него счастьем, ибо она узнала такие вещи, что если бы Батильда приняла предложение, то ей, госпоже Дени, было бы невозможно дать согласие на подобный брак.

Более того, госпожа Дени сочла ниже своего достоинства, чтобы ее сын после столь унижительного отказа продолжал занимать комнату напротив Батильды. Она приготовила ему другую, намного больше и красивее, окнами в сад, и немедленно сдала в наем ту, которую только что покинул господин Бонифас.

Однажды, неделю спустя, Мирза стояла в дверях дома, полагая, что погода недостаточно хороша, чтобы выйти из дому и рисковать своими белыми лапками. Господин Бонифас, желая хоть как-то отомстить Батильде, стал дразнить ее левретку. Мирза, привыкнув быть всеобщей баловницей, обладала весьма чувствительным характером; она бросилась на господина Бонифаса и безжалостно вцепилась ему в икру.

Вот почему бедный малый, у которого сердце еще болело, а нога еще не зажила, так дружески советовал д'Арманталю остерегаться кокетства Батильды и задобрить Мирзу.

IX. ЮНАЯ ЛЮБОВЬ (Продолжение)

Комната господина Бонифаса пустовала три или четыре месяца; но однажды Батильда, которая уже привыкла к тому, что окно напротив всегда закрыто, подняв глаза от шитья, увидела, что окно широко распахнуто и из него выглядывает незнакомый ей молодой человек. Это был шевалье д'Арманталь.

Такие лица, как у шевалье, не часто увидишь на улице Утраченного Времени. Поэтому

Батильда, которая наблюдала за тем, что происходило в комнате напротив, спрятавшись позади занавески, не могла не обратить на него внимания. И в самом деле, в чертах нашего героя было столько благородства и тонкости, что это не могло ускользнуть от взгляда такой девушки, как Батильда. Одежда шевалье при всей ее простоте свидетельствовала о его природном изяществе. А тон его приказаний прислуге, произносимых настолько громко, что Батильда могла их слышать, обличал в нем человека, привыкшего повелевать.

Таким образом, девушка с самого начала увидела, что ее новый сосед во всем превосходит прежнего обитателя этой комнаты. Инстинктом, присущим людям благородного происхождения, Батильда тотчас же определила в молодом человеке истинного аристократа. В тот же день шевалье испробовал свой клавесин. При первых его звуках девушка подняла голову. Шевалье, хотя и не знал, что его слушают, а может быть, именно потому, что не знал этого, сыграв прелюдию, принялся импровизировать. Его исполнение свидетельствовало о большой музыкальной одаренности и виртуозном мастерстве. Едва услышав мелодичные звуки, которые, казалось, находили отзвук во всех струнах ее души, Батильда встала и подошла к окну, дабы не пропустить ни одной ноты. На их улице ей еще не доводилось слышать такого исполнения.

Вот тогда-то д'Арманталь и увидел сквозь тюлевую занавеску очаровательные пальчики своей соседки. Он обернулся — пальчики исчезли с такой поспешностью, что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что и девушка его видела.

На следующий день Батильда вспомнила, что сама уже давно не подходила к инструменту, и села за клавесин. Руки ее дрожали, когда она брала первый аккорд, хотя девушка совершенно не понимала, чем вызвано ее волнение. Отличная музыкантша, она вскоре успокоилась и с блеском сыграла тот самый отрывок из «Армиды», который д'Арманталь и аббат Бриго выслушали с таким удивлением.

Мы уже рассказывали, как на следующее утро шевалье увидел Бюва и как это помогло д'Арманталю узнать имя его прелестной соседки, которую опекун позвал на террасу насладиться видом бьющего фонтана. Появление Батильды произвело на шевалье глубокое впечатление, тем более что он никак не ожидал увидеть в этом квартале, да еще на пятом этаже, девушку подобной красоты. Он был всецело под впечатлением этой встречи, когда вошел Рокфинет и придал новое направление мыслям шевалье, которые, впрочем, вскоре вновь вернулись к Батильде.

На следующее утро Батильда стояла у окна, наслаждаясь первыми лучами весеннего солнца. Она заметила, что шевалье не отрывал от нее горящих глаз, вновь вгляделась в открытое лицо юноши, которому мысли о предстоящем придавали выражение печальной сосредоточенности. А ведь печаль плохо согласуется с молодостью, и это несоответствие поразило Батильду. Должно быть, этого молодого человека терзает какое-то горе, раз он столь грустен, решила она. Какое же у него могло быть горе? Итак, мы видим, что уже на второй день появления д'Арманталя на улице Утраченного Времени Батильда стала думать о нем.

Однако это не помешало Батильде закрыть свое окно. Но, взглянув на шевалье сквозь занавеску, она заметила, что его печальное лицо стало еще мрачнее. Тогда она поняла, что огорчила этого красивого юношу, и, повинувшись какому-то неосознанному чувству, села за клавесин. Быть может, она догадалась, что музыка — лучшее утешение в сердечных страданиях.

Вечером д'Арманталь, в свою очередь, заиграл на клавесине. И Батильда, затаив дыхание, внимала этому мелодичному голосу, который в ночной тиши все пел и пел о любви. К несчастью для шевалье, который, видя силуэт девушки, стоящей за занавесками, понял, что соседка не осталась равнодушной к его игре, жилец с четвертого этажа прервал этот концерт. Но главное было сделано. Музыка сблизила молодых людей, и они уже говорили друг с другом на языке сердца, самом опасном из всех языков.

На следующее утро Батильда, всю ночь грезившая о музыке и немножко о музыканте, почувствовала, что в ее душе происходит что-то странное, доселе неведомое. И хотя ее неудержимо влекло к окну, она не разрешила себе отворить его. Это и вызвало у шевалье дурное настроение перед тем, как он спустился к госпоже Дени.

Там он узнал важную для него новость, а именно, что Батильда не является ни дочерью,

ни женой, ни племянницей Бюва, и поднялся в свою комнату в отличном расположении духа. Обнаружив, что окно соседки открыто, он тотчас же вступил в дружеские отношения с Мирзой, купив ее благосклонность кусками сахара. Неожданное появление Батильды прервало это занятие. Тогда шевалье с подчеркнутой деликатностью, за которой скрывался эгоистический расчет, затворил окно; но молодые люди успели до этого обменяться поклонами. Столь многого Батильда себе еще не позволяла ни с одним мужчиной. Не то чтобы девушка никогда не здоровалась ни с кем из знакомых Бюва, но никогда еще она не краснела при этом. На другой день Батильда с удивлением увидела, как д'Арманталь, открыв свое окно, стал прибивать к наличнику пунцовую ленту, и обратила внимание на то, что лицо шевалье выражало крайнее возбуждение. И в самом деле, как читатель помнит, пунцовая лента была сигналом, а подав этот сигнал, шевалье д'Арманталь, быть может, сделал первый шаг к эшафоту. Спустя полчаса в комнате шевалье появился незнакомый Батильде человек, вид которого не внушал доверия. Это был капитан Рокфинет. И девушка не без некоторой тревоги отметила, что едва этот человек с длинной шпагой успел переступить порог комнаты, как д'Арманталь поспешно затворил окно.

Шевалье, как не трудно догадаться, долго беседовал с капитаном; им нужно было во всех подробностях обсудить назначенное на вечер предприятие. Поэтому окно шевалье долго оставалось закрытым. Батильда, решив, что д'Арманталь ушел из дому, сочла возможным открыть свое окно.

Но едва она это сделала, как окно соседа, который, казалось, только и ждал этой минуты, тоже распахнулось. К счастью для Батильды, очень смутившейся от такого совпадения, она в этот момент находилась в глубине комнаты и поэтому была недоступна взглядам шевалье. Девушка решила оставаться в глубине комнаты до тех пор, пока ее сосед не закроет свое окно.

Но Мирза, не обладавшая щепетильностью своей хозяйки, едва завидев шевалье, подбежала к окну и, положив передние лапки на подоконник, весело запрыгала на задних лапках. За эти знаки внимания Мирза получила в награду от д'Арманталя сначала один, а затем второй и третий кусок сахара. При этом третий кусок был, к великому удивлению Батильды, завернут в бумажку. Эта бумажка встревожила девушку куда больше, чем Мирзу, потому что собака, которую уже не раз угощали конфетами в обертке, знала, как надо поступать в подобных случаях. К обертке она не проявила никакого интереса, но зато весьма заинтересовалась содержимым и, быстро развернув бумажку, принялась грызть сахар. Затем, оставив бумажку валяться на полу, Мирза вновь кинулась к окну, но шевалье уже скрылся. Видимо удовлетворенный ловкостью Мирзы, д'Арманталь затворил свое окно.

Батильда растерялась. С первого взгляда она увидела, что на бумажке было написано три или четыре строчки. Вполне понятно, что, как бы ни была велика симпатия, которую ее сосед вдруг возымел к Мирзе, вряд ли он адресовал это письмо ей.

Значит, оно было адресовано Батильде.

Но как поступить с письмом? Поднять его и порвать?

Батильда продолжала работать или, точнее, размышлять, спрятавшись за занавеской, а шевалье в это время, наверное, тоже скрывался за шторой своего окна.

Спустя час, из которого Батильда не менее сорока пяти минут рассматривала лежащую на полу бумажку, в комнату вошла Нанетта. Не вставая с места, Батильда приказала ей закрыть окно. Нанетта послушалась и, отходя от окна, увидела бумажку.

— Что это? — спросила служанка, нагибаясь.

— Ничего, — поспешно ответила Батильда, забыв на минуту, что Нанетта не умеет читать. — Вероятно, какая-то записка, выпавшая у меня из кармана. — И после паузы, сделав над собой заметное усилие, девушка добавила: — Брось ее в огонь.

— Как же так? Может быть, это нужная бумага. Вы бы хоть взглянули на нее, мадемуазель.

И Нанетта, расправив записку шевалье, подала ее Батильде.

Батильда бросила взгляд на бумагу и, стараясь, насколько это было возможно, сохранить равнодушное выражение лица, прочла следующее:

«Говорят, Вы сирота. У меня тоже нет родителей. Значит, перед Богом мы брат и сестра. Сегодня вечером я подвергаюсь большой опасности. Но я надеюсь, что если моя сестра Батильда будет молиться за своего брата Рауля, то я останусь цел и невредим».

— Ты была права, — взволнованно сказала Батильда, беря записку из рук Нанетты, — эта бумага оказалась важнее, чем я предполагала!

И она положила письмо д'Арманталя в карман своего передника.

Через пять минут Нанетта, имевшая привычку заходить к Батильде по двадцать раз в день просто так, без всякого повода, так же беспричинно вышла, оставив ее одну.

Батильда до этого лишь бегло взглянула на записку и была как бы в ослеплении. Как только за Нанеттой закрылась дверь, девушка вновь развернула записку и прочла ее еще раз.

Невозможно было сказать большего в таком малом числе строк. Д'Армантадь потратил целый день, подбирая каждое слово этого послания, которое он писал по вдохновению и которое не мог бы составить искуснее при всем желании. В самом деле, он прежде всего устанавливал равенство их положения, что должно было успокоить сироту относительно его превосходства в общественном положении. Он внушал Батильде участие к судьбе ее соседа, которому угрожала опасность, и она должна была казаться девушке еще большей, потому что была ей неизвестна. Наконец слова «брат» и «сестра», столь удачно повторенные в конце, исключали из этих едва установившихся отношений всякую мысль о любви.

И если бы Батильда оказалась в этот момент лицом к лицу с д'Арманталем, то, вместо того чтобы смутиться и покраснеть, как подобает девушке, получившей первую в своей жизни любовную записку, она протянула бы ему руку и сказала, улыбаясь: «Будьте спокойны, я буду молиться за вас».

Но мысль о том, что ее соседа, быть может, ожидает гибель, не выходила из головы Батильды, и это было куда опасней для нее, чем самое пылкое объяснение в любви. Батильда видела, с каким необычным выражением лица он прибывал к окну пунцовую ленту и как поспешно ее снял, когда в комнату вошел капитан. И девушку охватила уверенность, что опасность, угрожавшая Раулю, связана с этим незнакомым человеком. Но что за опасность и каким образом она с ним связана? Понять это она была не в силах. Ее мысль остановилась было на дуэли; но для такого человека, каким казался шевалье, дуэль не могла быть той угрозой, которая заставила бы просить о женской молитве. К тому же указанное в записке время было не из тех, когда обычно происходят дуэли. Батильда терялась в догадках и тем временем думала о Рауле, только Рауле. Если он надеялся на ее участие, то нельзя не признать, что расчет его в отношении бедняжки Батильды оказался на редкость верным.

Прошел день, а Рауль все не появлялся. Была ли то стратегическая хитрость, был ли он занят где-то в другом месте, но окно его неизменно оставалось закрытым.

Поэтому, когда Бюва, по своему обыкновению, вернулся домой ровно в десять минут пятого, он заметил, хотя и не отличался особой проницательностью, что его воспитанница чем-то сильно озабочена, и даже спросил ее три или четыре раза, что с ней. Всякий раз Батильда отвечала ему такой чарующей улыбкой, что Бюва забывал про все на свете и мог только любоваться ею. Поэтому, несмотря на трижды повторенный вопрос, Батильде удалось сохранить свою тайну.

После обеда пришел лакей аббата де Шолье. Он передал Бюва просьбу своего хозяина зайти к нему вечером, ибо у него накопилось много стихов, которые он хотел отдать в переписку. Аббат де Шолье был одним из лучших клиентов Бюва. Он не раз посещал его дом, так как очень полюбил Батильду. Бедный аббат был почти слеп, но все же не настолько, чтобы не оценить прелестное лицо Батильды, хотя он и видел его словно сквозь туман. Он сказал как-то Батильде со своей обычной галантностью, что его утешает только одна мысль: именно так, в дымке, людям являются ангелы.

Бюва никогда не решился бы пренебречь таким приглашением. Батильда же в глубине души поблагодарила доброго аббата, который дал ей возможность провести вечер в одиночестве: она знала, что, когда Бюва бывал у аббата де Шолье, он обычно засиживался там довольно долго. Она надеялась, что и на этот раз он не скоро вернется домой. Бедняга Бюва ушел из дома, не подозревая, что Батильда впервые была этому рада.

Как и всякий парижский обыватель, Бюва был фланером.

Пока он шел по Пале-Роялю, он рассматривал витрины всех лавчонок, в тысячный раз останавливаясь перед предметами, которые обычно вызывали его восхищение. Выйдя из Пале-Рояля, Бюва услышал пение и увидел группу людей, обступивших уличного певца. Он

примкнул к толпе и тоже стал слушать песни. Когда же певец принялся собирать деньги, Бюва поспешно отошел в сторону. Он повел себя так не потому, что у него было черствое сердце, и не потому, что считал нужным отказать уличному музыканту в скромном вознаграждении, на которое тот имел право; просто, следуя давнишней привычке, в неоценимых достоинствах которой Бюва уже не раз убеждался, он всегда выходил из дома без денег. Таким образом, даже если на его пути встречался какой-нибудь соблазн, Бюва мог быть вполне уверен, что устоит перед ним. Вот и на этот раз он испытал сильное искушение бросить су в плоску музыканта; но, поскольку этого су у него в кармане не было, принужден был удалиться.

Он направился, как мы уже знаем, к заставе Двух Сержантов, затем свернул на Петушиную улицу, прошел по Новому мосту и спустился по набережной Конти до улицы Мазарини, где и жил аббат де Шолье.

Аббат де Шолье принял Бюва, чьи отличные качества он мог вполне оценить за два года их знакомства, так же, как встречал его обычно. Иными словами, после энергичных просьб аббата и отказов Бюва хозяину все же удалось усадить своего гостя рядом с собой за письменный стол, заваленный бумагами. Правда, сначала Бюва сел на самый краешек стула и застыл в такой неестественной, напряженной позе, что, глядя на него, трудно было понять, сидит он или стоит; но постепенно он усаживался все глубже, затем поставил свою трость между ног, а шляпу положил на стол, и в конце концов оказалось, что он сидит на стуле, как все люди.

В этот вечер у аббата и Бюва было много работы. На столе лежало тридцать или сорок различных стихотворений, что по объему равняется доброй половине тома стихов, и все их надо было разобрать и распределить по разделам. Аббат де Шолье называл стихотворения по порядку, а Бюва находил нужное стихотворение на столе и ставил на нем соответствующий номер. Когда с этой работой было покончено, аббат занялся вместе с Бюва другим делом. Так как сам он писать не мог, а писал под его диктовку лакей, служивший ему секретарем, необходимо было исправить метрические погрешности и орфографические ошибки. Аббат читал стихи наизусть, а Бюва сверял их с записанным текстом. Поскольку аббату де Шолье это занятие наскучить не могло, а Бюва не умел скучать, оба были поражены, когда часы пробили одиннадцать: они думали, что нет еще и девяти. Правда, они уже исправляли последнее стихотворение. Бюва поспешно вскочил со стула, весьма напуганный тем, что ему придется возвращаться домой в столь поздний час. С ним это случилось впервые. Он свернул рукопись, перевязал ее розовой ленточкой, которая, должно быть, служила поясом мадемуазель де Лонэ, сунул рукопись в карман, взял трость, надел шляпу и покинул аббата де Шолье, постаравшись, насколько возможно, сократить церемонию прощания. В довершение всех бед ночь была темная, и лунный свет не мог пробиться сквозь тучи, затянувшие небо. Бюва сильно пожалел, что в его кармане не было хотя бы двух су, чтобы переправиться через Сену на пароме, который в то время ходил там, где ныне находится мост Искусств. Но мы уже объяснили нашим читателям теорию насчет карманных денег, в силу которой он был вынужден теперь возвращаться домой тем же путем, что и пришел, а именно через набережную Конти, Новый мост, Петушиную улицу и улицу Сент-Оноре.

До сих пор все шло благополучно, не считая того, что Бюва не на шутку перепугался при виде статуи Генриха IV, о местонахождении которой он позабыл, и задрожал с головы до пят, когда часы на башне Самаритянки неожиданно пробили половину. Но покамест никакая реальная опасность Бюва не угрожала. Однако, как только он свернул на улицу Добрых Ребят, все изменилось: прежде всего, не внушал доверия самый вид этой узкой и длинной улицы, освещенной лишь двумя висячими фонарями, бросавшими неровный, дрожащий свет; к тому же перепуганный Бюва заметил, что в этот вечер здесь происходило что-то не совсем обычное. Бюва никак не мог понять, спит он или бодрствует, снится ему сон или явилось фантастическое видение, вызванное колдовством. Все на этой улице словно ожило, на его пути вырастали какие-то преграды, во всех воротах кто-то шептался, а у дома номер двадцать четыре он столкнулся, как мы уже рассказывали, лицом к лицу с шевалье д'Арманталем и капитаном. Д'Арманталь узнал его, защитил от капитана, а затем предложил ему продолжать свой путь, но только идти как можно скорее. Бюва не заставил повторять себе это дважды и тотчас же бросился бегом к площади Побед, потом свернул на улицу Май, с нее — на улицу Монмартр и

наконец добрался до дома номер четыре по улице Утраченного Времени. Но он почувствовал себя в безопасности, лишь затворив за собой дверь и задвинув засов.

Только на лестнице он остановился, чтобы отдышаться, зажег от лампадки свою свечу и стал подниматься по ступенькам. Но тут он почувствовал, что происшествие не прошло для него даром — ноги у него подкашивались, и он с большим трудом добрался до своего этажа.

Батильда провела вечер в одиночестве, и, по мере того как время шло, волнение ее все усиливалось. До семи часов в комнате ее соседа горела лампа, но потом свет погас и не зажигался. Теперь у Батильды было два дела, целиком занимавших ее душу: она то стояла у окна, чтобы увидеть, не вернулся ли ее сосед, то преклоняла колени в жаркой молитве перед распятием. Так пробило друг за другом девять часов, десять, одиннадцать, одиннадцать с половиной. Слышно было, как уличный шум постепенно затихает, чтобы раствориться в неясном и глухом гуле, который кажется дыханием уснувшего города. Но ничто не могло ей сказать, настигла ли опасность юношу, назвавшего себя ее братом, или рассеялась. Девушка томила в своей комнате, не зажигая света, чтобы никто не мог заметить, что она не спит, как вдруг дверь ее комнаты отворилась, и Батильда увидела на пороге Бюва, озаренного слабым пламенем свечи. По его бледному, испуганному лицу Батильда сразу поняла, что с ним что-то произошло. Полная тревоги за судьбу Рауля, она бросилась к Бюва, спрашивая, что случилось. Но не так-то просто было заставить Бюва заговорить. Испытанное им потрясение сковало ему не только ноги, но и язык.

Однако после того, как Бюва уселся в свое кресло, вытер платком пот со лба и, весь дрожа, три или четыре раза обернулся к двери, чтобы удостовериться, что эти ужасные люди с улицы Добрых Ребят не преследуют его по пятам и не ворвутся сейчас за ним в комнату его воспитанницы, он, запинаясь, начал рассказывать о том, что с ним произошло. Он рассказал, как на улице Добрых Ребят его остановила шайка бандитов, как один из главарей, свирепый детина шести футов ростом, хотел его прикончить на месте и как другой главарь вовремя вмешался и спас ему жизнь. Батильда слушала Бюва с глубоким вниманием прежде всего потому, что искренне любила своего опекуна и видела, как он сильно испуган (для нее было неважно в ту минуту, оправдан этот испуг или нет), а во-вторых, потому что все события, происходившие этой ночью, были ей небезразличны. Как это не покажется странным, ей пришла в голову мысль, что ее красивый сосед, возможно, причастен к тому происшествию, о котором только что рассказал Бюва, и она спросила опекуна, не успел ли он разглядеть молодого человека, который поспешил ему на помощь и спас жизнь. Бюва ответил, что столкнулся с ним лицом к лицу и видел его точно так же, как видит сейчас ее, и что он может это доказать, описав его внешность. Спаситель Бюва был, по его словам, человек лет двадцати шести — двадцати восьми, закутанный в плащ, в широкополой фетровой шляпе. В тот момент, когда он протянул руку, чтобы защитить Бюва. Плащ распахнулся, и Бюва увидел, что молодой человек вооружен не только шпагой, но еще и парой пистолетов, торчавших у него за поясом. Все эти детали были слишком точны, чтобы можно было заподозрить, что они померещились Бюва. Поэтому, хотя Батильда и была весьма обеспокоена тем, что опасность, угрожавшая шевалье, связана с этим ночным происшествием, ее не меньше взволновала вполне реальная опасность, которая грозила Бюва. Так как отдых является лучшим лекарством от любого физического или морального потрясения, Батильда, предложив Бюва приготовить ему стакан вина с сахаром — напиток, который он позволял себе выпивать в особо серьезных случаях, — напомнила своему опекуну, что прошло уже два часа, как он должен был лечь в постель. От вина Бюва отказался, но потрясение, пережитое им, было настолько сильным, что он и слышать не хотел о сне и был даже убежден, что ему не удастся сомкнуть глаз всю ночь. Однако он подумал, что если он не ляжет, то не будет спать и Батильда. Он представил себе ее на следующее утро — бледную, с красными от бессонницы глазами — и сказал со свойственной ему самоотверженностью, что она права и что сон, несомненно, будет ему весьма полезен. С этими словами Бюва поцеловал девушку в лоб и поднялся в свою комнату, то и дело останавливаясь на лестнице и прислушиваясь, не раздастся ли какой-либо подозрительный шум.

Батильда осталась одна. По удаляющимся шагам Бюва она поняла, что он поднялся по лестнице и прошел в свою комнату; затем послышался скрип двери и дважды щелкнул ключ в

замочной скважине. Тогда Батильда, дрожа от волнения не меньше своего бедняги-опекуна, кинулась к окну, забыв в тревоге ожидания обо всем, даже о молитве.

Так она стояла, должно быть, около часа, потеряв счет времени. Вдруг она радостно вскрикнула. Сквозь стекла окна, не завешенного шторой, она увидела, как отворилась дверь в комнате соседа и на пороге появился д'Арманталь со свечой в руке. Предчувствие не обмануло Батильду: молодой человек, спасший Бюва, был не кто иной, как ее сосед, ибо он вернулся домой закутанный в плащ, а на голове у него была широкополая фетровая шляпа. Более того, войдя в комнату и заперев свою дверь, пожалуй, с не меньшими предосторожностями и тщательностью, чем Бюва, шевалье швырнул на стул свой плащ, и Батильда увидела, что на нем темный камзол, а за пояс, к которому была пристегнута шпага, заткнуты два пистолета. Итак, сомнений больше быть не могло: все приметы совпали с описанием, сделанным Бюва. У Батильды было время в этом убедиться, ибо д'Арманталь не снял своего боевого снаряжения, а, скрестив руки на груди, в глубокой задумчивости несколько раз прошелся по комнате. Затем он вытащил из-за пояса пистолеты, проверил, заряжены ли они, и положил их на ночной столик. Отстегнув шпагу, он вытащил ее наполовину из ножен, вновь задвинул и сунул в изголовье своей постели. Тряхнув головой, словно силясь отогнать терзавшие его мрачные мысли, он подошел к окну, открыл его и с такой глубокой нежностью взглянул на окно Батильды, что девушка, забыв, что он не может ее видеть, невольно отступила на шаг от окна и задернула занавеску, словно окружавшая ее темнота была недостаточной защитой от его взора.

Так она простояла неподвижно минут десять, прижав руку к груди, как бы силясь унять сердцебиение, затем снова осторожно отодвинула занавеску. Но штора на окне соседа была спущена, и сквозь нее она увидела лишь силуэт молодого человека, в волнении расхаживавшего по комнате.

Х. КОНСУЛ ДУИЛИЙ

На следующее утро после описанных нами событий герцог Орлеанский, благополучно вернувшийся в Пале-Рояль и проспавший эту ночь так же спокойно, как и всегда, вошел в свой рабочий кабинет в обычный час, то есть около одиннадцати. Благодаря его природной беспечности, в значительной степени порожденной мужеством, пренебрежением к опасностям и презрением к смерти, на его спокойном лице, омрачавшемся лишь от скуки, не было заметно решительно никаких следов волнения, вызванного ночным происшествием. Более того, проснувшись, он, по всей вероятности, уже не помнил о странном приключении, жертвой которого он едва не стал.

Рабочий кабинет герцога Орлеанского представлял собой одновременно кабинет политического деятеля, лабораторию ученого и мастерскую художника. Посреди комнаты стоял большой стол, покрытый зеленым сукном. Стол был завален множеством бумаг, среди них стояли чернильницы, лежали перья. На пюпитре находилась партитура начатой оперы, на мольберте — незаконченный рисунок, а на подставке стояла реторта, наполовину наполненная какой-то жидкостью. Регент отличался поразительной подвижностью ума, он мог с молниеносной быстротой переходить от сложных политических комбинаций к самым причудливым фантазиям в живописи, от самых отвлеченных расчетов в химии — к безудержно веселой или глубоко печальной музыке. Дело в том, что регент ничего так не боялся, как скуки, этого врага, с которым он постоянно боролся, никогда не достигая полной победы. Враг отступал перед работой, научными занятиями или развлечениями, но всегда оставался в поле зрения регента, подобно тем тучам, которые собираются на горизонте даже в ясный день и на которые моряк нет-нет да и обратит свой взор. Поэтому регент никогда не сидел без дела и всегда нуждался в самых разнообразных занятиях.

Как только регент вошел в свой кабинет, где два часа спустя должен был собраться совет, он направился к мольберту с начатым рисунком, который изображал сцену из «Дафниса и Хлои» (Одран, один из самых известных художников того времени, делал по заказу регента серию гравюр на этот сюжет), и принялся доделывать то, что не успел закончить накануне из-за пресловутой игры в мяч, начавшейся с неудачного удара ракеткой и закончившейся ужином у госпожи де Сабран. Но тут герцогу доложили, что его мать, принцесса

Елизавета-Шарлотта, уже дважды спрашивала, можно ли его видеть. Регент, испытывавший глубочайшее уважение к своей матери, принцессе Пфальцской, велел сказать ей, что, если ей угодно его принять, он тотчас же поспешит к ней. Лакей вышел, чтобы передать этот ответ, а регент, занятый проработкой деталей своего рисунка, которые ему казались весьма существенными, отдался работе с воодушевлением истинного художника. Минуту спустя дверь его кабинета распахнулась, но вместо лакея, который должен был доложить регенту о выполненном приказании, на пороге стояла сама принцесса.

Елизавета-Шарлотта была, как известно, женой Филиппа I, брата короля. Она приехала во Францию после столь странной и неожиданной смерти Генриетты Английской, чтобы занять место этой красивой и изящной принцессы, которая, как падучая звезда, лишь промелькнула на небосклоне Франции. Выдержать сравнение с Генриеттой было бы нелегко любой принцессе, но для бедной Елизаветы-Шарлотты это было вдвойне трудно, ибо, если верить оставленному ею описанию собственной внешности, у нее были маленькие глазки, короткий и толстый нос, широкие, плоские губы и обвисшие щеки; по-видимому, красавицей ее назвать было нельзя. В довершение несчастья, недостатки лица принцессы Пфальцской вовсе не уравнивались совершенством телосложения: она была маленькой и толстой, с коротким телом и короткими ногами, с руками настолько ужасающими, что, по ее собственному признанию, более грубых, крестьянских рук не было на всем белом свете. Эти руки были единственной деталью ее невзрачного облика, к которой король Людовик XIV так и не смог привыкнуть. Но он выбрал ее не для того, чтобы увеличить число красавиц своего двора, а для того, чтобы распространить свои притязания на земли за Рейном. Дело в том, что Людовик XIV уже обеспечил себе шанс унаследовать испанскую корону, женившись на дочери короля Филиппа IV инфанте Марии-Терезе, а также права на английскую корону, женив своего брата Филиппа I Орлеанского первым браком на принцессе Генриетте, единственной сестре Карла II. Теперь, благодаря новому браку своего брата он приобретал еще, возможно, права на Баварию и более вероятно — на Пфальц. Вот почему было решено женить Филиппа вторым браком на принцессе Елизавете-Шарлотте, брат которой, обладая слабым здоровьем, вполне мог умереть молодым и бездетным.

Это предвидение оказалось верным; курфюрст умер, не оставив потомства. Тогда, как свидетельствуют мемуары и документы переговоров о Рисвикском мире, французские уполномоченные заставили признать и удовлетворить притязания своего короля.

Таким образом Елизавета-Шарлотта после смерти мужа, вместо того чтобы подвергнуться участи, предусмотренной ее брачным контрактом, то есть принять монашество или удалиться в старый замок Монтаржи, была — вопреки ненависти, которую испытывала к ней госпожа де Ментенон — утверждена Людовиком XIV во всех титулах и почестях, которыми пользовалась при жизни мужа. И это несмотря на то, что король никогда не забывал об аристократической оплеухе, которую она публично закатила в версальской галерее своему сыну, юному герцогу Шартрскому, когда тот объявил ей о своем браке с мадемуазель де Блуа. В самом деле, гордая принцесса Пфальцская с высоты тридцати двух поколений своих предков по отцовской и материнской линии считала огромным и оскорбительным мезальянсом брак сына с особой, которая — хоть король и узаконил ее рождение — была так или иначе плодом двойного прелюбодеяния. И в первое мгновение, не в силах совладать со своими чувствами, принцесса этим материнским наказанием — несколько чрезмерным, поскольку объектом его был юноша восемнадцати лет, — отомстила за бесчестье, нанесенное ее предкам в лице ее потомка. Впрочем, так как сам герцог Шартрский согласился на этот брак против воли, он хорошо понял досаду, которую испытала его мать при таком известии, хотя и предпочел бы, чтобы она выказала ее не в столь старонемецкой манере. В конце концов, когда его отец умер и герцог Шартрский в свой черед стал герцогом Орлеанским, его мать, которая имела основания опасаться, что версальская оплеуха оставила кое-какие воспоминания у нового хозяина Пале-Рояля, нашла, наоборот, в нем сына более почтительного, чем когда-либо раньше. Почтение это в дальнейшем лишь возрастало; и, став регентом, сын предоставил матери такое же положение, какое занимала его собственная супруга. Больше того: когда герцогиня Беррийская, его любимая дочь, попросила у отца роту гвардейцев, почеть, на которую, по ее мнению, имела право как супруга французского дофина, то регент, согласившись на это,

одновременно отдал приказ, чтобы точно такая же рота несла службу при особе его матери.

Итак, Елизавета-Шарлотта занимала при дворе весьма высокое положение. И если при этом она не имела никакого политического влияния, то лишь потому, что регент взял себе за правило не разрешать женщинам вмешиваться в государственные дела. Может быть даже, добавим мы, Филипп II Орлеанский, регент Франции, был более сдержан со своей матерью, чем со своими любовницами, ибо хорошо знал эпистолярные пристрастия принцессы и не хотел, чтобы его проекты служили предметом ежедневной переписки, которую та вела с принцессой Вильгельминой-Шарлоттой Уэльской и герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейгским.

Отстранив таким образом свою мать от участия в политической жизни, регент, чтобы как-то вознаградить ее за это огорчение, предоставил ей право полновластно руководить его дочерьми, чему в силу своей невероятной лени нимало не препятствовала герцогиня Орлеанская. Но на этом поприще деятельность бедной принцессы Пфальцской, если верить мемуарам, не увенчалась успехом. Все знали, что герцогиня Беррийская открыто живет с Рионом. Мадемуазель же де Валуа была, по слухам, в тайной любовной связи с Ришелье, которому неведомо каким образом — словно он обладал волшебным кольцом Гигеса — удавалось проникать в ее апартаменты, несмотря на то, что у дверей стояла стража, а регент окружил ее шпионами (он и сам не раз прятался в комнате дочери, чтобы следить за ней).

Что касается мадемуазель де Шартр, то в характере ее было гораздо больше мужского, чем женского; и, став сама — если можно так выразиться — как бы мужчиной, она забыла о том, что существует сильный пол. Но вот однажды, несколько дней назад, посетив Оперу и услышав, как ее учитель музыки Кошери — красивый и остроумный тенор из Королевской академии — в любовной сцене взял необыкновенно чистую и полную страсти ноту, юная принцесса, движимая, несомненно, одним лишь артистическим чувством, простерла к нему руки и громко воскликнула: «Ах, мой милый Кошери!» Нетрудно понять, что это неожиданное восклицание заставило о многом задуматься герцогиню-мать, которая немедленно приказала уволить красавца-тенора. Пересилив свою апатию и беспечность, она решила отныне сама наблюдать за своей дочерью и, надо сказать, держала ее в большой строгости.

Были еще две дочери — принцесса Луиза, ставшая позднее королевой Испании, и мадемуазель Елизавета, впоследствии герцогиня Лотарингская; но о них не ходило никаких разговоров — то ли потому, что они были действительно благонравны, то ли потому, что лучше старших сестер умели обуздывать чувства своих сердец и проявления своих страстей.

Как только регент увидел мать, он сразу же догадался, что опять что-то произошло с его строптивыми дочерьми, которые доставляли столько огорчений Елизавете-Шарлотте. Но никакая тревога не могла заставить герцога Орлеанского пренебречь теми знаками уважения, которые он неизменно оказывал своей матери как публично, так и наедине. Поэтому, как только Елизавета-Шарлотта появилась в дверях, регент устремился ей навстречу, церемонно поздоровался и, взяв ее за руку, подвел к креслу. Сам же он остался стоять.

— Что случилось, сын мой? — произнесла Елизавета-Шарлотта с сильным немецким акцентом, удобно усевшись в кресле. — Опять мне приходится выслушивать рассказы о ваших проделках. Что с вами произошло вчера вечером?

— Вчера вечером? — переспросил регент, сиюсь припомнить, что было вчера.

— Да, да, — продолжала принцесса Пфальцская, — вчера вечером, когда вы выходили от мадам Сабран.

— Ах, вы всего лишь об этом! — воскликнул регент.

— Как «всего лишь»?.. Ваш друг Симиан повсюду рассказывает, что вас хотели похитить и что вы спаслись, пробравшись во дворец по крышам. Согласитесь, что это весьма странная дорога для регента Франции. И я сомневаюсь, что ваши министры при всей их преданности согласились бы последовать за вами.

— Симиан, должно быть, рехнулся, матушка, — ответил регент, невольно засмеявшись над тем, что мать все еще отчитывает его за шалости, словно ребенка. — Это были вовсе не злоумышленники, собиравшиеся меня похитить, а какие-то гуляки, которые вышли, наверное, из кабачка у заставы Двух Сержантов и решили развлечься на улице Добрых Ребят. Что же до нашего путешествия по крышам, то оно вовсе не было бегством, и мы проделали его лишь для того, чтобы выиграть пари у этого пьяницы Симиана. Вот он, должно быть, и злится, что

проиграл!

— Ах, сын мой, сын мой! — сказала, покачивая головой, принцесса Пфальцская. — Вы никогда не хотите верить в опасность, однако вам известно, на что способны ваши враги. Те, кто изо дня в день клеветает на вас, поверьте мне, не остановятся и перед убийством. Вы ведь знаете, герцогиня дю Мен говорила: в тот день, когда она увидит, что из ее мужа-бастарда решительно ничего нельзя сделать, она попросит у вас аудиенции и всадит вам в сердце кинжал.

— Помилуйте, матушка, — ответил регент, продолжая смеяться, — уж не стали ли вы такой ревностной католичкой, что не верите больше в судьбу? А вот я, как вы знаете, фаталист. Зачем вам надо, чтобы я истязал свой ум, тщетно стараясь предотвратить опасность, которая если и существует, то со всеми своими последствиями предопределена судьбой. Нет, матушка, все эти предосторожности бессмысленны, они только омрачают существование. Дрожать за свою жизнь — удел тиранов, а я, как уверяет Сен-Симон, самый благодущный из всех правителей Франции со времен Людовика Благочестивого. Чего же мне бояться?

— Господи, — произнесла принцесса Пфальцская, взяв герцога за руку и глядя на него со всей материнской нежностью, какую только могли выразить ее крошечные глазки, — вам нечего было бы бояться, мой дорогой сын, если бы все знали вас так же хорошо, как я. Ведь вы так добры, что не умеете даже ненавидеть своих врагов. Однако Генрих IV, на которого вы, к несчастью, во многих отношениях весьма походите, тоже был очень добрым. И все же нашелся Равальяк. Увы, *mein Gott!*⁷ — продолжала принцесса, вкрапывая в свой французский жаргон немецкие выражения. — Убивают лишь добрых королей. А тираны принимают так много мер предосторожности, что кинжал их не настигает. Вам, мой сын, не следовало бы выходить без эскорта; не ко мне, а к вам следовало бы приставить отряд гвардейцев.

— Матушка, — сказал регент с улыбкой, — хотите, я вам расскажу одну историю?

— Конечно, — ответила принцесса Пфальцская, — ведь вы так мило рассказываете.

— В Древнем Риме, я уже не помню, в каком году «существования республики, жил очень смелый консул, обладавший, к несчастью, тем же недостатком, что Генрих IV и я: он любил по ночам шататься по улицам. Однажды этого консула послали воевать с карфагенянами, и так как он изобрел новую военную машину под названием „ворон“, то выиграл первое в истории Рима морское сражение. Затем он отправился на родину, заранее радуясь при мысли о том, что новая слава принесет ему новые почести. И он не ошибся. Все население столицы вышло его встречать за городские ворота, а затем толпа триумфальным шествием двинулась к Капитолию, где героя ожидал сенат. Тот торжественно сообщил ему, что в награду за одержанную победу он будет удостоен особой почести, весьма лестной для его самолюбия: отныне перед героем-консулом по улицам будет всегда шагать музыкант, оповещающий всех игрой на флейте о том, что идет знаменитый Дуилий — победитель Карфагена... Консул, как вы сами понимаете, матушка, был вне себя от радости. Он шел домой, гордо подняв голову, а перед ним шагал флейтист и играл, а толпа кричала: „Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!“ Это было так упоительно, что бедный консул едва не потерял голову.

В течение дня он дважды выходил из дому без всякого дела, только для того, чтобы воспользоваться привилегиями, дарованными ему сенатом, и услышать триумфальную музыку и приветственные крики толпы. Ликование его было неопишимо. Наконец наступил вечер. У победителя была возлюбленная, которую он обожал, — своего рода госпожа де Сабран, с той только разницей, что муж у нее был ревнив, а наш мажордом, как вы знаете, не обладает этим смешным недостатком. Понятно, что Дуилию не терпелось ее увидеть.

Итак, консул принял ванну, оделся, надушился и, когда его песочные часы показали одиннадцать, вышел на цыпочках из дому, чтобы отправиться на виа Субура. Но он не принял в расчет флейтиста. Не успел Дуилий сделать несколько шагов, как музыкант, которого приставили к нему на круглые сутки, вскочил с тумбы, где сидел, дожидаясь выхода консула, и пошел впереди, громко играя на своей флейте. Те, кто еще гулял по улицам, оборачивались, те, кто уже вернулся домой, снова выходили на улицу, а те, кто уже лег спать, поднимались с

⁷ Бог мой! (нем.)

постелей и высовывались из окон. И все кричали хором: «Вот идет консул Дуилий! Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!...» Разумеется, это было очень приятно, но зато весьма неуместно. Естественно, консул попытался заставить флейтиста замолчать. Но тот заявил, что он получил приказ от сената ни на минуту не прекращать игры, пока консул ходит по улицам, ему платят десять тысяч сестерциев в год за то, что он дует в свою дудку, и он будет дуть в нее, пока у него хватит дыхания. Консул, убедившись, что бесполезно спорить с человеком, получившим приказ сената, пустился бежать в надежде избавиться от своего музицирующего спутника. Однако музыкант не отставал от него ни на шаг, и все оставалось по-прежнему с той лишь разницей, что флейтист шел не впереди консула, а следовал за ним по пятам. Дуилий петлял, как заяц, прыгал, как козел, мчался напролом, как дикий кабан, но проклятый флейтист ни на секунду не терял его из виду. Весь Рим с удивлением следил за этой ночной скачкой, но, узнав вчерашнего триумфатора, люди выходили на улицу, толпились у дверей, высовывались из окон и кричали: «Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!...» У несчастного триумфатора оставалась последняя надежда: если в доме его любовницы все спят, он сможет воспользоваться переполохом, незаметно проскользнуть в дверь, которую она обещала оставить открытой. Но не тут-то было! Шум докатился и до виа Субура, и, когда консул поравнялся с гостеприимным домом, двери которого он так часто украшал гирляндами, он увидел, что все обитатели дома проснулись, а у окна стоит муж его любовницы; едва завидев консула, тот закричал: «Да здравствует Дуилий! Да здравствует победитель Карфагена! Да здравствует спаситель Рима!» В полном отчаянии герой был вынужден вернуться домой.

Он надеялся, что на следующий день ему удастся отделаться от флейтиста, но напрасно. Не удалось ему это и в последующие дни. Консул понял, что ему уже никогда больше не удастся ходить по улицам инкогнито, и снова отправился в Сицилию. Охваченный гневом, он опять разбил карфагенян, но на этот раз так жестоко, что, казалось, с Пуническими войнами покончено навсегда. Рим возликовал после этой победы, и снова были устроены народные празднества, столь же торжественные, как в годовщину основания города. Герою приготовили триумфальную встречу, еще более пышную, чем после первой победы. А сенат собрался, чтобы до прибытия Дуилия решить, как на этот раз лучше отметить его заслуги.

Было предложено соорудить в честь героя памятник, и сенаторы уже готовились приступить к голосованию, как вдруг с улицы донеслись приветственные крики толпы, и звуки флейты. Это был Дуилий, который приехал так неожиданно, что сумел избежать триумфальной встречи. Однако из-за флейтиста ему не удалось пройти по улицам города незамеченным: ликующий народ приветствовал героя. Догадавшись, что сенат готовится оказать ему новые почести, консул немедленно отправился в Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении. Дуилий застал сенаторов с шарами в руках: они собирались голосовать. Тогда он поднялся на трибуну и сказал:

«Отцы-сенаторы, очевидно, вы собираетесь голосованием определить те почести, которые должны, по вашему мнению, доставить мне наибольшую радость?»

«Наши намерения, — ответил председатель, — заключаются в том, чтобы сделать вас самым счастливым человеком на земле!»

«Что ж, — продолжал Дуилий, — тогда разрешите попросить у вас той награды, о которой я больше всего мечтаю».

«Говорите, говорите!» — хором закричали сенаторы.

«И вы обещаете исполнить мою просьбу?» — с робкой надеждой в голосе спросил консул.

«Клянусь Юпитером, мы выполним вашу просьбу!» — воскликнул председатель от имени всех собравшихся.

«Если вы считаете, что у меня есть заслуги перед родиной, то в награду за мою вторую победу избавьте меня от этого проклятого флейтиста, которым вы наградили меня в честь первой победы».

Сенаторы нашли просьбу консула странной, но ведь они заранее обещали ее выполнить. А в те времена еще не было принято отказываться от своего слова. Флейтист за ревностное выполнение своих обязанностей получил пожизненную пенсию, равную половине его жалованья, а консул Дуилий, освободившись наконец от преследований музыканта, тайно

пробрался в дверь маленького домика на виа Субура, которую закрыла перед ним его первая победа и вновь открыла вторая.

— Какое же отношение имеет рассказанная вами история к моему страху за вашу жизнь? — спросила принцесса Пфальцская.

— Вы еще спрашиваете, матушка! — смеясь, воскликнул герцог. — Помилуйте, если один флейтист доставил консулу Дуилию столько неприятностей, то, судите сами, что меня ожидает, если ко мне будет приставлена рота гвардейцев.

— Ах, Филипп, Филипп! — промолвила принцесса, смеясь и вздыхая одновременно. — Вы всегда так легкомысленно относитесь к серьезным вещам.

— Вовсе нет, матушка, — ответил регент. — И я сейчас вам докажу это тем, что выслушаю вас и серьезно отвечу на те вопросы, которые привели вас ко мне, ибо, как я полагаю, вы пожаловали не только для того, чтобы побранить меня за мои ночные похождения.

— Да, вы правы, — сказала принцесса, — я действительно пришла к вам по другому делу. Я пришла, чтобы поговорить с вами о мадемуазель де Шартр.

— Ну ясно, о вашей любимице, матушка, потому что, сколько бы вы этого не отрицали, Луиза — ваша любимица. Уж не потому ли, что она терпеть не может своих дядюшек, которых и вы ненавидите?

— Нет, дело вовсе не в этом, хотя, признаюсь, мне приятно, что Луиза разделяет мое отношение к этим бастардам. Просто Луиза, если не считать красоты, которой ее наградила природа и которой я никогда не обладала, как две капли походит на меня, какой я была в юности. У нее совершенно мальчишеские вкусы: она любит возиться с собаками, скакать на лошадях, обращается с порохом, как артиллерист, и изготавливает ракеты, как пиротехник. Так вот, догадайтесь, что с ней произошло!

— Она хочет поступить в гвардейский полк?

— Ничуть не бывало. Она хочет постричься в монахини!

— Луиза? В монахини? Нет, матушка, этого решительно не может быть. Вероятно, это какая-нибудь шутка ее взбалмошных сестер.

— Нет, сударь! — возразила принцесса Пфальцская. — И во всей этой истории, клянусь вам, нет ничего забавного.

— Но почему вдруг, черт возьми, на нее нашло религиозное рвение? — спросил регент, начиная верить в серьезность слов своей матери, ибо в то время самые невероятные вещи были самыми обычными.

— Почему это на нее нашло? — переспросила принцесса. — На этот вопрос может ответить только сам Бог или черт. Позавчера она весь день провела со своей сестрой, занимаясь верховой ездой и стрельбой из пистолета. Никогда еще я не видела ее такой веселой. А вечером ее мать, герцогиня Орлеанская, пригласила меня в свой кабинет. Там оказалась мадемуазель де Шартр. Она стояла на коленях перед матерью и, вся в слезах, молила отпустить ее на покаяние в Шельское аббатство. Когда я вошла, ее мать обернулась и сказала: «А каково ваше мнение об этом?» Я ответила: «Я считаю, что место покаяния не имеет никакого значения: каяться можно везде с одинаковым успехом, и все зависит только от расположения духа и готовности к покаянию». Услышав мой ответ, мадемуазель де Шартр возобновила свои мольбы и просила отпустить ее с такой настойчивостью, что я сказала ее матери: «Смотрите, дочь моя, вам решать». Герцогиня ответила: «Я не в силах запретить этому бедному ребенку отправиться на покаяние». — «Ну что ж, пусть едет, — сказала я. — Да будет воля Божья, чтобы путешествие это совершилось с целью покаяния». И тут мадемуазель де Шартр сказала, обращаясь ко мне: «Клянусь вам, сударыня, что я еду в Шельское аббатство только с мыслью о Боге и что мною не движут никакие иные побуждения». Затем она поцеловала нас обеих, а вчера в семь часов утра уехала.

— Да ведь я все это знаю. Я сам должен был проводить ее в аббатство, — сказал регент. — Разве с тех пор произошло что-нибудь новое?

— Произошло то, — ответила принцесса, — что Луиза отослала вчера вечером свою карету во дворец и прислала с кучером письмо, адресованное вам, матери и мне. В этом письме она заявляет, что обрела в монастыре душевный мир и покой, какого ей не найти в светской жизни, и поэтому решила постричься в монахини.

— А как приняла это известие ее мать? — спросил регент, протягивая руку за письмом.

— Ее мать? По-моему, она этим весьма довольна. Она ведь любит монастыри и считает, что стать монахиней — великое счастье для ее дочери. Я же думаю, что если нет призвания, то не может быть и счастья.

Регент снова и снова перечитывал письмо, словно надеясь уловить в его простых фразах тайную причину желания мадемуазель де Шартр остаться в Шельском аббатстве. С минуту он думал так же сосредоточенно, как если бы речь шла о судьбах империи, а затем сказал:

— За этим скрывается сердечная рана. Вы не знаете, матушка, не влюблена ли в кого-нибудь Луиза?

Принцесса Пфальцская рассказала регенту о том, что произошло в Опере, и повторила фразу, вырвавшуюся у мадемуазель де Шартр, когда она, охваченная восторгом, слушала пение красавца-тенора.

— Черт возьми! — воскликнул регент, — И что же после этого вы с герцогиней Орлеанской порешили на вашем семейном совете?

— Мы отказали Кошери от места, а Луизе запретили посещать Оперу. Иначе мы поступить не могли.

— Что ж, теперь все ясно, и нечего больше ломать себе голову. Требуется только одно — как можно скорей излечить ее от этой фантазии.

— Что же вы намерены для этого предпринять, сын мой?

— Я сам сегодня же отправлюсь в Шельское аббатство и поговорю с Луизой. Если это всего лишь каприз, то со временем он пройдет. В течение года она будет послушницей. Я сделаю вид, что принимаю ее решение всерьез, а когда придет час пострижения, она сама обратится к нам с просьбой помочь ей выйти из затруднительного положения. Но если ее решение серьезно, то найти выход будет нелегко.



— Только не забывайте, сын мой, — сказала принцесса Пфальцская, поднимаясь, — что бедняга Кошери здесь, очевидно, совсем ни при чем и что он, должно быть, даже и не подозревает о страсти, которую внушил Луизе.

— Успокойтесь, матушка, — сказал регент, смеясь при мысли, что принцесса Пфальцская, исходя из представлений, привезенных с того берега Рейна, готова придать его словам трагический смысл. — Я не намерен повторять печальную историю параклетских любовников. Несмотря на все это происшествие, Кошери будет петь, как раньше, — не хуже, не лучше. Ни один волос не упадет с его головы. Ведь речь идет не о какой-нибудь мещанке, а о принцессе крови!

— Но с другой стороны, — сказала принцесса Пфальцская, почти столь же опасавшаяся снисходительности герцога, как до этого опасалась его суровости, — нельзя ведь и проявлять слабость!

— Матушка, — сказал регент, — по чести говоря, раз уж ей суждено кого-то обманывать, то я предпочел бы, чтобы она обманывала мужа, а не Бога.

И, с глубоким почтением поцеловав у матери руку, он повел ее к двери. Бедная принцесса была совершенно возмущена той распушенностью нравов, среди которой ей приходилось жить и к которой она до самой смерти так и не смогла привыкнуть.

Когда принцесса удалилась, герцог Орлеанский вернулся к мольберту, напевая арию из оперы «Пантея», которую он сочинил вместе с Лафаром.

Пересекая переднюю, принцесса Пфальцская увидела, что навстречу ей идет маленький человечек в высоких дорожных ботфортах. Его голова тонула в огромном воротнике подбитого мехом камзола. Когда человечек поравнялся с Елизаветой-Шарлоттой, из воротника выглянули насмешливые глазки и острый носик. Лицо его напоминало мордочку не то куницы, не то лисы.

— А-а, — сказала принцесса Пфальцская, — это ты, аббат?

— Собственной персоной, ваше высочество. Да к тому же я только что спас Францию. Ни больше ни меньше.

— Что-то в этом роде я уже слышала. А еще мне говорили, что некоторые болезни лечат ядами. Уж кому-кому, а тебе это известно, Дюбуа, ведь ты сын аптекаря.

— Сударыня, — ответил Дюбуа со своей обычной наглостью, — быть может я это и знал, да забыл. Как, вероятно, помнит ваше высочество, я еще юношей забросил отцовские пилули, чтобы всецело отдаться воспитанию вашего сына.

— Ну полно, полно. Я весьма довольна твоим усердием, Дюбуа, и если регенту понадобится человек, чтобы послать его с миссией в Китай или Персию, то я с большой охотой выхлопочу это назначение для тебя.

— А почему бы, ваше высочество, вам сразу не послать меня на луну или, скажем, на солнце. Тогда бы у вас была полная гарантия меня больше никогда не увидеть.

Аббат галантно поклонился и, не дожидаясь, чтобы принцесса Пфальцская разрешила ему удалиться, как того требовал этикет, повернулся на каблуках и без доклада вошел в кабинет регента.

XI. АББАТ ДЮБУА

Все знают, как аббат Дюбуа начал свою карьеру, поэтому мы не будем распространяться о его молодых годах, описание которых можно найти во всех мемуарах того времени и особенно в воспоминаниях безжалостного Сен-Симона.

Современники не оклеветали Дюбуа, ибо оклеветать его было невозможно. Просто, сказав о нем все дурное, что можно было, никто не остановился на том, что в нем было хорошего. Он вышел примерно из той же среды, что и Альберони, но, надо сказать, превзошел своего соперника. И в длительной борьбе с Испанией, о которой тема нашего повествования позволяет нам лишь упомянуть, сын аптекаря одержал верх над сыном садовника. Дюбуа предвосхитил Фигаро, для которого он, может быть, послужил прототипом. Но сыну аптекаря повезло больше, чем Фигаро: из людской он попал в гостиную, а из гостиной — в тронный зал.

Каждое его повышение было вознаграждением не столько за какие-либо частные услуги, сколько за заслуги государственные. Он был одним из тех людей, которые, по выражению Талейрана, не возвышаются, а выскакивают. Его последний дипломатический демарш был поистине шедевром. Договор, который удалось заключить Дюбуа, оказался для Франции еще более выгодным, нежели Утрехтский. Австрийский император не только отказался от своих прав на испанскую корону, подобно тому как Филипп V отрекся от своих притязаний на французский престол, но и вступил вместе с Англией и Голландией в военный союз, обращенный на юге против Испании, а на севере — против Швеции и России.

Раздел территории между пятью или шестью европейскими государствами, предусмотренный этим договором, зиждился на столь разумной и прочной основе, что и теперь, спустя сто двадцать лет, изобилюющих войнами, революциями и потрясениями, все эти государства, за исключением Империи, сохранили свои прежние границы.



Регент, не склонный по своей натуре строго судить людей, любил аббата, который его воспитал, и всячески ему покровительствовал. Он ценил Дюбуа за его достоинства и не слишком резко порицал за недостатки, коих и сам был не лишен. Однако между регентом и Дюбуа была целая пропасть: пороки и добродетели регента были пороками и добродетелями господина, в то время как недостатки и достоинства Дюбуа были недостатками и достоинствами лакея. Всякий раз, когда регент оказывал Дюбуа новую милость, он говорил ему: «Дюбуа, Дюбуа, не забывай, что я дарю тебе лишь новую ливрею». А Дюбуа, интересовавшийся всегда самым даром, а не тем, как он его получал, корчил обезьянью гримасу и отвечал регенту обычным своим нагловатым тоном: «Я ваш слуга, ваше высочество, вот и одевайте меня соответственно».

Впрочем, Дюбуа очень любил регента и был ему всецело предан. Аббат понимал, что только мощная рука регента удерживает его над той клоакой, из которой он вышел и в которую он, окруженный всеобщей ненавистью и презрением, неминуемо низвергся бы, утратив покровительство своего господина. Поэтому Дюбуа не за страх, а за совесть следил за всеми интригами и кознями, которые были направлены против регента. С помощью своих тайных агентов, которые часто оказывались куда более ловкими, чем полиция, и проникали благодаря стараниям госпожи де Тенсен в высший свет, а при содействии тетушки Фийон — в самые низы общества, аббат уже не раз раскрывал заговоры, о которых глава полиции Вуайе д'Аржансон не имел ни малейшего представления.

Регент, высоко ценивший услуги, которые Дюбуа ему уже оказал и которые мог оказать в дальнейшем, принял аббата-посланника с распростертыми объятиями. Едва завидев Дюбуа, регент встал ему навстречу и, нарушая обычай властителей, всегда умаляющих заслуги своих приближенных, чтобы уменьшить их вознаграждение, радостно воскликнул:

— Дюбуа, ты мой лучший друг! Договор о союзе четырех держав принесет Людовику Пятнадцатому больше выгоды, нежели все победы его прадеда, Людовика Четырнадцатого.

— Вот именно, ваше высочество, — ответил Дюбуа. — Вы воздаете мне должное, но, увы, не все это делают.



— А-а, — спросил регент, — уж не встретил ли ты мою матушку? Она только что вышла от меня.

— Вы не ошиблись. И должен вам сказать, что ей очень хотелось вернуться и попросить вас, поскольку я столь благополучно справился с моей миссией, поскорее отослать меня с новым поручением в Китай или Персию.

— Что поделаешь, мой бедный аббат, — со смехом сказал регент, — моя мать полна предрассудков. И она тебе никогда не простит, что ты воспитал ее сына таким шалопаем. Но успокойся, аббат, ты мне нужен здесь.

— А как поживает его величество? — спросил Дюбуа с улыбкой, в которой сквозила подлая надежда. — Когда я уезжал, он был очень хил.

— Хорошо, аббат, очень хорошо! — серьезно ответил регент. — Надеюсь, Бог сохранит его на счастье Франции и на позор нашим клеветникам.

— Ваше высочество встречается с ним, как обычно, каждый день?

— Я видел его вчера и даже говорил ему о тебе.

— Ба! И что же вы ему сказали?

— Я сказал его величеству, что ты, вероятно, обеспечил ему спокойное царствование.

— И что ответил король?

— Что он ответил? Он изумился, мой дорогой, что аббаты могут быть столь полезными,

— О, его величество необычайно остроумен. И старик Вильруа при этом присутствовал?

— Как всегда.

— Придется, видно, с разрешения вашего высочества, в один прекрасный день отправить этого старого пройдоху поискать меня где-нибудь на другом конце Франции. Он начинает утомлять меня своей наглостью.

— Не спеши, Дюбуа, не спеши. Всему свое время.

— И даже моему архиепископству?

— Да, кстати, что за новые бредни?

— Новые бредни, ваше высочество? Честное слово, я говорю вполне серьезно.

— Ну, а письмо английского короля, в котором он просит назначить тебя архиепископом...

— Разве вы, ваше высочество, не узнали стиль этого письма?

— Уж не сам ли ты его продиктовал, прохвост?

— Я продиктовал его поэту Нерико Детушу, а тот уже дал письмо на подпись королю.

— И король подписал его, ни слова не говоря?

— Нет, он возражал. «Разве мыслимо, — сказал он нашему поэту, — чтобы английский король-протестант вмешивался в назначение католического архиепископа во Франции? Регент прочтет мою рекомендацию, посмеется и ничего не сделает». — «Конечно, государь, — ответил Детуш, который, оказывается, куда умней, чем явствует из его стихов, — регент посмеется, но, посмеявшись вволю, исполнит просьбу вашего величества».

— Детуш соврал!

— Нет, ваше высочество, Детуш сказал правду.

— Ты — архиепископ?! Король Георг заслуживает того, чтобы я в отместку порекомендовал ему какого-нибудь негодяя, вроде тебя, на должность архиепископа Йоркского, когда она освободится.

— Вам в жизни не найти такого, как я. Я знаю лишь одного человека на свете, который...

— Кто же это? Любопытно было бы на него поглядеть.

— О, это бесполезно. Он уже имеет должность. И, поскольку должность эта высокая, он не променяет ее на все архиепископства мира.

— Наглец!

— На кого вы сердитесь, ваше высочество?

— На одного мерзавца, который намерен стать архиепископом, хотя даже до сих пор не конфирмировался.

— Тем лучше я подготовлюсь сейчас к святому причастию.

— А как ты будешь совершать обряды? Ведь ты не сведущ в церковной службе.

— Пустяки, найдем какого-нибудь знатока по части богослужения, какого-нибудь брата

Жана, который меня за час обучит всей этой премудрости.

— Вряд ли тебе удастся найти такого человека.

— Я уже нашел его.

— Кто же он?

— Ваш старший духовник Трессан, нантский епископ.

— У такого пройдохи, как ты, на все готов ответ. Но ведь ты женат!

— Я женат?

— Ну да! Ведь госпожа Дюбуа...

— Госпожа Дюбуа? Я такой не знаю.

— Как, несчастный, уж не отправил ли ты ее на тот свет?

— Вы, ваше высочество, видимо, забыли, что всего лишь два дня назад назначили ей пожизненную пенсию.

— А если она будет возражать против твоего назначения архиепископом?

— Мне она не страшна, у нее нет никаких доказательств.

— Она достанет копию вашего брачного свидетельства.

— Копии с несуществующего оригинала быть не может.

— А где же оригинал?

— Вот что от него осталось, — ответил Дюбуа, вынимая из кошелька бумажку, в которой лежала щепотка пепла.

— Как, негодяй, и ты не боишься, что я отправлю тебя на каторгу?!

— Если вы действительно желаете это сделать, то более подходящей) момента не найти. Я слышу в приемной голос начальника полиции.

— Кто его вызвал?

— Зачем?

— Чтобы устроить ему головомойку.

— По какому поводу?

— Вы сейчас услышите. Итак, все решено: я получаю архиепископство.

— А ты уже выбрал себе епархию?

— Конечно, я беру Камбре.

— Черт возьми, я вижу, у тебя губа не дура!

— Помилуй Бог, здесь дело не в доходах, ваше высочество, мне дорога честь занять место Фенелона.

— И ты, должно быть, одаришь нас новым «Телемаком».

— При условии, что вы укажете мне хотя бы одну Пенелопу во всем королевстве.

— Да, кстати о Пенелопе. Известно ли тебе, что госпожа де Сабран...

— Мне все известно.

— Что, аббат твоя полиция по-прежнему в курсе всех дел?

— Судите сами, ваше высочество, — ответил аббат и протянул руку к шнуру для звонка.

Зазвенел звонок, и в кабинет регента вошел лакей.

— Пусть войдет господин начальник полиции, — приказал Дюбуа.

— Послушай, аббат, с каких пор ты стал здесь распоряжаться?

— Я делаю это для вашего блага, ваше высочество. Разрешите мне действовать.

— Ну что ж, действуй, — сказал регент. — К людям, только что возвратившимся на родину, надо быть снисходительным.

В кабинет вошел мессир Вуайе д'Аржансон. По уродству он мог поспорить с Дюбуа, хотя нимало «а него не походил. Человек огромного роста, тучный и грузный, он носил непомерно большой парик, как нельзя более соответствующий его толстым, косматым бровям. Внешность Вуайе д'Аржансона была так страшна, что дети, видевшие шефа полиции впервые, принимали его за дьявола. Впрочем, ему нельзя было отказать в энергии, изворотливости, ловкости и умении плести интриги. Короче говоря, Вуайе д'Аржансон добросовестно выполнял свои обязанности, особенно если его не отвлекали по ночам какие-нибудь любовные похождения.

— Господин начальник полиции, — сказал Дюбуа, не давая д'Аржансону времени поклониться, как того требовал этикет, — его высочество, который не имеет от меня секретов, послал за вами, чтобы вы сказали мне, в каком костюме он выходил вчера вечером из дворца, в

каком доме он провел вечер и что с ним приключилось, когда он вышел из этого дома. Если бы я сам не прибыл только что из Лондона, то у меня не было бы необходимости задавать вам все эти вопросы. Но поскольку вчера вечером я мчался на перекладных из Кале, то, как вы сами понимаете, я ничего не знаю.

— Как, — сказал д'Аржансон, чувствуя, что эти вопросы таят в себе какую-то ловушку, — разве вчера произошли какие-нибудь чрезвычайные события? Должен признаться, что никаких донесений ко мне не поступало. Во всяком случае, я надеюсь, что с его высочеством ничего неприятного не случилось?

— Помилуй Бог, конечно, ничего! Если не считать, что его высочество чуть не похитили, когда он, одетый в мундир французской гвардии, выходил из дома госпожи де Сабран, куда он отправился на ужин.

— Похитили?! — воскликнул д'Аржансон, побледнев, в то время как регент не мог сдержать возгласа изумления. — Чуть не похитили? Но кто?

— Вот именно этого мы и не знаем. А вы, господин начальник полиции, обязаны были это знать. И знали бы, если бы занимались службой, а не проводили время в монастыре Мад-лен-де-Тренель.

— Как, д'Аржансон?! — воскликнул регент, разражаясь хохотом. — Вы, суровый страж закона, подаете подобные примеры! Ну уж, будьте уверены, теперь я знаю, как вас встретить, когда вы, как делали при покойном короле, принесете мне в конце года список моих проделок.

— Ваше высочество... — пробормотал начальник полиции. — Ваше высочество, надеюсь, не верит ни слову из того, что говорит господин аббат.

— Вот как! — воскликнул Дюбуа. — Несчастный, вместо того, чтобы сознаться в своем неведении, вы уличаете меня во лжи! Ваше высочество, я проведу вас в гарем д'Аржансона: у него там аббатиса двадцати шести лет и пятнадцатилетние послушницы; будуар, затянутый восхитительным индийским шелком, и кельи, обитые расписными тканями! О, господин начальник полиции умеет все устроить. На это ушло пятнадцать процентов доходов от лотереи.

Регент держался за бока от смеха, глядя на совершенно растерявшегося д'Аржансона.

— Но, господин аббат, — ответил начальник полиции, пытаясь вернуть разговор к теме хоть и более унижительной для него, но все же не столь нежелательной, — невелика заслуга — знать подробности события, о котором его высочество, несомненно, рассказал вам.

— Клянусь честью, д'Аржансон, — воскликнул регент, — я не говорил ему ни слова.

— Полно, господин начальник полиции! — сказал Дюбуа. — Может быть, это его высочество рассказал мне заодно историю той послушницы-госпитальерки из предместья Сен-Марсо, которую вам не удалось похитить из монастырских стен? Может быть, это его высочество рассказал мне и о доме, который вы велели построить на чужое имя и который имеет общую стену с монастырем Мадлен, так что вы можете проникать туда в любое время через дверь, скрытую в шкафу и ведущую в ризницу часовни блаженного святого Марка, вашего патрона? И, наконец, разве его высочество рассказал мне, как ваше превосходительство изволили провести вчерашний вечер, приказав Христовым невестам чесать вам пятки и читать вслух прошения, полученные вами в течение дня? Ну нет, все это, дорогой мой начальник полиции, проще простого; и тот, кто умел бы только это, недостойн был бы развязать ленты на ваших башмаках.

— Послушайте, господин аббат, — ответил шеф полиции серьезным тоном, — если все то, что вы мне рассказали о его высочестве, правда, то это действительно серьезное дело, и я виноват, что ничего о нем не знаю, тогда как вы знаете. Но еще ничего не потеряно, мы найдем виновных и накажем их по заслугам.

— Однако не следует придавать всему этому происшествию слишком большое значение, — заметил регент. — На улице веселились какие-то пьяные офицеры и захотели подшутить надо мной, видимо приняв меня за одного из своих товарищей.

— Нет ваше высочество, это был самый настоящий заговор, и нити его тянутся в Пале-Рояль через Арсенал из испанского посольства.

— Вы опять за старое, Дюбуа!

— Я никогда не устану это повторять, ваше высочество.

— Ну, а вы, господин д'Аржансон, что думаете по этому поводу?

— Ваши враги способны на все, но мы разоблачим их козни, как бы хитроумны они ни были. Даю вам слово!

В этот момент дверь распахнулась, и лакей доложил о прибытии его высочества герцога дю Мена, который пожаловал на заседание государственного совета. Как принц королевской крови, герцог дю Мен пользовался привилегией входить к регенту, не ожидая приема. Он вошел в кабинет робкой походкой, бросая косые, тревожные взгляды на троих собеседников, словно стараясь разгадать, о чем здесь говорили до его прихода.

Регент, угадав его мысли, сказал:

— Добро пожаловать, кузен. Послушайте, вот эти два известных вам злодея только что уверяли, что вы состоите в заговоре против меня.

Дю Мен побледнел как полотно и, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, оперся о свою трость, напоминающую костыль, с которой никогда не расставался.

— Я надеюсь, монсеньер, — сказал он, тщетно стараясь придать своему голосу твердость, — что вы не поверили этой клевете.

— О Господи, конечно, нет! — небрежно ответил регент. — Но что поделаешь? Ведь я имею дело с упрямыми, которые уверяют меня, что в один прекрасный день они застигнут вас на месте преступления. Сам я в это нисколько не верю. Но как человек, играющий честно, на всякий случай предупреждаю вас: остерегайтесь их, они хитрецы. В этом-то я могу вам поручиться.

Герцог дю Мен с трудом разжал зубы, чтобы пробормотать несколько ничего не значащих фраз, но тут дверь снова открылась, и лакей доложил о прибытии герцога Бурбонского, принца де Конти, герцога де Сен-Симона, капитана королевской гвардии герцога де Гиша, председателя финансового совета герцога де Ноай, суперинтенданта построек герцога д'Антена, председателя совета по иностранным делам маршала д'Юксея, епископа города Труа, маркиза де ла Врильера, маркиза д'Эффиа, герцога де Ла Форс, маркиза де Торси и маршалов де Вильруа, д'Эстре, де Виллара и де Безона.

Все эти важные лица были созваны, чтобы обсудить договор о союзе четырех держав, который Дюбуа привез из Лондона. А так как договор этот не играет существенной роли в нашем повествовании, читатели, надеемся, не посетуют на нас, если мы покинем роскошный кабинет в Пале-Рояле, чтобы вернуться в скромную мансарду на улице Утраченного Времени.

XV. НОВЫЙ ЗАГОВОР

Д'Арманталь кинул шляпу и плащ на стул, положил пистолеты на ночной столик, а шпагу под подушку, бросился, не раздеваясь, на постель. По-видимому, он был счастливее Дамокла, ибо заснул здоровым, крепким сном, хотя над ним висел дамоклов меч.

Когда д'Арманталь проснулся, было уже совсем светло, и так как накануне он в смятении позабыл закрыть ставни, то первое, что он увидел, был веселый солнечный луч, пересекавший комнату от окна до двери. В широкой полосе света играли и кружили мириады пылинок. Оглядевшись в своей светлой и чистой комнатке, где все тихо и спокойно, д'Арманталь на минуту решил, что это сон, ибо после ночной засады он должен был очнуться скорее всего в какой-нибудь мрачной темнице. Затем он усомнился в реальности вчерашних событий. Однако вещи, разбросанные по комнате, окончательно вернули его к действительности: на комодѣ валялась пунцовая лента, фетровая шляпа и плащ были брошены на стул, пистолеты лежали на ночном столике, а шпага — в изголовье постели. Последним, самым веским доказательством того, что вчерашнее приключение ему не приснилось — на случай, если бы остальные показались недостаточно убедительными, — был он сам. Д'Арманталь проснулся одетым в этот камзол, в котором он вчера вышел из дому и который не снял перед сном, опасаясь, что какой-нибудь непрошенный гость разбудит его среди ночи.

Д'Арманталь вскочил с постели и сразу же взглянул на окно своей соседки. Оно было уже открыто, и шевалье увидел, что девушка ходит взад и вперед по комнате. Затем д'Арманталь посмотрел в зеркало и убедился, что участие в заговоре счастливо сказалось на его внешности: лицо его было бледнее обычного, и это ему шло, глаза лихорадочно блестели и казались поэтому более выразительными. Было совершенно ясно, что, когда шевалье поправит свою

прическу и сменит измятые за ночь воротник и жабо, он (особенно после вчерашней записки), несомненно, еще больше привлечет к себе внимание Батильды. Д'Арманталь не говорил этого себе ни вслух, ни шепотом; но скверный инстинкт, который толкает наши бедные души к гибели, подсказывал его уму эти мысли — неясные, смутные, неоформленные, но все же достаточно отчетливые для того, чтобы он принялся за свой туалет, стараясь подобрать одежду соответственно выражению своего лица. Иными словами, темный костюм был заменен совершенно черным, примятые волосы были перетянуты лентой в легком беспорядке, а жилет был расстегнут на две пуговицы ниже обычного, чтобы было видно жабо, которое спадало на грудь с полной кокетства небрежностью.

Все это, впрочем, делалось без осознанного намерения, с самым отрешенным и озабоченным видом, ибо д'Арманталь при всей своей храбрости вовсе не забывал, что с минуты на минуту его могут арестовать. Когда шевалье вышел из маленькой комнатки, служившей ему гардеробной, и взглянул в зеркало, то улыбнулся своему отражению с грустью, придавшей ему еще больше очарования. Было ясно, что означала эта улыбка, так как шевалье тут же подошел к окну и открыл его.

Быть может, Батильда тоже мысленно готовилась к встрече со своим соседом. Быть может, она решила быть сдержанной и не глядеть в его сторону или, поклонившись, тотчас закрыть окно. Но, едва заслышав, что шевалье открывает окно, девушка, позабыв обо всем, кинулась к своему и воскликнула:

— О Господи, это вы! Как я боялась за вас, сударь!

Д'Арманталь не мог рассчитывать и на десятую долю тех чувств, которые прозвучали в этом восклицании. Поэтому, если он и приготовил несколько галантных красноречивых фраз — а это весьма вероятно, — то они мгновенно улетучились из его головы.

— Ах, Батильда, Батильда, — вскричал он, прижав руки к груди, — неужели вы столь же добры, сколь и прекрасны?

— Почему добра? — спросила Батильда. — Разве вы не писали мне, что вы, как и я, сирота? Разве вы не писали мне, что я ваша сестра, а вы мой брат?

— Так, значит, вы, Батильда, молились за меня?

— Всю ночь, — прошептала девушка краснея.

— А я, глупец, благодарил случай, спасший меня, тогда как я всем обязан молитвам ангела.

— Значит, нависшая над вами опасность миновала? — живо воскликнула Батильда.

— Ночь была мрачной и печальной, — ответил д'Арманталь. — А нынче утром меня разбудил луч солнца. Однако достаточно одной лишь тучи, чтобы этот луч исчез. Так и с грозящей мне опасностью. Она исчезла, и сейчас я преисполнен счастья, Батильда, ибо я знаю, что вы думали обо мне. Но опасность может вернуться. Вот, — продолжал он, услышав, что кто-то поднимается к нему по лестнице, — быть может, она сейчас постучится в мою дверь.

И в самом деле, в этот момент кто-то трижды постучал в дверь.

— Кто там? — спросил д'Арманталь, не отходя от окна, и в голосе его, несмотря на твердость, прозвучала некоторая тревога.

— Друг! — ответили из-за двери.

— Кто это? — в волнении прошептала Батильда.

— Благодаря вам Бог по-прежнему хранит меня. Человек, который стучит в мою дверь, — друг. Еще раз благодарю вас, Батильда!

И д'Арманталь закрыл свое окно, послав девушке не то поклон, не то воздушный поцелуй. Затем он открыл дверь аббату Бриго, который, потеряв терпение, постучал вторично.

— Э, дорогой воспитанник. — сказал аббат, на лице которого не было видно никаких следов волнения, — да вы, я вижу, заперлись на ключ и на засов. С чего бы это? Уж не для того ли, чтобы подготовиться к Бастилии?

— Аббат, — ответил д'Арманталь радостно, с сияющим лицом: казалось, он состязается с Бриго в невозмутимости, — не шутите так, это может принести несчастье!

— Но посмотрите-ка, — сказал Бриго, обводя глазами комнату, — разве не видно сразу, что находишься у заговорщика? На ночном столике — пистолеты, в изголовье постели — шпага, на стуле — широкополая шляпа и плащ! А, дорогой воспитанник, мне кажется, вы не в

своей тарелке. Ну-ка, уберите все на место, чтобы даже я не мог догадаться, когда явлюсь к вам с отеческим визитом, что здесь происходит в мое отсутствие.

Д'Арманталь послушался, восхищаясь этим священником, который даже с ним, военным, мог поспорить в хладнокровии.

— Вот так, — сказал аббат Бриго, следя за движениями д'Арманталя. — Не забудьте эту ленту, которая, конечно, принадлежит не вам, ибо, клянусь, такие носили в те времена, когда вы еще ходили в детской курточке. Спрячьте, спрячьте ее. Кто знает, быть может, она вам еще понадобится.

— Да зачем она мне может понадобиться? — смеясь, спросил д'Арманталь. — Разве только чтобы присутствовать при утреннем выходе регента?

— Да нет же, вовсе не для этого, а для того, чтобы подать знак какому-нибудь прохожему. Ну, спрячьте ее.

— Дорогой аббат, — сказал д'Арманталь, — если вы не сам дьявол, то уж во всяком случае один из его ближайших друзей.

— Да что вы, Боже избави! Я маленький человек и иду своей дорогой да гляжу вокруг, то направо, то налево, то вверх, то вниз, и все тут. Вот, например, это окно... Какого черта оно закрыто! Весенний луч, первый весенний луч скромно пытается заглянуть к вам в комнату, а вы не впускаете его, словно боитесь, что вас кто-нибудь увидит... А-а, простите, я и не знал, что когда вы открываете свое окно, то окно напротив тут же закрывается.

— Дорогой опекун, вы необычайно догадливы, — ответил д'Арманталь, — но удивительно нескромны. Настолько нескромны, что, будь вы не аббатом, а мушкетером, я вызвал бы вас на дуэль.

— На дуэль? А за что, мой дорогой? За то, что я хочу расчистить вам путь к богатству, к славе и, быть может, к любви! О, это была бы чудовищная неблагодарность с вашей стороны!

— Да нет, аббат, давайте лучше останемся друзьями, — сказал д'Арманталь, протягивая ему руку. — Кстати, я не прочь услышать от вас какие-нибудь новости.

— О чем?

— Как о чем? Новости об улице Добрых Ребят, где, как я слышал, произошли ночью кое-какие события; об Арсенале, где, насколько мне известно, герцогиня дю Мен давала вчера вечером бал; и, наконец, о регенте, который, если верить моему сну, вернулся в Пале-Рояль очень поздно и имел при этом несколько озабоченный вид.

— Что ж, все обстоит отлично. Если что и было на улице Добрых Ребят, то к утру там все утихло. Герцогиня дю Мен полна благодарности к тем, кому важные дела не позволили посетить ее вчерашний бал, и тайного презрения к тем, кто посетил его. Наконец, регент, которому, как всегда, снилась французская корона, за ночь успел забыть, что едва не стал пленником короля Испании. Теперь все надо начинать сначала.

— Ну уж нет, аббат! — воскликнул д'Арманталь. — С вашего разрешения, теперь очередь за другими. Что до меня, то я предпочитаю немного отдохнуть.

— Черт побери, это никак не вяжется с той вестью, которую я вам принес.

— А что за весть вы мне принесли?

— Этой ночью решено, что нынче утром вы отправляетесь на почтовых в Бретань.

— В Бретань? А что мне там делать?

— Это вы узнаете по приезде.

— А если я не захочу поехать?

— Вы хорошенько подумаете и все-таки поедете.

— О чем же мне думать?

— О том, что было бы безумием бросить дело, которое вот-вот завершится, ради любви, которая только начинается, и прекратить борьбу за интересы принцессы королевской крови.

— Аббат! — вскричал д'Арманталь.

— О, не надо сердиться, дорогой шевалье, — продолжал аббат Бриго. — Давайте лучше рассуждать спокойно. Вы добровольно выразили готовность участвовать в нашем деле и обещали помочь нам довести его до конца. Неужели вы считаете благородным бросить нас сейчас, когда мы потерпели поражение? Надо, черт побери, дорогой воспитанник, быть хоть немного последовательным или вообще не впутываться в тайные заговоры.

— Именно потому, что я последователен, — возразил д'Арманталь, — я хочу теперь, как в прошлый раз, прежде чем затевать что-либо новое, ясно представлять себе, что именно я затеваю. Я вызвался быть вашей рукой, это правда. Но, прежде чем нанести удар, рука должна знать, чего хочет голова. Я рискую свободой, я рискую жизнью, я рискую, быть может, чем-то еще более дорогим для меня. Я готов всем этим рисковать, но только с открытыми, а не с закрытыми глазами. Скажите мне сначала, что я должен делать в Бретани. А потом, что ж, быть может, я и поеду.

— Приказ гласит, что вам надлежит отправиться в Рен, где вы распечатаете это письмо и найдете в нем дальнейшие инструкции.

— Приказ! Инструкции!

— Разве не с такими словами генерал обращается к своим офицерам? Разве у военных существует обычай обсуждать полученные приказы?

— Конечно, нет, когда они находятся на военной службе» Но ведь я больше не служу в армии.

— Ах, верно, я забыл вам сказать, что вы опять офицер.

— Я?

— Да, вы. У меня в кармане ваш офицерский патент. Возьмите его.

И аббат подал д'Арманталю сложенный вчетверо документ, который шевалье тут же развернул, вопросительно глядя на Бриго.

— Патент! — воскликнул д'Арманталь. — Патент полковника одного из четырех карабинерных полков! Кто же выдал мне этот патент?

— Взгляните на подпись, черт возьми!

— Луи Опост герцог дю Мен!

— Чему же тут удивляться? Разве, будучи главнокомандующим артиллерией, герцог не может назначать командиров в свои двенадцать полков? Вот он и вручает вам полк взамен того, который у вас отняли, и на правах вашего генерала дает вам поручение. Разве может военный пренебрегать честью, которую оказывает ему командир, вспомнив о нем? Впрочем, я, как человек духовного звания, плохо разбираюсь в таких делах.

— Нет, дорогой аббат, нет! — воскликнул д'Арманталь. — Напротив, долг каждого офицера состоит в том, чтобы беспрекословно подчиняться своему начальству.

— А в случае заговора, — небрежно продолжал аббат Бриго, — вы можете утверждать, что были всего лишь исполнителем полученных приказов, и будете таким образом иметь возможность свалить всю ответственность на другого.

— Аббат! — снова воскликнул д'Арманталь.

— Ну что ж, раз вы упираетесь, мне приходится подхлестывать вас.

— Нет, дорогой аббат, нет. Я еду... Простите меня. Знаете, бывают минуты, когда я словно лишаясь рассудка. Итак, теперь я в полном распоряжении герцога дю Мена или, вернее, герцогини дю Мен. Неужели я не увижу ее до отъезда и не смогу упасть к ее ногам, поцеловать край ее платья и сказать, что по первому слову я готов умереть за нее!

— Ну вот, теперь вы впали в другую крайность. Умирать не надо, надо жить. Жить, чтобы восторжествовать над нашими врагами и никогда уже не снимать красивого мундира, в котором вы будете нравиться всем женщинам.

— Ах, дорогой Бриго, на свете есть только одна женщина, которой я хочу нравиться.

— Ну что ж, сначала вы понравитесь ей, а затем уже всем остальным.

— Когда я должен ехать?

— Немедленно.

— Но вы мне дадите полчаса, чтобы собраться?

— Нет, ни минуты.

— Но я даже не завтракал.

— Вы позавтракаете вместе со мной.

— У меня при себе только две или три тысячи франков. Этого мало.

— В карете, в вашем дорожном сундуке, вы найдете жалованье за год вперед.

— А одежда?

— Ваши чемоданы полны одежды. Ведь у меня была ваша мерка. Разве только вы

останетесь недовольны моим портным.

— Но, аббат, скажите мне хотя бы, когда я вернусь.

— Ровно через шесть недель герцогиня дю Мен будет ждать вас в Со.

— Тогда разрешите мне, по крайней мере, написать несколько слов.

— Несколько слов? Извольте. Я не хочу быть слишком требовательным. Шевалье сел к столу и начал писать.

«Дорогая Батильда, сегодня мне не только угрожает опасность, сегодня со мной стряслась беда. Я вынужден немедленно уехать, даже не повидав Вас, не попрощавшись с Вами. Я буду в отъезде шесть недель. Во имя Бога, Батильда, не забывайте о том, кто непрестанно будет думать о Вас.

Рауль».

Когда письмо было написано, сложено и запечатано, шевалье встал и подошел к окну, но, как мы уже говорили, окно соседки закрылось, едва показался Бриго. Таким образом, не было никакой возможности передать письмо Батильде. Д'Арманталь махнул с досадой рукой. В этот момент кто-то тихонько стал скрестись в дверь. Аббат открыл ее. Мирза, движимая желанием полакомиться, чутьем нашла комнату того, кто так щедро угощал сахаром. Собака стояла на пороге, всячески выказывая свою радость.

— Попробуйте теперь сказать, что Бог не покровительствует влюбленным. Вы искали посланца? Вот он! — с улыбкой произнес Бриго.

— Аббат, аббат, — воскликнул д'Арманталь, покачивая головой, — остерегайтесь проникать в мои тайны глубже, чем мне угодно!

— Бросьте! — ответил Бриго. — Исповедник нем как могила.

— Итак, вы будете молчать об этом.

— Даю вам слово, шевалье.

Д'Арманталь прикрепил записку к ошейнику Мирзы и дал ей кусок сахара в награду за услугу. Заранее грустя от того, что в течение шести недель не увидит своей прекрасной соседки, и вместе с тем радуясь, что вновь надел мундир, он взял все свои деньги, разместил пистолеты по карманам, пристегнул к поясу шпагу, надел шляпу, перекинул через плечо плащ и последовал за аббатом Бриго!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. ОРДЕН ПЧЕЛЫ

Покинув Бретань, д'Арманталь в указанный день и час, то есть ровно через шесть недель после отъезда из столицы, подъехал в почтовой карете, запряженной двумя лошадьми, ко дворцу Со. На лестнице в два ряда стояли лакеи в парадных livrées. По всему было видно, что во дворце готовится праздник. Шевалье прошел мимо лакеев, пересек вестибюль и очутился в большой гостиной, в которой уже собралось человек двадцать гостей; они стояли небольшими группами и беседовали в ожидании хозяйки. Д'Арманталь был знаком почти со всеми присутствующими. Здесь среди прочих были граф де Лаваль, маркиз де Помпадур, поэт Сен-Женест, старый аббат де Шолье, Сент-Олер, госпожа де Роган, госпожа де Круасси, госпожа де Шарро и госпожа де Бриссак.

Д'Арманталь направился к маркизу де Помпадур, с которым он был знаком ближе, чем с кем бы то ни было из всего этого благородного и просвещенного общества. Они обменялись рукопожатиями.

Затем, отведя маркиза в сторону, д'Арманталь спросил его:

— Не можете ли вы объяснить, дорогой маркиз, как случилось, что, вопреки ожиданию, я попал не на унылое и скучное политическое собрание, а, судя по всему, на какой-то праздник?

— Право, я сам ничего не могу понять, дорогой шевалье, — ответил маркиз де Помпадур. — Я удивлен не меньше вашего. Ведь я сам приехал из Нормандии.

— А-а, вы тоже приехали?

— Да, только что. И я сам сейчас спрашивал Лавалья, что здесь происходит. Но он приехал из Швейцарии и тоже ничего не знает.

В это время лакей доложил о прибытии барона де Валефа.

— Вот он-то нам и нужен! — воскликнул маркиз де Помпадур. — Валеф — один из самых близких друзей герцогини, он уж наверняка нам все объяснит.

Д'Арманталь и маркиз подошли к Валефу, который, узнав их, в свою очередь пошел им навстречу. Д'Арманталь и Валеф не виделись после дуэли, с которой мы начали наш рассказ, поэтому они с большой радостью пожали друг другу руку. Когда все обменялись приветствиями, д'Арманталь спросил:

— Дорогой Валеф, не скажите ли вы мне, с какой целью устраивается этот большой праздник? Я думал, что мы обсудим все в узком кругу.

— Я сам ничего не знаю, дорогой мой, — ответил Валеф. — Я приехал из Испании.

— Ах, вот как! Значит, все гости приехали издалека, — смеясь, сказал маркиз де Помпадур. — А вон идет Малезье. Надеюсь, он приехал всего лишь из Домба или из Шатне; к тому же он наверняка уже успел побывать в покоях герцогини и сможет объяснить нам, что же здесь происходит.

При этих словах маркиз де Помпадур жестом подозвал Малезье, но этот distinguished кавалер был слишком галантен, чтобы, появившись в гостиной, не подойти прежде всего к дамам. Только после того как он поздоровался с госпожой де Роган, с госпожой де Шарро, с госпожой де Круасси и с госпожой де Бриссак, он направился к группе, состоящей из маркиза де Помпадура, д'Арманталя и Валефа.

— Право, дорогой Малезье, — начал маркиз де Помпадур, — мы ждали вас с большим нетерпением. Оказывается, мы съехались с четырех концов света. Валеф прибыл с юга, д'Арманталь — с запада, Лаваль — с востока, а я — с севера; откуда вы приехали, я не знаю, но нам, признаюсь, очень любопытно выяснить, зачем нас всех вызвали в Со.

— Вы прибыли сюда, господа, — ответил Малезье, — чтобы присутствовать при торжественной церемонии — приеме нового кавалера в Орден Пчелы.

— Черт возьми! — воскликнул д'Арманталь, несколько раздосадованный тем, что ему не дали возможности заехать на улицу Утраченного Времени, прежде чем отправиться во дворец Со. — Теперь я понимаю, почему герцогиня дю Мен так настаивала на том, чтобы мы явились на ее зов без опоздания. Что до меня, то я весьма благодарен ее высочеству...

— Прежде всего, молодой человек, — перебил д'Арманталя Малезье, — здесь нет никакой герцогини дю Мен и нет ее высочества, здесь царит прекрасная фея Людовиза, Королева Пчел, которой каждый обязан слепо повиноваться. А наша Королева — воплощение не только безраздельной власти, но также и абсолютной мудрости. А когда вы узнаете, кого мы сегодня посвящаем в кавалеры Ордена Пчелы, вы, быть может, перестанете так сожалеть о своей поспешности.

— Кого же мы посвящаем? — спросил Валеф, которому больше всех не терпелось узнать, зачем их всех вызвали, так как он проделал самый дальний путь.

— Мы принимаем его превосходительство принца де Селламаре.

— О, это другое дело, — сказал маркиз де Помпадур. — Я начинаю кое-что понимать.

— Я тоже, — добавил Валеф.

— И я, — сказал д'Арманталь.

— Что ж, отлично! — произнес, улыбаясь, Малезье. — А до наступления ночи, господа, вы поймете все это еще лучше. Пока же позвольте мне быть вашим руководителем. Ведь вам не впервые браться за дело вслепую, не правда ли, д'Арманталь?

И, не дожидаясь ответа, Малезье двинулся навстречу маленькому человеку, с плоским лицом, длинными, гладкими волосами и завистливым взглядом, явно смущенному тем, что он оказался в столь избранном обществе. Д'Арманталь видел его впервые и поэтому тотчас же спросил о нем у маркиза де Помпадура. Маркиз ответил, что это поэт Лагранж-Шансель.

Д'Арманталь и Валеф несколько минут разглядывали вновь прибывшего с любопытством, к которому, однако, примешивалось отвращение. Затем, расставшись с маркизом де Помпадур, поспешившим навстречу кардиналу де Полиньяку, они отошли к окну, чтобы спокойно побеседовать о предстоящем приеме нового кавалера в Орден Пчелы.

На учреждение Ордена Пчелы герцогиню дю Мен натолкнула строфа из поэмы Торквато Тассо «Аминта», которую она выбрала для себя в качестве девиза в день своей свадьбы: «Piccola si ma fa puo gravi le ferite».

Малезье, искренне преданный внучке великого Конде и посвятивший ей все свои поэтические сочинения, переложил этот девиз так:

Как мала, как мала, как мала, Но как жалит жестоко пчела! Как налет ее смел, Как точен прицел — Берегись этих маленьких стрел!

Орден Пчелы, как и все ордена, имел свою эмблему и своих магистров во главе с великим магистром. Эмблема Ордена представляла собой медаль, на одной стороне которой был вычеканен улей, а на другой — Королева Пчел. Медаль носили на желтой ленте в петлице камзола, и все кавалеры Ордена обязаны были надевать ее, когда посещали дворец Со. Магистрами ордена были Малезье, Сент-Антуан, аббат де Шолье и Сен-Женест. Великим магистром была сама герцогиня дю Мен. Орден состоял из тридцати девяти кавалеров, и это число не могло быть превышено. В связи со смертью господина де Невера освободилось одно место, которое, как сообщил д'Арманталю Малезье, и будет предоставлено принцу де Селламаре.

Дело в том, что герцогиня дю Мен решила в целях конспирации придать политическому собранию заговорщиков вид шуточного обряда. Герцогиня была уверена, что веселое празднество в парке Со покажется Дюбуа и Вуайе д'Аржансону менее подозрительным, чем тайное сборище в Арсенале.

Поэтому, как мы увидим в дальнейшем, были приняты все меры, чтобы вернуть Ордену Пчелы его былой блеск и возродить в их первоначальной великолепии веселые бессонные ночи времен Людовика XIV.

Ровно в четыре часа, то есть в час, на который было назначено начало церемонии, двустворчатая дверь гостиной распахнулась. В глубине большого зала, затянутого алым шелком, по которому были разбросаны вытканые золотом изображения пчел, на высоком троне торжественно восседала прекрасная фея Людовиза. Миниатюрная фигурка и тонкие черты лица герцогини дю Мен еще в большей мере, чем золотой жезл, который она держала в руке, придавали ей вид неземного существа, чье имя она носила. По знаку, поданному феей, все ее приближенные перешли из гостиной в зал и выстроились вокруг возвышения, на котором стоял трон. Магистры Ордена расположились на трех широких ступенях. Когда все заняли свои места, открылась боковая дверь и на пороге показался одетый в костюм герольда Бессак, начальник охраны герцога дю Мен. На нем была вишневая мантия, расшитая серебряными пчелами, а на голове — шляпа в форме улья.

Бессак громко объявил:

— Его превосходительство принц де Селламаре.

Вошел принц; он торжественным шагом приблизился к Королеве Пчел, опустился на колени перед ее троном и замер в ожидании⁸.

— Принц Самаркандский! — громко возвестил герольд. — Внимательно слушайте чтение статута Ордена, в кавалеры которого великая фея Людовиза намерена вас посвятить, и серьезно обдумайте, готовы ли вы к торжественной клятве.

Принц склонил голову в знак того, что понимает всю важность обязательств, которые он на себя берет. Герольд продолжал:

— Статья первая. Вы обещаете и клянетесь хранить нерушимую верность и слепо повиноваться великой фее Людовизе, бессменной повелительнице несравненного Ордена Пчелы! Клянитесь священным Гиметом!

В это время откуда-то раздались звуки оркестра, и невидимый хор запел:

Клянись, о властитель Самарканда,

Клянись, о достойный сын великого хана!

⁸ Нет необходимости предупреждать наших читателей, что все приводимые нами подробности церемонии исторически достоверны, что мы ничего не выдумываем и ничего не стилизуем, а лишь повторяем слово в слово описание сцены, взятое нами не из «Мнимого больного» или «Мещанина во дворянстве», а из «Описания развлечений в замке Со». (Примеч. автора)

— Клянусь священным Гиметом! — торжественно произнес принц.

В ответ вновь запел хор, но на этот раз к нему присоединились более мощно, ибо запели и все присутствующие в зале:

Il principe di Samarcand,
Il digno figlio dei gran'khan,
На giurato,
Sia ricevuto.⁹

После того как припев был повторен трижды, герольд продолжал чтение:

— Статья вторая. Вы обещаете и клянетесь являться в волшебный замок Со, главную резиденцию Ордена, всякий раз, когда будет созываться капитул, и не имеете права отсутствовать под предлогом занятости делами или легких недомоганий, как-то: подагра, обилие мокроты и бургундский нарост.¹⁰

Хор подхватил:

Клянись, о властитель Самарканда,
Клянись, о достойный сын великого хана!

— Клянусь священным Гиметом! — произнес принц.

— Статья третья, — объявил герольд. — Вы обещаете и клянетесь неумоимо учиться танцевать все кадрили, а именно: фюрстенберг, дервиш, пистолет, куранты, а также сарабанду, жигу и иные танцы, и танцевать их в любое время года, но преимущественно в знойные летние дни, и без особого распоряжения не прекращать танца до тех пор, пока ваша одежда не взмокнет от пота, а на губах не появится пена.

Хор:

Клянись, о властитель Самарканда,
Клянись, о достойный сын великого хана!

Принц:

— Клянусь священным Гиметом! Герольд:

— Статья четвертая. Вы обещаете и клянетесь неумоимо взбираться на все стога сена, какой бы высоты они ни были, не боясь упасть и сломать себе шею.

Хор:

Клянись, о властитель Самарканда,
Клянись, о достойный сын великого хана!

Принц:

— Клянусь священным Гиметом! Герольд:

— Статья пятая. Вы обещаете и клянетесь взять под свою защиту все виды пчел, никогда не причинять ни одной из них никакого вреда, не отгонять их, а мужественно позволять им жалить себя, невзирая на то, какое место они выберут: руки ли, щеки ли, ноги ли и так далее, даже если ужаленные ими части тела вздуются и опухнут до невероятных размеров.

Хор:

Клянись, о властитель Самарканда,
Клянись, о достойный сын великого хана!

Принц:

— Клянусь священным Гиметом! Герольд:

— Статья шестая. Вы обещаете и клянетесь уважать труд пчел и, следуя примеру вашей великой повелительницы, отвергать то вульгарное отношение к меду, которое в ходу у аптекарей, даже если из-за этого вы умрете от несварения желудка.

Хор:

Клянись, о властитель Самарканда,
Клянись, о достойный сын великого хана!

Принц:

— Клянусь священным Гиметом! Герольд:

⁹Властитель Самарканда, Достойный сын великого хана, Поклялся, Да будет он принят (итал.)

¹⁰ Как мы ни старались установить, что это за болезнь, нам не удалось обнаружить описание ее причин и следствий. (Примеч. автора)

— Статья седьмая, и последняя. Наконец, вы обещаете и клянетесь бережно хранить изящную эмблему Ордена и никогда не появляться на глаза нашей повелительнице без той медали, которой она вас сейчас наградит.

Хор:

Клянись, о властитель Самарканда,

Клянись, о достойный сын великого хана!

Принц:

— Клянусь священным Гиметом!

После того как была произнесена последняя клятва, невидимый хор и все присутствующие в зале запели:

Il principe di Samarcand,

Il digno figlio dei gran'khan.

Na giurato,

Sia ricevuto.

Тут фея Людовиза поднялась со своего трона и, взяв из рук

Малезье медаль на желтой ленте, знаком приказала принцу приблизиться. Затем она продекламировала стихи, которые тем более заслуживали похвалы, что были весьма уместны:

Посланец короля и наш любезный друг, Примите славный знак из благосклонных рук — Знак Ордена примите в день счастливый! О доблестный Тесандр, узнайте от меня: Отныне навсегда в наш тесный круг вошли вы, — Вы кавалер «Пчелы» с сегодняшнего дня!

Принц преклонил колено, и фея Людовиза надела ему на шею желтую ленту с медалью. В тот же миг вновь зазвучал общий хор:

Viva sempre, viva, ed in honore cresca,

*Il novo cavaliere della mosca*¹¹

Едва хор умолк, распахнулись обе створки другой боковой двери, и гости увидели, что в празднично освещенном зале сервирован роскошный ужин.

Новый кавалер Ордена Пчелы подал руку своей повелительнице, фее Людовизе, и они торжественно последовали в зал. Гости двинулись вслед за ними.

У дверей их остановил прелестный ребенок, одетый амуrom, с хрустальной вазой в руках, в которой лежали свернутые записочки по числу присутствующих. Это был новый вид лотереи, вполне достойной быть продолжением той церемонии, которую мы только что описали. На десяти билетиках из пятидесяти, находящихся в вазе, было написано: «Песнь», «Мадригал», «Эпиграмма», «Экспромт» и т. д. Те гости, которым достались эти фанты, должны были выполнить свое задание тут же или во время ужина. Остальным присутствующим вменялось в обязанность только аплодировать, пить и есть. Четверо дам попытались тотчас же отказаться от участия в этой поэтической лотерее, ссылаясь на недостаточную изощренность ума, но герцогиня дю Мен заявила, что никто не должен избегать своего жребия. Однако дамам разрешалось выбрать себе помощников, которые за свои труды получали право на поцелуй. Как видите, все развлечения здесь были в духе пасторали.

Сделав эту поправку к правилам лотереи, фея Людовиза первая опустила свою маленькую ручку в хрустальную вазу и вынула билетик, который тотчас же развернула. На билетике стояло слово «Экспромт».

Вслед за герцогиней каждый из присутствующих взял себе билетик. Но то ли это было игрой случая, то ли билетики оказались разложенными каким-нибудь особым образом, только почти все поэтические задачи выпали на долю аббата де Шолье, Сен-Женеста, Малезье, Сент-Олера и Лагранж-Шан-сея.

Остальные жребии достались госпоже де Круасси, госпоже де Роган и госпоже де Бриссак, а они немедленно выбрали себе в помощники Малезье, Сен-Жанеста и аббата де Шолье, у которых, следовательно, оказались двойные задания.

Д'Арманталь, к своей великой радости, вытянул пустой билетик и, таким образом, мог ограничиться аплодисментами, едой и питьем.

¹¹ Да здравствует и да будет почтен Новый кавалер Ордена Пчелы (итал)

Когда все билеты были разобраны, гости направились к столу, чтобы занять свои места, которые были расписаны заранее.

II. ПОЭТЫ РЕГЕНТСТВА

Однако поспешим сказать в похвалу герцогине дю Мен, что эта знаменитая лотерея, напоминавшая забавы лучших дней салона Рамбуйе, была, в сущности, вовсе не так нелепа, как могло показаться на первый взгляд. Сонеты, эпиграммы, короткие стихи были в те времена в большой моде, ибо как нельзя лучше выражали дух этой легкомысленной эпохи. Мощный костер поэзии, зажженный Корнелем и Расином, начинал угасать, и о его пламени, в свое время осветившем мир, напоминали только искры, которые вспыхивали, озаряя узкий кружок, разлетались по нескольким улочкам и тут же гасли.

Впрочем, не одна мода заставила герцогиню обратиться к поэтической лотерее: поскольку только пять или шесть человек знали об истинной цели праздника, устроенного во дворце Со, нужно было заполнить пустыми забавами те два часа, которые будет длиться ужин, чтобы любопытные взгляды не останавливались с излишней нескромностью на лицах посвященных. Именно для этой цели герцогиня дю Мен придумала одну из тех игр, благодаря которым дворец Со называли Академией остроумия.



Начало ужина, как обычно, прошло в молчании; каждому гостю надо было приноровиться к своим соседям, расположиться на отведенном ему узком пространстве и, наконец, утолить голод, который испытывают даже самые утонченные пасторальные поэты. Однако уже после первого блюда послышался легкий шепот, обычно предшествующий общему разговору.

Прекрасная фея Людовиза, не взявша себе помощника, дабы не показать дурного примера, задумалась, должно быть, над экспромтом, доставшимся ей по жребию, и поэтому была молчалива. Это обстоятельство вполне естественно бросило тень грусти на весь ужин. Малезье почувствовал, что надо спасти положение, и, обратившись к герцогине, сказал:

— Прекрасная фея Людовиза, твои подданные горько сетуют на твою молчаливость, к которой они не привыкли, и поручили мне принести их жалобы к подножию твоего трона.

— Увы, — ответила герцогиня, — вы сами видите, дорогой магистр, что я похожа на того ворона из басни, который, желая уподобиться орлу, пытается унести овечку. Экспромт оказался для меня капканом, и я не могу из него вырваться.

— Тогда, — сказал Малезье, — позволь нам впервые проклясть те законы, которые ты для нас установила. Ведь мы так привыкли к звуку твоего голоса и обаянию твоего ума, прелестная фея, что не в силах сносить твоё молчание.

Любое слово, что сказала ты.

Чарует нас, полно волшебной красоты,

Есть тысяча оттенков у него,

И если я ропщу на стих игривый,

Прости меня — ведь это оттого,

Что, сочиняя стих, ты стала молчаливой.

— Дорогой Малезье, — воскликнула герцогиня, — я беру у вас этот экспромт! С обществом я расквиталась и только вам должна поцелуй.

— Браво! — закричали все гости.

— Итак, начиная с этой минуты, прошу вас, господа, не вести больше частных разговоров, не шептаться друг с другом. Каждый из вас обязан развлекать всех... Давайте, мой Аполлон, — продолжала герцогиня, оборачиваясь к Сент-Олеру, который в этот момент говорил что-то на ухо сидевшей с ним рядом госпоже де Роган, — начнем наш допрос с вас. Скажите-ка нам вслух тот секрет, который вы собирались сейчас поведать своей прелестной соседке.

Должно быть, произнести вслух этот секрет было не очень-то удобно, ибо госпожа де Роган покраснела до корней волос и знаком приказала Сент-Олеру молчать. Тот жестом успокоил свою соседку, а затем повернулся к герцогине.

— Извольте, сударыня, — сказал он и обратился к присутствующим не только для того, чтобы выполнить приказ феи Людовизы, но и для того, чтобы преподнести обществу мадригал, который он по жребию обязан был сочинить:

Ты хочешь знать, какою тайной я владею?

Узнай, прекрасная: о, будь я Аполлон,

Была б Фетидой ты, не музою моею,

И мгла глубокая сокрыла б небосклон.

Этот мадригал, открывший Сент-Олеру спустя пять лет двери Академии, имел такой успех, что после шумных аплодисментов все присутствующие замолкли, ибо никто не решался выступить вслед за поэтом. Наконец это молчание прервала герцогиня, упрекнув Лаваль в том, что тот ничего не ест.

— Вы забываете о моей челюсти, — ответил Лаваль, указывая на свой забинтованный подбородок.

— Разве можем мы забыть о вашем ранении? — воскликнула герцогиня. — О ранении, полученном вами при защите родины на службе у нашего славного отца Людовика Четырнадцатого! Вы ошибаетесь, дорогой Лаваль, это регент не помнит о вашем ранении, а не мы.

— Во всяком случае, — добавил Малезье, — мне кажется, дорогой граф, что подобная рана должна внушать скорее гордость, нежели печаль.

Бог битвы страшен и силен.

Без челюсти оставил он Отважного Лавалья.

Но для чего судьбу бранить?

Пока есть глотка, чтобы пить,

Погибнет он едва ли!

— Боюсь, что в глотку Лавалья не попадет в этом году ни капли вина.

— Почему вы так думаете? — спросил аббат де Шолье с тревогой.

— Как, дорогой Анакреонт, — удивился кардинал, — вы не замечаете, что происходит? Взгляните на небо.

— Увы, — ответил аббат де Шолье, — разве не известно вашему преосвященству, что я уже едва различаю звезды на небе — так ослабели мои глаза. Но тем не менее ваши слова меня встревожили.

— А происходит следующее, — продолжал кардинал де Полиньяк. — Мои виноградары пишут мне из Бургундии, что если в ближайшие несколько дней Бог не пошлет дождя, то весь урожай погибнет от засухи.

— Вы слышите, Шолье, — сказала со смехом герцогиня дю Мен, — его преосвященство требует дождя, понимаете — дождя, а вы так ненавидите воду.

— Это правда, — ответил аббат де Шолье, — но все можно примирить.

Поверь мне, матушка, с воды меня тошнит.

Не то что вкус ее, один лишь только вид

Меня приводит в дрожь, я в бешенство впадаю!

Но, нынче по земле иссохнувшей бродя,

С тоскою о воде молю, как никогда, я:

Ведь жаждут виноградники дождя!

О небо, дай воды! Из темных туч полей

Просторы желтые заждавшихся полей!

Так долго бедная земля моя страдала...

Пусть ливень прошумит, промчится ураган!

А я уж постою под крышею, пожалуй,

Не то еще вода нальется в мой стакан.

— О, дорогой Шолье! — воскликнула герцогиня. — Ради меня, пощадите нас на сегодняшний вечер. Повремените до завтра. Дождь помешает тем развлечениям, которые милейшая де Лонэ, ваша приятельница, готовит для нас в парке.

— Так вот почему мы лишены удовольствия видеть эту прелестную ученую даму! — сказал маркиз де Помпадур. — Бедняжка де Лонэ жертвует собой ради наших удовольствий, а мы забываем о ней. О, сколь мы неблагодарны! Давайте, Шолье, выпьем за ее здоровье!

И Помпадур поднял свой бокал. Аббат де Шолье, шестидесятилетний поклонник будущей мадам де Сталь, немедленно последовал его примеру.

— Погодите, погодите! — воскликнул Малезье, протягивая свой пустой стакан Сен-Женесту. — Черт побери, я тоже хочу за нее выпить!

Я пустоты не признаю, друзья,

Век с пустотой бороться буду я,

Я к пустоте питаю отвращенье,

Я к ней враждой священной обуян,

И чтобы в этом не было сомненья,

О Сен-Женест, наполни мой стакан!

Сен-Женест поторопился исполнить требование Малезье. Но, ставя бутылку на стол, он то ли случайно, то ли нарочно опрокинул один из подсвечников. Свечи погасли. И тотчас же герцогиня, следившая своими быстрыми, живыми глазами за всем происходящим, высмеяла его неловкость.

Очевидно, аббат только этого и ждал, потому что он сразу обернулся к герцогине дю Мен и сказал:

— Очаровательная фея, вы напрасно высмеиваете мою неловкость. То, что вы принимаете за неуклюжесть, в действительности не что иное, как дань восхищения вашим прекрасным глазам.

— Как это может быть, дорогой аббат? Дань восхищения моим глазам? Вы так, кажется, сказали?

— Да, великая фея, — ответил Сен-Женест, — я так сказал и докажу это.

Пусть прост мой стих, послушайте поэта -

На небесах разлито столько света,
И попусту, весь мир во тьме. Светлее
Становится тогда лишь он для нас.
Когда взойдет Аминта, наша фея,
И брызнет свет из несравненных глаз.

Этот изящный мадригал, безусловно, был бы оценен по достоинству, если бы в тот самый момент, когда Сен-Женест читал последнюю строку, госпожа дю Мен, несмотря на все свои усилия сдержаться, не чихнула так оскорбительно громко, что, к великому отчаянию Сен-Женеста, галантный финал стихотворения пропал для большинства присутствующих. Но в этом обществе острословов ничто не пропадало даром: то, что вредило одному, шло на пользу другому. И едва герцогиня дю Мен успела так несвоевременно чихнуть, как Малезье продекламировал:

Когда чихнула наша фея,
Я перед ней застыл, немея:
Впервые я увидел ныне,
Впервые ясно я постиг,
Что у великой герцогини
Прелестный нос столь невелик!

Этот последний экспромт был настолько изыскан, что гости на мгновение умолкли, а затем с высоты поэзии спустились к вульгарной прозе.

Пока длился этот поединок умов, д'Арманталь молчал, пользуясь той свободой, которую давал ему пустой лотерейный билетик. Лишь время от времени он обменивался вполголоса каким-нибудь замечанием или едва заметной улыбкой со своим соседом Валефом. Впрочем, как и рассчитывала госпожа дю Мен, веселый ужин, несмотря на вполне понятную сосредоточенность некоторых гостей, принял столь легкомысленный и вольный характер, что стороннему наблюдателю трудно было догадаться, что кое-кого из присутствующих связывают нити заговора. То ли прекрасная фея Людовиза делала над собой усилие, стараясь казаться оживленной, то ли она и в самом деле радовалась тому, что ее честлюбивые замыслы столь близки к своему завершению, но, так или иначе, она вела застольную беседу с неподражаемым блеском, остроумием и очаровательной веселостью. Со своей стороны Малезье, Сент-Олер, Шолье и Сен-Женест, как мы видели, изо всех сил старались ей помочь.

Приближался момент, когда надо было выйти из-за стола. Сквозь закрытые окна и приоткрытые двери в зал доносились неясные звуки музыки, свидетельствующие о том, что гостей в парке ждут новые развлечения. Герцогиня дю Мен, увидев, что пришло время покинуть зал, сообщила, что накануне она обещала Фонтенелю наблюдать за восходом Венеры, а так как автор «Миров» прислал ей сегодня великолепный телескоп, она приглашает всех присутствующих воспользоваться возможностью вести астрономические наблюдения за прекрасной планетой. Это сообщение было настолько удобным поводом для сочинения мадригала, что Малезье не мог им не воспользоваться. Поэтому в ответ на высказанное герцогиней опасение, что Венера уже возшла, Малезье воскликнул:

— О прекрасная фея, вы знаете лучше всех, что нам нечего бояться!

Мы наблюдать выходим в сад За звездными мирами; Венеру тщетно ищет взгляд — Ведь нет принцессы с нами! Но если, встав из-за стола, Она сойдет из зала. Увидим мы: звезда возшла, Венера воссияла.

Таким образом, ужин завершился — так же, как и начался, — стихами Малезье. Раздались аплодисменты, и гости уже стали подниматься из-за стола, как вдруг Лагранж-Шан-сель, до сих пор не произнесший ни слова, обернулся к герцогине и сказал:

— Простите, сударыня, но я не могу остаться в долгу перед обществом, хотя с меня никто не требует уплаты. Как говорят, я весьма исправный должник, и поэтому мне необходимо рассчитаться сполна.

— А ведь и правда! — воскликнула герцогиня. — Вы, вероятно, хотите прочитать нам сонет?

— Отнюдь нет. Жребий определил сочинить мне оду. Что ж, я могу лишь поблагодарить за это судьбу, ибо такой человек, как я, не способен к модному нынче галантному

стихотворству. Мою музу, сударыня, как вы знаете, зовут Немезидой, и мое вдохновение не спускается ко мне с небес, а поднимается из глубин ада. Поэтому соблаговолите попросить ваших друзей уделить мне немного внимания, которым они в течение всего вечера дарили остальных.

Герцогиня дю Мен вместо ответа села на свое место, и гости последовали ее примеру. С минуту длилось молчание, и все взгляды с тревогой устремились на человека, который сам признался, что его музой была фурия, а Гиппокреной — Ахерон.

Но вот Лагранж-Шансель встал, мрачный огонь засверкал в его глазах, губы искривились горькой улыбкой, и глухим голосом, вполне гармонизировавшим с его словами, он прочитал стихи, которые позже докатились до Пале-Рояля и исторгли слезы возмущения из глаз регента. Эти слезы видел Сен-Симон.

О вы, ораторы, чьей гневной речи сила
Будила в древности в сердцах победный дух,
И Рим, и Грецию к борьбе вооружила,
Презреньем заклеив тиранов злобных двух,
Вложите весь ваш яд, всю вашу желчь в мой стих,
Чтоб поразить я мог того, кто хуже их!
О, страшный человек! Едва открыл он очи,
Как увидал барьер меж троном и собой,
И вот его сломить решил ценой любой,
И, мысли черные лелея дни и ночи,
В тиши овладевал — о, мстительный злодей! -
Уменьем всех Цирцей, искусством всех Медей.
Так не страшись, Харон, сил царственных теней,
Тебе Филиппом посылаемых до срока,
Готовься их перевезти в ладье своей
Чрез волны мутные загробного потока!
Потери вновь и вновь! О, скорбь, о, море слез!
О, сколько жизней злой расчет от нас унес!
Лишь в злодеяниях и черпая отраду,
С упорством шествуя по адскому пути,
К заветной цели он надеялся прийти,
За преступления стяжав себе награду.
Спешит за братом брат, муж за женою вслед² -
От смерти не уйти, для них спасенья нет!
И как волна волну сменяет без конца
На лоне вечного и быстрого потока,
Так падают сыны³, оплакавши отца⁴,
Рукой коварною повержены жестоко!
Удар настигнет всех. Вот два невинных сына⁵ -
Последний наш оплот — остались у дофина...
Но Парки рвется нить: навек покинул нас
Один-из них... Второй⁶ предчувствует свой час.
Внемли же мне, король⁷! Тебя пьянит давно
И лести фимиами, и роскоши вино,
Но ведомо ль тебе, где притаилась злоба,
Кто роду твоему готов нанести урон?
Пособник герцога⁸ в коварстве изощрен
Не меньше герцога... Достойны казни оба.
Преследуй изверга! Пусть, ужасом гоним,
Он к гибели спешит с помощником своим, -
Спасенье в смерти их!
Пусть страхом пораженный,
В позоре кончит жизнь, как древле Митридат,

Теснимый Римом и врагами окруженный, -
Так пусть же примет сам в отчаянье свой яд!
Демосфен и Цицерон.¹²

1 Как вспоминают, герцог Орлеанский был превосходным химиком. Именно исследования его в этой области, проводившиеся совместно с Юмбером, послужили главной основой клеветы, от которой долголетие Людовика XV не оставило камня на камне.

2 Дофин и супруга дофина.

3 Герцоги Бургундский и Беррийский. 4 Старый дофин.

5 Сыновья молодого дофина.

6 Людовик XV.

7 Людовик XIV.

8 Юмбер, химик.¹³

Невозможно передать впечатление, которое произвели на присутствующих стихи эти, прочитанные после экспромтов Малезье, мадригалов Сент-Олера и песенок Шолье. Гости молча переглядывались, словно охваченные ужасом оттого, что чудовищная клевета, до сих пор таившаяся по темным углам, вдруг открыто предстала перед ними. Даже сама герцогиня дю Мен, более всех повинная в распространении ужасных слухов, услышав оду, побледнела, словно воочию увидела отвратительную шестиглавую гидру, брызжущую ядом и желчью. Принц де Селламаре растерялся, не зная, как ему следует себя вести, а кардинал де Полиньяк дрожащей рукой теребил кружевной воротник сутаны.

Когда Лагранж-Шансель закончил чтение последней строфы, все продолжали молчать, и это молчание не могло не смутить поэта, ибо оно красноречивее всяких слов говорило о неодобрении его поступка даже самыми ярыми противниками регента. Герцогиня дю Мен встала, все гости последовали ее примеру и вслед за ней направились в парк.

На уложенной каменными плитами площадке перед входом в замок д'Армантадь, выходящий в сад последним, нечаянно толкнул Лагранж-Шанселя, который возвращался в зал за платком, забытым госпожой дю Мен.

— Прошу прощения, господин шевалье, — сказал Лагранж-Шансель, пристально глядя на д'Арманталя маленькими, пожелтевшими от желчи глазками, — уж не намерены ли вы ненароком наступить на меня?

— Да, сударь, — ответил д'Армантадь, глядя на Лагранж-Шанселя с высоты своего роста с таким отвращением, словно перед ним была жаба или змея. — Да, я так и сделал бы, если бы был уверен, что раздавлю вас.

И, взяв под руку Валефа, д'Армантадь спустился с ним в парк.

III. КОРОЛЕВА ГРЕНЛАНДЦЕВ

Как легко было догадаться еще во время ужина, праздник, начало которого читатели видели, должен был перейти и действительно перешел из дворцовых зал в парк, где герцогиня дю Мен, как обычно, приготовила для своих гостей немало всевозможных развлечений. И в самом деле, обширный парк замка Со, спроектированный Ле Нотром для Кольбера, а затем купленный герцогом дю Мен, превратился под руководством герцогини в поистине сказочный уголок. Просторные французские парки с их зеленой буковой порослью, длинными липовыми аллеями, тисовым кустарником, искусно подстриженным в форме шаров, спиралей и пирамид, куда более подходят для пышных празднеств с балетами на мифологические темы, что были в моде при Великом короле, нежели тесные английские парки, с их извилистыми дорожками и закрывающими горизонт буйно разросшимися деревьями. Парк Со отличался поистине королевским великолепием. Там все поражало и радовало взгляд: искусственные пруды, газоны для игр в серсо, площадки для игры в мяч и возвышающийся посреди озера павильон Авроры, названный так потому, что оттуда обычно подавался сигнал, возвещавший наступление утра и

¹² На с. 212-214 примеч. автора

¹³ Автор оды подвергает здесь сомнению храбрость герцога Орлеанского при Стейкеркене, Нервиндене и Лериде

призывающий гостей отправится на покой. Все гости герцогини дю Мен, выйдя на площадку перед входом во дворец, замерли в восхищении при виде высоких деревьев, прямых и красивых аллей и изящных буковых зарослей, перевитых гирляндами разноцветных фонариков, превращавших темную ночь в ослепительно яркий день. Где-то играл оркестр, и звуки восхитительной музыки неслись по парку. Вдруг в глубине парка появились и в такт музыке стали приближаться к зрителям какие-то странные фигуры. Когда присутствующие разглядели, что по широкой аллее движутся гигантские кегли с королем впереди и шаром, замыкающим шествие, все громко расхохотались. Кегли дошли до вымощенной каменными плитами площадки, расположились в определенном порядке, словно для начала игры, и, изящно поклонившись герцогине дю Мен, запели хором жалобную песню о том, что до сего дня несчастная игра в кегли, которой всегда меньше везло, чем играм в серсо и в мяч, была изгнана из парка Со. Кегли просили герцогиню исправить эту несправедливость и позволить им, так же как и прочим играм, развлекать благородных гостей прекрасной феи Людовизы. Эта жалобная песня была написана в форме девятиголосой кантаты и исполнялась под аккомпанемент альтиков и флейт, с сольной партией баса, которую пел шар. Хор кеглей произвел большое впечатление своей оригинальностью и виртуозностью. Поэтому все гости поддержали их просьбу, и госпожа дю Мен ее удовлетворила. И тотчас же, словно выражая свою радость, кегли по сигналу шара, который тихо повернулся вокруг своей оси, начали танцевать с такими утомительными ужимками и так забавно покачивая головами, что балет имел еще больший успех, нежели исполненный до него вокальный номер. Герцогоня дю Мен, весьма довольная этим представлением, обратилась к кеглям с шутливой речью, в которой выразила свое сожаление по поводу того, что так долго их не признавала, и свою радость, что наконец с ними познакомилась. Затем она властью Королевы Пчел присвоила им звание «Благородной Игры в Кегли», чтобы они ни в чем не уступали своей сопернице — «Благородной Игре в Гуся».

Как только кеглям была дарована эта милость, они тотчас же удалились, уступив место новой живописной группе, которая уже двигалась по аллее. Это было шествие из семи закутанных в мех фигур с меховыми шапками на головах. Они важно шли вслед за санями, запряженными оленями. Все говорило о том, что группа прибыла с севера: в самом деле, это были посланцы Гренландии, прибывшие к фее Людовизе. Впереди шествовал главный посол в широком балахоне, подбитом кунным мехом, и в лисьей шапке, с которой свисали три хвоста — два по бокам и один сзади.

Когда вся эта группа приблизилась к герцогине дю Мен, посол отвесил ей низкий поклон и сказал от имени всех своих спутников:

— Сударыня, гренландцы на своей национальной ассамблее решили выделить из своей среды самых именитых граждан, чтобы послать их к вашему светлейшему высочеству. Мне выпала честь возглавить это посольство, имеющее целью предложить вам от имени всех гренландцев безраздельную власть над их страной.

Намек был настолько явным и вместе с тем был выражен в такой безобидной форме, что послышался гул одобрения, а на устах прекрасной феи Людовизы заиграла милостивая улыбка. Посол, видимо одобренный благосклонным приемом, который встретила его речь, продолжал:

— Молва докатывается до Гренландии лишь в самых редких случаях, однако и до нас, затерянных среди льдов и снегов, живущих на самом краю света, дошли слухи о прелести, добродетелях и счастливых склонностях вашего светлейшего высочества. Так мы узнали, что ваше высочество ненавидит солнце.

Этот новый намек был встречен с не меньшим сочувствием и воодушевлением, чем первый. Дело в том, что девизом регента было солнце, а герцогиня дю Мен была известна своей любовью к ночи.

— Сударыня, — продолжал посол, — поскольку Бог, исходя из нашего географического положения, даровал нам в своей несказанной доброте шесть месяцев ночи и шесть месяцев сумерек, мы предлагаем вам приехать к нам, чтобы не видеть больше ненавистного вам солнца. Чтобы возместить вам те почести, которых вы лишаетесь здесь, мы предлагаем вам титул королевы Гренландской. Мы уверены, что от одного вашего присутствия зацветет наша бесплодная земля и что мудрость ваших законов укротит наши непокорные умы. Мы готовы отказаться от своей свободы, которая нам не так мила, как ваша королевская власть.

— Но мне кажется, — сказала госпожа дю Мен, — что королевство, которое вы мне предлагаете, находится далеко, а меня, признаюсь, пугают далекие путешествия.

— Мы предвидели этот ответ, сударыня, — возразил посол. — Опасаясь, что вы окажетесь ленивей, чем Магомет, и не пожелаете идти к горе, мы с помощью знаменитого чародея устроили так, что гора придет к вам... Эй, гении полюса, — воскликнул посол, чертя палочкой по воздуху какие-то кабалистические знаки, — пусть все увидят дворец нашей новой повелительницы!

В то же мгновение послышалась фантастическая музыка, и дымка, скрывавшая доселе павильон Авроры, рассеялась, словно по волшебству, а тусклая, как потемневшее зеркало, вода озера вдруг озарилась таинственным светом, напоминающим свет луны. И вот изумленные гости увидели дворец королевы Гренландской, стоящий на ледяном острове, у подножия прозрачной, покрытой снегом вершины. К дворцу вел мост, такой легкий, воздушный, что казалось — он сделан из облака. Под восхищенные возгласы присутствующих посол взял из рук одного из своих спутников корону и надел ее на голову герцогини. Поправив корону столь величественным жестом, что можно было подумать, будто герцогиню и вправду только что короновали, госпожа дю Мен села в сани и поехала в свой морской дворец. Затем она прошла по мосту и вместе с семьёй посланцами Гренландии скрылась в воротах, напоминающих вход в пещеру, а стража сдерживала толпу, не давая ей последовать за королевой в ее новое жилище.

Мост тут же исчез, словно искусный машинист, управляющий феерией, хотел показать, что прошлое не имеет связи с будущим, а над павильоном Авроры засверкали огни фейерверка, символизирующие радость, испытываемую гренландцами при виде своей новой королевы.

Тем временем лакей ввел герцогиню дю Мен в самую изолированную комнату ее нового дворца. Семь посланцев из Гренландии сняли свои меховые шапки, и перед герцогиней предстали принц де Селламаре, кардинал де Полиньяк, маркиз де Помпадур, граф де Лаваль, барон де Валеф, шевалье д'Арманталь и господин де Малезье. Лакей же, который встречал их у дворца, а затем, старательно заперев все двери, бесцеремонно присоединился к этому избранному обществу, оказался не кем иным, как нашим старым другом аббатом Бриго.

Итак, все предстало наконец в своем истинном свете, и праздник, так же как гренландские посланники, сбросив маскарадный костюм, обернулся собранием заговорщиков.

— Господа, — воскликнула герцогиня дю Мен с присущей ей живостью, — нельзя терять ни минуты: наше длительное отсутствие может возбудить подозрения! Каждый из нас должен поскорее рассказать, чего он добился, чтобы стало ясно, как обстоят наши дела.

— Простите, сударыня, — сказал принц, — но вы говорили, что с нами заодно еще один человек, а я здесь его не вижу. Я был бы в отчаянии, если бы оказалось, что он не в наших рядах.

— Вы имеете в виду герцога де Ришелье, не правда ли? — спросила госпожа дю Мен. — Да, он обещал приехать, но, видимо, его задержало какое-нибудь приключение или отвлекло какое-нибудь свидание. Придется нам обойтись без него.

— Разумеется, сударыня, — ответил принц, — разумеется, если он не явится, нам придется обойтись без него, но не стану от вас скрывать, что его отсутствие меня весьма огорчило бы. Полк, которым он командует, стоит в Байонне, и Ришелье был бы нам чрезвычайно полезен. Поэтому прошу вас, герцогиня, сообразоволите отдать распоряжение, чтобы Ришелье ввели к нам тотчас же, если он придет.

— Аббат, — сказала госпожа дю Мен, оборачиваясь к Бриго, — вы слышали? Предупредите Да Вранша.

Бриго вышел, чтобы выполнить полученный приказ.

— Простите, сударь, — сказал д'Арманталь, обращаясь к Малезье, — но, насколько я знаю, полтора месяца назад господин де Ришелье решительно отказался присоединиться к нам.

— Да, это верно, — подтвердил Малезье. — Дело в том, что Ришелье поручили тогда отвезти голубую ленту ордена Святого Духа принцу Астурийскому, и ему, понятно, не хотелось ссориться в такой момент с регентом, так как он рассчитывал получить в награду за свою миссию орден Золотого Руна. Но с тех пор регент успел передумать: поскольку отношения с Испанией испортились, он решил не посылать пока орден. А Ришелье, видя, что орден Золотого Руна от него ускользает, намерен теперь присоединиться к нам.

— Приказ вашего высочества передан кому следует, — сказал, вернувшись, аббат Бриго. — Если герцог де Ришелье появится в Со, его немедленно приведут сюда.

— Хорошо, — сказала герцогиня дю Мен. — Давайте сядем за стол и поговорим о наших делах... Лаваль, извольте начинать.

— Сударыня, — проговорил Лаваль, — как вам известно, я был в Швейцарии и действовал там от имени короля Испании. В Гризоне мне удалось поднять полк, который готов вступить во Францию, когда настанет момент действовать. Полк этот вооружен, снабжен всем необходимым и ждет лишь приказа, чтобы выступить.

— Отлично, дорогой граф, отлично! — подхватила герцогиня. — Если вы не считаете, что для Монморанси унизительно командовать полком, то в ожидании лучшей награды примите командование на себя. Поверьте, что это более близкий путь к ордену Золотого Руна, нежели поездка в Испанию для вручения принцу ордена Святого Духа.

— Сударыня, — сказал Лаваль, — в вашей власти повелевать нами и назначать нас на должности по своему усмотрению, и ваш покорнейший слуга с благодарностью примет любой пост, который вы соблаговолите ему назначить.

— А вы, маркиз? — спросила госпожа дю Мен, жестом поблагодарив Лаваль за его ответ. — Что вы успели сделать?

— Выполняя приказ вашего высочества, — ответил маркиз де Помпадур, — я побывал в Нормандии и собрал там среди дворян подписи под петицией протеста. Я привез вам тридцать восемь подписей представителей самых знатных семей... — И маркиз вынул из кармана бумагу. — Взгляните, сударыня, вот петиция, адресованная королю.

Герцогиня с такой поспешностью схватила бумагу, что могло показаться, будто она ее вырвала. Бросив быстрый взгляд на петицию, она сказала:

— Да, да, вы хорошо сделали, что написали: «Подписи следуют без различия титулов и рангов». Против этого нечего возразить. Да, это исключает всякие споры о старшинстве. Отлично. Я вижу здесь подписи Гийома Александра де Вье-Пон, Пьера Анн Мари де ла Пайетри, де Бофремона, де Латур-Дюпена, де Шатийона... Да, вы правы — это не просто славные имена, а имена самых верных сынов Франции. Спасибо, маркиз, вы отлично справились со своей миссией, и мы этого не забудем. Придет час, и вам будет поручена не миссия, а посольство... Ну, а вы что скажете, шевалье? — спросила герцогиня с той очаровательной улыбкой, против которой, как она знала, невозможно было устоять.

— Я? — переспросил шевалье. — По приказу вашего высочества я отбыл в Бретань. Приехав в Нант, я вскрыл полученный мною конверт и узнал, что мне надлежит делать.

— И что же? — живо спросила герцогиня.

— Я не менее удачно справился с данным мне поручением, чем Лаваль и Помпадур. Вот подписи господ де Монлуи, де Бонамура, де Пон-Кале и де Роган-Сольдю. Пусть только появится у наших берегов испанская эскадра, и вся Бретань восстанет.

— Вот видите, вот видите, принц! — воскликнула герцогиня, обращаясь к де Селламаре. И в ее голосе зазвучали нотки честолюбивой радости. — Все поддерживают нас!

— Да, — согласился принц. — Но эти четыре фамилии при всей их влиятельности не представляют всего дворянства Бретани. Не менее важно было бы заручиться поддержкой таких семей, как Лагерш-Сент-Аман, Буа — Дави, Ларошфуко-Гон-драль и, скажем, Декур или д'Эре.

— И это уже сделано, принц де Селламаре, — сказал д'Арманталь. — Вот их письма, взгляните.

Шевалье вынул из кармана пачку писем, развернул наугад несколько из них и прочел вслух:

«Я весьма польщен тем вниманием, которое мне оказало ее высочество, и Вы можете не сомневаться, что, когда будет созвана ассамблея Генеральных штатов, я присоединю свой голос к голосам всего дворянства, которое докажет свою преданность ее высочеству.

Маркиз Декур».

«Если я пользуюсь некоторым влиянием и уважением в моей провинции, то употребляю их для того, чтобы убедить всех в правоте дела, которому посвятила себя ее высочество.

Ларошфуко-Гондраль».

«Ежели успех Вашего дела зависит от поддержки семисот или восьмисот дворян, то смею Вас уверить, сударыня, что можно считать его обеспеченным. Имею честь еще раз заверить Вас, что сделаю все от меня зависящее для осуществления замыслов Вашего высочества.

Граф д'Эре».

— Ну что ж, принц, — воскликнула госпожа дю Мен, — теперь вы сдаетесь? Глядите, помимо этих трех писем, вот еще письмо от Лавопойона, от Буа — Дави, от Фюме... Вот вам моя правая рука, шевалье, та рука, которая будет держать перо. Пусть ее пожатие будет для вас залогом, что в тот день, когда подпись этой руки станет королевской, вам ни в чем не будет отказа.

— Благодарю вас, сударыня, — сказал д'Арманталь, почтительно прикоснувшись губами к протянутой руке, — но эта рука и так дала мне больше, чем я заслужил, и успех нашего дела, который позволит вашему высочеству занять место, принадлежащее вам по праву, явится для меня столь щедрой наградой, что нечего будет больше желать.

— А теперь, Валеф. ваша очередь, — продолжала герцогиня. — Ваш отчет мы приберегли напоследок, потому что у вас было самое важное поручение. Если я верно истолковала те знаки, которыми мы обменялись во время ужина, у вас нет оснований быть недовольным его величеством королем Испании, не так ли?

— Что бы вы сказали, ваше высочество, если бы я вам привез письмо, написанное рукой Филиппа Испанского?

— Что бы я сказала, получив письмо, написанное рукой его величества? — воскликнула госпожа дю Мен. — Я бы сказала, что никогда не смела даже и надеяться на это.

— Принц, — начал Валеф, передавая письмо де Селламаре, — вам знаком почерк его величества короля Филиппа Пятого. Подтвердите ее высочеству, что письмо от первой до последней строки написано рукой короля Испании.

— Да, от первой до последней строки, — подтвердил де Селламаре, склонив голову, — от первой до последней, это истинная правда.

— А кому адресовано это письмо? — спросила герцогиня дю Мен, принимая его из рук герцога.

— Людовику Пятнадцатому, сударыня, — ответил де Валеф.

— Отлично, отлично! — сказала герцогиня. Мы передадим это письмо его величеству через маршала де Вильруа. Ну что ж, прочтем, что пишет Филипп Пятый.

И госпожа дю Мен, торопливо разбирая трудный почерк короля, прочла следующее:

«Эскуриал, 16 марта 1718 года¹⁴.

С тех пор как Провидение венчало меня на испанский престол, я никогда не забываю о тех обязательствах, которые накладывает на меня мое происхождение: я ни на миг не перестаю думать о светлой памяти Людовике Четырнадцатом. Мне и посейчас слышатся слова, кои произнес великий король при нашем расставании. Он поцеловал меня и сказал: «Пиренеев более не существует!» Ваше величество — единственный отпрыск моего старшего брата, кончину которого я не перестаю оплакивать и поныне. По воле Всевышнего Вы унаследовали власть над великой монархией, слава и интересы которой мне будут дороги до конца моих дней. Мое сердце полно любви к Вам, и я никогда, ни за что на свете не забуду своего долга перед Вашим величеством, моей родиной, памятью моего покойного деда. Мои дорогие испанцы, которых я люблю с нежностью, не сомневаются в моих чувствах и не ревнуют меня к королю Франции, так как прекрасно понимают, что наш союз является основой их благополучия. Я льщу себя надеждой, что мои личные интересы по-прежнему дороги нации, которая меня вскормила, и что ее благородное дворянство, пролившее столько крови для защиты этих интересов, будет всегда хранить любовь к королю, гордящемуся тем, что он столь многим обязан дворянству Франции и принадлежит к нему по своему рождению...»

Это о вас, господа, — сказала, прервав чтение, герцогиня дю Мен и указала грациозным движением руки на присутствующих. Затем она тут же стала читать дальше, сгорая от нетерпения:

¹⁴ Это письмо, хранящееся в архивах Министерства иностранных дел, действительно написано Филиппом V собственноручно. (Примеч. автора)

«Как же встретят Ваши верноподданные союз, заключенный против меня или, выражаясь точнее, против Вас самих?»¹⁵ С тех пор как Ваша опустевшая казна оказалась не в силах выдержать текущие расходы мирного времени, Ваше величество хотят заставить заключить союз с моим смертельным врагом и пойти на меня войной в случае, если я откажусь отдать Сицилию эрцгерцогу. Я никогда не соглашусь на эти условия, ибо они для меня совершенно неприемлемы. Я не стану сейчас останавливаться на пагубных последствиях предполагаемого союза. Ограничусь лишь настоятельной просьбой к Вам, Ваше величество, немедленно созвать Генеральные штаты вашего королевства, чтобы обсудить этот шаг, могущий иметь столь серьезные последствия».

— Созвать Генеральные штаты!.. — пробормотал кардинал де Полиньяк.

— Что хочет сказать ваше преосвященство по поводу Генеральных штатов? — нетерпеливо перебила кардинала герцогиня дю Мен. — Эта мера имела несчастье не получить вашего одобрения, не так ли?

— Я не порицаю и не одобряю ее, сударыня, — ответил кардинал. — Я вспоминаю лишь, что Генеральные штаты были созваны во времена Лиги, и что Филиппу Второму это пошло во вред.

— Времена и люди с тех пор успели измениться, господин кардинал! — горячо возразила герцогиня дю Мен. — Теперь не 1594 год. Филипп Второй был фламандцем, а Филипп Пятый — француз. Различные причины не могут вызвать одинаковые следствия. Простите, господа... — И герцогиня дю Мен продолжила чтение письма:

«Я обращаюсь к Вам с этой просьбой во имя нашего кровного родства, во имя великого короля, Вашего прадеда и моего деда, во имя народов наших стран. Настал час услышать голос французской нации. Необходимо, чтобы нация сама высказала все, что она думает. Необходимо узнать, желает ли она объявить нам войну. Поскольку я готов рисковать своей жизнью во имя ее славы и ее интересов, я смею надеяться, что Вы незамедлительно ответите на мое предложение. Пусть же ассамблея, о созыве которой я Вас прошу, предупредит несчастья, готовые на нас обрушиться; пусть силы Испании будут употреблены лишь на поддержание величия Франции и на унижение ее врагов, как я употребляю все силы, чтобы доказать Вашему величеству ту искреннюю и невыразимую любовь, которую я к Вам питаю».

— Ну, что вы на это скажете, господа? Могло ли его католическое величество сделать для нас больше? — спросила госпожа дю Мен.

— Его величество могло бы присоединить к этому письму послание к Генеральным штатам, — ответил кардинал. — Такое послание, если бы только король соблаговолил написать его, оказало бы большое влияние на ход обсуждения.

— Вот оно — это послание, — сказал принц де Селламаре, в свою очередь вынимая из кармана бумагу.

— Как, принц? — воскликнул кардинал. — Что вы говорите?

— Я говорю, что его католическое величество было того же мнения, что и ваше преосвященство, и потому король соизволил передать мне это послание в дополнение к тому письму, которое привез барон де Валеф.

— Итак, теперь у нас есть все! — воскликнула госпожа дю Мен.

— У нас нет Байонны, — сказал принц де Селламаре, покачав головой. — Байонна — это ворота Франции.

В этот момент появился Давранш и доложил о прибытии герцога де Ришелье.

— А теперь, принц, у нас в самом деле есть все, — смеясь, сказал маркиз де Помпадур, — ибо вот человек, в руках которого ключ от этих ворот.

IV. ГЕРЦОГ ДЕ РИШЕЛЬЕ

— Наконец-то! — воскликнула герцогиня при виде входящего Ришелье. — Это вы, герцог?.. Боюсь, что вы неисправимы, и ваши друзья никогда не смогут рассчитывать на вас больше, чем ваши любовницы.

¹⁵ Речь идет о договоре четырех государств, который Дюбуа привез из Лондона. (Примеч. автора)

— Напротив, мадам, — отвечал Ришелье, подходя к герцогине и целуя ей руку с почтительной простотой человека, для которого женщина есть женщина независимо от ее общественного положения, — напротив, ибо сегодня я, более чем когда-либо, доказываю вашему высочеству, что умею совмещать все.

— Итак, вы приносите нам жертву, герцог, — сказала смеясь госпожа дю Мен.

— И она, честное слово, в тысячу раз больше, чем вы можете себе представить. Вообразите только, кого я вынужден был покинуть!

— Госпожу де Виллар? — прервала его герцогиня.

— О нет! Моя жертва больше.

— Госпожу де Дюра?

— Вовсе нет.

— Госпожу де Нель?

— Вот еще!

— Госпожу де Полиньяк? Ах, извините, кардинал!

— Продолжайте. Нет, это ничуть не касается его высокопреосвященства.

— Госпожу де Субиз, госпожу де Габриан, госпожу де Гассе?

— Нет, нет, нет.

— Мадемуазель де Шароле?

— Я не видел ее со времени моего последнего путешествия в Бастилию.

— Герцогиню Беррийскую?

— Вы хорошо знаете, что, с тех пор как Риои вознамерился ее победить, она без ума от него.

— Мадемуазель де Валуа?

— Ее я берегу, чтобы сделать своей женой, когда мы победим и я стану испанским принцем. Нет, мадам, ради вашего высочества я покинул двух очаровательнейших гризеток!

— Гризеток! Ах, как можно? — воскликнула герцогиня, скривив губы с выражением бесконечного презрения. — Я не думала, что вы опустились до подобных созданий.

— Ну почему же! Это две очаровательные женщины, госпожа Мишлен и госпожа Рено. Вы не знакомы с ними? Госпожа Мишлен — прелестная блондинка, настоящая головка Грёза; муж ее обойщик; я вам его рекомендую, герцогиня. Госпожа Рено — восхитительная брюнетка с голубыми глазами и черными бровями... а кто ее муж, я, ей-Богу, хорошенько не помню.

— Вероятно, господин Мишлен, — сказал Помпадур со смехом.

— Простите, господин герцог, — продолжала госпожа дю Мен, которая потеряла всякий интерес к любовным похождениям Ришелье, как только его приключения эти вышли за пределы ее сословия. — Простите, но смею ли я вам напомнить, что мы собрались здесь для серьезных дел?

— Ах да, у нас заговор, не так ли?

— Вы об этом забыли?

— По правде сказать, да, поскольку заговор — и вы с этим согласитесь, госпожа герцогиня дю Мен, — дело не из самых веселых, то сознаюсь: каждый раз, когда есть возможность, я забываю, что в нем участвую. Но это ничего не значит: точно так же каждый раз, когда надо вновь за него приняться, я за него принимаюсь. Итак, госпожа герцогиня, как же обстоят дела с заговором?

— Вот, ознакомьтесь с этими письмами, и вы будете знать не меньше нашего.

— О, пусть ваше высочество извинит меня, — ответил Ришелье, — но я не читаю даже тех писем, которые адресованы мне самому... Послушайте, Малезье, у вас такая светлая голова, изложите мне вкратце, что здесь написано.

— Извольте, герцог, — сказал Малезье. — Вот эти письма содержат обязательства бретонских дворян поддержать права ее высочества.

— Отлично!

— А эта бумага содержит протест дворянства.

— Тогда передайте ее мне. Я тоже протестую.

— Но вы ведь не знаете даже, против кого направлен этот протест.

— Неважно, я всегда протестую.

И, взяв бумагу, он поставил свою подпись под именем Гийома Антуана де Шателлю, который стоял последним в списке.

— Не препятствуйте ему, сударыня, — сказал де Селламаре, обращаясь к герцогине. — Иметь подпись Ришелье никогда не лишне.

— А это что за письмо? — спросил герцог, указывая пальцем на послание испанского короля.

— Это письмо, — продолжил Малезье, — написано собственноручно королем Филиппом Пятым.

— А почерк-то у его величества еще хуже, чем у меня! — воскликнул Ришелье. — Приятно видеть. А Раффе говорит, что хуже моего не бывает.

— Хотя письмо и написано плохим почерком, оно тем не менее содержит отличные новости, — сказала госпожа дю Мен. — Это просьба, адресованная королю Франции, созвать Генеральные штаты, чтобы помешать заключению союза четырех держав.

— Ах, вот оно что, — произнес Ришелье. — А ваше высочество уверено в решении Генеральных штатов?

— Вот петиция дворянства. Кардинал отвечает за духовенство. Таким образом остается лишь армия.

— Армию я беру на себя, — сказал Лаваль. — У меня есть пустые бланки, подписанные двадцатью двумя полковниками.

— Прежде всего я могу поручиться за свой полк, — сказал Ришелье, — а поскольку он стоит в Байонне, он может оказать нам большие услуги.

— Да, — подхватил де Селламаре, — мы на него рассчитываем. Но я слышал, что его хотят перевести в другое место.

— Seriously?

— Совершенно серьезно. Вы сами понимаете, герцог, что мы не можем этого допустить.

— Еще бы! Я немедленно приму меры. Дайте мне бумагу и чернила... Я напишу герцогу де Бервику. Никому не покажется странным, что теперь, накануне ожидаемого выступления, я ходатайствую перед ним о милости не быть удаленным от театра военных действий.

Герцогиня дю Мен поторопилась собственноручно подать Ришелье перо и бумагу.

Герцог поблагодарил ее поклоном, взял перо и, не отрываясь, написал письмо, которое мы здесь приводим, не меняя в нем ни единого слова:

«Герцогу де Бервику, пэру и маршалу Франции¹⁶.

Сударь, мой полк может быть брошен в дело одним из первых и должен заняться своей экипировкой, которую не сможет закончить, если ему придется перейти в другое место.

Имею честь Вас умолять, сударь, оставить полк в Байонне до начала мая, когда экипировка закончится, и прошу Вас при сем принять мои уверения в полном уважении и считать меня, сударь, Вашим покорным слугой.

Герцог де Ришелье».

— Простите, сударыня, — сказал герцог, протягивая письмо госпоже дю Мен. — Благодаря этой мере предосторожности полк не двинется из Байонны.

Герцогиня взяла письмо, прочла его и передала своему соседу, который, в свою очередь, передал следующему, так что письмо быстро обошло стол. К счастью, герцог имел дело с людьми слишком знатными для того чтобы обращать внимание на такие пустяки, как орфографические ошибки. Только Малезье, который последним прочел письмо, не смог удержаться от легкой усмешки.

— А, господин поэт, — воскликнул Ришелье, догадавшись, в чем дело, — вы смеетесь надо мной. Видно, я имел несчастье оскорбить эту смешную недотрогу, именуемую орфографией. Но что поделаешь, я дворянин, и меня забыли обучить французскому языку, надеясь на то, что я смогу за тысячу пятьсот ливров в год нанять лакея, который будет вместо меня писать письма и сочинять стихи. Так оно и получилось. Однако это мне не мешает,

¹⁶Герцог де Бервик был назначен главнокомандующим королевскими армиями на случай начала военных действий и принял это назначение, хотя Филипп V дал ему титул испанского гранда, сделал его герцогом и наградил орденом Золотого Руна. (Примеч. автора)

дорогой Малезье, стать членом Академии не только раньше вас, но и раньше Вольтера.

— В таком случае вступительную речь вам тоже напишет лакей?

— Он ее уже готовит, господин сенешаль. И вы увидите, что она будет не хуже тех речей, которые сочинили знакомые мне академики.

— Герцог, — сказала госпожа дю Мен, — ваш прием в Академию будет, наверное, весьма любопытным зрелищем, и я обещаю вам завтра же обеспечить себе место в зале Академии на это знаменательное заседание. Но на сегодняшний вечер у нас назначены другие дела. Итак, вернемся же к нашим баранам.

— Раз уж вам, прекрасная герцогиня, обязательно надо быть пастушкой, говорите, я вас слушаю. Так что же вы решили?

— Мы вам уже рассказали, что намерены при помощи этих двух писем добиться от короля созыва Генеральных штатов. Когда же Генеральные штаты будут созваны, мы, предварительно заручившись поддержкой дворянства, духовенства и армии, низвергнем регента и назначим вместо него правителем Франции Филиппа Пятого.

— А поскольку Филипп Пятый не может покинуть Мадрид, он даст нам самые широкие полномочия, и мы вместо него будем управлять Францией... Что ж, совсем неплохо! Но ведь Генеральные штаты могут быть созваны лишь по приказу короля.

— Король подпишет этот приказ, — сказала госпожа дю Мен.

— Подпишет без ведома регента? — спросил Ришелье.

— Да, без ведома регента.

— Вы, должно быть, обещали епископу Фрежюсскому кардинальскую мантию?

— Нет, но я пообещаю Вильруа звание гранда и орден Золотого Руна.

— Боюсь, герцогиня, — заметил принц де Селламаре, — что это окажется недостаточным, чтобы склонить маршала на столь ответственный шаг.

— На этот шаг нужно прежде всего склонить жену маршала.

— О, вы мне подали отличную мысль! — воскликнул Ришелье. — Это я беру на себя.

— Вы? — удивилась герцогиня.

— Да, я, сударыня, — ответил Ришелье. — У вас своя переписка, у меня своя. Я сейчас ознакомился с семьей или восемью письмами, которые вы получили сегодня. Соболаговолите, ваше высочество, прочитать одно письмо, полученное мной вчера.

— Это письмо я должна читать про себя или его можно прочесть вслух?

— Я полагаю, мы имеем дело с людьми, умеющими хранить тайны? — сказал Ришелье, обводя присутствующих невозмутимым взглядом.

— Смею надеяться, — ответила герцогиня, — к тому же серьезность положения...

— Читайте же, герцогиня. Герцогиня взяла письмо и прочла вслух:

«Герцог, я сдержала свое слово. Мой муж завтра отправляется в поездку, о которой я Вам говорила. В одиннадцать утра я буду ждать Вас у себя. Имейте в виду, что я решилась на это только потому, что считаю господина Вильруа виноватым передо мной. Боюсь, как бы не пришлось поручить Вам наказать его. Приходите же в условленный час и дайте мне возможность убедиться, что меня не следует слишком осуждать за то, что я отдала Вам предпочтение перед своим законным повелителем и господином...»

— О, простите меня, ради Бога, простите меня, герцогиня, за мою рассеянность! Я вовсе не то письмо хотел вам показать, это я получил позавчера, а я имел в виду вчерашнее.

Герцогиня дю Мен взяла у Ришелье второе письмо и принялась опять читать вслух:

«Мой дорогой Арман...»

— А это то письмо, которое нужно? Не ошиблись ли вы еще раз? — спросила герцогиня, оборачиваясь к Ришелье.

— Нет, ваше высочество, на этот раз я не ошибся. Герцогиня начала снова:

«Мой дорогой Арман!

Когда Вы выступаете против господина де Вильруа, Вы становитесь весьма красноречивым прокурором. Мне, во всяком случае, необходимо преувеличивать Ваши таланты, чтобы оправдать тем самым свою слабость. Мое сердце — судья, заинтересованный в том, чтобы Вы выиграли дело. Приходите же завтра, мы продолжим прения. Я приму Вас на

своей судейской кафедре — так вы, кажется, назвали вчера мою софу»¹⁷.

— И вы пошли на свидание?

— Конечно, сударыня.

— Значит герцогиня...

— ... сделает, я надеюсь, все, что мы захотим. А так как она может заставить своего мужа сделать все, что она захочет, мы получим приказ короля о созыве Генеральных штатов, как только вернется маршал.

— А когда он возвращается?

— Через неделю.

— Так, значит, мы можем рассчитывать на вас?

— Я всецело посвящаю себя нашему делу.

— Господа, — сказала герцогиня дю Мен, — вы все слышали, что сказал Ришелье. Пусть же каждый из нас продолжает работать. Вы, Лаваль, воздействуйте на армию. Вы, Помпадур, — на дворянство. Вы, кардинал, — на духовенство. А герцог де Ришелье пусть воздействует на госпожу де Вильруа.

— На какой же день назначается наша следующая встреча? — спросил де Селламаре.

— Это зависит от того, как сложатся обстоятельства, — ответила герцогиня. — Во всяком случае, если у меня не будет времени предупредить вас заранее, я пошлю за вами ту же карету и того же кучера, который привез вас в Арсенал в первый раз.

Затем, вставая и обернувшись к Ришелье, она продолжала:

— Вы подарите нам остаток вашей ночи, герцог?

— Я прошу прощения у вашего высочества, — ответил Ришелье, — но это, увы, совершенно невозможно: меня ждут на улице Добрых Ребят.

— Как! Значит вы возобновили отношения с госпожой де Сабран?

— Смею вас уверить, мадам, что мы их никогда не прерывали.

— Берегитесь, герцог: ведь это уже постоянство!

— Нет, мадам, это расчет.

— Ну, вы, я вижу, готовы полностью посвятить себя нашему делу.

— Я ничего не делаю наполовину, госпожа герцогиня.

— Что ж! Бог помогает нам, и мы будем брать с вас пример, господин герцог, обещаем вам это.

— Господа, — продолжала герцогиня, — мы сидим здесь уже часа полтора, и нам пора вернуться в парк, если мы не хотим, чтобы о нашем отсутствии слишком много говорили. К тому же на берегу нас ждет бедная фея Ночи, которая должна выразить нам свою благодарность за то предпочтение, которое мы ей оказываем перед солнцем, и было бы невежливо заставлять ее ждать дольше.

— Однако, с вашего разрешения, ваше высочество, — сказал Лаваль, — я вас задержу еще на одну минуту, чтобы поведать вам о затруднительном положении, в которое я попал.

— Говорите, граф, — сказала герцогиня. — О чем идет речь?

— Речь идет о наших запросах, протестах, декларациях... Как вы знаете, мы решили, что дадим напечатать все эти документы рабочим, которые не умеют читать.

— И что же?

— Так вот, я купил печатный станок и установил его в подвале дома за Валь-де-Грас. Я нанял нужных нам рабочих, и до сих пор все обстояло благополучно, как вы, ваше высочество, имели случай убедиться. Но то ли шум печатного станка навел жителей дома на мысль, что наши рабочие — фальшивомонетки, то ли еще что-то произошло, но, так или иначе, вчера в дом явилась полиция. К счастью, успели остановить работу и задвинуть кроватью люк, ведущий в подвал, так что ищейки Вуайе д'Аржансона ничего не увидели. Но так как их посещение может повториться и кончиться не столь благополучно, я тотчас же после ухода

¹⁷ Мы надеемся, что наши читатели, памятуя, что мы пишем роман, простят нам все эти подробности, впрочем совершенно необходимые для развития действия. К тому же все эти исторические достоверные подробности и письма, приведенные без всяких изменений, представляют, возможно, известный интерес. (Примеч. автора)

полиции уволил рабочих, велел закопать станок, а все оттиски приказал отнести к себе домой.

— И правильно сделали, граф! — воскликнул кардинал де Полиньяк.

— Да, но как же нам теперь быть? — спросила герцогиня дю Мен.

— Установите станок у меня, — предложил маркиз де Помпадур.

— Или у меня, — сказал де Валеф.

— Нет, нет, — возразил Малезье, — печатный станок — вещь слишком опасная, среди рабочих может оказаться шпион, и тогда все погибнет. К тому же нам не так много осталось печатать.

— Да, — подтвердил Лаваль, — главное уже сделано.

— Так вот, — продолжал Малезье, — по моему мнению, нам следует попросту обратиться к умелому, скромному и надежному писцу, который за хорошую плату будет держать язык за зубами.

— О, это было бы куда более надежно! — воскликнул кардинал де Полиньяк.

— Да, но где найти такого человека? — спросил принц де Селламаре. — Вы сами понимаете, что для дела подобной важности опасно взять первого встречного.

— Если бы я осмелился... — проговорил вдруг аббат Бриго.

— Осмелитесь, аббат, осмелитесь, — сказала герцогиня.

— Я бы сказал, что у меня есть подходящий человек.

— Разве я не говорил, что аббат неоценим! — воскликнул маркиз де Помпадур.

— Но это действительно то, что нам нужно? — осведомился кардинал де Полиньяк.

— Ваше преосвященство, он точно создан специально для нас. Это настоящая машина для письма, которая будет писать все, что надо, не читая при этом.

— К тому же для пущей предосторожности мы можем самые важные документы писать по-испански, поскольку они предназначаются его католическому величеству. Это нам даст двойное преимущество: текст бумаг останется непонятен переписчику, и это послужит нам предлогом платить ему дороже, причем он даже не будет подозревать о важности этих бумаг.

— В таком случае, принц, я буду иметь честь вам его прислать.

— Нет, нет, — сказал де Селламаре, — этот человек не должен переступать порога испанского посольства. Все должно делаться через посредников.

— Хорошо, хорошо, мы все это уладим, — сказала герцогиня дю Мен. — Главное, что мы нашли переписчика. Вы за него отвечаете, Бриго?

— Да, сударыня, отвечаю.

— Больше мне ничего не надо. Теперь мы можем разойтись... Господин д'Арманталь, дайте мне, пожалуйста, руку.



Шевалье поспешил исполнить приказ герцогини, которая, не имея до сих пор возможности уделить ему больше внимания, чем другим, воспользовалась представившимся случаем, чтобы выразить шевалье признательность за мужество, проявленное им на улице Добрых Ребят, и за находчивость, обнаруженную им при выполнении своей миссии в Бретани.

Выйдя из павильона Авроры, посланцы Гренландии, превратившиеся вновь в обычных гостей замка Со, увидели лодку, украшенную

французским и испанским флагами, которая их ждала, чтобы перевезти на берег, поскольку

моста уже не было. Герцогиня дю Мен первой села в лодку и усадила рядом с собой д'Арманталя, предоставив Малезье беседовать с Селламаре и Ришелье. Послышались звуки музыки, и лодка поплыла к берегу.

Как говорила герцогиня, на берегу их ждала фея Ночи, одетая в длинное платье из черного газа, расшитое золотыми звездами. Ее окружали двенадцать пажей, изображающие двенадцать часов. Как только лодка подплыла достаточно близко к берегу, фея и Часы запели кантату. Кантата начиналась с короткого хорового вступления, за ним шла ария, которую пропела фея Ночи, потом вновь вступил хор. Кантата отличалась таким высоким вкусом, а исполнение ее было столь безупречно, что все гости обернулись к Малезье, бессменному распорядителю всех праздничных увеселений, и поздравили его с успехом этого дивертисмента. Лишь один д'Армантадь вздрогнул при первых звуках арии Ночи, ибо голос певицы был настолько схож с другим голосом, ему знакомым и дорогим, что, как ни невероятно было предположить присутствие Батильды на празднике в парке Со, шевалье невольно вскочил на ноги, чтобы разглядеть фею, которая вызывала в его душе такое волнение.

Но, несмотря на то что Ночь окружали факелы, пылавшие в руках Часов, д'Армантадь не мог разглядеть ее лица, ибо оно было скрыто под плотной вуалью из черного газа. Однако в ее голосе, чистом, звонком и мелодичном, шевалье узнал ту свободную манеру исполнения, то мастерство кантилены, которые так поразили его в день, когда он впервые услышал пение девушки с улицы Утраченного Времени. И каждый звук этого голоса, доносившегося до д'Арманталя все более явственно, по мере того как лодка приближалась к берегу, проникал в его сердце и заставлял юношу дрожать с головы до ног. Наконец лодка причалила к берегу.

Ария кончилась, вступил хор. Д'Армантадь продолжал стоять в лодке, всецело поглощенный своими мыслями, и в памяти его продолжал звучать только что умолкнувший голос.

— Должно быть, господин д'Армантадь, вы очень чувствительны к чарам музыки, раз вы забыли, что вы мой кавалер.

— О, простите, простите, сударыня, — воскликнул шевалье, ловко выпрыгнув из лодки на берег и протягивая руку герцогине, — но мне показалось, что я узнал этот голос, и, признаюсь, он вызвал во мне волнующие воспоминания!

— Это лишь доказывает, мой дорогой шевалье, что вы завсегдатай Оперы и что вы по достоинству оценили талант мадемуазель Бюри.

— Как, разве это пела мадемуазель Бюри? — с удивлением спросил д'Армантадь.

— Собственной персоной, сударь.

И если вы не верите мне, — сказала герцогиня тоном, в котором сквозила легкая досада, — разрешите мне взять себе в кавалеры Лаваля или Помпадура, а сами можете пойти и убедиться в правоте моих слов.

— Ваше высочество! — воскликнул д'Армантадь, почтительно удерживая руку герцогини. — Надеюсь, волшебство, которое окружает нас здесь, в этом саду Армиды, извинит мое минутное умопомрачение!

И, вновь предложив герцогине руку, шевалье пошел рядом с ней по направлению к замку.

В этот момент кто-то вскрикнул. Сердце д'Арманталя сжалось, и он невольно обернулся.

— Что случилось? — спросила герцогиня дю Мен с беспокойством, к которому примешивалось нетерпение.



— Ровным счетом ничего, сударыня, — ответил Ришелье. — Просто у малютки Бюри небольшой истерический припадок. Но не тревожьтесь, ваше высочество, это болезнь не опасная... И, если вы на этом настаиваете, я готов завтра съездить к ней и узнать, как она себя чувствует...

Часа через два после этого происшествия, слишком незначительного, чтобы помешать празднику, шевалье д'Арманталь, который вместе с аббатом Бриго вернулся в Париж, вошел после шестинедельного отсутствия в свою маленькую мансарду.

V. РЕВНОСТЬ

Первое ощущение, испытанное д'Арманталем по возвращении домой, было чувство радости: он, наконец, снова оказался в своей маленькой комнатке, где каждая вещь навевала воспоминания. Хотя шевалье отсутствовал всего шесть недель, можно было подумать, что он покинул свою комнату лишь накануне, ибо госпожа Дени с истинно материнской заботливостью следила, чтобы все было убрано и каждый предмет стоял на своем месте. Д'Арманталь на секунду застыл на пороге со свечой в руке, охваченный трепетом, чуть ли не экстазом: все, что он испытал доселе, поблекло по сравнению с тем, что ему довелось испытать в этой маленькой комнатке. Затем он устремился к окну, открыл его и с несказанной любовью стал смотреть на темное окно соседки. Батильда, должно быть, спала сном ангела, не ведая, что д'Арманталь вернулся, что он стоит здесь и глядит на ее окно, трепеща от любви и надежды, словно — о, невозможное счастье! — окно это сейчас распахнется, и она с ним заговорит.

Д'Арманталь простоял так более получаса, полной грудью вдыхая ночной воздух, который еще никогда не казался ему таким чистым и свежим. И, переводя взгляд от окна к небу и от неба к окну, д'Арманталь почувствовал, насколько необходима ему стала Батильда, насколько глубока и сильна его любовь к ней.

Наконец д'Арманталь понял, что не может же он провести всю ночь, глядя на ее окно, и закрыл свои ставни. Но тут же он предался воспоминаниям, нахлынувшим на него при возвращении. Он открыл спинет, несколько расстроенный во время его долгого отсутствия, и пробежался пальцами по клавишам, рискуя вновь вызвать гнев жильца с четвертого этажа. От спинета он перешел к картону с неоконченным портретом Батильды. Пастель на нем слегка поблекла, но на рисунке по-прежнему можно было увидеть прекрасную и чистую девушку, а рядом с ней — головку сумасбродной и капризной Мирзы. Все вещи были такими же, какими он их оставил, но с тем налетом легкого разрушения, который время всегда накладывает на предметы, задевая их в полете кончиком крыла. Наконец, вновь остановившись — в последний раз — перед каждой вещью в комнате, д'Арманталь, как это бывает в молодости, вдруг почувствовал непреодолимое желание спать; он лег на постель и уснул, повторяя про себя мотив арии из кантаты, которую пела мадемуазель Бюри, слившаяся в его смутной дремоте перед сном в единый образ с Батильдой.

Проснувшись, д'Арманталь вскочил с постели и бросился к окну. Видимо, он спал долго, ибо солнце стояло уже высоко в небе. Но, несмотря на это, окно Батильды было плотно закрыто. Д'Арманталь взглянул на часы: стрелки показывали десять. Шевалье занялся своим туалетом. Мы уже говорили о том, что он был не лишен некоторого кокетства, более уместного у женщин, нежели у мужчин, но в этом его нельзя было винить: в то время все, даже страсти, отличалось манерностью. На этот раз он стремился подчеркнуть в своем лице не выражение затаенной печали, а открытую радость, вызванную возвращением и озарившую счастьем все его существо. Было ясно, что ему не хватает лишь взгляда Батильды, чтобы почувствовать себя владыкой вселенной. В надежде встретить этот взгляд, он подошел к окну, но окно Батильды было по-прежнему закрыто. Тогда д'Арманталь с шумом раскрыл обе створки окна, надеясь этим привлечь внимание своей соседки, однако в комнате девушки не было заметно никакого движения. Так он простоял около часа. За это время занавеска на окне Батильды даже не шелохнулась. Можно было подумать, что в комнате девушки теперь никто не живет. Д'Арманталь громко кашлял, открывал и закрывал свое окно, отковыривал кусочки штукатурки

от стены и кидал их в стекла окна Батильды, но все его ухищрения оставались безрезультатными.

Постепенно его удивление сменилось тревогой. Наглухо закрытое окно свидетельствовало либо о том, что девушки нет дома, либо о том, что случилось какое-то несчастье. Куда же могла уехать Батильда? Какое же событие могло нарушить ровное течение этой спокойной и размеренной жизни? Кто мог ответить на этот вопрос? Никто, кроме добрейшей госпожи Дени. Было вполне естественно, что д'Арманталь, вернувшись домой вечером, явился наутро с визитом к своей хозяйке. Итак, д'Арманталь спустился к госпоже Дени.

Госпожа Дени не видела своего жильца с того дня, когда она угощала его и аббата Бриго завтраком. Она хорошо помнила, как заботливо вел себя д'Арманталь во время ее обморока, и поэтому сейчас приняла его так же ласково, как некогда встретили евангельские родители блудного сына.

К счастью для д'Арманталя, девицы Дени были заняты уроком рисования, а господин Бонифас отправился к своему стряпчему, так что шевалье оказался наедине со своей почтенной хозяйкой. Разговор, естественно, коснулся порядка и чистоты в комнате, которые поддерживались во время отсутствия жильца. От этой темы легко и просто было перейти к вопросу, не сменились ли жильцы напротив в квартире. Этот вопрос, заданный спокойным тоном и с видимостью вежливого равнодушия, не вызвал у госпожи Дени никаких подозрений. В ответ госпожа Дени рассказала, что накануне утром она видела Батильду, стоявшую у своего окна, а в тот же день вечером господин Бонифас встретил Бюва, когда тот шел из библиотеки. Однако третий клерк господина Жулю прочел на лице достойного писаря выражение величественного высокомерия, на которое наследник дома Дени обратил особое внимание, потому что оно было как нельзя менее характерным для его соседа.

Таким образом, д'Арманталь узнал все, что хотел: Батильда была в Париже, Батильда жила в своей комнате. Видимо, она лишь по простой случайности до сих пор не бросила взгляда на окно, которое так долго видела закрытым, на комнату, которая так долго пустовала. Д'Арманталь снова поблагодарил госпожу Дени за внимание, которое она проявила к нему во время его отсутствия, и выразил надежду, что будет иметь случай отплатить ей тем же. Потом он попрощался с хозяйкой, еще раз повторив изъявления благодарности, причем добрейшая госпожа Дени и не подозревала их истинной причины.

На лестнице д'Арманталь столкнулся с аббатом Бриго, который направлялся к госпоже Дени с обычным утренним визитом. Аббат спросил у д'Арманталя, не идет ли тот к себе, и, получив положительный ответ, сообщил, что, уходя от госпожи Дени, он поднимется на пятый этаж к шевалье. Д'Арманталь, не намереваясь пока никуда выходить, пообещал аббату ждать его.

Вернувшись в свою комнату, д'Арманталь направился прямо к окну. С окном соседки за время его отсутствия не произошло никаких перемен: занавески были по-прежнему тщательно задернуты, и нигде не виднелось ни щелочки, сквозь которую можно было бы бросить взгляд в комнату девушки. В этом был виден умысел. Д'Арманталь решил прибегнуть к последнему средству, которое оказалось у него в запасе: он сел за клавиш и, блестяще сыграв прелюдию, запел, аккомпанируя себе на свой лад, арию из кантаты Ночи, которую он слышал накануне и запомнил от первой до последней ноты. Он пел, не сводя глаз с неумолимого окна, но там все по-прежнему оставалось неподвижно и безмолвно: та, что жила в комнате напротив, не откликнулась больше ни на что.

Не достигнув пением ожидаемого результата, д'Арманталь достиг зато другого, совсем неожиданного: едва умолкла последняя нота, как за его спиной раздались аплодисменты. Он обернулся и увидел аббата Бриго.

— А, это вы, аббат, — сказал д'Арманталь, вставая и поспешно направляясь к окну, чтобы его закрыть. — Я не знал, черт побери, что вы такой меломан.

— А я не знал, что вы такой прекрасный музыкант, дорогой воспитанник. Просто удивительно, что вы смогли так исполнить кантату, слышанную всего один раз.

— Мелодия мне показалась очень красивой, вот и все, аббат, — сказал д'Арманталь. — А так как у меня хорошая музыкальная память, я ее запомнил.

— К тому же кантата была так замечательно исполнена, не правда ли? — продолжал

аббат.

— Да, — подтвердил д'Арманталь. — У этой мадемуазель Бюри чудесный голос, и я решил, что, как только ее имя появится на афише, я тут же инкогнито пойду в Оперу.

— Вы желаете еще раз услышать этот голос? — спросил Бриго.

— Да, — ответил д'Арманталь.

— Тогда вам незачем идти в Оперу.

— А куда же мне идти?

— Никуда. Сидите у себя в комнате, у вас здесь лучшая ложа.

— Как, фея Ночи?..

— Это была ваша соседка.

— Батильда! — воскликнул д'Арманталь. — Значит, я не ошибся, я узнал ее. О, но ведь это невозможно, аббат. Как могло случиться, что Батильда оказалась этой ночью у герцогини дю Мен?

— Прежде всего, дорогой воспитанник, в наши времена нет невозможных вещей, — ответил аббат Бриго. — Запомните это хорошенько. Прежде чем отрицать что-либо или за что-либо браться, верьте, что все, все возможно. Это самое верное средство достичь всего.

— Но все же, как могла бедняжка Батильда...

— Да, на первый взгляд это кажется очень странным, не правда ли? И все же, собственно говоря, нет ничего проще. Но это не должно вас особенно интересовать. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.

— Нет, аббат, нет, вы очень ошибаетесь, эта история меня в высшей степени интересует!

— Что ж, дорогой воспитанник, раз уж вы столь любопытны, я вам расскажу, как все это получилось. Аббат де Шолье знаком с мадемуазель Батильдой. Так вы, кажется, называете вашу соседку?

— Да, но откуда ее может знать аббат де Шолье?

— О, очень просто. Опекун этой прелестной девушки, как вы это, наверное, знаете, а может быть, и не знаете, — один из лучших каллиграфов столицы.

— Дальше.

— Так вот. Господину де Шолье нужен был переписчик. Поскольку аббат, как вы уже могли убедиться, почти ослеп, он вынужден диктовать стихи, по мере того как их сочиняет, своему полуграмотному лакею. Вот аббат и поручил такое ответственное дело, как переписка его произведений, Бюва, который и познакомил его с Батильдой.

— Но все это еще не объясняет, каким образом мадемуазель Батильда оказалась у герцогини дю Мен.

— Не торопитесь. У каждой истории есть своя завязка и свои перипетии, черт возьми!

— Аббат, вы меня мучите!

— Терпение, мой друг, терпение!

— Говорите, аббат, я вас слушаю...

— Итак, познакомившись с мадемуазель Батильдой, добрейший аббат де Шолье, как, впрочем, и все, кто ее знает, был покорен ее обаянием, ибо, надо вам сказать, эта девушка обладает какими-то особыми чарами и нельзя, хоть раз увидев Батильду, не полюбить ее.

— Я это знаю, — прошептал д'Арманталь.

— Поскольку мадемуазель Батильда наделена всевозможными талантами и не только поет, как соловей, но и божественно рисует, то добрейший Шолье с таким восторгом расписывал ее достоинства мадемуазель де Лонэ, что та решила поручить Батильде нарисовать костюмы различных персонажей для этого праздника, на котором мы с вами вчера присутствовали.

— Однако все это еще не объясняет мне, почему арию Ночи пела Батильда, а не мадемуазель Бюри.

— Мы к этому сейчас подходим.

— Наконец-то!

— Далее мадемуазель де Лонэ не избежала общей участи: она, как и все, полюбила эту маленькую волшебницу. Вместо того чтобы отправить Батильду в Париж, когда эскизы костюмов были готовы, мадемуазель де Лонэ задержала ее еще на три дня в Со. Позавчера де

Лонэ и Батильда сидели в одной из комнат дворца, как вдруг прибежал перепуганный лакей и сообщил, что устроительницу праздника срочно требует по крайне важному делу режиссер оперного театра. Мадемуазель де Лонэ вышла, и Батильда осталась одна. Соскучившись в ожидании своей новой знакомой, которая почему-то задерживалась, Батильда, чтобы развлечься, села за клавесин, взяла несколько аккордов, пропела две-три гаммы и, убедившись, что инструмент звучит хорошо, а она сегодня в голосе, стала петь арию из какой-то оперы. Батильда пела с таким мастерством, что мадемуазель де Лонэ, услышав это столь неожиданное для нее пение, тихонько приоткрыла дверь комнаты и до последней ноты прослушала всю арию. Затем она бросилась к прелестной певице и принялась ее обнимать, умоляя, чтобы та спасла ей жизнь.

Изумленная Батильда спросила, каким образом она может оказать своей новой знакомой столь большую услугу. Тогда мадемуазель рассказала ей, что мадемуазель Бюри, солистка королевской Оперы, дала согласие петь арию Ночи на празднике, который должен был состояться на следующий день во дворце Со. Но внезапно певица серьезно заболела и прислала предупредить ее высочество, что, к своему великому сожалению, она вынуждена просить, чтобы на нее не рассчитывали. Таким образом, они остались без исполнительницы роли Ночи, и, следовательно, праздник не может состояться, если

Батильда не согласится исполнить кантату. Батильда, как вы сами понимаете, отказывалась как только могла. Она сказала, что не сможет петь незнакомую ей арию. Мадемуазель де Лонэ поставила перед ней ноты, и Батильда заметила, что партия кажется ей невероятно трудной. Мадемуазель де Лонэ возразила, что ничто не может оказаться трудным для такой прекрасной музыкантши. Батильда хотела отойти от клавесина, но мадемуазель де Лонэ заставила ее вновь сесть за инструмент. Батильда в мольбе сложила руки. Мадемуазель де Лонэ разняла руки девушки, положила их на клавиши. Клавесин зазвучал. Батильда невольно стала разбирать первый такт, потом второй, потом и всю кантату. Затем она попробовала спеть арию и пропела ее от начала до конца с удивительной верностью интонации и выразительностью.

Мадемуазель де Лонэ была вне себя от восторга. Тут в комнату вошла герцогиня дю Мен. Она была в отчаянии, ибо только что узнала об отказе мадемуазель Бюри. Мадемуазель де Лонэ попросила Батильду спеть кантату. Девушка не посмела отказаться. Это было поистине ангельское пение. Тогда герцогиня присоединила свои просьбы к мольбам мадемуазель де Лонэ. Разве можно в чем-либо отказать госпоже дю Мен? Вы же сами знаете, шевалье, что это невыносимо. Бедняжке Батильде пришлось сдаться. Стыдясь и смущаясь, не то смеясь, не то плача, она дала согласие петь, но только на двух условиях: во-первых, ее должны были отпустить в город, чтобы она сама объяснила Бюва причину своего затянувшегося отсутствия и предстоящего отъезда, во-вторых, ей должны были разрешить провести дома весь вечер этого дня и утро следующего, чтобы выучить эту злополучную кантату, которая так некстати нарушила равномерное течение ее жизни. Эти условия долго обсуждались обеими сторонами, но в конце концов были приняты и подкреплены взаимными клятвами. Батильда поклялась, что вернется на следующий день в семь часов вечера, а мадемуазель де Лонэ и герцогиня дю Мен поклялись, что гости не будут знать о том, что вместо мадемуазель Бюри поет Батильда.

— Но как же тогда, — спросил д'Арманталь, — эта тайна оказалась разглашенной?

— В силу совершенно непредвиденного обстоятельства, — ответил Бриго с той своеобразной усмешкой, из-за которой никогда нельзя понять, говорит ли он серьезно или шутит, — Кантата, как вы сами могли убедиться, была отлично исполнена до самого конца, и лучшее тому доказательство, что вы запомнили ее от первой до последней ноты, хотя прослушали всего один раз. Но вот лодка, на которой мы возвращались из павильона Авроры, подошла к берегу. Батильда, то ли охваченная волнением — ведь она впервые пела для публики, — то ли пораженная тем, что среди спутников герцогини она заметила человека, которого не ожидала встретить в таком аристократическом обществе (так никто и не узнал, в чем было дело), неожиданно громко вскрикнула и упала без чувств на руки артисток, изображавших Часы. Тут уж, конечно, все клятвы были нарушены, все обещания забыты. С Батильды сняли вуаль, чтобы побрызгать ей в лицо водой. Прибежав к месту происшествия — вы в это время вели ее высочество по направлению к дворцу, — я был несказанно удивлен,

увидев в костюме Ночи вместо мадемуазель Бюри вашу прелестную соседку. Тоща я стал расспрашивать мадемуазель де Лонэ, и, поскольку соблюсти тайну было уже невозможно, она мне рассказала все, что произошло, взяв, правда, с меня обещание хранить секрет, который я выдаю только вам, мой дорогой воспитанник, ибо, сам не знаю почему, я не в силах вам ни в чем отказать.

— А этот обморок? — с тревогой спросил д'Арманталь.

— О, пустяки. Минутная слабость, которая не имела никаких последствий, ибо, как Батильду ни уговаривали, она ни за что не захотела провести в Со хотя бы полчаса и так настойчиво просила, чтобы ее немедленно отвезли домой, что в ее распоряжение предоставили карету, и она вернулась к себе, должно быть, часом раньше вас.

— Вернулась? Значит вы уверены, что она вернулась? Спасибо, аббат. Это все, что я хотел у вас узнать.

— А теперь, — сказал Бриго, — я могу уйти, не правда ли? Я вам больше не нужен, ибо вы знаете уже все, что хотели узнать.

— Я не то имел в виду, дорогой аббат Бриго. Оставайтесь, я буду только рад.

— Нет, спасибо. У меня есть кое-какие дела в городе. Оставляю вас наедине с вашими мыслями, дорогой воспитанник.

— Когда я вновь увижу вас, аббат? — спросил д'Арманталь.

— Наверное, завтра, — ответил Бриго.

— Итак, до завтра!

— До завтра.

И аббат ушел, как всегда загадочно посмеиваясь, а д'Арманталь, как только тот достиг двери, вновь открыл свое окно, готовый стоять так до завтрашнего утра, лишь бы в награду ему хоть на миг удалось увидеть Батильду. Бедный шевалье был влюблен, как мальчишка.

VI. ПРЕДЛОГ

В пятом часу д'Арманталь увидел Бюва, который сворачивал в этот момент с улицы Монмартр на улицу Утраченного Времени. Шевалье показалось, что писец шел быстрее, чем обычно; кроме того, он держал свою палку не вертикально, как это обычно делают все парижские обыватели, а горизонтально, словно бегущий гонец. Что касается величественного вида, который так удивил накануне господина Бонифаса, то от него не осталось и следа. Напротив, лицо Бюва выражало некоторую тревогу. Сомнений не было: Бюва так торопливо возвращался из своей библиотеки, потому что беспокоился о Батильде. Значит, Батильда больна.

Шевалье взглядом проводил писца до ворот арки, которая вела ко входной двери его дома. Д'Арманталь предположил, и не без оснований, что, прежде чем подняться к себе, Бюва зайдет к Батильде и, может быть, откроет ее окно, чтобы поймать хотя бы последние лучи заходящего солнца, которое тщетно весь день пыталось заглянуть в комнату девушки. Но ожидания д'Арманталя не оправдались. Бюва ограничился тем, что приподнял занавеску и прислонился своей большой головой к оконной раме, барабанив пальцами по стеклу. Так он простоял недолго; спустя несколько минут он резко обернулся, как это делает человек, которого зовут, и, опустив тюлевую занавеску, исчез. Д'Арманталь предположил, что стремительное исчезновение Бюва объясняется тем, что его позвали обедать. Тут шевалье вспомнил, что, всецело поглощенный этим злосчастным окном, которое так упорно не желало открываться, он забыл даже позавтракать, а это, надо сказать, являлось грубым нарушением привычек д'Арманталя, что говорило в пользу его чувствительности.

Так как было маловероятно, что окно откроется раньше, чем соседи пообедают, шевалье решил воспользоваться этим временем, чтобы тоже пообедать. Поэтому он позвонил привратнику, приказал ему пойти в харчевню и выбрать там самого жирного жареного цыпленка, а затем во фруктовую лавку — купить лучшие фрукты. Что до вина, то у шевалье оставалось еще несколько бутылок из присланных аббатом Бриго.

Д'Арманталь ел, испытывая угрызения совести: он не понимал, как можно при таких душевных терзаниях иметь подобный аппетит. По счастью, он вспомнил изречение какого-то

моралиста, что именно печаль чрезвычайно способствует возбуждению аппетита. Эта максима успокоила его совесть, и в результате от бедного цыпленка остались одни кости.

Хотя обед — занятие вполне естественное, не вызывающее ничьего осуждения, д'Армантадь тем не менее, прежде чем сесть за стол, закрыл окно, но при этом оставил откинутым край портьеры, чтобы иметь возможность наблюдать за верхними этажами соседнего дома. Эта предусмотрительность позволила ему, когда он заканчивал трапезу, заметить Бюва, который, очевидно, также завершив свой обед, появился в окошке, выходящем на террасу. Как мы уже говорили, погода стояла великолепная, и Бюва, похоже, был весьма расположен этим воспользоваться. Но он принадлежал к тем особым людям, для которых удовольствие существует лишь тогда, когда его можно с кем-то разделить; д'Армантадь увидел, как он обернулся и жестом пригласил кого-то — несомненно, Батильду, находившуюся в его комнате, — последовать за ним на террасу. Поэтому сердце д'Армантадя радостно забилося при мысли, что девушка вот-вот появится; но он ошибался. Как ни соблазнителен был этот прекрасный вечер, как ни красноречиво приглашал Бюва свою воспитанницу насладиться дивной погодой — все было бесполезно. Мирза — хоть ее и не приглашали — придерживалась иного мнения; она вскочила на окно и затем принялась весело прыгать по террасе, держа в пасти конец какой-то сизой ленты, которая развевалась подобно вымпелу и в которой д'Армантадь узнал завязку от ночного колпака своего соседа. Тот тоже узнал предмет своего туалета и бросился вдогонку за Мирзой; преследуя ее, он сделал три или четыре круга по террасе со всей быстротой, на какую были способны его короткие ноги. Неизвестно, как долго продолжался бы этот необычный моцион; но Мирза имела неосторожность укрыться в знаменитой пещере гидры — пещере, о которой мы столь торжественно рассказывали нашим читателям. Бюва мгновение колебался, не осмеливаясь просунуть руку в грот; но наконец, собрав все свое мужество, все-таки решился преследовать там беглянку. И через мгновение шевалье увидел, как тот вытаскивает обратно свою руку со счастливо добытой лентой. Бюва долго разглаживал ее на колене, расправляя помятые места; потом аккуратно сложил и удалился в комнату — без сомнения, для того, чтобы запереть ее в какой-нибудь ящик, где она будет в безопасности от проделок Мирзы.

Этого-то момента д'Армантадь и ждал. Он приоткрыл окно, высунул голову между створками и стал наблюдать. Через минуту Мирза, в свою очередь, высунула голову из пещеры, осмотрелась, зевнула, встряхнула ушами и выскочила на террасу. Тут шевалье окликнул ее самым ласковым и вкрадчивым тоном. Мирза вздрогнула от звука его голоса. Затем она обернулась, увидела его и тут же узнала в нем человека, который щедро кормил ее сахаром. Она радостно заворчала и с быстротой молнии метнулась в открытое окно. Д'Армантадь опустил глаза и увидел, как через улицу, словно тень, промелькнула Мирза, и, прежде чем он успел закрыть окно, собака уже скреблась у двери. К счастью, у Мирзы была такая же хорошая память на сахар, как у д'Армантадя на мелодии. Легко догадаться, что он не заставил ждать это прелестное маленькое животное, которое влетело в его комнату, весьма недвусмысленно выражая свою радость по поводу неожиданного возвращения шевалье. Что касается д'Армантадя, он был почти так же счастлив, как если бы увидел Батильду. Ведь Мирза была как бы частью жизни девушки; та ее так любила, так ласкала, так целовала! Днем левретка клала голову ей на колени, а вечером засыпала в ногах ее постели; она была поверенной печалей и радостей Батильды; кроме того, она была надежным, быстрым, великолепным почтальоном. Именно в этом последнем качестве д'Армантадь сейчас пригласил ее и столь гостеприимно встретил. Он высыпал Мирзе весь сахар из сахарницы, присел к своему секретеру и, не отрывая пера от бумаги, написал следующее письмо:

«Дорогая Батильда,

Вы считаете, что я очень виноват перед Вами, не правда ли? Но Вам неведомы те странные обстоятельства, которые служат мне извинением. Если бы я имел счастье увидеть Вас на минуту, лишь на минуту, Вы бы поняли, почему я вынужден выступать в столь различных обликах: то в виде студента, живущего в мансарде, то в виде блестящего офицера, развлекающегося на празднике в Со. Откройте же мне либо Ваше окно, чтобы я мог Вас увидеть, либо Вашу дверь, чтобы я мог с Вами поговорить. Разрешите мне на коленях вымолить прощение. Я уверен, что, когда Вы увидите, как я несчастен и, главное, как я люблю

Вас, Вы сжалитесь надо мной.

Прощайте или, вернее, до свидания, дорогая Батильда. Я отдаю Мирзе все поцелуи, которыми я хотел бы осыпать Ваши ножки.

Прощайте еще раз. Я нее силах выразить, Вы не поверите, Вы не можете представить себе, как я люблю Вас!

Рауль».

Это письмо, которое могло бы показаться достаточно холодным женщине нашего времени — ибо не содержало в себе ничего, кроме того, что писавший хотел сказать, — показалось шевалье вполне достаточным. И действительно, оно было весьма пламенным для той эпохи. Итак, д'Армантадь сложил его, ничего в нем не меняя, и прикрепил письмо, как и свое первое послание, к ошейнику Мирзы. Затем, убрав в шкаф сахарницу, от которой лакомка не могла отвести глаз, он открыл дверь своей комнаты и жестом показал Мирзе, что ей надлежит делать.

Неизвестно, что руководило Мирзой — гордость или сообразительность, но приказание не пришлось повторять дважды; она слетела по лестнице, как на крыльях, не преминула мимоходом цапнуть господина Бонифаса, который возвращался от своего стряпчего, с быстротой молнии пересекла улицу и исчезла в воротах дома Батильды. Д'Армантадь еще на мгновение с беспокойством задержался у окна: он боялся, как бы Мирза не последовала за Бюва под жимолость беседки, и доставка письма, таким образом, задержится. Но Мирза была не из тех существ, которые способны совершать подобные ошибки. И поскольку д'Армантадь не увидел ее через несколько мгновений в окне, выходящем на террасу, он сделал весьма проницательный вывод, что она вполне разумно ограничилась пятым этажом. Тогда, чтобы не слишком тревожить бедную Батильду, он закрыл свое окно, надеясь, что в ответ на это он получит какой-либо знак, показывающий, что его готовы простить.

Но все произошло иначе. Д'Армантадь тщетно прождал весь вечер и часть ночи. В одиннадцать часов свет в комнате Батильды, едва пробивавшийся сквозь двойные плотно задернутые занавески, погас. Еще целый час простоял д'Армантадь у своего открытого окна, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение, но никто не появлялся, за окном по-прежнему было темно и безмолвно, и шевалье пришлось отказаться от надежды увидеть Батильду до завтрашнего утра.

Но и наступившее утро ничего не изменило и встретило его так же сурово. Ясно было, что девушка решила обороняться. Человек менее влюбленный, чем д'Армантадь, увидел бы в таком решении страх потерпеть поражение. Но шевалье, которого неподдельное чувство возвращало к простоте золотого века, понял это как холодность и готов был считать, что она будет вечной. Да ведь и то сказать, длилась эта размолвка уже целые сутки!

Все утро он строил всевозможные планы, один другого нелепее. Единственный разумный из них заключался в том, чтобы просто-напросто пересечь улицу, подняться на четвертый этаж, пойти к Багильде и объяснить с ней. Но так как этот план был действительно разумным, д'Армантадь его, конечно, тут же отбросил. К тому же было бы слишком большой дерзостью прийти к Батильде, не получив на это предварительно хотя бы косвенного разрешения и не имея хоть какого-нибудь предлога. Такое поведение с его стороны могло оскорбить девушку, а она и так на него сердилась. Лучше было выждать, и д'Армантадь терпеливо ждал.

В два часа пришел аббат Бриго. Он застал шевалье в отвратительном настроении. Аббат взглянул на окно соседки, которое было по-прежнему плотно закрыто, и все понял. Он пододвинул себе стул, сел напротив д'Арманталя и принялся по примеру шевалье крутить свои большие пальцы один вокруг другого.

— Дорогой воспитанник, — сказал он после минутного молчания, — быть может, я плохой физиономист, но я вижу по вашему лицу, что с вами случилось какое-то весьма грустное происшествие.

— Вы не ошиблись, дорогой аббат, — ответил шевалье. — Я скучаю.

— Неужели?

— Да, и настолько, — продолжал д'Армантадь, которому надо было излить всю желчь, скопившуюся у него за истекшие сутки, — что готов послать ваш заговор ко всем чертям.

— О шевалье, это не дело — махнуть на все рукой. Как можно послать заговор ко всем чертям как раз в тот момент, когда все идет как по маслу. К тому же подумайте, что скажут

остальные! Нет, что вы!

— Хорошо вам рассуждать! Все остальные, дорогой мой, живут обычной светлой жизнью, ходят на балы, в Оперу, дерутся на дуэлях, имеют любовниц и вообще развлекаются как только могут. Они не заперты, как я, в дрянной мансарде.

— Но у вас же есть клавиесин. Вы можете рисовать пастелью...

— И с каким бы это чертом стал я здесь петь и рисовать?

— Прежде всего у вас есть две девицы Дени.

— О да! Ведь они так прекрасно поют и так замечательно рисуют, не правда ли?

— Бог мой, я не выдаю их вам за виртуозок и за художниц; я хорошо знаю, что им не сравниться с вашей соседкой.

— А что моя соседка?

— Почему бы вам, например, не заниматься музыкой вместе с ней? Она ведь так хорошо поет. Это развлекло бы вас.

— Да разве я с ней знаком? Она даже окна своего не открывает. Вы же видите — со вчерашнего дня она словно забаррикадировалась. Ничего не скажешь, она весьма любезна!

— А мне вот, представьте, говорили, что она очень приветлива.

— Да и как вы себе представляете наше совместное пение? Чтобы каждый пел в своей комнате? Это был бы довольно странный дуэт.

— Да нет, у нее.

— У нее?! Я ведь ей не представлен; я с ней даже не знаком.

— Ну в таких случаях находят предлог для знакомства.

— Ах, я ищу его со вчерашнего дня!

— И еще не нашли? С вашим-то воображением! Ах, мой дорогой воспитанник, я вас не узнаю.

— Послушайте, аббат, довольно шуток, я к ним сегодня не расположен. Что поделаешь, у человека бывают разные дни; вот сегодня я глуп.

— Что ж, а в такие дни обращаются к друзьям.

— К друзьям? Зачем?

— Чтобы найти предлог, которого сами тщетно ищут.

— Аббат, друг мой, найдите мне этот предлог! Ну же, я жду.

— Нет ничего легче.

— В самом деле?

— Вы этого хотите?

— Подумайте, какое обязательство вы берете на себя.

— Я обязуюсь открыть вам двери дома вашей соседки.

— Приличным способом?

— А как же! Разве я когда-нибудь действую иначе?

— Аббат, я вас задую, если вы найдете мне плохой предлог.

— А если хороший?

— Если хороший, то я скажу, что вы, аббат, просто замечательный человек!

— Помните, что рассказал граф Лаваль относительно обыска, произведенного полицией в его доме у Валь-де-Грас, и о необходимости уволить всех рабочих типографии и закопать машину?

— Конечно.

— Помните, какое после этого было принято решение?

— Да, обратиться к услугам переписчика.

— Помните, наконец, что я взялся найти подходящего человека?

— Помню.

— Так вот: этот переписчик, которого я имел в виду, этот честный человек, которого я вызвался найти, уже найден. Дорогой шевалье, это опекун Батильды.

— Бюва?

— Он самый. Я вам передаю свои полномочия. Вы поднимаетесь к нему, предлагаете ему заработать кучу золота. Дверь его дома широко откроется перед вами, и вы сможете петь с Батильдой сколько вам вздумается.

— Дорогой Бриго! — воскликнул д'Арманталь, бросаясь аббату на шею. — Клянусь вам, вы спасли мне жизнь!

Д'Арманталь, схватив шляпу, кинулся к двери. Теперь, когда он нашел предлог, ему все было нипочем.

— Пойдите, пойдите, — сказал аббат Бриго. — Ведь вы у меня даже не спросили, у кого он должен взять текст для переписки.

— Как у кого? Ясное дело — у вас.

— Нет уж, молодой человек, нет!

— А у кого же?

— У принца де Листне, улица Бак, дом номер сто десять.

— У принца де Листне? Это еще что за новоиспеченный принц?

— Давранш, лакей герцогини дю Мен.

— И вы думаете, он сумеет сыграть свою роль?

— Для вас, входящего к настоящим принцам, быть может, и нет. Но для Бюва...

— Вы правы. Прощайте, аббат!

— Значит, вы находите, что это хороший предлог?

— Отличный!

— Что ж, идите, и храни вас Господь!.. Д'Арманталь сбежал по лестнице, перепрыгивая через две

ступеньки. Переходя улицу, он заметил аббата Брито, который следил за ним из окна. Шевалье помахал ему рукой и тут же исчез под аркой, ведущей к входной двери дома Батильды.

VII. В ДОМЕ НАПРОТИВ

Понятно, Батильде нелегко далась ее непреклонность — сердце у нее разрывалось. Бедняжка любила д'Арманталя всеми силами своей души, как любят в семнадцать лет, как любят в первый раз. Первый месяц его отсутствия она считала дни. Когда пошла пятая неделя, она стала считать часы. Последнюю неделю она уже считала минуты. В один из этих дней напряженного ожидания за ней приехал аббат де Шолье, чтобы отвезти ее к мадемуазель де Лонэ. Так как он предварительно рассказал последней не только о талантах Батильды, но и о ее происхождении, то девушку приняли с должным почетом. Мадемуазель де Лонэ была с ней тем более внимательна, что сама долгое время страдала оттого, что окружающие не оказывали ей должного уважения.

К своей поездке в замок Со, преисполнившей гордостью Бюва, Батильда отнеслась как к развлечению, которое хоть немного рассеет ее в последние мучительные часы ожидания. Но, поняв, что мадемуазель де Лонэ намерена задержать ее во дворце именно на тот день, когда, по ее расчетам, Рауль должен был вернуться, девушка в душе прокляла себя за то, что согласилась поехать с аббатом де Шолье в Со. Батильда никогда не сдалась бы на уговоры мадемуазель де Лонэ, как бы они ни были настойчивы, если бы в дело не вмешалась герцогиня дю Мен. Отказать в просьбе ее высочеству было невозможно, тем более что по представлениям, господствовавшим в ту эпоху, герцогиня в силу своего общественного положения имела право приказывать. Поэтому Батильда, не видя другого выхода, была вынуждена согласиться. Но, так как она никогда бы себе не простила, если бы Рауль, вернувшись в ее отсутствие, застал окно комнаты закрытым, девушка уговорила герцогиню отпустить ее на сутки в Париж якобы для того, чтобы разучить кантату и успокоить Бюва. Бедная Батильда! Она изобрела целых два ложных предлога, чтобы скрыть истинную причину своего возвращения под двойной завесой.

Если Бюва был горд тем, что Батильду пригласили нарисовать костюмы для праздника, то нетрудно догадаться о его чувствах при известии, что в этом празднике ей поручено играть роль Ночи. Он постоянно мечтал, что Батильде вновь улыбнется судьба, возвратив ей общественное положение, потерянное со смертью Альбера и Клариссы. И все, что могло приблизить ее к миру, в котором она родилась, казалось ему шагом к счастливому и неизбежному восстановлению ее прав.

Однако отъезд Батильды оказался для него суровым испытанием. Три дня, в течение

которых она отсутствовала, показались ему тремя веками. Все эти дни бедный писец был подобен телу, лишившемуся души. На службе дело еще кое-как шло, хотя для всех было очевидно, что в жизни папаши Бюва произошло какое-то большое потрясение. Однако там у него была строго определенная работа: он писал карточки, наклеивал этикетки, и время с грехом пополам проходило. Но, вернувшись домой, бедный Бюва чувствовал себя совершенно одиноким. Так, в первый день он был не в силах есть, сидя в одиночестве за столом, где в течение тринадцати лет привык видеть напротив себя свою маленькую Батильду. На следующий день, после упреков Нанетты, которая убеждала, что нельзя так предаваться грусти, и предупреждала, что он испортит себе здоровье такой диетой, он пересилил себя. Но едва лишь достойный писец (который до этого никогда не замечал, что у него вообще есть желудок) закончил свой обед, как ему показалось, что он проглотил свинец. Пришлось прибегнуть к самым сильным лекарствам, чтобы побыстрее протолкнуть этот злосчастный обед, который, казалось, решил поселиться в его пищевode. Так что на третий день Бюва вообще не сел за стол, и Нанетте стоило неимоверных трудов убедить его выпить бульону, в который, как она потом рассказывала, скатились две крупные слезы писца. Но в этот же день вечером Батильда вернулась и вновь принесла своему бедному опекуну утраченный сон и пропавший аппетит. Бюва, который три ночи спал очень плохо и три дня ел еще хуже, теперь спал как убитый и ел за троих, уверившись, что его любимица будет отсутствовать недолго. Пройдет еще одна ночь — и с ним снова будет та, без которой, как он теперь понял, жизнь для него невозможна.

Батильда со своей стороны тоже радовалась: если она не ошибалась в своих расчетах, настал последний день отсутствия Рауля, ведь он ей писал, что уезжает на полтора месяца. Медленно тянулись сорок шесть долгих дней — она их нетерпеливо считала и знала теперь, что срок, указанный Раулем, истек. Так как девушка судила о Рауле по себе, она не могла допустить и мысли о том, что он задержится хоть на мгновение. Как только Бюва ушел в библиотеку, Батильда открыла окно. Сев за клавесин, она начала разучивать кантату, но при этом ни на минуту не сводила глаз с окна соседа. Кареты редко заезжали на их улицу. Однако в этот день по какой-то невероятной случайности с десяти утра до четырех дня трижды показывалась карета, и каждый раз Батильда с бьющимся сердцем подбегала к окну. Убеждаясь, что она ошиблась и что Рауль не приехал, она, тяжело дыша, в изнеможении падала на стул. Пробыло четыре, и через несколько минут на лестнице послышались шаги Бюва. Тогда она, вздохнув, закрыла окно. На этот раз уже Батильда, несмотря на все желание доставить удовольствие своему опекуну, не могла проглотить ни куска за обедом. Наконец настал час отъезда во дворец Со. Батильда в последний раз приподняла занавеску: окно Рауля было по-прежнему наглухо закрыто. Тут ей впервые пришла в голову мысль, что его отсутствие может продлиться и дольше, чем он предполагал, и она уехала с тяжелым сердцем, проклиная этот праздник, помешавший ей провести ночь в ожидании того, кого она так давно не видела.

Однако, когда она приехала в Со, иллюминация, шум, музыка и особенно волнение, вызванное тем, что ей впервые придется петь перед таким изысканным обществом, несколько отвлекли ее от дум о Рауле. Правда, время от времени ей становилось грустно, и у нее сжималось сердце при мысли о том, что в этот час ее сосед, быть может, уже приехал, и, увидев окно закрытым, он не поймет, с каким нетерпением она его ждала.

Она утешала себя только тем, что впереди был весь завтрашний день: ведь мадемуазель де Лонэ обещала Батильде, что она отправит ее в Париж еще до рассвета. Таким образом, с первыми лучами восходящего солнца она уже сможет стоять у окна, и, как только Рауль распахнет свое окно, он увидит ее. Тогда она объяснит ему, что ей пришлось уехать на один вечер, и даст ему понять, как она страдала. Батильда судила по себе, и ей казалось, Рауль будет так счастлив, что простит ее...

Батильда предавалась всем этим размышлениям, ожидая у берега озера герцогиню дю Мен. Она как раз думала о том, что при встрече расскажет Раулю, когда вдруг увидела приближающуюся лодку. В первую минуту Батильде, охваченной волнением, показалось, что голос ей изменяет. Но она была прирожденной артисткой, и поэтому великолепный оркестр, состоящий из лучших музыкантов королевской Оперы, увлек ее и придал ей бодрости. Батильда решила ни на кого не смотреть, чтобы не сбиться. Всецело отдавшись вдохновению, она пела с таким совершенством, что ее легко можно было принять за мадемуазель Бюри, которую она

заменяла, хотя эта певица и была примадонной Оперы и все считали, что ей нет равной по голосу и по манере исполнения. Ошибиться было тем проще, что лицо Батильды закрывала черная вуаль.

Но сколь велико было удивление Батильды, когда она, окончив свою партию, опустила глаза и увидела в приближающейся лодке, рядом с герцогиней, молодого дворянина, до того похожего на Рауля, что если бы она узрела его во время пения, то, наверное, лишилась бы голоса. С минуту она еще пребывала в неуверенности. Но чем ближе лодка подходила к берегу, тем меньше оставалось сомнений у бедной Батильды. Такого сходства не могло быть даже у родных братьев, и поэтому ей стало очевидно, что блестящий аристократ из Со и бедный студент из мансарды — одно и то же лицо. Но не это причинило Батильде боль. Наоборот, то обстоятельство, что Рауль принадлежал к высшему свету, не удаляло его от дочери Альбера дю Роше, а приближало к ней. Она с первого взгляда догадалась, что он аристократ, точно так же, как и он с самого начала понял, что в ее жилах течет благородная кровь. Но то, что он забросил свою комнату на улице Утраченного Времени, ссылаясь на неотложные дела, а сам в это время предавался веселью на празднике в Со, ранило ее в самое сердце, как измена любви и поругание доверия. Значит, Рауль лишь мимолетно увлекся ею и поэтому поселился ненадолго в мансарде. Но эта жизнь, столь для него необычная, очень скоро ему наскучила. Не желая обидеть Батильду, он сослался на необходимость срочно отправиться в путешествие. А чтобы ее не слишком огорчать, сделал вид, что это путешествие для него несчастье. Но все это было неправдой. Рауль, видимо, никогда не выезжал из Парижа, а если и уезжал, то по возвращении направился отнюдь не на ту улицу, которая должна была ему быть столь дорога. Здесь было довольно обид, чтобы больно ранить и менее уязвимую душу, чем душа Батильды. И когда бедняжка оказалась в четырех шагах от Рауля, который сошел на берег, и стало далее уже невозможно сомневаться в том, что молодой студент и блестящий полковник — это один и тот же человек, когда Батильда увидела, что тот, кого она считала наивным юношей из провинции, предложил изящным и непринужденным движением руку гордой герцогине дю Мен, силы изменили девушке, и, почувствовав, что у нее подгибаются колени, она вскрикнула — этот крик, как мы помним, пронзил сердце д'Арманталя — и упала без сознания.

Вновь открыв глаза, она увидела, что над ней склонилась встревоженная мадемуазель де Лонэ, стараясь привести ее в чувство. Но, так как невозможно было угадать истинную причину обморока Батильды, — он длился, впрочем, лишь минуту, — девушке легко было сослаться на волнение, испытанное ею при пении, ввести в заблуждение окружающих. Правда, мадемуазель де Лонэ настаивала, чтобы девушка не уезжала сразу же в Париж, а осталась пока в Со. Но Батильде не терпелось поскорее покинуть этот дворец, где она увидела Рауля, не заметившего ее. Тоном, не терпящим отказа, она попросила, чтобы все было так, как они с ней условились. Карета, которая должна была отвезти ее в Париж сразу же после пения, была уже подана, она села в нее и уехала.

Вернувшись домой, она увидела Нанетту, которая была предупреждена о возвращении хозяйки и ждала ее. Бюва тоже решил бодрствовать, чтобы обнять Батильду и узнать подробности великолепного праздника. Но Бюва, как известно, был человеком строгих правил: полночь была крайним сроком его бодрствования, и этого срока он никогда не нарушал. Так что, когда наступила полночь, как он ни щипал себя за икры, как ни щекотал себе нос пером, как ни пел свою любимую песню, — сон побеждал все эти средства, и добряку оставалось только идти спать, что он и сделал, наказав Нанетте известить его завтра, когда же можно будет увидеть Батильду.

Как нетрудно догадаться, Батильда была очень рада остаться вдвоем с Нанеттой: при том душевном состоянии, в котором находилась она, присутствие Бюва чрезвычайно стесняло бы ее. В сердце женщины, какого бы возраста она ни достигла, всегда найдется сочувствие горестям любви, чего никогда не сыщешь в мужском сердце, сколь бы ни было оно добрым и сострадательным. При Бюва Батильда никогда не осмелилась бы заплакать; при Нанетте она залилась слезами.

Старая служанка пришла в отчаяние, видя в таком состоянии девушку: она ожидала встретить ее сияющей от гордости и радости после триумфа, которого ее любимица, конечно, не могла не вызвать. Добрая женщина отважилась на расспросы, которые становились все

настойчивее. Но Батильда, покачивая головой, отвечала только: «Это ничего, равным счетом ничего». Решив, что лучше не настаивать, раз молодая хозяйка, судя по всему, решила молчать, Нанетта удалилась в свою комнату, смежную, как мы уже говорили, с комнатой Батильды.

Но и там бедная Нанетта не могла совладать со своим сердцем, ей не терпелось узнать, что же произошло с Батильдой. Посмотрев в замочную скважину, она увидела, что та, рыдая, упала на колени перед распятием, где так часто ее можно было увидеть молящейся. Затем девушка поднялась и, как бы уступая побуждению, которое было сильнее ее, подошла к окну, раскрыла его и посмотрела на окно напротив. У Нанетты больше не было сомнений: горе Батильды было от любви и связано оно с красивым молодым человеком, живущим на той стороне улицы.

Теперь Нанетте стало немного легче. Женщины сетуют на горести любовные больше, чем на какие-либо другие, но знают по опыту, что они могут обернуться счастливым концом. Таким образом, любая печаль подобного рода — наполовину скорбь, наполовину надежда. Выяснив причину слез Батильды, Нанетта заснула успокоенная.

Батильда же спала мало и плохо; первые тревоги и первые радости любви дают один и тот же результат. Она встала вся разбитая, с опухшими от слез глазами. Ей хотелось под каким-нибудь предлогом избежать встречи с Бюва, но тот, обеспокоенный, уже два раза спрашивал через Нанетту, можно ли видеть Батильду. И девушка, призвав на помощь все свое мужество, с улыбкой пошла подставить лоб для поцелуя своему доброму опекуну.

Но Бюва обладал слишком сильным чутьем сердца, чтобы его обманула эта улыбка. Он увидел опухшие глаза, бледное лицо Батильды — и понял, что у нее горе. Батильда, как нетрудно понять, все отрицала, уверяя, что с ней ничего не случилось; Бюва притворился, что верит, так как видел, что его сомнения были бы ей неприятны. Но тем не менее на службу он отправился озабоченный, поглощенный одной мыслью — узнать, что же так огорчило его бедную Батильду.

Когда Бюва ушел, Нанетта подошла к девушке; Батильда, оставшись одна, бросилась в кресло и сидела, не двигаясь, подперев голову одной рукой и бессильно опустив другую. Служанка с минуту постояла молча, глядя на девушку с материнской нежностью. Затем, видя, что она упорно молчит, заговорила первой:

— А мадемуазель все нездоровится?

— Да, да, моя добрая Нанетта!

— Если бы вы разрешили мне открыть окно, вам, может быть, стало бы лучше.

— О нет, нет, Нанетта, спасибо! Это окно нельзя открывать.

— Быть может, вы не знаете...

— Нет, Нанетта, я знаю.

— ...что красивый молодой человек из дома напротив вернулся сегодня утром.

— Нанетта, — сказала Батильда, подняв глаза и строго посмотрев на служанку, — какое мне дело до этого молодого человека?

— Простите, мадемуазель, — сказала Нанетта, — но я полагала... я думала...

— Что ты думала? Что ты полагала?

— Что вы сожалеете о его отсутствии и будете счастливы, узнав о его возвращении.

— Ты ошибаешься.

— Простите, мадемуазель, но он кажется таким изящным и благородным!

— Слишком, Нанетта, чересчур для бедной Батильды.

— Слишком, мадемуазель? Слишком благородным для вас? — вскричала Нанетта. — Вот тебе и раз! Да разве вы не стоите всех прекрасных вельмож на свете? Кроме того, послушайте, вы ведь и сами благородного происхождения!

— Я то, чем кажусь, Нанетта; я бедная девушка, спокойствием, любовью и честью которой любой важный сеньор считал бы себя в праве безнаказанно играть. Теперь ты видишь Нанетта, что это окно должно оставаться закрытым и я не должна больше видеть этого молодого человека.

— Господи, мадемуазель Батильда, да вы, верно, хотите, чтобы он умер от горя, этот бедный юноша? Он с утра ни на шаг не отходит от окна, и вид у него такой печальный, что прямо сердце разрывается.

— Что мне до этого молодого человека, что мне до его печального вида! Ведь я его совсем не знаю. Мне неизвестно даже его имя. Это посторонний мне человек, Нанетта, который поселился здесь на несколько дней и, быть может, завтра уедет, как он уже однажды уезжал. С моей стороны было бы непростительной ошибкой обращать на него внимание. А тебе, Нанетта, вместо того, чтобы поощрять эту любовь, которая была бы безумием, следовало бы, напротив, сделать все, чтобы показать мне нелепость, а главное, опасность подобного чувства.

— Барышня, зачем же мне так поступать? Ведь рано или поздно вы полюбите. Ни одной женщине этого не избежать. А раз уж это суждено, то почему бы не полюбить этого красивого молодого человека, у которого такой благородный вид, словно он король, и который, должно быть, богат, раз он ничего не делает.

— Послушай, Нанетта, что бы ты сказала, если бы узнала, что этот юноша, кажущийся тебе таким простым, таким честным и таким добрым, на самом деле злой обманщик и предатель?

— Господи, мадемуазель, я бы сказала, что этого быть не может!

— Если бы я тебе сказала, что этого юношу, живущего в мансарде и стоящего у окна в таком скромном костюме, я видела вчера в Со, что он был в мундире полковника и вел под руку герцогиню дю Мен?

— Что бы я на это сказала, барышня? Я бы сказала, что Господь Бог поступает справедливо, посылая вам человека, достойного вас. Святая Мадонна! Полковник! Друг герцогини дю Мен! О мадемуазель Батильда, вы будете графиней, я вам предсказываю это! Вы достойны такой судьбы. Вы этого заслуживаете. Если бы Провидение каждому воздавало по заслугам, то вы должны были бы стать не графиней, а герцогиней, принцессой, королевой! Да, королевой Франции. Ведь вот госпожа дю Ментенон стала королевой.

— Я бы не хотела стать королевой так, как стала она, милая Нанетта.

— Я же не говорю, что так, как она. К тому же барышня, вы ведь не любите короля, не правда ли?

— Я никого не люблю, Нанетта.

— Не мне с вами спорить, мадемуазель. Но, так или иначе, у вас больной вид, а когда юноше или девушке нездоровится, то первое лекарство — свежий воздух, солнце. Сами знаете: когда цветы стоят без света, они вянут. Разрешите мне открыть окно, барышня.

— Нанетта, я вам это запрещаю. Занимайтесь своими делами, оставьте меня!

— Ухожу, мадемуазель, ухожу, раз вы меня прогоняете! — сказала Нанетта, вытирая глаза краешком фартука. — Но будь я на месте этого молодого человека, уж я-то хорошо знаю, что бы я сделала.

— Что же такое ты бы сделала?

— Я пришла бы объясниться, и я просто уверена, что даже если он виноват, вы бы простили его.

— Нанетта, — сказала Батильда, вся дрожа, — если он придет, я запрещаю принимать его, слышишь?

— Хорошо, мадемуазель, его не примут, хотя это невежливо выставять человека за дверь.

— Вежливо или нет, ты сделаешь, как я приказываю, — сказала Батильда; возражение придало ей силы, которые неминуемо оставили бы ее, вздумай Нанетта с ней согласиться. — А теперь я хочу побыть одна, ступай.

Нанетта вышла.

Оставшись одна, Батильда опять расплакалась. Вся ее сила питалась лишь гордостью. Но девушка была ранена в самое сердце, и поэтому окно ее так и осталось закрытым.

Мы не будем следовать за этим бедным сердцем во всех его содроганиях, во всех его томлениях, во всех его страданиях. Батильда считала себя самой несчастной женщиной на земле, как и д'Арманталь считал себя самым несчастливым мужчиной на свете.

Как мы уже говорили, в пятом часу вернулся домой Бюва. Батильда сразу увидела на его добром лице следы волнения и сделала все, что было в ее силах, чтобы его успокоить. Во время обеда она улыбалась, шутила, занимала его разговорами. Но все это несколько не успокоило Бюва. После обеда он предложил воспитаннице в качестве развлечения прогулку по террасе.

Батильда подумала, что, если она откажется, Бюва останется с ней, поэтому она сказала, что согласна, и поднялась вместе с ним в его комнату. Но тут, под предлогом, что забыла написать благодарственное письмо аббату де Шолье за любезность, которую он ей оказал, представив ее герцогине дю Мен, она опустилась к себе, оставив своего опекуна наедине с Мирзой.

Минут десять спустя она услышала, что Мирза скребется в ее дверь, ипустила левретку.

Одним прыжком Мирза оказалась в комнате и тут же принялась весьма энергично выказывать свою радость.

Батильда сразу поняла по поведению левретки, что с ней случилось что-то необычайное. Тогда она внимательно посмотрела на собаку и увидела письмо, привязанное к ошейнику. Так как это было уже второе письмо, принесенное Мирзой, девушка тотчас догадалась, откуда оно и кто его написал.

Искушение было слишком сильным, чтобы Батильда могла ему противостоять. При виде этого листка бумаги, который, казалось, заключал в себе ее судьбу, девушка испугалась, что сейчас ей станет дурно. Она, дрожа, отвязала письмо и сжала его в руке; другой рукой она гладила Мирзу, которая, встав на задние лапы, танцевала от радости, что оказалась столь важным действующим лицом.

Батильда развернула письмо и дважды пробежала его, так и не поняв ни единой строчки. Все плыло у нее перед глазами.

Хотя письмо говорило о многом, все же этого было недостаточно. Д'Арманталь оправдывался и просил прощения. В письме упоминалось об особых обстоятельствах, которые должны остаться тайной. Но во всяком случае одно не оставляло сомнений — автор письма был безумно влюблен. Поэтому Батильде стало гораздо легче на душе, хотя она еще не совсем успокоилась.

Однако Батильда из чисто женской злопамятности решила до следующего дня вести себя по-прежнему. Поскольку сам Рауль признавал, что он виноват, его надо было наказать. Бедная Батильда не подумала о том, что, наказывая своего соседа, она не меньше наказывает и себя.

И все же письмо оказало на девушку столь благотворное действие, что Бюва, вернувшись после прогулки, сразу же заметил, что Батильда чувствует себя гораздо лучше, чем час назад: на лице ее заиграла краска, веселость стала более естественной, речь — более спокойной. И Бюва готов был поверить тому, что Батильда говорила ему утром, стараясь утешить его: ее нездоровье вполне понятно, оно объясняется лишь волнением, пережитым накануне, во время спектакля. Успокоившись, Бюва, которого ждала работа, часов в восемь поднялся к себе и предоставил возможность Батильде, жаловавшейся, что накануне она заснула в три часа ночи, отдохнуть.

Но Батильда бодрствовала; несмотря на то, что прошлую ночь она провела почти без сна, у нее пока не было ни малейшего желания спать. Она была спокойна, довольна и счастлива, потому что знала — окно соседа открыто, и в настойчивости Рауля она угадывала его тревогу. Два или три раза у нее возникало желание положить этой тревоге конец, объявив виновному — вернее, дав понять тем или иным способом, — что ему даровано прощение. Но ей казалось, что девушке ее возраста и положения не следует делать таким образом шаг навстречу Раулю. В конце концов она отложила решение на завтра и все же уснула.

Ночью Батильде приснилось, что Рауль, стоя перед ней на коленях, убедительно объясняет ей причины своего поведения, и она сама чувствует себя виноватой и просит у него прощения.

Поэтому, проснувшись утром, она уже раскаивалась в своей жестокости и не могла понять, как у нее накануне хватило силы так мучить бедного Рауля.

Ее первым движением было подойти к окну и распахнуть его. Но, уже подойдя к нему, она сквозь крошечную щелку увидела, что юноша стоит у своего окна. Это ее сразу остановило. Ведь открыть окно самой было равносильно признанию в любви. Лучше было дожидаться прихода Нанетты. Та откроет окно вполне естественным образом, и тогда сосед не сможет торжествовать победу.

Вскоре пришла Нанетта. Но ей слишком досталось накануне из-за этого злосчастного окна, чтобы она решилась на повторение вчерашней сцены. Поэтому она даже не подошла к окну и убирала в комнате, не заводя разговора о том, что ее необходимо проветрить. Спустя

примерно час она вышла, так и не прикоснувшись к занавеске. Батильда едва не заплакала.

Бюва, как обычно, спустился выпить кофе вместе с Батильдой. Девушка надеялась, что он, войдя, спросит, почему она сидит взаперти, тогда у нее будет предлог попросить его открыть окно. Но Бюва, который накануне получил от хранителя библиотеки новый приказ о классификации рукописей, был поглощен своими этикетками и обратил внимание только на то, что Батильда хорошо выглядит. Он выпил свой кофе и, напевая любимую песенку, ушел, не сделав ни малейшего замечания по поводу занавесок, которые, увы, так и оставались задернутыми. Впервые Батильда ощутила по отношению к Бюва раздражение, почти похожее на гнев. Опекун, подумала она, уделяет ей слишком мало внимания, раз он даже не заметил, что она может задохнуться в такой наглухо закрытой комнате.

Оставшись одна, Батильда упала на стул. Она оказалась в тупике, из которого не было выхода. Надо было приказать Нанетте открыть окно — этого она не хотела. Надо было самой открыть его — этого она не могла.

Значит, оставалось ждать. Но до каких пор? До завтра, может быть, до послезавтра? А что будет тем временем думать Рауль? Не кончится ли его терпение от этой чрезмерной строгости? А если Раулю предстоит вновь покинуть свою комнату на две недели, на месяц, на полтора... навсегда, может быть? Тогда Батильда умрет. Она больше не может жить без Рауля.

Прошло два часа, которые ей показались вечностью. Батильда за это время перепробовала все занятия: бралась за вышивание, садилась за клавишину, пыталась рисовать. Но ничего не ладилось.

Но вот пришла Нанетта, и у Батильды мелькнула надежда.

Однако служанка лишь приоткрыла дверь, чтобы попросить разрешения пойти по какому-то делу. Батильда жестом отпустила ее.

Нанетта отправилась в Сент-Антуанское предместье. Значит, она будет отсутствовать не менее двух часов. Чем заняться в эти два часа? Было бы очень приятно провести их у окна. Судя по лучам, пробивавшимся сквозь занавеску, за окном ярко светило солнце. Батильда села на стул, достала из-за корсажа письмо и, хотя уже знала его наизусть, еще раз перечитала его. Как она могла не сдаться, получив такое письмо? Оно было такое нежное, такое страстное. Чувствовалось, что каждое его слово шло от сердца. О, если бы она получила еще одно письмо!

Эта мысль заставила взглянуть на Мирзу. Милая посланница! Девушка взяла собаку на руки и нежно поцеловала ее изящную головку. Затем, вся дрожа, словно совершая преступление, Батильда открыла дверь, выходящую на лестничную площадку.

Перед дверью, протянув руку к звонку, стоял молодой человек.

Батильда вскрикнула от радости.

Это был Рауль.

VIII. НА СЕДЬМОМ НЕБЕ

Батильда на несколько шагов отступила назад, ибо чувствовала, что может упасть в объятия Рауля.

Рауль поспешно захлопнул дверь и, сделав несколько шагов, упал к ногам Батильды.

Они смотрели друг на друга с невыразимой любовью, затем в едином порыве прошептали: «Батильда», «Рауль»; их руки встретились в страстном пожатии, и размолвка была забыта.

Казалось бы, им столько надо было сказать друг другу, но теперь они молчали, и слышалось лишь биение их сердец. Их чувства отражались в глазах; они говорили друг с другом великим языком молчания, который так красноречив в выражении любви и имеет то преимущество, что никогда не обманывает.

Несколько минут они молчали. Наконец Батильда почувствовала, что слезы навертываются ей на глаза. Она вздохнула и, откинувшись назад, словно стараясь перевести дыхание, проговорила:

— О Господи, как я страдала!

— А я? — воскликнул д'Арманталь. — Ведь по видимости я кругом виноват, а на самом деле ни в чем не повинен.

— Ни в чем не повинен? — переспросила Батильда, к которой вернулись ее сомнения.

— Да, ни в чем, — подтвердил шевалье.

И он рассказал Батильде о себе то, что имел право рассказать: о своей дуэли с Лафаром; о том, как после нее он был вынужден скрыться на улице Утраченного Времени, о том, как он увидел Батильду, как полюбил ее, как был изумлен, постепенно обнаружив в ней не только врожденный аристократизм, но и разнообразные таланты, как он убедился, что она искусная художница и первоклассная музыкантша. Рассказал шевалье и о том счастье, которое испытал, заметив, что он не вполне ей безразличен; о полученном приказе отправиться в Бретань и принять командование полком карабинеров; о том, что, согласно тому же приказу, он должен был по возвращении в Париж немедленно посетить ее высочество герцогиню дю Мен и отчитаться перед ней в выполнении своей миссии. Наконец, он рассказал ей, как он прибыл во дворец Со, полагая, что должен лишь передать донесения, а вместо этого попал на пышный праздник и был вынужден в силу своего положения при герцогине принять участие в этом развлечении. Свой рассказ д'Армантадь завершил мольбой о прощении, словами любви и клятвами в верности, столь страстными, что Батильда сразу же забыла начало его речи, чтобы навеки запомнить ее конец.

Потом настал черед Батильды. Ей тоже нужно было многое рассказать д'Армантадю. Но в ее рассказе не было ни умолчаний, ни темных мест. Это была повесть не об одном коротком отрезке времени, а о всей жизни.



Батильда не без гордости сообщила любимому, что по происхождению она достойна его. Вначале она предстала перед ним маленьким ребенком, которого ласкали отец и мать; затем — сиротой, всеми покинутой. Вот тогда и появился Бюва — человек с вульгарным лицом, но с возвышенным сердцем. Она рассказала о его внимании, его доброте, его любви к бедной воспитаннице. Потом она перешла к своей беззаботной юности и дошла до момента, когда

впервые увидела д'Арманталя. Тут она улыбнулась и покраснела, потому что ей казалось, что больше не о чем рассказывать.

А между тем, именно то, о чем, по мнению Батильды, излишне было знать шевалье, — именно это он хотел услышать из ее собственных уст, и поэтому не упускал ни одной подробности. Бедная девушка могла сколько угодно запинаться, краснеть, опускать глаза, но все-таки ей пришлось открыть свое сердце. Д'Арманталь, стоя на коленях перед ней, ловил каждое слово и, когда она умолкала, просил ее продолжать. Он не уставал ее слушать: для него было таким счастьем сознавать, что Батильда его любит, и он был так горд, что сам может ее любить!

Два часа пролетели как одно мгновение. Д'Арманталь все еще стоял на коленях перед нежно склонившейся к нему Батильдой, и они по-прежнему держались за руки, не в силах отвести друг от друга глаз, когда у двери раздался звонок. Батильда взглянула на часы, висящие в углу: шел пятый час. Сомнений быть не могло — это вернулся домой Бюва.

Первым чувством Батильды был испуг. Но Рауль, улыбаясь, успокоил ее: ведь для визита у него был предлог, подсказанный аббатом Бриго. Влюбленные обменялись последним рукопожатием и последним нежным взглядом, а потом Батильда пошла открывать дверь своему опекуну, который, как обычно, поцеловал ее в лоб и лишь тогда заметил д'Арманталя.

Бюва был ошеломлен: ни один мужчина, кроме него, не входил еще в комнату его воспитанницы. Помахивая тростью, он в изумлении уставился на д'Арманталя. Ему показалось, что он уже где-то видел этого молодого человека.

Д'Арманталь пошел ему навстречу с той непринужденностью, которой нет и в помине у людей низкого звания.

— Я, кажется, имею честь говорить с господином Бюва? — спросил он.

— Да, сударь, — ответил Бюва, вздрагивая от звука этого голоса, который ему показался столь же знакомым, как и лицо юноши. — Поверьте, я весьма польщен вашим визитом,

— Вы знаете аббата Бриго? — продолжал д'Арманталь.

— Да, сударь, отлично знаю; это... лю... это... госпожи Дени, не правда ли?

— Да, это духовник госпожи Дени, — сказал д'Арманталь, улыбаясь.

— Я его знаю. Очень умный человек, сударь, очень умный!..

— Вот именно. Вы как будто в свое время обращались к нему, господин Бюва, в поисках работы по переписке?

— Да, сударь, ибо я переписчик. К вашим услугам, сударь, — сказал Бюва и поклонился.

— Так вот, — сказал д'Арманталь, возвращая ему поклон, — аббат Бриго нашел для вас отличного клиента. Это мой опекун, сударь, сообщаю вам, чтобы вы знали, с кем имеете дело.

— В самом деле? Так присядьте же, сударь.

— Благодарю. Весьма вам признателен.

— Да, так что же это за клиент, скажите, пожалуйста?

— Принц де Листне. Он живет в доме номер сто десять по улице Бак.

— Принц, сударь, принц?

— Да, он, кажется, испанец и ведет переписку с газетой «Мадридский Меркурий», которой сообщает все парижские новости.

— Но это же настоящая находка, сударь.

— Да, вы правы, настоящая находка, хотя у вас возникнут здесь некоторые трудности, поскольку все его сообщения написаны по-испански.

— Черт побери! — вырвалось у Бюва.

— Вы знаете испанский? — спросил д'Арманталь.

— Нет, сударь. Во всяком случае, не думаю.

— Неважно, — сказал шевалье, улыбаясь тому, что Бюва высказал сомнение относительно своего знания испанского, — Вам не обязательно знать язык для того, чтобы переписывать текст на этом языке.

— Я, сударь, мог бы переписывать и с китайского, если бы все линии были достаточно четко начертаны, чтобы увидеть рисунок буквы. Каллиграфия, сударь, является в известной степени искусством копирования, наподобие рисования.

— И я знаю, господин Бюва, — подхватил д'Армакталь, — что в этой области вы настоящий художник.

— Сударь, вы меня смущаете, — сказал Бюва. — Позвольте вас спросить, в котором часу я могу застать его высочество?

— Его высочество?

— Ну да, его высочество принца де... Я уже забыл фамилию... которую вы мне назвали... которую вы соизволили мне назвать, — поправил себя Бюва, спохватившись.

— А-а, принц де Листне!

— Да, да.

— Его не надо называть высочеством, дорогой господин Бюва.

— Простите, но мне казалось, что все принцы...

— Бывают разные принцы... Это принц третьестепенный, и, если вы его будете величать «монсеньер», он будет вполне удовлетворен.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен.

— Так скажите, пожалуйста, когда мне можно будет к нему зайти?

— Да через час, если вам удобно. Ну, скажем, после обеда, между пятью и половиной шестого. Вы помните адрес?

— Да, улица Бак, сто десять. Отлично, сударь, отлично, я непременно приду!

— Прощайте, сударь. Надеюсь еще иметь честь вас увидеть. Разрешите вас поблагодарить, мадемуазель, — сказал д'Арманталь, обернувшись к Батильде, — с вашей стороны было очень любезно составить мне компанию, пока я ждал господина Бюва. Я вечно буду вам за это обязан.

И с этими словами д'Арманталь, отвесив последний поклон, простился с Бюва и его воспитанницей. Батильда была глубоко поражена самообладанием шевалье, выдававшим в нем светского человека.

— Этот молодой человек весьма любезен, — сказал Бюва.

— Да, весьма, — машинально повторила Батильда.

— Только вот что странно, — продолжал Бюва. — Мне кажется, что я его уже где-то видел.

— Возможно, — сказала Батильда.

— Да и голос... Я убежден, что уже слышал этот голос.

Батильда вздрогнула, ибо сразу вспомнила, как перепуганный Бюва вернулся домой после своего приключения на улице Добрых Ребят, а ведь д'Арманталь ей ничего об этом не рассказал.

В этот момент вошла Нанетта и сказала, что обед подан. Бюва, который торопился к принцу де Листне, первым прошел в маленькую столовую.

— Так, значит, мадемуазель, этот красивый молодой человек все-таки пришел? — тихо спросила Нанетта.

— Да, Нанетта, да! — ответила Батильда, с благодарностью поднимая глаза к небу. — Да, и я так счастлива!

И она пошла в столовую, где Бюва, поставив в угол трость и повесив на нее шляпу, уже ждал свою воспитанницу, похлопывая себя по ляжкам, как он это обычно делал в минуты радости.

Д'Арманталь был не менее счастлив, чем Батильда. Он был любим, сама Батильда сказала ему это с той же радостью, с какой выслушала его признание в любви. Его любила не бедная сиротка, не девчонка неизвестного происхождения, а девушка из дворянского рода, отец и мать которой занимали при дворе герцогов Орлеанских почетное положение. Итак, ничто не мешало Батильде и д'Арманталю принадлежать друг другу. Если между ними и была какая-то разница в общественном положении, то столь незначительная, что стоило Батильде подняться, а шевалье спуститься на одну ступеньку, как они встретились бы.

Правда, д'Арманталь забыл об одном, только об одном — о тайне, которую он не считал возможным поведать Батильде, поскольку эта тайна принадлежала не ему; о заговоре, который, словно страшная пропасть, мог в любую минуту поглотить его. Но д'Арманталь вовсе не

смотрел мрачно на мир; Батильда его любила, в этом он был уверен, а солнце любви озаряет розовым светом даже самую печальную и одинокую жизнь.

Батильда тоже не питала никаких мрачных предчувствий относительно будущего. Правда, слово «брак» не было произнесено между ними, но сердца их раскрылись в своей чистоте, и ни один брачный контракт в мире не стоил взгляда Рауля или пожатия его руки.

Сразу же после обеда Бюва, радуясь удаче, взял трость и шляпу и направился к принцу де Листне. Как только Батильда оказалась одна в своей комнате, она бросилась на колени, чтобы возблагодарить Бога. Окончив молитву, она с радостным доверием, не испытывая ни тени колебания или смущения, подошла к своему злосчастному окну, которое так долго оставалось закрытым, и распахнула его. А д'Арманталь не отходил от своего окна с тех пор, как вернулся домой.

Спустя минуту влюбленные уже обо всем договорились. Добрая Нанетта будет посвящена во все их тайны. Каждый день, в то время когда Бюва находится в библиотеке, д'Арманталь будет приходить к Батильде и проводить с ней два часа. Кроме того, они будут разговаривать через окно, а если по той или иной причине окна придется держать закрытыми, будут писать друг другу письма.

Около семи вечера на углу улицы Монмартр показался Бюва. Он шел с важным и горделивым видом, держа в одной руке рулон бумаги, а в другой — трость. По выражению его лица сразу было видно, что с ним произошло нечто важное. Бюва был у принца, который принял его самолично. Наши влюбленные заметили Бюва лишь в ту минуту, когда он уже подходил к дому, и д'Арманталь тотчас закрыл свое окно.

Батильда была не совсем спокойна. Когда д'Арманталь говорил с Бюва о принце Листне, она решила, что Рауль, застигнутый врасплох, придумал всю эту историю, чтобы объяснить ее опекуну свой приход. Не успев спросить у Рауля, как обстояло дело в действительности, и не смея вместе с тем отговаривать Бюва идти на улицу Бак, она испытала угрызения совести. Батильда любила Бюва всем сердцем, преисполненным благодарности. Он был для нее святым, и ее уважение к нему никогда не позволило бы допустить, чтобы он оказался в смешном положении. Поэтому она с тревогой ждала его прихода, надеясь по выражению лица понять, что произошло с ним на улице Бак. Лицо Бюва сияло.

— Как дела, папочка? — спросила Батильда, уже несколько успокоенная.

— Что ж, я видел его высочество, — ответил Бюва. Батильда вздохнула с облегчением.

— Но простите, — сказала она улыбаясь, — ведь господин Рауль сказал вам, что принц де Листне не имеет права на этот титул, поскольку он третьеразрядный принц.

— Нет уж, готов ручаться, что он принц первого ранга, — сказал Бюва, — и я буду его величать только его высочеством. Тоже выдумали, третьеразрядный принц! Это мужчина ростом в пять футов и восемь дюймов, все его движения полны величия. И к тому же он, видимо, так богат, что не знает счета деньгам. Подумать только: он платит за переписку пятнадцать ливров за страницу и дал мне двадцать пять луидоров вперед! Вот так третьеразрядный принц!..

У Батильды вдруг возникло подозрение, что этот новый заказчик, к которому Рауль направил Бюва, — подставное лицо, использованное для того, чтобы Бюва принял деньги, полагая, что он их сам зарабатывает. В этом подозрении было что-то унижительное, и сердце девушки сжалось, но тут Батильда посмотрела в окно и увидела д'Арманталя, который, приподняв край занавески, глядел на нее с такой любовью, что она, забыв обо всем, ответила ему нежным взглядом. Так она стояла у окна, не в силах оторвать глаз от шевалье, и была настолько поглощена этим, что Бюва, отнюдь не отличавшийся особой наблюдательностью и обычно не обращавший внимания на душевное состояние окружающих, вдруг заметил, что Батильда сосредоточенно смотрит в окно. Без всякой задней мысли он подошел к своей воспитаннице, чтобы выяснить, что же именно ее так заинтересовало. Но д'Арманталь, заметив приближение Бюва, тотчас же опустил занавеску, и любопытство писца не было удовлетворено.

— Итак, папочка, — поспешно сказала Батильда, боясь, как бы Бюва не заметил шевалье, и стараясь поэтому занять его разговором, — вы довольны своим визитом?

— Весьма. Но я должен сказать тебе одну вещь.

— Какую?

— Господи, помилуй нас грешных!

— С вами что-то случилось?

— Ты помнишь, Батильда, я тебе говорил, что мне кажется знакомым лицо и голос этого молодого человека, но что я никак не могу припомнить, где и когда его видел.

— Да, вы это говорили.

— Так вот, когда я, пересекая улицу Добрых Ребят, чтобы выйти на Новый мост, поравнялся с домом двадцать четыре, меня осенила внезапная мысль. Мне показалось, что этот молодой человек не кто иной, как офицер, повстречавшийся мне в ту страшную ночь, о которой я не могу думать без ужаса.

— Неужели, папочка! — воскликнула Батильда, вздрогнув. — Что за безумная мысль!

— Да, это была безумная мысль, но из-за нее я чуть не вернулся домой. Я подумал, что этот самый принц де Листне, быть может, главарь бандитской шайки и меня хотят завлечь в какую-то ловушку. Но, так как я никогда не ношу с собой денег, я решил, что мои страхи преувеличены, и, к счастью, мне удалось их побороть.

— Но теперь, папочка, вы, надеюсь, уверены, — сказала Батильда, — что господин, который заходил к нам сегодня по поручению аббата Бриго, не имеет решительно ничего общего с тем человеком, с которым вы разговаривали в ту ночь на улице Добрых Ребят.

— Ну, конечно. Главарь воровской шайки — а я утверждаю, что тот человек был не кем иным, как главарем воровской шайки, — не может поддерживать какие бы то ни было отношения с его высочеством.

— О, это невозможно!

— Да, дитя мое, это, конечно, невозможно. Но я совсем забыл: я ведь обещал его высочеству, что нынче же вечером начну переписку. Мне хочется сдержать свое слово. Так что ты уж извини, дитя мое, но я не могу провести с тобой этот вечер. Доброй ночи, дорогая.

— Доброй ночи, папочка.

И Бюва поднялся в свою комнату и сразу же взялся за работу, которую так щедро оплатил принц де Листне.

Что касается влюбленных, то они возобновили разговор, прерванный возвращением Бюва; и одному лишь Богу известно, в котором часу закрылись их окна.

IX. ПРЕЕМНИК ФЕНЕЛОНА

Свидания, о которых условились влюбленные, давали полный простор излишнему их долго сдерживаемых чувств. Первые три или четыре дня пролетели подобно сну: Батильда и Рауль были самыми счастливыми людьми на земле.

Но если для них мгновение остановилось, то для других людей жизнь продолжала идти обычным чередом и в тишине уже зрели события, которым суждено было вернуть наших возлюбленных к суровой действительности.

Герцог де Ришелье сдержал свое обещание. Маршал де Вильруа, покинувший Тюильри на неделю, был на четвертый день вызван письмом своей супруги. Она извещала его, что в Париже началась эпидемия кори, от которой в Пале-Рояле уже слегло несколько человек, и настоятельно советовала маршалу немедленно вернуться во дворец, чтобы быть подле короля. Господин де Вильруа не замедлил приехать, ибо, как известно, именно кори приписывали те несколько смертей, которые три или четыре года назад повергли в траур все королевство. Маршал не хотел упустить случай выставить напоказ свою бдительность, значение и следствия которой он сильно преувеличивал. В качестве воспитателя он пользовался привилегией проводить в обществе юного короля столько времени, сколько считал нужным, и присутствовать при беседах короля с любым посетителем, не исключая и самого регента. Собственно говоря, именно против регента и была направлена эта мера предосторожности, а поскольку подобное поведение было на руку герцогине дю Мен и ее приверженцам, то они всячески поощряли господина де Вильруа и распространяли слухи, будто он обнаружил на камине в покоях короля отравленные конфеты, неведомо кем туда положенные. В результате клевета против герцога Орлеанского все разрасталась, а маршал играл при дворе все более значительную роль. В конце концов маршалу удалось убедить короля, что своей жизнью его

величество обязан именно ему. Таким образом господин де Вильруа сумел завоевать сердце этого коронованного ребенка, привыкшего бояться всех и вся и испытывавшего доверие только к маршалу да еще к епископу Фрежюсскому.

Итак, господин де Вильруа был весьма подходящим человеком для того поручения, которое ему дали заговорщики. Однако, в силу своей нерешительности, маршал долго колебался, прежде чем взяться за него. В конце концов было решено, что в следующий понедельник — день, когда регент, устававший после своих обычных воскресных кутежей, редко посещал короля, — маршал де Вильруа передаст Людовику XV оба письма Филиппа V. Кроме того, маршал воспользуется тем, что проведет этот день наедине со своим воспитанником, чтобы вынудить его подписать указ о созыве Генеральных штатов. Указ этот будет немедленно принят к исполнению и опубликован на следующий день рано утром, еще до того, как регент успеет посетить его величество. Ясно, что, чем неожиданней будет этот указ, тем труднее будет его отменить.

Тем временем регент жил своей обычной жизнью, занятый работой, научными изысканиями, удовольствиями, а главное, семейными неприятностями.

Как мы уже говорили, три его дочери причиняли ему по-настоящему серьезные огорчения, особенно герцогиня Беррийская, которую он любил больше двух других, ибо спас ее от болезни вопреки приговору трех самых знаменитых врачей. Она, забыв всякую скромность, открыто жила с Рионом и при каждом отцовском замечании угрожала, что выйдет за него замуж. Угроза как будто странная, но в ту эпоху, когда еще сохранялось уважение к иерархии сословий, осуществление такой угрозы вызвало бы куда больший скандал, чем любовная связь, которую в любое иное время подобный брак беспрепятственно бы освятил.

Мадемуазель де Шартр, со своей стороны, упорствовала в решении посвятить себя религии. И невозможно было понять, явилось ли это решение, как думал регент, следствием несчастной любви или, как считала ее мать, результатом подлинного призвания. Как бы то ни было, она, оставаясь послушницей, продолжала предаваться всем светским развлечениям, какие только могут быть допущены в монастыре. Она велела доставить в келью свои ружья, свои пистолеты, а также великолепный набор ракет, огненных колес, петард и римских свечей, благодаря чему каждый вечер устраивала пиротехническое представление для своих молодых подруг. Впрочем, она не выходила за порог Шельского монастыря, где отец навещал ее каждую среду.

Третьей особой, доставлявшей регенту, как и ее сестры,

больше всего хлопот в семье, была мадемуазель де Валуа. Он сильно подозревал, что она любовница Ришелье; однако не мог получить ни одного убедительного доказательства, хотя велел своей полиции следить за любовниками и не раз, подозревая, что мадемуазель де Валуа принимает у себя герцога, появлялся там в наиболее вероятные часы таких свиданий. Эти подозрения еще больше возрастали из-за сопротивления, которое она оказывала желанию матери выдать ее замуж за своего племянника принца Домбского, который стал отличной партией, получив богатое наследство после Великой мадемуазель. Чтобы убедиться, чем вызван отказ дочери — антипатией, которую она чувствует к молодому принцу, или любовью к своему красавцу-герцогу, регент решил принять предложение своего посла в Турине Пиенёфа о браке прекрасной Шарлотты-Аглаи с принцем Пьемонтским. Мадемуазель де Валуа взбунтовалась, узнав об этом новом заговоре против ее сердца. Но слезы и вздохи были напрасны: регент, хотя был добр и податлив, на этот раз высказался вполне определенно. У бедных любовников не оставалось никакой надежды; однако все было нарушено неожиданным событием. Принцесса, мать регента, с чисто немецкой откровенностью написала королеве Сицилии, одной из своих самых постоянных корреспонденток, что слишком любит ее, чтобы не предупредить: у принцессы, которую предназначают молодому принцу Пьемонтскому, есть любовник, и любовник этот — герцог Ришелье. Нетрудно догадаться, что, хотя переговоры и зашли уже достаточно далеко, подобное заявление, исходящее от особы столь строгих нравов, как принцесса Пфальцская, все разрушило. Герцог Орлеанский в тот самый момент, когда он думал, что наконец-то удалил мадемуазель де Валуа из Парижа, внезапно узнал о разрыве переговоров, а затем и о причине этого. Несколько дней он был сердит на свою мать, посылая к дьяволу манию писать письма, которой была одержима бедная принцесса Пфальцская. Но,

поскольку у герцога Орлеанского был самый отходчивый характер в мире, он вскоре уже сам смеялся над этой новой эпистолярной выходкой матери. К тому же он был отвлечен гораздо более важным делом: речь шла о Дюбуа, который во что бы то ни стало хотел стать архиепископом.

Мы видели, как после возвращения Дюбуа из Лондона дело это было обращено в шутку и как принял регент рекомендацию короля Вильгельма. Но Дюбуа был не такой человек, чтобы сдаться при первом отказе. Место в Камбре пустовало в связи с кончиной кардинала Ла Тремуай, последовавшей во время его поездки в Рим. Камбре было одно из самых богатых архиепископств, и получить его — значило занять один из важнейших постов во французской церкви, дававший сто пятьдесят тысяч ливров годовых, а так как Дюбуа очень любил деньги и старался их раздобыть всеми способами, то трудно было сказать, что его больше соблазняло — положение приемника Фенелона или огромные доходы. Но, так или иначе, при первом удобном случае Дюбуа вновь заговорил с регентом об архиепископстве. Как и в первый раз, герцог Орлеанский попытался было обернуть все в шутку. Но тот настаивал. Регент не выносил скуки, а Дюбуа изрядно надоел ему своей настойчивостью. Поэтому герцог Орлеанский решил припереть Дюбуа к стенке, сказав, что все равно тот не найдет прелата, готового посвятить его в сан архиепископа.

— Так дело только за этим?! — радостно воскликнул Дюбуа. — Отлично, у меня есть подходящий человек.

— Этого не может быть! — возразил регент, не веря, что угодничество может зайти так далеко.

— Вы сейчас сами убедитесь, — сказал Дюбуа и выбежал из кабинета.

Минут пять спустя он вернулся.

— Ну так что же? — спросил регент.

— Я нашел нужного человека, — ответил Дюбуа.

— Кто же этот негодяй, который готов посвятить в сан такого негодяя, как ты? — изумился регент.

— Ваш первый духовник собственной персоной, монсеньер.

— Епископ Нантский?

— Ни больше ни меньше.

— Трессан?

— Он самый.

— Не может быть!

— Смотрите, вот он.

В этот момент дверь открылась, и лакей доложил о приходе епископа Нантского.

— Входите, монсеньер, входите, — сказал Дюбуа, делая несколько шагов ему навстречу. — Его высочество только что изволил почтить нас обоих, назначив меня, как я вам говорил, архиепископом Камбре, а вам поручив посвятить меня в сан.

— Господин де Трессан, — спросил регент, — вы в самом деле согласны сделать аббата архиепископом?

— Желание вашего высочества для меня равносильно приказу, монсеньер.

— Но вы знаете, что он простой аббат и не имеет никакого сана?..

— Что ж из этого, монсеньер? — прервал регента Дюбуа. — Епископ вам скажет, что все эти формальности можно проделать в один день.

— История не знает такого примера!

— Нет, вы ошибаетесь: вспомните святого Амбруаза.

— Ну, дорогой аббат, — со смехом сказал герцог, — если уж святые отцы церкви с тобой заодно, мне больше нечего

возразить, и я отдаю тебя в распоряжение господина де Трессана.

— Я вам верну его с митрой и посохом, монсеньер.

— Но ведь тебе еще надо иметь степень лиценциата, — сказал регент, которого этот разговор начал забавлять.

— Ректор Орлеанского университета обещал присвоить мне эту степень.

— Но ведь тебе нужны аттестации и прочие документы?

— А на что тогда Безон?

— Свидетельство о добрых нравах? — Мне его подпишет де Ноайль.

— Ну, в этом я сомневаюсь, аббат.

— Что ж, тогда вы сами, ваше высочество, выдадите мне это свидетельство. И я думаю, черт возьми, что подпись регента Франции будет иметь в Риме не меньший вес, чем подпись какого-то жалкого кардинала.

— Дюбуа, — сказал регент, — будь добр, отзывайся с большим уважением о высшем духовенстве.

— Да, вы правы, монсеньер, никогда не знаешь, кем ты станешь в один прекрасный день.

— Ты хочешь сказать, что станешь кардиналом? Ну уж знаешь, это слишком! — воскликнул регент расхохотавшись.

— Поскольку вы, ваше высочество, не хотите мне дать голубое¹⁸, мне придется в ожидании лучшего удовольствоваться красным.

— Он хочет большего, чем быть кардиналом!

— А почему бы мне не стать когда-нибудь папой?

— В самом деле, ведь Борджа был папой.

— Бог нам обоим ниспослал долгую жизнь, монсеньер. Вы еще увидите это и многое другое.

— Ты знаешь, черт возьми, что я презираю смерть.

— Увы, слишком.

— Так вот: из-за тебя я стану трусом — любопытства ради.

— Это было бы совсем неплохо. А для начала вам следует, монсеньер, отказаться от ваших ночных прогулок.

— А это почему?

— Прежде всего потому, что вы рискуете жизнью!

— Какое это имеет значение?

— И еще по другой причине.

— По какой же?

— Ваши ночные прогулки, — сказал Дюбуа ханжеским тоном, — не могут быть одобрены церковью.

— Ступай к черту!

— Вот видите, монсеньер, — сказал Дюбуа, поворачиваясь к де Трессану, — среди каких повес и закоренелых грешников мне приходится жить. Надеюсь, ваше преосвященство не будет ко мне чрезмерно сурово.

— Мы сделаем все, что будет в наших силах, монсеньер, — ответил де Трессан.

— Когда же состоится церемония? — спросил Дюбуа, не желавший терять ни минуты.

— Как только у вас будут все необходимые бумаги.

— Мне нужно на это три дня.

— Значит, на четвертый день я буду к вашим услугам.

— Сегодня суббота. Итак, до среды.

— До среды, — ответил де Трессан,

— Только, аббат, я хочу заранее тебя предупредить, — сказал регент, — на церемонии посвящения тебя в сан не будет присутствовать одна довольно влиятельная особа.

— Кто посмеет так оскорбить меня?

— Я!

— Вы, монсеньер! Ошибаетесь, вы будете сидеть на своем обычном месте.

— А я тебе говорю, что не буду.

— Держу пари на тысячу луидоров, что будете!

— Даю тебе честное слово, что не буду на церемонии!

— Держу пари на две тысячи луидоров, что будете!

— Наглец!..

— Итак, до среды, господин де Трессан... А с вами, монсеньер, мы встретимся на

¹⁸ Голубую орденскую ленту нельзя было получить, не имея особых отличий. (Примеч. автора)

церемонии, — сказал Дюбуа и покинул кабинет регента в отличнейшем расположении духа. Он хотел поскорее разгласить весть о своем будущем назначении.

Но в одном Дюбуа ошибся: он не добился согласия де Ноайля. И угрозы и посулы оказались бессильны. Дюбуа никак не мог заставить кардинала подписать аттестацию о добрых нравах, которую он рассчитывал получить у него любой ценой. Правда, то был единственный прелат, посмеявшийся оказать святое, благородное сопротивление опасности, угрожавшей церкви. Орлеанский университет присудил Дюбуа ученую степень лиценциата. Архиепископ Руанский Безон подписал рекомендацию, и к условленному дню все документы были собраны. В пять утра, переодетый в охотничий костюм, Дюбуа выехал в Понтуаз, где встретился с епископом Нантским, и тот, верный своему обещанию, посвятил его в сан.

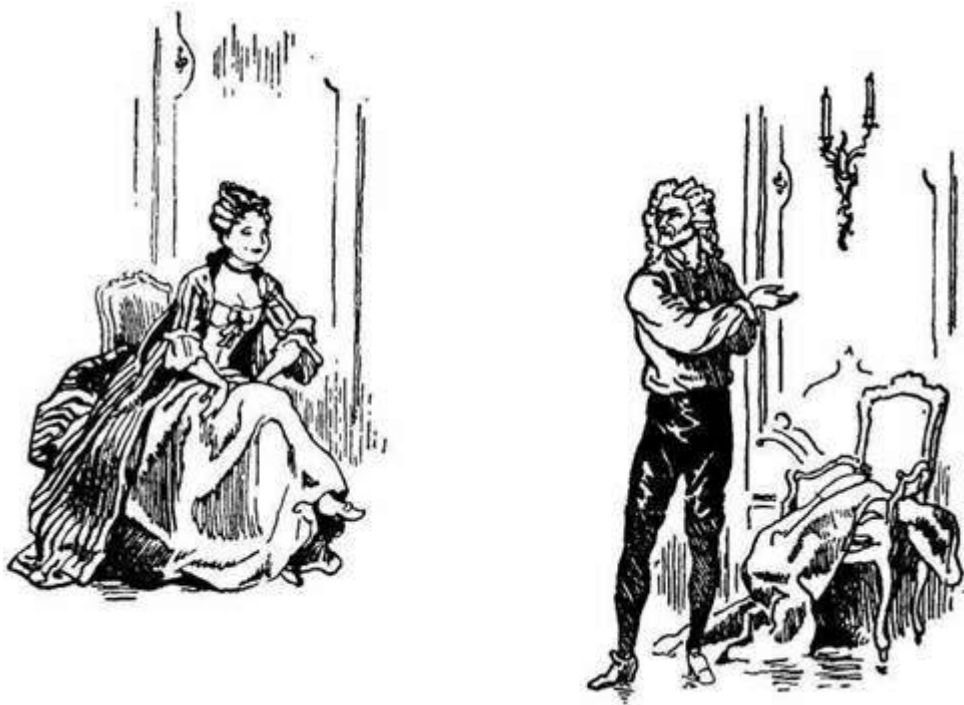
К полудню со всеми церемониями было покончено, а к четырем часам, успев предстать перед советом регентства, который из-за кори, свирепствовавшей, как мы говорили, в Тюильри, заседал в Старом Лувре, Дюбуа вернулся домой уже в облачении архиепископа. В кабинете его ждала Фийон. Будучи одновременно агентом тайной полиции и хозяйкой веселого заведения, эта дама имела в любой час доступ к Дюбуа. Даже в этот торжественный день Фийон не посмела не впустить, так как она заявила, что у нее есть сообщение чрезвычайной важности.

— О, черт возьми, вот это встреча! — воскликнул Дюбуа, увидев свою старую знакомую.

— Черт возьми, куманек, — ответила Фийон, — если ты настолько неблагодарен, что забываешь старых друзей, то я не так глупа, чтобы забывать своих, особенно когда они идут

— Послушай, — сказал Дюбуа, снимая свое облачение, — ты и теперь, когда я стал архиепископом, намерена по-прежнему называть меня кумом?

— Еще бы! Теперь-то уж только кумом, и никак иначе. Я даже готова попросить у регента, когда с ним увижусь, сделать меня настоятельницей какого-нибудь женского монастыря, единственно, чтобы не отстать от тебя.



— А этот распутник по-прежнему посещает твоё заведение?

— Увы, теперь уже не ради меня, куманек. Пролетели счастливые деньки. Но я надеюсь, что они вернутся и что на судьбе моего заведения сразу скажется твоё повышение.

— Бедная моя кума! — сказал Дюбуа, наклоняясь, чтобы Фийон отстегнула ему крючок на мантии. — Ты же сама понимаешь, что теперь положение изменилось и я больше не могу навещать тебя, как прежде.

— Что-то ты больно загордился. Ведь Филипп ко мне приходит по-прежнему.

— Филипп всего лишь регент Франции, а я архиепископ. Понимаешь? Мне нужна любовница, имеющая дом, куда я мог бы приходить, не опасаясь скандала, например госпожа де Тансен.

— Да, да, та, что обманывает тебя с Ришелье?

— А кто тебе сказал, что она наоборот, не обманывает Ришелье со мной?

— Матушки мои! Она, случайно, не совмещает ли несколько должностей, служа разом и любви, и полиции?

— Может быть. Да, кстати о полиции, — сказал Дюбуа, продолжая раздеваться. — Знаешь ли ты, что твои агенты ни черта не делают последние три-четыре месяца и что, если так будет продолжаться, мне придется прекратить тебе выплату жалованья?

— Ах ты, подлец! Вот как ты обращаешься со своими старыми друзьями! Ладно же, я пришла к тебе с важным сообщением, а теперь ничего не скажу.

— С сообщением? О чем?

— То-то, о чем! Ну-ка, отними у меня жалованье!

— Уж не об Испании идет ли речь? — спросил новоиспеченный архиепископ, нахмутив брови, так как инстинктивно чувствовал, что опасность грозит оттуда.

— Речь идет, кум, всего-навсего об одной девице, с которой я хотела тебя познакомить. Но раз ты становишься отшельником, прощай.

И Фийон направилась к двери.

— Ну ладно, будет, иди сюда, — сказал Дюбуа и направился к своему секретеру.

И старые друзья, вполне достойные друг друга, остановились и, встретившись глазами, расхохотались.

— Вот так-то лучше, — сказала Фийон. — Я вижу: еще не все потеряно; с тобой все-таки можно иметь дело. А ну-ка, кум, отомкни свой секретер и поделись со мной его содержимым, а я открою рот и поделюсь с тобой кое-какими сведениями.

Дюбуа вынул сверток, в котором было сто луидоров, и показал его Фийон.

— И чем же набита эта колбаска? — спросила она. — Ну? Только не ври; впрочем, я все равно для верности после тебя пересчитаю.

— Тут две тысячи четыреста ливров; неплохие денежки, мне кажется.

— Да, для аббата; но не для архиепископа.

— Ах ты, негодяйка, — сказал Дюбуа, — разве ты не знаешь, до какой степени наше казначейство обременено долгами!

— Ну и что? Почему тебя это беспокоит, шут ты этакий? Ведь Ло наделает вам еще миллионов!

— Хочешь вместо этого свертка десять тысяч ливров акциями миссисипской компании?

— Спасибо, любовь моя, я предпочитаю сто луи, давай их. Что поделаться, я добрая женщина, а ты когда-нибудь станешь щедрее.

— Ну хорошо. Так что же ты хотела мне сказать? Я слушаю.

— Прежде всего, куманек, ты должен мне обещать одну вещь.

— Какую же?

— Поскольку дело касается одного моего старого друга, ты должен обещать, что с ним ничего дурного не случится.

— Но если твой старый друг — негодяй, заслуживающий виселицы, какого черта тебе надо его спасти от наказания?

— Это уж мое дело. У меня свои принципы.

— Отстань! Я ничего не могу тебе обещать.

— Что ж, тогда прощай, кум. Возьми свои сто луидоров.

— О, да ты, я вижу, стала недотрогой.

— Вовсе нет, но у меня есть свои обязательства перед этим человеком. Он вывел меня в люди.

— Тогда ему есть чем похвастаться. Он оказал обществу неоценимую услугу.

— Я тоже так думаю. И ему не придется об этом жалеть, поскольку я ничего тебе не скажу, если ты мне не обещаешь сохранить ему жизнь.

— Ну ладно, мы его не казним. Я даю тебе слово. Теперь ты довольна?

— Какое слово?

— Слово честного человека.

— Кум, ты хочешь меня обмануть?

- Ну, знаешь, ты мне надоела.
- Ах, надоела? Отлично! Тогда прощай.
- Я велю, кума, арестовать тебя.
- Думаешь, я испугалась?
- Я велю отвести тебя в тюрьму.
- Плевать я хотела на твою тюрьму!
- Я тебя там сгною.
- Не успеешь — сам раньше сдохнешь.
- Ну, послушай, что же ты в конце концов хочешь?
- Я хочу знать, что капитану не угрожает смерть.
- Хорошо.
- Ты даешь слово?
- Слово архиепископа.
- Не годится.
- Слово аббата.
- Не годится.
- Слово Дюбуа.
- Идет! Так вот, прежде всего я должна тебе сказать, что мой капитан прокутил больше, чем любой другой в королевстве.
- Черт возьми! Конкуренция здесь немалая.
- И тем не менее пальма первенства принадлежит ему.
- Продолжай.
- Так вот, нужно тебе сказать, что мой капитан стал в последнее время богат, как Крёз.
- Должно быть, обокрал какого-нибудь генерального откупщика.
- На это он не способен. Убить — это пожалуйста, но обокрасть... За кого ты его принимаешь?
- Так откуда же, по-твоему, у него взялись деньги?
- Ты разбираешься в монетах?
- Конечно.
- Это что за монеты, по-твоему?
- Ого, испанские дублоны!
- Золотые... С изображением короля Карла Второго. Дублоны, которые стоят сорок восемь ливров штука и которые так и сыплются из его карманов.
- И давно на него пролился этот золотой дождь?
- Давно ли? За два дня до попытки похитить регента на улице Добрых Ребят.
- Улавливаешь связь?
- Ну да! А почему ты пришла ко мне с этим только сегодня?
- Потому что запасы капитана начинают истощаться, и настал как раз подходящий момент для того, чтобы узнать, где он их будет пополнять.
- А ты не торопилась, чтобы он успел порастрасти свои дублоны, не так ли?
- Всем жить надо.
- Все будут жить, кума, даже твой капитан. Но я должен знать каждый его шаг, понятно?
- День за днем.
- В которую из твоих девиц он влюблен?
- Во всех, когда у него есть деньги.
- А когда нет?
- В Нормандку. Это его сердечная привязанность.
- Я ее знаю, такую не проведешь.
- Да, но тут на нее нечего рассчитывать.
- Почему?
- Она, глупышка, любит его.
- О, вот счастливчик!
- И он этого заслуживает, смею тебя уверить. У него золотое сердце — все отдаст. Не то что ты, старый скряга.

— Ладно, ладно. Ты же сама знаешь, что при известных обстоятельствах я расточительнее блудного сына. Все в твоих руках.

— Что ж, я сделаю что смогу.

— Итак, я буду каждый день знать, как проводит время капитан.

— Договорились, каждый день.

— Ты даешь мне слово?

— Слово честной женщины.

— Не годится.

— Слово Фийон.

— Идет.

— Прощайте, монсеньер.

— Прощай, кума.

Фийон направилась к двери, но в тот момент, когда она собиралась выйти, в комнату вошел лакей.

— Монсеньер, — сказал он, — тут один человек просит ваше преосвященство принять его.

— А кто он, этот человек, болван?

— Служащий королевской библиотеки, который в свободное от работы время занимается перепиской.

— И что ему надо?

— Он говорит, что должен сделать чрезвычайно важное сообщение вашему преосвященству.

— Наверное, какой-нибудь бедняк, просящий о помощи?

— Нет, монсеньер, он говорит, что пришел по политическому делу.

— Касающемуся чего?

— Испании.

— Тогда пусть войдет. А ты, подружка, пройди-ка в соседнюю комнату.

— Это еще зачем?

— А вдруг этот переписчик и твой капитан друг с другом связаны.

— Это было бы забавно, — сказала Фийон.

— Ну, иди скорей.

И Фийон исчезла за дверью, на которую ей указал Дюбуа.

Минуту спустя лакей открыл дверь и доложил о господине Жане Бюва.

А теперь мы расскажем, как случилось, что наш скромный герой удостоился чести быть принятым монсеньером архиепископом Камбрейским.

Х. СООБЩНИК ПРИНЦА ДЕ ЛИСТНЕ

Мы покинули Бюва в тот момент, когда он возвращался домой со свертком бумаг в руках, торопясь выполнить обещание, данное принцу де Листне. Это обещание он свято сдержал, и, несмотря на то, что Бюва нелегко было переписывать с иностранного языка, на следующий день, в семь часов вечера, заказанная копия была им доставлена на улицу Бак, номер сто десять. Бюва тут же получил из рук высокого клиента новую работу, которую и выполнил с той же пунктуальностью. На этот раз принц де Листне, видимо проникшийся доверием к человеку, который уже успел доказать свою аккуратность, взял со стола гораздо большую кипу бумаг, чем первые два раза, и, чтобы не утруждать каждый день Бюва, да, должно быть, и самого себя, приказал ему принести все переписанные тексты сразу. Таким образом, их новая встреча откладывалась на три-четыре дня.

Бюва вернулся домой преисполненный гордости, так как был крайне польщен оказанным ему доверием. Батильду он застал такой веселой и счастливой, что поднялся в свою комнату в состоянии умиротворенности, близком к блаженству. Он тотчас же принялся за работу, и, разумеется, его настроение отразилось на ней благоприятно. Хотя Бюва, несмотря на промелькнувшую у него надежду, не понимал по-испански ни слова, он наловчился довольно бегло читать испанские тексты. Так как работа была чисто механическая, ему не нужно было

следить за смыслом фразы, остававшимся от него скрытым, и он мог, переписывая длиннющий доклад, напевать свою любимую песенку. Поэтому он испытал чуть ли не разочарование, когда обнаружил, что за первым текстом лежит бумага, написанная по-французски. За последние пять дней Бюва привык к языку кастильцев, а всякое нарушение своих привычек он воспринимал как осложнение. Но поскольку Бюва был рабом долга, он не мог от него уклониться, и, несмотря на то что на этой бумаге не значился порядковый номер и, казалось, она попала в стопку случайно, он решил ее переписать, действуя согласно изречению: «Quod abundat, pop vitiat»¹⁹. Итак, подточив перо ножичком и перейдя на скоропись, он начал переписывать следующие строки:

«Конфиденциально.

Его превосходительству монсеньеру Альберони.

Лично.

Нет дела более важного, чем завладеть пограничными постами близ Пиренеев и заручиться поддержкой дворян, проживающих в этих кантонах».

«В этих кантонах», — повторил про себя Бюва, уже написав эту фразу. Сняв волосок, прилипший к перу, он продолжал.

«Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне или завладеть ею».

«Что это значит: „Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне“? Разве Байонна не французский город? Что-то ничего нельзя понять». — И он стал писать дальше.

«Маркиз де П.*** — губернатор в Д.*** Намерения этого дворянина известны. Когда он начнет действовать, ему придется утроить свои расходы, чтобы привлечь к себе остальное дворянство. Он должен щедрой рукой раздавать награды.

Так как Карантан — весьма важный в Нормандии укрепленный пункт, то с его губернатором следует вести себя, как с маркизом де П.*** Офицеров привлечь на свою сторону любыми наградами.

Действовать таким же образом во всех провинциях».

— Батюшки! — воскликнул Бюва, перечитывая то, что написал. — Что все это значит? Мне кажется, было бы разумней прочитать всю эту бумагу до того, как писать дальше.

И он прочел:

«На эти расходы уйдет не меньше трехсот тысяч ливров в первый месяц и затем по сто тысяч ливров ежемесячно, причем деньги эти должны выплачиваться регулярно».

«Выплачиваться регулярно», — пробормотал Бюва, прерывая свое чтение. — Совершенно очевидно, что эти выплаты будут производиться не Францией, поскольку финансы Франции в таком плачевном состоянии, что вот уже пять лет, как мне не могут выплатить по девятьсот ливров жалованья в год. Ну, пойдем дальше.

Бюва продолжал чтение:

«Эти расходы, которые прекратятся после заключения мира, дадут возможность испанскому королю уверенно действовать во время войны, Испания будет лишь вспомогательной силой. Свою армию Филипп Пятый найдет во Франции».

— Скажите, пожалуйста! — воскликнул Бюва. — А я даже не знал, что испанцы перешли границу.

«Свою армию Филипп Пятый найдет во Франции. Авангард из десяти тысяч испанцев, возглавляемых королем, окажется поэтому более чем достаточным. Но при этом необходимо привлечь на свою сторону не меньше половины войск герцога Орлеанского. (Бюва вздрогнул.) Это имеет решающее значение. А без денег осуществить подобный замысел невозможно. На каждый батальон или эскадрон потребуется сто тысяч ливров, а на двадцать батальонов — два миллиона. С такой суммой можно создать себе надежную армию и разрушить армию неприятеля.

Можно быть почти уверенным, что наиболее преданные приверженцы испанского короля не будут зачислены в армию, которая пойдет войной против Испании. Эти люди разъедутся по провинциям и развернут там полезную для нашего дела деятельность. Тем из них, у кого нет

¹⁹ «Излишек не вредит» (лат.).

специальных полномочий, необходимо их срочно предоставить. Для этого его католическому величеству следует прислать в Париж чистые бланки приказов, которые смог бы заполнить испанский посол в Париже. Поскольку таких приказов будет множество, необходимо уполномочить посла подписывать их именем короля.

Желательно также, чтобы его католическое величество подписывал свои приказы так: «Сын Франции», ибо таков здесь его титул.

Кроме того, надлежит создать денежный фонд для оплаты боеспособной, обученной и дисциплинированной армии численностью в тридцать тысяч человек, которая будет ждать приказов его католического величества.

Эти деньги должны прибыть во Францию в конце мая или начале июня, и они будут немедленно распределены в главных городах провинций, таких, как Нант, Байонна и т.д.

Необходимо не допустить выезда из Испании французского посла: его пребывание в Испании послужит надежной гарантией безопасности для тех из наших сторонников во Франции, которые будут изобличены»²⁰.

— Сабля деревянная, это заговор! — воскликнул Бюва, протирая глаза. — Заговор, направленный против регента и безопасности королевства. Ох-ох-ох!..

Бюва погрузился в глубокую задумчивость.

И в самом деле, положение было критическим: Бюва замешан в заговоре! Бюва доверена государственная тайна! Бюва, быть может, держит в своих руках судьбы нации! Этого было более чем достаточно, чтобы повергнуть его в состояние полной растерянности.



Шли секунды, минуты, часы, а Бюва все так же неподвижно сидел в своем кресле, запрокинув голову и уставившись в потолок. Лишь время от времени из его груди вырывался шумный вздох, как бы выражая бесконечное удивление.

Часы пробили десять, затем одиннадцать, затем полночь. Бюва подумал, что утро вечера мудренее, и решил лечь спать. Само собой разумеется, что он оборвал переписку документа на том месте, где понял его предосудительный характер.

Однако заснуть Бюва не смог. Он ворочался с боку на бок; но едва лишь он закрывал глаза, как ему начинало чудиться, что на стене огненными буквами написан злосчастный план заговора. Раз или два, побежденный усталостью, он засыпал, но его тут же начинали мучить кошмары. В первый раз ему приснилось, что он арестован за участие в заговоре, во второй — что заговорщики закалывают его кинжалами. После первого сна Бюва проснулся в ознобе,

²⁰ Этот текст дословно списан с документа, хранящегося в архиве Министерства иностранных дел. (Примеч. автора)

после второго — обливаясь потом. Испытанные им при этом чувства были столь мучительны, что он зажег свечу и решил больше не пытаться заснуть.

Настало утро, но и свет не разогнал призраков ночи.

Бюва был слишком озабочен, чтобы спуститься к Батильде завтракать. К тому же он опасался, что девушка заметит его волнение и начнет расспрашивать, что с ним. А так как он ничего не умел от нее скрывать, ему пришлось бы ей во всем признаться, и Батильда тоже стала бы соучастницей заговора. Поэтому под предлогом срочной работы он велел принести себе кофе в комнату, сказав, что будет одновременно писать и завтракать.

Около десяти часов утра Бюва отправился в библиотеку. Если даже дома его мучили страхи, то легко понять, что на улице его охватил ужас. На каждом перекрестке, в глубине каждого тупичка, за каждым углом ему чудились тайные агенты, выжидающие лишь подходящего момента, чтобы схватить его. Когда на углу улицы Побед появился мушкетер, вышедший с улицы Пажевен, Бюва, завидя его, сделал такой скачок в сторону, что едва не попал под колеса кареты, выезжавшей с улицы Мель. В начале улицы Нев-де-Пти-Шан Бюва услышан за собой быстрые шаги и, не оборачиваясь, припустился бегом до самой улицы Ришелье. Здесь он вынужден был остановиться, чувствуя, что ноги его, мало привычные к столь чрезмерному напряжению, отказываются ему служить. Наконец он добрался до библиотеки, поклонился чуть ли не до земли привратнику, стоявшему у входа, поспешно проскользнул в галерею правого крыла здания; поднялся по маленькой лестнице, ведущей в отдел рукописей, влетел в свою рабочую комнату и, совсем обессилив, упал в кожаное кресло. Не переведя дыхания, он тут же запер в ящик своего стола весь сверток бумаг, полученных у принца де Листне, которые принес сюда из боязни, что в его отсутствие полиция придет к нему с обыском. Почувствовав себя в относительной безопасности, Бюва испустил глубокий вздох, по которому его коллеги поняли бы, что он во власти ужасной тревоги, не приди Бюва, как всегда, раньше всех.

Бюва твердо придерживался того принципа, что никакие личные дела, приятные или печальные, не могут позволить служащему уклоняться от выполнения своих обязанностей. Поэтому он тут же как ни в чем не бывало принялся за дело, хотя и находился в состоянии глубокого душевного потрясения.

Работа его заключалась, как обычно, в том, чтобы классифицировать книги и писать для них этикетки. Так как за несколько дней до этого в одном из залов библиотеки начался пожар, на ковры свалили без разбору четыре тысячи томов, чтобы спасти их от огня. Теперь их надо было вновь установить на полки. Так как это была очень долгая, а главное, весьма скучная работа, то ее поручили Бюва, и он выполнял ее до этого дня с таким умом и, главное, усердием, что заслужил похвалу начальников и насмешки коллег. Ему оставалось расставить еще двести или триста томов, которые должны были занять место рядом со своими собратьями по языку, содержанию, морали, или, вернее, аморальности, так как один из двух загоревшихся залов был уставлен весьма нескромными книгами, которые то названиями, то рисунками уже не раз вынуждали краснеть до корней волос чересчур стыдливого писца. Посреди этих груд безнравственных романов и бесстыдных мемуаров, меж которыми случайно заблудилось несколько книг по истории, весьма удивленных тем, что попали в подобную компанию, писец этот казался новым Лотом, стоящим на руинах древних развращенных городов.

Несмотря на срочность работы, Бюва несколько мгновений оставался неподвижен, с трудом приходя в себя. Но едва он увидел, что дверь открылась и один из его коллег, войдя, занял свое место, наш писец инстинктивно встал, схватил перо, обмакнул его в чернила и, взяв в левую руку запас пергаментных квадратиков, направился к томам, нагроможденным друг на друга или разбросанным на полу, чтобы продолжать свою классификацию. Он взял в руки первый попавшийся том, бормоча сквозь зубы, как привык уже в подобных обстоятельствах:

— «Требник влюбленных», издано в Льеже, в 1712 году, у... имени издателя нет. Ах, Боже мой! Опять нагие фигуры! Ну какое удовольствие могут находить христиане в чтении подобных книг? Куда лучше было бы приказать сжечь их на Гревской площади рукою палача! Рукою палача! Брр! Какое имя я, черт возьми, произнес? Я! Но кем же тогда может быть этот принц де Листне, заставляющий меня переписывать подобные вещи? И этот молодой человек, который, прикинувшись, что хочет оказать мне услугу, приходит, чтобы заставить меня

познакомиться с таким мерзавцем! Ну, хватит, хватит, сейчас речь не об этом, мне это безразлично. Как приятно писать на пергаменте! Перо скользит как по шелку, хвостики у букв тонкие, толстые черточки жирны; воистину человек отражается в своем почерке! Перейдем к следующему тому: «Анжелика, или Тайные удовольствия», с гравюрами, да еще с какими! Лондон. Следовало бы запретить перевозку подобных книг через границу... Ведь через несколько дней мы увидим на границе эти переписанные мною и призывающие к возмущению письма. Они устремятся поближе к Пиренеям, к сеньорам, чьи резиденции там находятся. Надо надеяться, что провинция не даст увлечь себя этим. Есть еще, черт возьми, верноподданные люди во Франции! Ну вот, я пишу «Байонна» вместо «Лондон», «Франция» вместо «Англия». Ах, проклятый принц! Пусть тебя арестуют, повесят, четвертуют! Но если его схватят и он меня выдаст? Проклятье, а ведь это возможно!

— Вот тебе раз, господин Бюва, — сказал старший писец, — что это вы делаете вот уже пять минут, скрестив руки на груди и испуганно оглядываясь?

— Ничего, господин Дкжудре, ничего. Я обдумываю новую систему классификации.

— Новую систему классификации? Полноте, какой же из вас нарушитель порядка! Вы, значит, хотите совершить революцию, господин Бюва?

— Я?! Революцию?! — вскричал Бюва с ужасом. — Революцию!! Никогда, сударь, никогда в жизни! Благодарение Всевышнему, моя преданность монсеньеру регенту известна. Преданность совершенно бескорыстная, ибо, как вы знаете, вот уже пять лет нам не платят; и если бы я однажды имел несчастье быть обвиненным в чем-нибудь подобном, то надеюсь, сударь, что нашел бы свидетелей, друзей, которые поручились бы за меня.

— Хорошо, хорошо. А пока, господин Бюва, продолжайте-ка вашу работу. Вы знаете, что она срочная. Все эти книги загромождают наше бюро, и надо, чтобы завтра не позднее четырех часов дня они стояли на своих полках.

— Они там будут, сударь; они там будут, даже если мне придется работать всю ночь.

— До чего ж славный малый этот папаша Бюва! — сказал один из служащих, который вот уже полчаса как пришел и все еще не кончил очинять свое перо. — Пообещал работать ночью, а сам знает, что есть приказ, запрещающий из-за боязни пожара подобные бдения. Но все равно хорошо: создается видимость усердия, это нравится начальникам. Ох, и льстец же ты, папаша Бюва!

Но Бюва давно уже привык в подобным насмешкам, чтобы они могли его обеспокоить. Поэтому, поставив на полку первые две книги, которые он уже занес в регистр и снабдил этикетками, он взял третью и продолжил свою работу.

«Биби, или Неизданные мемуары спаниеля мадемуазель Шанмеле». Черт возьми, вот это, наверное, очень интересная книга! Мадемуазель Шанмеле — знаменитая актриса!.. «Париж, издатель Барбен, 1694...» Ах... «Заговор господина де Сен-Мара...» Черт возьми! Я слышал об этой истории. Это был блестящий придворный, находящийся в переписке с Испанией... Проклятая Испания, вечно ей надо вмешиваться в наши дела! Правда, на этот раз сказано, что Испания будет лишь вспомогательной силой, однако это не помешает ей брать наши города и подкупать наших солдат. Что-то это очень напоминает вражеские действия... «Заговор господина де Сен-Мара с приложением достоверного описания казни господина де Ту, осужденного за сокрытие преступления». «За сокрытие»!.. Ах-ах... Но это справедливо. Закон ясно говорит: тот, кто покрывает преступника, является сообщником. Таким образом, я, например, сообщник принца де Лис-тне, и если его обезглавят, то и меня вместе с ним. Нет, точнее, меня повесят, поскольку я не дворянин... Повесят! Нет, это невозможно. Не могут же они применить ко мне эту крайнюю меру... К тому же я решил — я во всем признаюсь... Но если я признаюсь, я доносчик... Доносчик! Какая гадость! Но быть повешенным... Ох-ох!..»

— Да что с вами сегодня, папаша Бюва? — спросил писец, кончив, наконец, очинять свое перо. — Вы развязываете галстук? Уж не душит ли он вас, случаем? Что ж, не стесняйтесь! Снимите теперь сюртук. Располагайтесь как дома, папаша Бюва, как дома!..

— Простите, господа, — сказал Бюва. — Я это сделал машинально. Сам не заметил как... Я не хотел вас обидеть.

— Отлично!

И Бюва, завязав галстук, поставил на полку «Заговор господина де Сен-Мара...» и

протянул дрожащую руку за новой книгой: «Искусство безболезненного ощипывания курочек».

«Это, должно быть, поваренная книга. Если бы у меня было время заняться хозяйством, я списал бы отсюда хорошие рецепты и принес бы их Нанетте, чтобы прибавить какое-нибудь новое блюдо к нашему воскресному меню, ибо сейчас, когда у нас появились деньги... Да, появились, к несчастью, появились, но, Боже, из какого источника! О, я ему верну его деньги и все его бумаги, все, до последней строчки!

Да, я-то ему все верну, но он-то мне не вернет того, что переписано моей рукой. У него уже больше сорока страниц, написанных моим почерком. А кардинал Ришелье вешал человека за пять строчек! Да, они могут повесить меня по крайней мере сто раз! И у меня не будет никакой возможности отпереться, ибо этот почерк, этот великолепный почерк, многие знают: это мой почерк... О негодяи! Они что, читать не умеют? Зачем им понадобилось переписывать все свои бумаги каллиграфическим почерком? Подумать только, когда кто-нибудь прочтет мои этикетки и спросит: «Кто классифицировал эти книги?» — ему ответят: «Представьте, этот негодяй Бюва, который потом оказался замешанным в заговоре принца де Листне». Да, ведь я же не дописал еще этикетку.

«Искусство безболезненного ощипывания курочек. Париж, 1709. Издатель Комон, улица Бак, 110». Да я же пишу адрес принца! Господи, голова идет кругом... Право, я схожу с ума! А что если я пойду и заявлю обо всем, но откажусь при этом назвать имя того, кто дал мне эти бумаги? Да, но ведь они все равно заставят меня назвать это имя. Уж они-то сумеют из меня все вытянуть. Что это, я же совсем не работаю! Ну-ка, друг Бюва, займись делом!.. «Заговор шевалье Луи де Рогана». О, что за дьявольщина! Почему мне все время попадаются заговоры? Что же затевал этот шевалье? А, вот оно что: он хотел поднять восстание в Нормандии. Припоминаю, припоминаю: это тот бедный малый, которого повесили в 1640 году, то есть за четыре года до моего рождения. Моя матушка видела, как его казнили. Бедняга! Мать мне частенько рассказывала об этой казни. О Господи, если бы кто-нибудь сказал моей бедной матушке... Да, вместе с ним был повешен еще один человек... такой долговязый, весь в черном. Как же его звали?.. Какой я дурак, вот же книга... Ага... Его имя Ван ден Энден. Так-так. «Копия плана правления, найденная в бумагах шевалье де Рогана и переписанная рукой Ван ден Эндена». О Господи! Это уже прямо ко мне относится. Повесили. Повесили за то, что он переписал план. О-ла-ла, у меня просто душа замирает.

«Протокол пыток Франсуа Афиниуса Ван ден Эндена». Господи милосердный, а что если когда-нибудь к книге, посвященной заговору принца де Листне, будет приложен документ: «Протокол пыток Жана Бюва». Уф!

«Год 1674 и т.д. Мы, Клод Базен, шевалье де Безонс и Огюст Робер де Помере, были доставлены в крепость Бастилию в сопровождении советника и секретаря короля Луи Ле Мазье и т.д. и т.д. Находясь в одной из башен названной выше крепости, мы вызвали Франсуа Афиниуса Ван ден Эндена, приговоренного к смертной казни и к допросу с пристрастием, и заявили обвиняемому, что, несмотря на данную им клятву говорить только правду, он показал не все, что знал о заговоре и намерениях мятежников шевалье де Рогана и Латремона. Ван ден Энден нам ответил, что он сказал все что знал, и поскольку он был не участником заговора, а всего лишь переписчиком некоторых документов, то ему нечего добавить к своим показаниям.. Тогда мы надели ему на ноги колодки...»

— Сударь, вы такой образованный человек, — сказал Бюва, обращаясь к старшему писарю. — Нельзя ли вас попросить объяснить мне, что из себя представляют колодки для пыток?

— Дорогой Бюва, — ответил тот, явно польщенный полученным комплиментом, — я могу вам с полным знанием дела это рассказать, так как видел в прошлом году, как их надевали на Дюшофура.

— Сударь, мне было бы интересно узнать...

— Колодки, дорогой Бюва, — важным тоном продолжал господин Дюкудре, — это всего-навсего четыре доски, напоминающие бочарные.

— Отлично.

— Так вот, вашу (когда я говорю «вашу», вы сами понимаете, дорогой Бюва, я вовсе не имею в виду лично вас) правую ногу зажимают между двумя досками; потом эти доски

закрепляют веревкой. То же самое проделывают и с левой ногой. Затем обе ноги связывают вместе и между средними досками колотушкой вбивают клинья. Пять клиньев при обычном допросе, десять — при допросе с пристрастием.

— Но, — проговорил Бюва изменившимся голосом, — господин Дюкудре, ноги после этого, наверное, в ужасном состоянии?

— Они просто-напросто оказываются размозженными. Когда, например, вбивали шестой клин, кости Дюшофура раздробились, а при восьмом вместе с кровью потекла мозговая жидкость.

Бюва побледнел как смерть и присел на лешенку, так как боялся упасть.

— Господи Иисусе! — пробормотал он. — Что это такое вы говорите, господин Дюкудре?

— Чистую правду, мой дорогой Бюва. Прочтите описание казни Урбена Грандье: вы найдете там протокол пыток и увидите сами, лгу ли я.

— У меня как раз в руках протокол. Протокол пыток бедного господина Ван ден Эндена.

— Отлично, читайте.

Бюва устремил взгляд в книгу и прочел:

«При первом клине: Утверждает, что он говорит правду, что ему нечего больше сказать, что он терпит безвинно.

При втором клине: Говорит, что признался во всем, что ему было ведомо.

При третьем клине: Кричал: «Ах, Боже, Боже мой! Я сказал все что знал». При четвертом клине: Сказал, что ему не в чем признаться, кроме того, что уже известно, а именно в том, что он переписывал план правления, данный ему шевалье де Роганом».

Бюва отер платком пот, выступивший на лбу, и продолжал читать.

«При пятом клине: Сказал: „Ой-ой, Господи“, но не захотел произнести ничего другого.

При шестом клине: Кричал «Ой, Господи!»

При седьмом клине: Кричал: «Я умираю!»

При восьмом клине: Кричал: «Ах, Боже мой! Я не могу говорить, ибо мне нечего больше сказать».

При девятом клине, то есть при вбивании толстого клина:

Сказал: «Боже мой! Боже мой! Зачем так мучить меня? Вы хорошо знаете, что я ничего не могу сказать; раз я приговорен к смерти, дайте мне умереть».

При десятом, последнем, клине:

Сказал: «О, господа, чего вы от меня хотите? О, благодарю тебя, Боже мой! Я умираю, я умираю!»

— Что это с вами, Бюва? — воскликнул Дюкудре, увидев, что писец побледнел и зашатался. — Да ведь вам дурно!

— Ах, господин Дюкудре, — прошептал Бюва, роняя книгу, и поплелся к своему креслу, словно уже не мог держаться на размозженных ногах. — Ах, господин Дюкудре, я чувствую, что силы меня покидают.

— Вот что значит заниматься чтением, вместо того чтобы работать, — сказал тот служащий, который так долго очинял перо. — Если бы вы прилежно вносили книги в регистр и наклеивали этикетки на корешки, ничего подобного не случилось бы. Но господин Бюва изволил читать! Господин Бюва желает пополнить свое образование!..

— Ну, папаша Бюва, вам теперь уже лучше? — спросил Дюкудре.

— Да, сударь, потому что я принял решение, бесповоротное решение. Было бы несправедливо, ей-Богу, если бы мне пришлось отвечать за преступление, которого я не совершал. У меня есть обязательства перед обществом, перед моей воспитанницей, перед самим собой. Господин Дюкудре, если меня вызовет господин хранитель библиотеки, передайте ему, пожалуйста, что я ушел по неотложному делу.

И Бюва, вынув из своего ящика сверток бумаг, нахлобучил на голову шляпу, схватил трость и, даже не обернувшись, вышел из комнаты с величественным видом, который придавало ему отчаяние.

— Знаете, куда он идет? — спросил служащий, очинявший перо.

— Нет, — ответил Дюкудре.

— Пошел небось играть в шары на Елисейские поля или на Поршерон.

Но служащий ошибся: Бюва не отправился ни на Елисейские поля, ни на Поршерон. Он отправился к Дюбуа.

XI. БЕРТРАН И РАТОН

— Господин Жан Бюва! — доложил лакей.

Дюбуа вытянул свою змеиную головку и не без труда разглядел за широкой фигурой лакея, заполнявшего собой весь дверной проем, толстенького человечка с бледным лицом и дрожащими коленками, который покашливал, чтобы придать себе побольше уверенности. С первого взгляда Дюбуа понял, с кем имеет дело.

— Пусть войдет, — сказал Дюбуа.

Лакей отошел в сторону, и Жан Бюва показался на пороге.

— Входите же, входите, — сказал Дюбуа.

— Вы мне оказываете большую честь, сударь, — пробормотал Бюва, не двигаясь с места.

— Закройте дверь и оставьте нас, — сказал Дюбуа лакею. Лакей повиновался. Дверь, неожиданно ударив Бюва по спине, подтолкнула его вперед. С секунду он нетвердо держался на ногах, а потом опять застыл в полной неподвижности, не сводя с Дюбуа удивленных глаз.

И в самом деле, у Дюбуа был довольно странный вид. Верхнюю часть своего архиепископского облачения он успел уже снять, поэтому он был в рубашке, черных штанах и лиловых чулках. Это зрелище совершенно обескуражило Бюва, ибо он увидел, вопреки своим ожиданиям, не министра и не архиепископа, а какое-то странное существо, более похожее на орангутанга, чем на человека.

Дюбуа уселся в кресло, закинув ногу на ногу и обхватил колено руками.

— Ну, сударь, — сказал он, — вы желали со мной поговорить? Я к вашим услугам.

— Простите, сударь, — сказал Бюва, — я хотел видеть господина архиепископа Камбрейского.

— Это я и есть.

— Как, это вы, монсеньер! — воскликнул Бюва, схватившись обеими руками за шляпу и кланяясь до земли. — Соблаговолите простить меня, но я не узнал ваше преосвященство. Правда, я впервые удостоен чести вас видеть. Однако по вашему... хм... по вашему величественному виду... хм-хм!.. мне следовало бы догадаться...

— Как ваше имя? — спросил Дюбуа, прерывая лепет Бюва.

— Жан Бюва, ваш покорный слуга.

— Кто вы такой?

— Служащий королевской библиотеки.

— И вы пришли мне сообщить какие-то секретные сведения относительно Испании?

— Видите ли, в чем дело, монсеньер: поскольку служба не занимает всего моего времени, я могу по своему усмотрению располагать четырьмя часами утром и шестью — после обеда. А так как Бог наградил меня очень красивым почерком, то я беру работу на дом.

— Понимаю, — сказал Дюбуа. — Вам дали для переписки подозрительные бумаги, и вот вы мне их принесли, не так ли?

— Да, они в этом свертке, монсеньер, в этом свертке, — сказал Бюва, протянув Дюбуа пакет.

Дюбуа одним прыжком оказался около Бюва, взял сверток, сел за письменный стол и, в одно мгновение разорвав бечевку и обертку, принялся разглядывать бумаги.

Первые строчки, которые он прочел, были написаны по-испански. Но так как Дюбуа дважды ездил с миссией в Испанию, он немного болтал на языке Кальдерона и Лопе де Вега и поэтому сразу же увидел, какую важность имели эти бумаги. И в самом деле, здесь были ни больше ни меньше, как протест дворянства, список офицеров, готовых поступить на службу к испанскому королю, и манифест, сочиненный кардиналом де Полиньяком и маркизом де Помпадуром и призывающий все королевство к восстанию. Все эти документы были адресованы непосредственно Филиппу V, и к ним была приложена записка, написанная, как Дюбуа понял по почерку, рукой де Селламаре, в которой королю сообщалось, что заговор близится к развязке, что де Селламаре будет день за днем сообщать его величеству обо всех

мало-мальски значительных событиях, могущих как-либо повлиять на ход подготовки восстания. И в дополнение ко всему здесь был пресловутый план заговора, с которым мы уже ознакомили читателей и который, по недосмотру оказавшись в числе бумаг, переведенных на испанский, вызвал такой страх у Бюва.

Вместе с планом лежала его копия, написанная красивым почерком Бюва и прерванная на словах:

«Действовать таким образом во всех провинциях...»

Бюва с тревогой следил за выражением лица Дюбуа.

Он увидел, как удивление сменилось радостью. Затем лицо архиепископа стало непроницаемым. Читая документы, Дюбуа беспрестанно менял позу, кусал губы, пощипывал себя за нос. Однако по этим признакам Бюва все же не мог понять, какое впечатление произвели на архиепископа доставленные им бумаги. Когда Дюбуа закончил чтение, его лицо осталось для Бюва таким же загадочным, как и испанские тексты, которые он переписывал.

Что же касается Дюбуа, то он прекрасно понимал исключительную важность тайны, ключ к которой дал ему этот писарь, и теперь думал лишь о том, как бы выудить из него побольше сведений. Вот что, собственно, скрывалось за этими беспрестанными изменениями позы, покусыванием губ и пощипыванием носа. Наконец Дюбуа, видимо, принял какое-то решение, ибо лицо его вдруг озарилось приветливой улыбкой, и, обернувшись к Бюва, все еще почтительно стоявшему в стороне, он сказал:

— Что же вы не присядете, дорогой господин Бюва?

— Благодарю вас, монсеньер, — весь дрожа, ответил Бюва, — я не устал.

— Простите, — возразил Дюбуа, — но я вижу, что у вас дрожат колени.

И в самом деле, с тех пор как Бюва прочитал протокол пыток Ван ден Эндена, его ноги не переставали трястись мелкой нервной дрожью, как у собак, перенесших чумку.

— Дело в том, монсеньер, — сказал Бюва, — что вот уже два часа, как я едва держусь на ногах. Сам не пойму, что со мной случилось.

— Так сядьте же поскорей и давайте поговорим, как хорошие друзья.

Бюва посмотрел на Дюбуа с таким изумлением, что в другое время архиепископ, встретив подобный взгляд, не смог бы удержаться от смеха. Но тут Дюбуа сделал вид, что не замечает удивления своего собеседника, и, придвинув стоявший неподалеку стул, жестом повторил свое приглашение.

Отказаться было невозможно. Шатаясь, Бюва подошел к стулу и сел на самый краешек. Положив шляпу на пол, зажав трость между коленями и опершись руками на набалдашник, он застыл в ожидании. Очевидно, ему было нелегко все это проделать, так как лицо его из мертвенно-бледного стало пунцовым,

— Итак, дорогой господин Бюва, вы занимаетесь перепиской?

— Да, монсеньер.

— И много вы зарабатываете?

— Очень мало, монсеньер, очень мало.

— Однако у вас замечательный почерк, господин Бюва.

— Но не все ценят подобно вам этот талант, ваше преосвященство.

— Да, это верно. Но ведь, кроме того, вы еще служите в королевской библиотеке?

— Имею эту честь.

— Ну, а ваша должность приносит вам хороший доход?

— Монсеньер, это совсем другое дело. Моя должность мне ничего не приносит, поскольку вот уже шесть лет, как кассир в конце каждого месяца говорит нам, что король слишком стеснен в средствах, чтобы нам платить.

— И тем не менее вы продолжаете служить его величеству?.. Весьма похвально, господин Бюва, весьма похвально!

Бюва встал, поклонился архиепископу и снова сел.

— И к тому же, — продолжал Дюбуа, — у вас, должно быть, есть семья, жена, дети?

— Нет, монсеньер, я холост.

— Но у вас есть хотя бы родственники?

— Только воспитанница, монсеньер, прелестная девушка, к тому же очень талантливая.

Она поет, как мадемуазель Бюри, и рисует, как господин Грёз.

— Ах, господин Бюва, а как же зовут вашу воспитанницу?

— Батильда... Батильда дю Роше, монсеньер. Она дворянка, ее отец был адъютантом господина регента в те времена, когда господин регент был еще герцогом Шартрским. К несчастью, ее отец убит в битве при Альмансе.

— Я вижу, на вас лежит немалое бремя.

— Вы имеете в виду Батильду, монсеньер? О нет, Батильда не бремя; напротив, это бедное дитя приносит в дом больше денег, чем стоит ее содержание. Батильда — бремя! Подумать только! Во-первых, ежемесячно господин Папийон... вы знаете такого, монсеньер? Это торговец красками с улицы Клери... Так вот, господин Папийон выплачивает ей по восемьдесят ливров за два рисунка, которые она для него делает. Во-вторых...

— Я хочу лишь сказать, дорогой Бюва, что вы небогаты.

— О, в этом вы, конечно, правы, монсеньер, — я небогат. А мне бы очень хотелось быть богатым... ради Батильды. Если бы вы могли добиться от господина регента, чтобы из первых денег, которые попадут в государственную казну, мне бы выплатили все, что причитается за шесть лет работы в библиотеке, или хотя бы часть этих денег...

— А какую сумму примерно составляет этот долг?

— Четыре тысячи семьсот ливров двенадцать су и восемь денье, монсеньер.

— Какой пустяк! — воскликнул Дюбуа.

— Как пустяк? Разве это пустяк, монсеньер?

— Да, это не деньги.

— Нет, монсеньер, это деньги, и притом большие. И доказательством тому служит то обстоятельство, что король не в состоянии мне их выплатить.

— Да, но эта сумма не сделает вас богатым.

— Получив ее, я почувствовал бы себя свободней. Не стану скрывать от вас, монсеньер, что если из первых денег, которые поступят в королевскую казну...

— Дорогой Бюва, — сказал Дюбуа, — я могу предложить вам кое-что получше.

— Что ж, предложите, монсеньер.

— Ваше благополучие в ваших руках.

— Моя покойная матушка всегда мне это твердила, монсеньер.

— Это лишь доказывает, дорогой Бюва, что ваша матушка была весьма умной женщиной.

— Монсеньер, я к вашим услугам. Что мне надлежит делать?

— Господи, да сущую малость. Вы сейчас, не уходя из моего кабинета, перепишите все эти бумаги.

— Но, монсеньер...

— Это еще не все, дорогой господин Бюва. Затем вы отнесете тому человеку, который дал вам эту работу, и оригинал и копии, словно ничего не случилось. Вы возьмете у него новые документы для переписки и тотчас же принесете их мне, чтобы я мог с ними ознакомиться, а в остальном поступите с ними как с прежними, и так будет продолжаться до тех пор, пока я вам не скажу, что больше не надо.

— Но, монсеньер, — сказал Бюва, — мне кажется, что, если я буду так действовать, я обману доверие принца.

— Ах, так вы имеете дело с принцем, дорогой господин Бюва? А как зовут этого принца?

— Но, монсеньер, мне кажется, назвав его имя, я тем самым его выдам.

— Ну, знаете!.. Так зачем же вы ко мне пришли?

— Я пришел, монсеньер, предупредить вас, что его высочеству господину регенту угрожает опасность. Вот и все.

— Ах, вот как! — насмешливо проговорил Дюбуа. — И вы рассчитываете на этом остановиться?

— Да, монсеньер, мне бы этого хотелось.

— Увы, господин Бюва, это невозможно.

— Как невозможно?

— Совершенно невозможно, уверяю вас!

— Господин архиепископ, я честный человек!

— Господин Бюва, вы дурак!

— Тем не менее, монсеньер, мне бы хотелось молчать.

— Нет уж, дорогой мой, вам придется говорить.

— Если я буду говорить, то окажусь предателем по отношению к принцу.

— А если будете молчать, то окажитесь его сообщником.

— Сообщником, монсеньер? Но в каком же преступлении?

— Сообщником в государственной измене... О! Полиция уже давненько следит за вами.

— За мной, монсеньер?

— Да, за вами... Под тем предлогом, что вам не выплачивают жалованья вашего, вы позволяете себе вести крамольные разговоры, подрывающие авторитет государственной власти.

— О монсеньер! Неужели можно сказать...

— Под тем предлогом, что вам не платят жалованья, вы переписываете мятежные прокламации и занимаетесь этим вот уже четыре дня.

— Монсеньер, я обнаружил это лишь вчера. Ведь я не знаю испанского языка.

— Нет, сударь, вы знаете испанский.

— Клянусь вам, монсеньер...

— А я утверждаю, что вы знаете испанский! И доказать это можно тем, что в ваших копиях нет ни одной ошибки. Но это еще не все.

— Как не все?

— Да, не все. Разве этот документ написан по-испански, сударь? Взгляните...

«Завладеть пограничными постами близ Пиренеев и заручиться поддержкой дворян, проживающих в этих кантонах».

— Но, монсеньер, ведь именно этот документ и позволил мне обнаружить заговор.

— Господин Бюва, людей отправляли на каторгу и за меньшие преступления.

— Монсеньер!..

— Господин Бюва, на виселицу попадали и менее виновные, чем вы.

— Монсеньер, монсеньер!..

— Господин Бюва, их четвертовали!..

— Помилуйте, монсеньер, помилуйте!

— Помиловать? Помиловать такого негодяя, как вы, господин Бюва? Я засажу вас в Бастилию, а мадемуазель Батильду отправлю в Сен-Лазар!

— В Сен-Лазар? Батильду в Сен-Лазар! Кто же имеет право так поступить, монсеньер?

— Я, господин Бюва.

— Нет, монсеньер, вы не имеете права так поступить! — воскликнул Бюва. Боязливый и покорный, пока дело касалось его самого, он внезапно рассвирепел, как тигр, когда беда стала грозить Батильде. — Батильда вам не простая девушка, монсеньер! Батильда — дворянка, дочь офицера, который спас регенту жизнь. Я пойду к его высочеству...

— Нет, прежде вы пойдете в Бастилию, господин Бюва! А затем мы решим, как нам поступить с мадемуазель Батильдой, — сказал Дюбуа и позвонил в колокольчик.

— Монсеньер, что вы делаете?

— Это вы сейчас увидите.

В кабинет вошел лакей, и Дюбуа приказал ему:

— Конвойного и карету!

— Монсеньер! — воскликнул Бюва. — Монсеньер, я на все согласен!

— Выполняйте мое приказание, — сказал Дюбуа, обращаясь к лакею.

Лакей вышел.

— Монсеньер... — взмолился Бюва, простирая к Дюбуа руки. — Монсеньер, я подчиняюсь беспрекословно!

— Нет уж, господин Бюва. Вы хотите, чтобы вас судили? Пожалуйста. Вы хотите испытать, крепка ли веревка на виселице? Не беспокойтесь, вам доведется это узнать.

— Монсеньер! — воскликнул Бюва, падая на колени. — Что я должен сделать?

— Вас повесят! Повесят!! Повесят!!!

— Монсеньер, — доложил лакей, входя в комнату. — Карета у ворот, а конвойный ждет в прихожей.

— Монсеньер, — прошептал Бюва, по-прежнему стоя на коленях. Он ломал свои маленькие руки и в отчаянии рвал те немногие волосы, которые у него еще остались на голове. — Монсеньер, неужели вы не сжалитесь надо мной?

— Так вы не желаете назвать имя принца?

— Принц де Листне, монсеньер.

— Вы не желаете сказать мне его адрес?

— Он живет на улице Бак, в доме номер сто десять.

— Вы не желаете снять копии со всех этих документов?

— Я немедленно сажусь за работу, монсеньер, немедленно! — сказал Бюва и направился к письменному столу. Он схватил перо, окунул его в чернила и, взяв чистую тетрадь, вывел на первой странице великолепную заглавную букву. — Вот видите, монсеньер, я уже взялся за дело. Только разрешите мне написать Батильде записку, что я не вернусь обедать... Батильду — в Сен-Лазар! — сквозь зубы пробормотал Бюва. — Черт возьми! Уж он бы выполнил свою угрозу.

— Да, сударь, можете не сомневаться, я бы сделал это и еще более ужасные вещи ради спасения государства. И вы почувствуете это на собственной шкуре, если не вернете эти бумаги вашему принцу, не принесете мне новые документы и не будете приходить ежедневно ко мне в кабинет, чтобы снимать с них копии.

— Но, монсеньер, — сказал Бюва в полном отчаянии, — как же я могу одновременно работать в библиотеке и приходить сюда?

— Что ж, вы не будете ходить в библиотеку. Велика беда!

— Как я не буду ходить в библиотеку? Вот уже пятнадцать лет, как я служу там, и за это время не пропустил ни одного рабочего дня.

— Что ж, я предоставляю вам месячный отпуск.

— Но меня же уволят, монсеньер.

— Какая вам разница, раз вам все равно ничего не платят?

— Но это же честь, монсеньер, быть государственным чиновником! А кроме того, я люблю мои книги, мой стол, мое кожаное кресло! — воскликнул Бюва, готовый заплакать при мысли, что он может все это потерять.

— Если вам жалко расставаться с вашими книгами, столом и креслом, вы должны во всем меня слушаться.

— Я ведь вам уже сказал, что весь в вашем распоряжении, монсеньер.

— Итак, вы будете выполнять все, что я вам прикажу?

— Все,

— И вы будете держать язык за зубами?

— Я буду нем как рыба.

— Вы никому не скажете ни слова, даже мадемуазель Батильде?

— Ну уж ей-то меньше, чем кому бы то ни было.

— Хорошо, на этих условиях я вас прощаю.

— О монсеньер!

— Я забуду вашу вину.

— Монсеньер, вы слишком добры.

— И даже... быть может, я вас вознагражу.

— Монсеньер, какое великодушие!

— Ладно, ладно. Беритесь-ка лучше за дело!

— Я уже начал, монсеньер.

И Бюва принялся писать для быстроты скорописью, ничем не отвлекаясь, переводя взгляд лишь от оригинала к копии и от копии к оригиналу. Время от времени он останавливался лишь для того, чтобы вытереть со лба крупные капли пота.

Дюбуа воспользовался сосредоточенностью Бюва, чтобы незаметно выпустить из соседней комнаты Фийон. Знаком приказав ей молчать, он повел ее к двери.

— Ну что, кум, — прошептала Фийон, ибо, несмотря на запрещение разговаривать, она была не в силах сдержать своего любопытства, — где же твой писец?

— Вот он, — сказал Дюбуа, указывая на Бюва, который, склонившись над бумагой,

усердно скрипел пером.

— Что он делает?

— Ты спрашиваешь, что он делает?

— Ну да.

— Что он делает? Угадай-ка!

— Как же я могу угадать, черт возьми?

— Значит, ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что он делает? -Нуда!

— Ну что ж, он изготавливает копию... — ... копию чего?

— Копию послания папы о назначении меня кардиналом. Ну, теперь ты довольна?

Тут у Фийон вырвался такой громкий возглас удивления, что Бюва вздрогнул и невольно обернулся.

Но Дюбуа успел уже вытолкнуть Фийон из кабинета, еще раз приказав ей ежедневно докладывать ему все, что она узнает относительно капитана.

Может быть, читатель спросит, что делали в это время Батильда и д'Арманталь?

Ничего. Они просто были счастливы.

XII. ГЛАВА, ПОСВЯЩЕННАЯ СЕН-СИМОНУ

Прошло четыре дня, в течение которых Бюва, ссылаясь на нездоровье, не ходил в библиотеку и делал ежедневно по две копии с секретных документов: одну — для принца де Листне, другую — для Дюбуа. Все эти четыре дня, бесспорно самые тревожные в жизни бедняги-писца, он был столь мрачен и молчалив, что Батильда, хотя все мысли ее были заняты д'Арманталем, неоднократно одолевала его расспросами. Но всякий раз Бюва, собрав все свои душевные силы, отвечал, что решительно ничего не произошло, и, так как он вслед за тем начинал насвистывать свою любимую песенку, ему удавалось обмануть Батильду. Сделать это было тем легче, что каждый день в обычный час он уходил из дому, словно направляясь в библиотеку, и девушка, таким образом, не могла заметить никаких изменений в его распорядке дня.

А к д'Арманталю каждое утро приходил аббат Бриго и рассказывал, что их дела идут вполне успешно. А поскольку отношения шевалье с Батильдой развивались тоже как нельзя лучше, д'Арманталь пришел к заключению, что участвовать в заговоре — самое приятное занятие на свете.

Что касается герцога Орлеанского, то он, ни о чем не подозревая, ни в чем не отступая от своих привычек, как всегда, пригласил на воскресный ужин своих приятелей и своих фавориток, как вдруг — это было в два часа пополудни — в его кабинет вошел Дюбуа.

— А, это ты, аббат? Я как раз посылал к тебе узнать, будешь ли ты сегодня ужинать с нами, — сказал регент.

— Вы, значит, позвали к себе на вечер гостей, монсеньер? — спросил Дюбуа.

— Ты что, с луны свалился? И почему у тебя такая постная физиономия? Уж не забыл ли ты, что сегодня воскресенье?

— Нет, не забыл, монсеньер.

— Тогда приходи нынче вечером. Гляди, вот список гостей: Носе, Лафар, Фаржи, Раван, Брольи. Я не приглашаю Бранкаса, он невыносимо скучен в последнее время. Наверное, он стал заговорщиком, честное слово! А кроме того, я позвал фалари и Аверн. Они не переносят друг друга и уж, наверное, вцепятся друг другу в волосы. Вот будет забавная картина! Кроме них, придет Мышка и, возможно, мадам де Сабран, если только у нее не назначено свидание с Ришелье.

— Это ваш список, монсеньер? — Да.

— Быть может, теперь вы, ваше высочество, соблаговолите взглянуть на мой?

— Значит, вы тоже составили список?

— Нет, мне его принесли.

— Что это такое? — спросил регент, бегло взглянув на бумагу, которую ему подал Дюбуа.

«Поименный список офицеров, желающих поступить на службу к испанскому королю: Клод Франсуа де Феррет, кавалер ордена Людовика Святого, генерал-майор и полковник

французской кавалерии; Боше, кавалер ордена Людовика Святого, полковник пехоты; де Сабран, де Ларошфуко-Гондраль, де Вильнев, де Лескюр, де Лаваль».

— Ну и что же?

— А вот вам еще один список. — И Дюбуа подал герцогу другой документ — «Протест дворянства». — Что ж, монсеньер, продолжайте составлять списки, продолжайте, не вы один этим занимаетесь. Вот, например, принц де Селламаре тоже составляет свои списки:

«Подписи следуют без различия титулов и рангов: де Вье-Пон, де Ла Пайетри, де Бофремон, де Латур-дю-Пен, де Монтобан, Луи де Комон, Клод де Полиньяк, Шарль де Лаваль, Антуан де Каstellю, Арман де Ришелье».

— И где ты, хитрый черт, все это добыл?

— Терпение, монсеньер, это только начало. Извольте взглянуть сюда.

«План заговора. Завладеть пограничными постами близ Пиренеев. Привлечь на свою сторону гарнизон в Байонне».

— Сдать наши города, вручить испанскому королю ключи от Франции! Кто хочет это сделать, Дюбуа?

— Терпение, монсеньер, у меня припасено для вас кое-что почище. Вот извольте: письмо, написанное собственной рукой его величества Филиппа Пятого.

— «Королю Франции...» Но ведь это всего лишь копии, — сказал регент.

— Я вам сейчас скажу, у кого находятся оригиналы.

— А ну-ка, дорогой аббат, посмотрим, что это такое:

«С тех пор как волею Провидения я оказался на испанском престоле... и т.д. и т.д. Как встретят ваши верноподданные договор, направленный против меня... и т.д. и т.д. Прошу ваше величество созвать Генеральные штаты королевства».

— От чьего имени созвать Генеральные штаты?

— Вы же видите, монсеньер, от имени Филиппа Пятого.

— Филипп Пятый, — король Испании, а не Франции. Пусть он занимается своими делами. Я уже однажды перешел через Пиренеи, чтобы вернуть ему престол. Что ж, я могу еще раз проделать этот путь, чтобы свергнуть его с престола.

— Об этом мы еще успеем потолковать. Я не отвергаю этот план. Но сейчас прошу вас, монсеньер, прочтите пятый документ, как вы сможете убедиться, не менее важный, чем все остальные.

И Дюбуа протянул регенту еще одну бумагу, которую герцог Орлеанский развернул с таким нетерпением, что порвал ее.

— Ах, черт возьми! — пробормотал регент.

— Неважно, монсеньер: сложите куски и читайте. Регент сложил оба куска разорванного документа и прочел.

— «Дорогие и любимые!..» Да, дело ясное! Речь идет, ни больше ни меньше, как о том, чтобы меня низвергнуть. Эти документы заговорщики, вероятно, собирались передать королю?

— Да, монсеньер, завтра.

— Кто должен был это сделать?

— Маршал.

— Вильруа?

— Он самый.

— Как же он мог решиться на такой шаг?

— Это не он решился, а его жена.

— Еще одна проделка Ришелье.

— Вы угадали, ваше высочество.

— Откуда у тебя все эти бумаги?

— От одного бедняги-писца, которому поручили снять с них копии, потому что после налета полиции Лавалю пришлось приостановить работу в своей подпольной типографии.

— И этот переписчик был непосредственно связан с де Селламаре?.. Какие глупцы!

— Отнюдь нет, монсеньер, отнюдь нет. Все меры предосторожности были приняты. Писец имел дело лишь с принцем де Листне.

— Принц де Листне? Это еще что за птица?

— Он живет на улице Бак, дом сто десять.

— Я такого не знаю.

— Ошибаетесь, монсеньер, вы его знаете.

— Где же я мог его видеть?

— В вашей прихожей, монсеньер.

— Значит, этот мнимый принц де Листне...

— .. не кто иной, как долговязый прохвост Давранш, лакей герцогини дю Мен.

— О, я был бы удивлен, если бы эта злая оса не оказалась замешанной в заговоре.

— Она его душа! И если вы, монсеньер, пожелаете на сей раз расправиться с ней и со всей ее шайкой, то имейте в виду, что все они в наших руках.

— Займемся прежде более срочным делом.

— Да, Нам надо решить, что делать с Вильруа. Готовы ли вы, монсеньер, к решительным действиям?

— Вполне. Пока он изображал из себя оперного героя и только размахивал руками, мы его терпели. Пока он ограничивался клеветой и дерзкими выходками, мы ему прощали. Но теперь, когда речь идет о судьбе королевства, нет, уж извините, господин маршал! Вы и так нанесли Франции достаточный урон как бездарный военачальник, чтобы мы могли позволить вам наносить вред стране вашей жалкой политикой!

— Итак, — сказал Дюбуа, — на этот раз мы арестуем его.

— Да, но с известными предосторожностями: его необходимо застигнуть на месте преступления.

— Ну, это нетрудно. Он ведь ежедневно приходит в восемь утра к королю.

— Да, — подтвердил регент.

— Так вот, вам следует, монсеньер, явиться завтра ровно в половине восьмого в Версаль.

— А потом?

— Вы зайдете к его величеству раньше маршала.

— И там в присутствии короля я обвиню его...

— Нет, нет, монсеньер. Надо...

В этот момент в дверях кабинета появился лакей.

— Молчи, — предупредил регент Дюбуа и, повернувшись к лакею, спросил: — Что тебе надо?

— Вас желает видеть герцог де Сен-Симон.

— Спроси, важное ли у него дело.

Лакей обернулся к герцогу де Сен-Симону, стоящему в приемной, и, обменявшись с ним несколькими словами, сказал регенту:

— У герцога к вам дело чрезвычайной важности.

— Тогда пусть войдет. Вошел Сен-Симон.

— Простите, герцог, — сказал регент, — я сейчас закончу разговор с Дюбуа и через пять минут буду в вашем распоряжении.

Герцог Орлеанский и Дюбуа отошли в угол кабинета. Минут пять они о чем-то шептались, а затем Дюбуа откланялся.

— Сегодняшний ужин у герцога отменяется, — сказал он лакею, выходя из кабинета. — Предупредите приглашенных. Господин регент болен.

— Это правда, монсеньер? — спросил Сен-Симон с неподдельным волнением, ибо герцог, весьма немногих даривший своей дружбой, выказывал то ли из расчета, то ли по душевной склонности большую симпатию к регенту.

— Нет, дорогой герцог, — ответил Филипп, — во всяком случае, не настолько, чтобы следовало беспокоиться. Но Ширак утверждает, что если я не переменю образ жизни, то умру от апоплексического удара. Вот я и решил уgomониться.

— Монсеньер, да услышит Бог ваши слова! — сказал Сен-Симон. — Хотя, увы, вы слишком поздно приняли это решение.

— Почему слишком поздно, дорогой герцог?

— Потому что легкомыслие вашего высочества дало чересчур много пищи для клеветы.

— Если дело только в этом, дорогой герцог, то не стоит беспокоиться. Клевета меня так

долго преследовала, что пора бы ей уже устать.

— Напротив, монсеньер, — возразил Сен-Симон. — Должно быть, против вас замышляют новую интригу, потому что клевета опять подняла свою ядовитую голову и шипит громче, чем когда бы то ни было.

— Ну, что же еще случилось?

— А вот что: когда я вышел после вечерни из церкви Святого Рока, то увидел на паперти нищего, который просил милостыню и пел. Не прекращая своего пения, он предлагал всем выходящим листки с текстом песен. И знаете, что это оказались за песни, монсеньер?

— Нет. Но, наверное, какой-нибудь памфлет против Ло, или против бедной герцогини Беррийской, или, быть может, даже против меня. Ах, дорогой герцог, пусть себе поют, лишь бы платили налоги.

— Вот, монсеньер, читайте, — сказал Сен-Симон.

И он протянул герцогу Орлеанскому листок плотной дешевой бумаги со стихотворным текстом, напечатанным так, как обычно печатают уличные песни.

Регент, пожав плечами, взял листок и, взглянув на него с невыразимым отвращением, принялся читать:

О вы, ораторы, чьей гневной речи сила
Будила в древности в сердцах победный дух,
И Рим, и Грецию к борьбе вооружила,
Презреньем заклеив тиранов злобных двух.
Вложите весь ваш яд, всю вашу желчь в мой стих,
Чтоб заклеить я мог того, кто хуже их!
— Узнает ли ваше высочество автора этой оды? — спросил Сен-Симон.
— Да, — ответил регент. — Это Лагранж-Шансель. И он продолжал чтение.
О, страшный человек! Едва открыл он очи,
Как увидал барьер меж тронem и собой,
И вот его сломить решил ценой любой,
И, мысли черные лелея дни и ночи,
В тиши овладевал — о, мстительный злодей! -
Уменьем всех Цирцей, искусством всех Медей.
...Лишь в злодеяниях и черпая отраду,
С упорством шествуя по адскому пути,
К заветной цели он надеялся прийти,
За преступления стяжав себе награду.

— Возьми, герцог, — сказал регент, возвращая листок Сен-Симону, — это так ничтожно, что у меня нет сил дочитать эти вирши до конца.

— Нет, читайте, монсеньер. Вы должны знать, на что способны ваши враги. Они выползают на свет Божий, что ж, тем лучше. Это открытая война. Ваши враги вызывают вас на бой. Примите же его и докажите им, что вы победитель в сражениях при Нервиндене, Стенкеркене и Лериде.

— Вы настаиваете, чтобы я читал, герцог?

— Это необходимо, монсеньер!

И регент с чувством непреодолимого отвращения вновь перевел глаза на листок и стал читать оду, пропустив часть строфы, чтобы поскорее дойти до конца:

Спешит за братом брат, муж за женою вслед — От смерти не уйти, для них спасенья нет!
...Так падают сыны, оплакавши отца, Рукой коварною повержены жестоко! Удар настигнет всех. Вот два невинных сына — Последний наш оплот — остались у дофина... Но Парки рвется нить; навек покинул нас Один из них... Второй предчувствует свой час.

Регент читал ее вслух, делая паузу после каждой строчки, и, по мере того как ода приближалась к концу, голос его все больше менялся. На последнем стихе он не смог уже сдержать свой гнев и, скомкав листок, видимо, хотел что-то сказать, но был не в силах выговорить ни слова. Лишь две слезы скатились по его щекам.

— Монсеньер, — сказал Сен-Симон, глядя на регента с сочувствием и глубочайшим уважением, — монсеньер, я бы хотел, чтобы весь мир видел эти благородные слезы. Тогда бы

мне не пришлось советовать вам отомстить врагам, ибо весь мир убедился бы, что вас не в чем обвинить.

— Да, меня не в чем обвинить, — прошептал регент. — И долгая жизнь Людовика Пятнадцатого будет тому доказательством. Презренные! Они-то лучше, чем кто бы то ни было, знают, кто является истинными виновниками всех бед. Госпожа де Ментенон! Герцогиня дю Мен! Маршал де Вильруа! А подлейший Лагранж-Шансель всего лишь их выкормыш. И подумать только, Сен-Симон, что сейчас все они в моей власти и мне достаточно поднять ногу, чтобы раздавить этих гадин!

— Давите их, сударь, давите! Ибо такой случай представляется не каждый день, а уж когда он представился, его нельзя упускать!

Регент на минуту задумался, и за это мгновение его искаженное гневом лицо вновь приняло присущее ему выражение доброты.

— Но, — сказал Сен-Симон, который сразу же заметил перемену, происшедшую в регенте, — я вижу, что сегодня вы этого не сделаете.

— Да, герцог, вы правы, — сказал Филипп, — ибо сегодня мне надо заняться более важным делом, чем месть за оскорбленного герцога Орлеанского. Я должен спасти Францию.

И, протянув руку Сен-Симону, регент прошел в свою комнату.

В девять часов вечера регент, вопреки всем своим привычкам, покинул Пале-Рояль и поехал ночевать в Версаль.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I. ЛОВУШКА

На следующий день около семи часов утра, когда короля одевали, господин первый дворянин королевских покоев вошел к его величеству и доложил ему, что его королевское высочество герцог Орлеанский просит разрешения присутствовать при его туалете. Людовик XV, который еще не привык решать что бы то ни было самостоятельно, обернулся к сидевшему на самом незаметном месте в углу опочивальни епископу Фрежюсскому словно для того, чтобы спросить у него, как надобно поступить. В ответ на этот безмолвный вопрос епископ не только кивнул головой в знак того, что следует принять его королевское высочество, но и, тотчас же поднявшись, сам пошел открыть ему дверь. Регент на минуту задержался на пороге, чтобы поблагодарить Флери, потом, окинув взглядом спальню и убедившись, что маршал де Вильруа еще не прибыл, направился к королю.



Людовик XV был в то время красивым девятилетним ребенком с каштановыми волосами, черными глазами, вишневым ртом и розовым лицом, которое порой внезапно бледнело, как и лицо его матери Марии Савойской, герцогини Бургундской. Хотя характер его далеко еще не определился из-за противоположных влияний, которым подвергался король вследствие разногласий между его двумя воспитателями — маршалом де Вильруа и епископом Фрежюсским, во всем его облике, даже в манере надевать шляпу, было что-то пылкое и энергичное, выдававшее правнука Людовика XIV. Вначале король был предубежден против герцога Орлеанского, которого ему всячески старались представить самым враждебным ему человеком во Франции, но вскоре он почувствовал, как мало-помалу при встречах с регентом это предубеждение рассеивается, и инстинктом, так редко обманывающим детей, распознал в нем друга.

Со своей стороны герцог Орлеанский относился к королю не только с должным

уважением, но и с самой нежной предупредительностью. Немногие дела, доступные пониманию юного короля, регент всегда отдавал ему на рассмотрение, освещая их с такой ясностью и с таким умом, что труд политика, который был бы утомительным для царственного ребенка, если бы к нему приобщал его кто-либо другой, становился для него своего рода приятным развлечением. Нужно также сказать, что почти всегда этот труд вознаграждался прекрасными игрушками, которые Дюбуа выписывал для короля из Германии и Англии.

Итак, его величество принял регента с приветливейшей улыбкой и в знак особенной милости протянул ему руку для поцелуя, а монсеньер епископ Фрежюсский, выказывая неизменное смирение, опять уселся в том уголке, где его застало прибытие его высочества.

— Я очень рад видеть вас, сударь, — сказал Людовик XV своим нежным голосом, с детской улыбкой, которую даже предписанный ему этикет не мог лишить прелести. — Очень рад, тем более что вы пришли не в обычное время, а это значит, что вы намерены сообщить мне приятную новость.

— Даже две, ваше величество. Во-первых, я получил из Нюрнберга огромный ящик, в котором, по всей видимости, находятся...

— О, игрушки! Много игрушек! Не правда ли, господин регент? — вскричал король и при этом подпрыгнул от радости и захлопал в ладоши, не обращая внимания на своего камердинера, стоявшего позади него, держа в руках маленькую шпагу с серебряным эфесом, которую он собирался пристегнуть к его поясу.

— Красивые игрушки! Красивые игрушки! О, какой вы милый! Как я вас люблю, господин регент!

— Ваше величество, я только исполняю свой долг, — ответил герцог Орлеанский, почтительно кланяясь, — и вы не должны меня за это благодарить.

— А где же, сударь, этот благословенный ящик?

— У меня. И если вы желаете, ваше величество, я прикажу доставить его сюда в течение дня или завтра утром.

— О нет, сейчас же, прошу вас, господин регент!

— Но ведь он у меня.

— Ну и что ж, пойдемте к вам! — вскричал мальчик и бросился к двери, забыв о том, что для завершения туалета ему недостает еще шпаги, атласной курточки и голубой ленты.

— Государь, — сказал епископ, выступая вперед, — я позволю себе заметить вашему величеству, что вы слишком пылко отдаетесь удовольствию, доставляемому вам обладанием предметами, на которые вы должны были бы смотреть как на безделушки.

— Да, господин епископ, вы правы, — сказал Людовик XV, стараясь сдержать себя, — но вы должны меня извинить: ведь мне еще только девять лет, и я вчера хорошо поработал.

— Это правда, — сказал с улыбкой епископ Фрежюсский. — Поэтому ваше величество займется своими игрушками после того, как спросит у господина регента, какова вторая новость, которую он намеревался вам сообщить.

— Ах да, сударь, какова же это новость?

— Речь идет о деле, которое обещает быть весьма полезным для Франции, и дело это настолько важное, что я хочу представить его на рассмотрение вашего величества.

— А у вас при себе бумаги, относящиеся к этому делу?

— Нет, государь, я не знал, что найду ваше величество стать расположенным заняться этим делом, и оставил их у себя в кабинете.

— А не можем ли мы уладить все это? — сказал Людовик XV, обращаясь и к епископу, и к регенту и бросая то на одного, то на другого умоляющий взгляд. — Вместо того чтобы отправиться на утреннюю прогулку, я пошел бы к вам посмотреть на нюрнбергские игрушки, а потом мы перешли бы в ваш кабинет и там поработали.

— Это противоречит этикету, государь, — ответил регент. — но если ваше величество этого хочет...

— Да, хочу, — ответил Людовик XV. — Если, конечно, позволит мой добрый наставник, — добавил он, устремив на епископа Фрежюсского такой нежный взгляд, что устоять перед ним было невозможно.

— Вы ничего не имеете против, монсеньер? — спросил герцог Орлеанский, поворачиваясь к Флери и произнося эти слова таким тоном, который указывал, что регент был бы глубоко уязвлен, если бы наставник отклонил просьбу своего царственного воспитанника.

— Нет, ваше высочество, напротив, — сказал Флери. — Его величеству полезно привыкать к работе, и если позволительно нарушить правила этикета, то именно тогда, когда из этого нарушения должен последовать для народа благоприятный результат. Я только прошу у вас разрешения сопровождать его величество.

— Конечно, сударь! — сказал регент. — Сделайте милость.

— О, как я рад, как я рад!.. — вскричал Людовик XV. — Скорее подайте мне куртку, шпагу, голубую ленту!.. Вот я и готов, господин регент, вот я и готов!

И он сделал шаг вперед, чтобы взять за руку регента, но тот, не позволив себе проявить такую же непринужденность, поклонился, сам открыл дверь перед королем и, сделав ему знак идти вперед, последовал за ним вместе с епископом Фрежюсским на расстоянии трех или четырех шагов, держа шляпу в руке.

Как апартаменты короля, так и апартаменты герцога Орлеанского были расположены на первом этаже, и их разделяли лишь передняя, выходящая в покои его величества, и маленькая галерея, которая вела в другую переднюю, выходящую в покои регента. Таким образом, переход был коротким, а так как король торопился, они через минуту оказались в большом кабинете с четырьмя окнами, вернее, четырьмя стеклянными дверьми, через которые по двум ступенькам можно было спуститься в сад. Этот большой кабинет сообщался с другим, поменьше, в котором регент обычно работал и принимал близких друзей и фаворитов. В большом кабинете герцога ждали все его приближенные, что было вполне естественно, поскольку это был час утреннего выхода. Поэтому юный король не обратил внимания ни на господина д'Артагана, капитана мушкетеров, ни на маркиза де Лафара, капитана гвардии, ни на изрядное число шевалежеров, прогуливавшихся под окнами. К тому же он увидел на столе, стоявшем посреди кабинета, благословенный ящик, из ряда вон выходящие размеры которого, несмотря на недавние увещания епископа Фрежюсского, вызвали у него крик радости.

Однако ему опять пришлось сдержаться и достойно принять королевские почести, которые отдали ему д'Артаган и Лафар. Тем временем регент приказал позвать двух лакеев, вооруженных стамесками, и те в один миг сорвали крышку с ящика, содержавшего набор самых великолепных игрушек, какие когда-либо восхищали взор девятилетнего короля.

При этом соблазнительном зрелище король забыл о своем наставнике, об этикете, о капитане гвардии и капитане мушкетеров и, бросившись к открывавшемуся перед ним раю, стал извлекать из ящика, словно из неисчерпаемого кладезя, словно из волшебной корзины, словно из сокровищницы «Тысячи и одной ночи», колокола, трехпалубные корабли, кавалерийские эскадроны, пехотные батальоны, бродячих торговцев, нагруженных товарами, фокусников с волшебными бокалами — словом, множество тех чудесных игрушек, от которых в рождественский сочельник кружится голова у всех детей по ту сторону Рейна. И каждая из них вызывала у него такой искренний и необузданный восторг, что даже епископ Фрежюсский не решился омрачить этот миг счастья, озарившего жизнь его царственного воспитанника. Все присутствующие взирали на эту сцену в благоговейном молчании, которое обычно хранят свидетели глубокой скорби или глубокой радости.

Но вдруг дверь распахнулась. Привратник доложил о герцоге де Вильруа, и на пороге появился маршал с тростью в руке, растерянно трясая своим париком и крича, чтобы ему сказали, где король. Так как все уже привыкли к его повадкам, регент ограничился тем, что указал ему на Людовика XV, продолжавшего опустошать ящик, усыпая мебель и паркет великолепными игрушками, которые он доставал все из того же неиссякаемого источника. Маршалу было нечего сказать: он опоздал почти на час, и король был у регента с епископом Фрежюсским, на которого де Вильруа мог положиться как на самого себя. Тем не менее он приблизился к

Людовику XV, ворча и бросая вокруг настороженные взгляды, в которых можно было прочесть, что если его величеству угрожает какая-нибудь опасность, то он, маршал де Вильруа, готов его защитить. Регент обменялся быстрым взглядом с Лафаром и едва заметной улыбкой с д'Артаганом: все шло чудесно.

Когда ящик был опустошен и король наслаждался созерцанием своих сокровищ, регент подошел к нему и, по-прежнему не надевая шляпы, напомнил о его обещании посвятить час государственным делам. Людовик XV со свойственной ему пунктуальностью, впоследствии побудившей его сказать, что точность — вежливость королей, бросив последний взгляд на игрушки и попросив разрешения взять их в свои апартаменты, на что тотчас получил согласие, направился к маленькому кабинету, дверь которого перед ним распахнул регент. Каждый из воспитателей поступил в соответствии со своим характером. Господин де Флери, который, ссылаясь на нежелание вмешиваться в политические дела, почти никогда не присутствовал при занятиях короля с герцогом Орлеанским, со свойственным ему тактом отступил на несколько шагов и уселся в углу, в то время как маршал со своей обычной бесцеремонностью бросился вперед и, видя, что король входит в кабинет, хотел последовать за ним. Это был как раз тот самый момент, который был подготовлен регентом и которого он с нетерпением ждал.

— Простите, господин маршал, — сказал он, преграждая дорогу герцогу де Вильруа, — но дела, о которых я должен переговорить с его величеством, требуют строжайшей тайны, и я попрошу вас на некоторое время оставить нас с ним наедине.

— Наедине?! — вскричал Вильруа. — Наедине! Но вы же знаете, что это невозможно, ваше высочество.

— Невозможно, господин маршал? — ответил регент с величайшим спокойствием. — Невозможно! А почему, скажите на милость?

— Потому что в качестве воспитателя его величества я имею право сопровождать его повсюду.

— Прежде всего, сударь, это право, на мой взгляд, решительно ничем не обосновано, и если я до сих пор соглашался терпеть не это право, а эту претензию, то только потому, что, ввиду юного возраста его величества, она не имела значения. Но теперь, когда королю скоро исполнится десять лет, когда становится возможным посвятить его в науку управления, вы, конечно, сочтете правильным, господин маршал, чтоб и я, поскольку Франция облекла меня званием его наставника в этой науке, так же как епископ Фрежюсский и вы, проводил известные часы наедине с его величеством. Вам тем легче согласиться с этим, господин маршал, — прибавил регент с выразительной улыбкой, — что вы слишком сведущи в такого рода вопросах, чтобы вам еще оставалось чему-нибудь научиться.

— Но, ваше высочество, — возразил маршал, по обыкновению горячась и забывая о всяком приличии, по мере того как входил в раж, — позвольте вам заметить, что король — мой воспитанник.

— Я это знаю, сударь, — сказал регент тем же насмешливым тоном, который он с самого начала принял в разговоре с маршалом, — и я не помешаю вам сделать короля великим полководцем. Ваши итальянские и фландрские кампании свидетельствуют о том, что нельзя было бы выбрать для него лучшего учителя, но в настоящий момент речь идет совсем не о военном деле, а просто-напросто о государственной тайне, которая может быть доверена только его величеству. Поэтому мне остается лишь еще раз повторить вам, что я желаю беседовать с королем наедине.

— Это невозможно, ваше высочество, это невозможно! — вскричал маршал, все более теряя голову.

— Невозможно? А почему? — опять спросил регент.

— Почему? — продолжал маршал. — Почему?.. Да потому, что мой долг ни на минуту не терять короля из виду, и я не позволяю...

— Поостерегитесь, господин маршал, — прервал его герцог Орлеанский, и в его голосе прозвучала нотка надменности, — мне кажется, вы близки к тому, чтобы говорить со мною без должного уважения!

— Господин регент, — опять начал маршал, все более горячась, — я знаю, что обязан оказывать уважение вашему королевскому высочеству, но по меньшей мере так же хорошо знаю, какой долг возлагают на меня мой пост и преданность королю. Его величество ни на минуту не останется вне моего поля зрения, поскольку... — Герцог запнулся.

— Поскольку? — спросил регент. — Договаривайте, сударь.

— Поскольку я отвечаю за его особу, — сказал маршал, желая показать, что он не

отступает перед брошенным ему вызовом.

При этом последнем проявлении несдержанности среди свидетелей разыгравшейся сцены воцарилась тишина, нарушаемая лишь сопением маршала да подавленными вздохами господина де Флери. Что касается герцога Орлеанского, то он поднял голову с улыбкой, выражавшей глубочайшее презрение, и, мало-помалу приняв тот исполненный достоинства вид, который делал его, когда он хотел, одним из самых величавых принцев в мире, сказал:

— Герцог де Вильруа, мне кажется, что вы странным образом заблуждаетесь, так как, видимо, полагаете, что говорите не со мной, а с кем-то другим. Но раз вы забыли, кто я такой, я вам это напоминаю... Маркиз де Лафар, — продолжал регент, обращаясь к капитану своей гвардии, — исполняйте ваш долг.

Только тогда маршал де Вильруа, испытывший такое чувство, что пол уходит у него из-под ног, понял, в какую пропасть он скатывается, и открыл рот, чтобы пролепетать какое-то извинение. Но регент не дал ему времени даже окончить фразу и у него перед носом закрыл дверь кабинета.

В ту же минуту, раньше чем маршал опомнился от неожиданности, к нему подошел маркиз де Лафар и потребовал его шпагу.

Маршал на мгновение остолбенел. Он так долго тешил себя иллюзией, будто любая его дерзость останется безнаказанной, — иллюзией, которую никто до сих пор не давал себе труда рассеять, что в конце концов поверил в свою неприкосновенность. Он хотел заговорить, но не мог вымолвить слова и в ответ на повторное требование, еще более повелительное, чем первое, отстегнул шпагу и отдал ее маркизу де Лафару.

В ту же минуту открылась дверь, внесли портшез, два мушкетера посадили в него маршала, портшез закрылся, д'Артаган и де Лафар поместились с обеих сторон у его дверей, и в мгновение ока арестованного вынесли в сад через одно из боковых окон. Шеволеры, имевшие на то соответствующее приказание, составили эскорт, все ускорили шаг, спустились по большой лестнице, свернули налево и вошли в оранжерею. Эскорт остался в первой комнате, а носильщики с портшезом, сопровождаемые только де Лафаром и д'Артаганом, вошли во вторую.

Все это произошло так быстро, что маршал, не отличавшийся хладнокровием, не успел даже прийти в себя. Он увидел себя обезоруженным, почувствовал, что его куда-то несут, оказался в закрытой комнате с двумя людьми, которые, как он знал, не питали к нему особой дружбы, и, все еще преувеличивая свое значение, счел себя погибшим.

— Господа, — вскричал он, бледнея и обливаясь потом, — надеюсь, вы не хотите меня убить!

— Нет, господин маршал, успокойтесь, — ответил ему де Лафар, в то время как д'Артаган, взглянув на маршала, которому взлохмаченный парик придавал на редкость забавный вид, не мог удержаться от смеха. — Нет, сударь, речь идет о вещи гораздо более простой и несравненно менее трагичной.

— Так в чем же дело? — спросил маршал, которого несколько успокоило это заверение.

— Речь идет, сударь, о двух письмах, которые вы рассчитывали передать сегодня утром королю и которые, должно быть, находятся в одном из ваших карманов.

Маршал, который, будучи поглощен собственными делами, забыл о поручении герцогини дю Мен, вздрогнул и невольно схватился за карман, где были эти письма.

— Простите, господин герцог, — сказал д'Артаган, отводя руку маршала, — но мы уполномочены предупредить вас, что если вы попытаетесь сделать так, чтобы нам не достались оригиналы этих писем, у господина регента имеются их копии.

— А я добавлю, — сказал де Лафар, — что мы уполномочены отнять их у вас силой и что мы заранее избавлены от всякой ответственности за несчастный случай, который могла бы повлечь за собой ваше сопротивление, если допустить невероятную мысль, что вы, господин маршал, в своем бунтарстве дойдете до намерения вступить с нами в борьбу.

— А вы ручаетесь мне, господа, — сказал маршал, — что у его высочества регента имеются копии этих писем?

— Даю вам слово, что это так! — сказал д'Артаган.

— Слово дворянина! — сказал де Лафар.

— В таком случае, господа, я не вижу, зачем мне пытаться уничтожить эти письма, которые к тому же меня нимало не касаются и которые я лишь из любезности взялся передать по назначению.

— Мы это знаем, господин маршал, — сказал де Лафар.

— Я надеюсь только, господа, — прибавил маршал, — что вы доложите его королевскому высочеству о той готовности, с которой я подчинился его распоряжениям, и о моем искреннем раскаянии в том, что я его оскорбил.

— Не сомневайтесь в этом, господин маршал, все будет изложено так, как было на самом деле. Но где же эти письма?

— Вот они, сударь, — сказал маршал, отдавая оба письма де Лафару.

Де Лафар сорвал облатку с испанским гербом и убедился, что это именно те бумаги, которые ему было поручено изъять. Удостоверившись в том, что он не ошибся, он сказал:

— Дорогой д'Артаган, теперь проводите господина маршала по назначению и, прошу вас, скажите от имени его высочества регента лицам, которые будут иметь честь сопровождать маршала вместе с вами, чтобы они оказывали ему все знаки уважения, соответствующие его рангу.

Как только портшез закрылся, носильщики понесли его, и маршал, лишившись писем и начав подозревать, что он попал в ловушку, оказался опять в первой комнате, где его ожидали шеволежеры. Кorteж снова двинулся в путь и через минуту подошел к дворцовой решетке; там ждала карета, запряженная шестеркой лошадей, куда и посадили маршала. Д'Артаган поместился возле него, офицер мушкетеров и дю Либуа, один из приближенных короля, сели впереди, двадцать мушкетеров расположились вокруг кареты — четверо у одной дверцы, четверо у другой и двенадцать сзади; наконец кучеру подали знак трогать, и карета умчалась.

Что касается маркиза де Лафара, остановившегося у входа в оранжерею, чтобы присутствовать при отправлении кареты, то, едва убедившись, что маршала благополучно увезли, он направился к регенту с двумя письмами Филиппа V в руке.

II. НАЧАЛО КОНЦА

В тот же самый день, около двух часов пополудни, когда д'Арманталь, пользуясь отсутствием Бюва, по-видимому ушедшего в библиотеку, в тысячный раз повторял Батильде, что он любит только ее и что он никогда не полюбит другую, вошла Нанетта и сообщила шевалье, что дома его ожидает какой-то господин, сказавший, что пришел по важному делу. Д'Арманталь, желая узнать, какой докучливый человек преследует его даже в раю любви, подошел к окну и увидел аббата Бриго, который прохаживался взад и вперед по его комнате. Тогда шевалье успокоил улыбкой встревоженную Батильду, запечатлел на ее девственно-чистом лбу целомудренный поцелуй и поднялся к себе.

— Ну вот, — сказал аббат, заведя его, — хорошенькие дела творятся, дорогой питомец, в то время как вы преспокойно милуетесь с вашей соседкой.

— А что случилось? — спросил д'Арманталь.

— Так вы, значит, ничего не знаете?

— Ничего, ровно ничего, но предупреждаю, что, если известие, которое вы собираетесь мне сообщить, окажется не таким уж важным, я задушу вас за то, что вы мне помешали. Итак, берегитесь и, если у вас нет важных известий, уж лучше придумайте их.

— К несчастью, дорогой питомец, — сказал аббат Бриго, — действительность оставляет мало простора для моего воображения.

— В самом деле, дорогой Бриго, — сказал д'Арманталь, внимательно поглядев на аббата, — у вас чертовски похоронный вид. Так что же случилось? Расскажите!

— Что случилось? О Бог мой, почти ничего, разве только то, что нас кто-то предал, что маршал де Вильруа сегодня утром был арестован в Версале и что два письма Филиппа Пятого, которые он должен был передать королю, в руках у регента.

— Повторите, аббат, — сказал д'Арманталь, который до этой минуты был на седьмом небе от счастья и которому было бесконечно трудно спуститься на землю, — повторите, что вы сказали, я не расслышал.

И аббат повторил слово в слово, чуть ли не по слогам известие, которое он принес шевалье.

Д'Арманталь выслушал горестный рассказ Бриго и понял всю серьезность положения. Но какие бы мрачные мысли ни вызывало у него это известие, лицо шевалье не выдало его чувств, а лишь приобрело выражение спокойной твердости, обычное для него в минуты опасности. Потом, когда аббат кончил, д'Арманталь спросил голосом, в котором невозможно было уловить ни малейшего волнения:

— Это все?

— Да, пока все, но мне кажется, что этого вполне достаточно и что если вам этого мало, то на вас трудно угодить.

— Дорогой аббат, когда мы затевали заговор, у нас были приблизительно равные шансы на успех и на провал. Вначале наши шансы на удачу поднялись, теперь они падают. Вчера у нас было девяносто шансов из ста, сегодня — только тридцать, вот и все.

— Что же, — сказал аббат Бриго, — я с удовольствием вижу, что вас не так-то легко смутить.

— Что вы хотите, дорогой аббат? — сказал д'Арманталь. — Я сейчас счастлив и смотрю на вещи как счастливый человек. Если бы вы застали меня в минуту печали, мне то же самое представилось бы в черном свете, и я ответил бы «Amen»²¹ на ваше «De profundis»²².

— Итак, значит, каково ваше мнение?

— Мое мнение состоит в том, что игра осложняется, но что партия отнюдь не проиграна. Маршал де Вильруа не участвует в заговоре, он не знает имен заговорщиков; в письмах Филиппа Пятого, насколько я помню, никто не назван, и действительно скомпрометирован в этой истории один только принц де Селламаре. Но его дипломатическая неприкосновенность гарантирует его от всякой реальной опасности. К тому же, если наш план уже известен кардиналу Альберони, господин де Сент-Эньян должен послужить ему заложником.

— В том, что вы говорите, есть доля правды, — сказал, успокаиваясь, аббат Бриго.

— А от кого вам известны эти новости? — спросил шевалье.

— От де Валефа. Ему все это сообщила герцогиня дю Мен, и он отправился выяснить, как обстоит дело, к самому принцу де Селламаре.

— Ну что же, нам надо было бы повидать де Валефа.

— Я назначил ему свидание здесь. И, так как, прежде чем прийти к вам, я зашел к маркизу де Помпадур, меня даже не удивляет, что его еще нет.

— Рауль! — послышался голос на лестнице. — Рауль!

— А, вот и он! — вскричал д'Арманталь, подбегая к двери и открывая ее.

— Спасибо, дорогой, — сказал барон де Валеф, — вы как раз вовремя пришли мне на помощь, потому что, клянусь честью, я уже готов был уйти, решив, что Бриго перепутал адреса и что ни один христианин не может жить в такой голубятне. Ах, мой дорогой, — продолжал он, поворачиваясь вокруг себя на каблуке и оглядывая мансарду д'Арманталя, — я должен привести к вам герцогиню дю Мен — пусть она знает, на что вы обрекаете себя ради нее.

— Дай Бог, барон, — сказал аббат Бриго, — чтобы через несколько дней вы, шевалье и я не переселились в еще худшее жилище.

— А, вы хотите сказать, в Бастилию? Это возможно, аббат, но тут мы по меньшей мере бессильны. И потом Бастилия — это королевская собственность, что все-таки немного облагораживает ее и делает таким жилищем, в котором дворянин может жить не роняя достоинства. Но эта квартира... Фи, аббат! Честное слово, от нее за целую миллю несет клерком стряпчего.

— Но, если бы вы знали, кого я здесь нашел, Валеф, — сказал д'Арманталь, невольно задетый презрительным отзывом барона о его жилище, — вы бы, как и я, не захотели отсюда уехать.

— Ба! В самом деле? Кого же? Какую-нибудь мешаночку? Этакую мадам Мишлен?

²¹ «Аминь» (лат.)

²² «Из глубины взываю» (лат.)

Осторожнее, шевалье, такие вещи позволительны только Ришелье. Мы с вами, хотя, быть может, и стоим больше, чем он, но пока что не пользуемся его успехом, и нам это как нельзя более повредило бы.

— Как ни фривольны ваши замечания, барон, — сказал аббат Бриго, — я слушаю их с величайшим удовольствием, поскольку они доказывают мне, что наши дела вовсе не так плохи, как мы думали.

— Напротив. Кстати, заговор полетел ко всем чертям.

— Что вы говорите, барон! — вскричал Бриго.

— Я даже думал, что мне не дадут возможности сообщить вам это известие.

— Вас чуть было не арестовали, дорогой де Валеф? — спросил д'Арманталь.

— Я был на волосок от этого.

— Как же это случилось, барон?

— Как? А вот так. Вы знаете, аббат, что я вас покинул, чтобы пойти к принцу де Селламаре.

— Да.

— Так вот: я был у него, когда пришли наложить арест на его бумаги.

— Как, захвачены бумаги принца?

— За исключением тех, которые мы сожгли, а, к несчастью, они составляют меньшую часть.

— Но тогда мы все пропали! — сказал аббат.

— О дорогой Бриго! Что это, вы уже махнули на наше дело рукой? Черт возьми, разве у нас не останется возможности устроить маленькую фронду и неужели вы думаете, что герцогиня дю Мен не стоит герцогини де Лонгвиль?

— Но все-таки, как же это произошло, дорогой Валеф? — спросил д'Арманталь.

— Дорогой шевалье, вообразите самую смехотворную сцену на свете. Я бы много дал за то, чтобы вы там были. Мы бы смеялись с вами как сумасшедшие. Вот взбесился бы бедняга Дюбуа!

— Как, — спросил Бриго, — к послу пришел сам Дюбуа?

— Собственной персоной! Представьте себе, мы с принцем де Селламаре, сидя у огня, спокойно болтали о наших делишках, роясь в шкатулке, полной более или менее важных писем, и сжигая все те, которые, по нашему мнению, заслуживали аутодафе, как вдруг входит лакей принца и объявляет нам, что особняк оцеплен мушкетерами и что Дюбуа и Леблан спрашивают посла. Цель их визита было нетрудно разгадать. Принц, не давая себе труда выбирать бумаги, подлежащие сожжению, вываливает всю шкатулку в огонь, толкает меня в туалетную комнату и приказывает лакею ввести посетителей. В этом распоряжении не было надобности: Дюбуа к Леблан уже стояли в дверях. К счастью, ни тот ни другой меня не увидели.

— Пока что я не вижу во всем этом ничего забавного, — заметил аббат Бриго, качая головой.

— Как раз тут-то и начинается самое смешное, — сказал Валеф. — Представьте себе прежде всего меня в туалетной, откуда я все видел и слышал. В дверях появился Дюбуа, а за его спиной — Леблан. Дюбуа вытянул вперед свою лисью мордочку, отыскивая взглядом принца де Селламаре, который, кутаясь в халат, стоял перед камином, чтобы заслонять собой бумаги, пока они еще не успели сгореть.

«Могу ли я осведомиться, сударь, — сказал принц со свойственной ему флегмой, — чему я обязан удовольствию видеть вас у себя?»

«О Боже мой, монсеньер, только тому, что господину де Леблану и мне пришло желание познакомиться с вашими бумагами, два образчика которых, — добавил он, показывая письма короля Филиппа Пятого, — заставили нас с нетерпением предвкушать это удовольствие».

— Как, — сказал Бриго, — эти письма, только в десять часов утра отобранные в Версале у маршала де Вильруа, в час дня оказались уже в Париже, в руках Дюбуа?

— Именно так, аббат. Как видите, они проделали более длинный путь, чем если бы их послали по почте.

— И что же сказал на это принц? — спросил д'Арманталь.

— О, принц хотел было возвысить голос, хотел сослаться на международное право, но

Дюбуа, которому нельзя отказать в логике, заметил ему, что тот сам в некотором роде нарушил это право, прикрывая заговор своим званием посла. Короче, так как сила была не на стороне принца, ему пришлось стерпеть то, чему он не мог помешать. К тому же Леблан, не спрашивая разрешения, уже открыл секретер и начал осматривать его содержимое, в то время как Дюбуа выдвинул ящик бюро и тоже рылся в бумагах. Вдруг Селламаре покинул свое место и, остановив Леблана, который наложил руку на пачку писем, перевязанных розовой лентой, сказал ему:

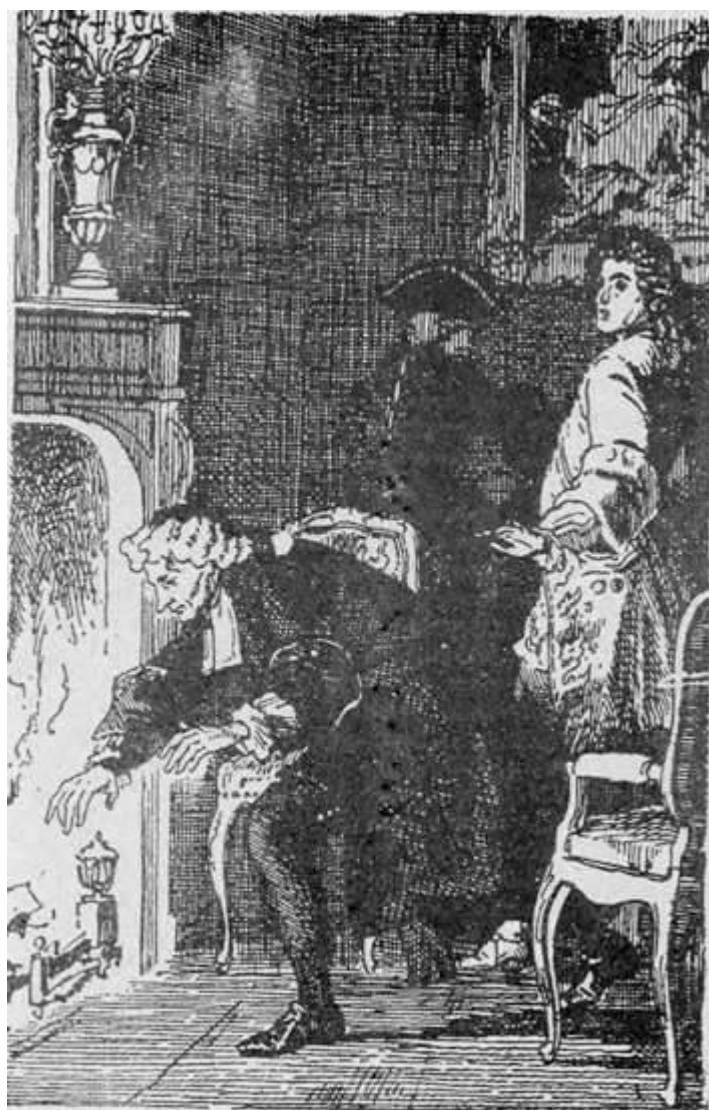
«Простите, сударь, у каждого свои прерогативы. Это письма женщин; их надлежит просматривать другу принца».

«Спасибо за доверие, — не смутившись, сказал Дюбуа и подошел к Леблану, чтобы взять у него эту пачку, — я привык к такого рода тайнам, и ваша будет сохранена».

В эту минуту его взгляд упал на камин, и среди пепла сожженных писем Дюбуа увидел одну бумагу, еще не тронутую огнем; бросившись к камину, он схватил ее как раз в тот момент, когда она готова была вспыхнуть. Это движение было таким стремительным, что посол не смог ему помешать, и бумага оказалась в руках Дюбуа, прежде чем принц разгадал его намерение.

«Черт возьми! — сказал принц, глядя на Дюбуа, который помахивал рукой, потому что обжег пальцы. — Я знал, что у господина регента ловкие шпионы, но я не знал, что они настолько храбры, чтобы бросаться в огонь».

«И право, принц, — сказал Дюбуа, уже развернувший бумагу, — они бывают щедро вознаграждены за свою храбрость! Посмотрите-ка...»



Принц бросил взгляд на бумагу. Я не знаю, что в ней содержалось, но принц стал бледен как смерть. Дюбуа расхохотался, а Селламаре в приступе гнева разбил очаровательную

статуэтку, которая попалась ему под руку.

«Хорошо, что вы обрушились на нее, а не на меня», — холодно сказал Дюбуа, глядя на обломки, катившиеся ему под ноги, и пряча бумагу в карман.

«Всеми свой черед, сударь, Небо справедливо», — ответил посол.

«А пока, — сказал Дюбуа своим обычным насмешливым тоном, — поскольку мы нашли примерно то, что хотели найти, и сегодня нам нельзя больше терять времени, мы опечатаем ваш кабинет».

«Опечатаете мой кабинет?!» — выходя из себя, вскричал посол.

«Да, с вашего разрешения, — сказал Дюбуа. — Господин Леблан, приступайте».

Леблан вытащил из сумки приготовленные ленточки и сургуч.

Он опечатал сначала секретер и бюро, а потом направился к туалетной, где находился я.

«Господа, — вскричал принц, — я не потерплю...»

«Господа, — сказал Дюбуа, открывая дверь и вводя двух офицеров-мушкетеров, — вот посол Испании, который обвиняется в государственном преступлении. Извольте проводить посла к ожидающей его карете и отвезти, куда вам указано.

Если он будет сопротивляться, позовите восемь человек и прикажите унести его».

— И что же сделал принц? — спросил Брито.

— То, что и вы бы сделали на его месте, как я полагаю, дорогой аббат: он последовал за двумя офицерами. И через пять минут ваш слуга оказался в опечатанной комнате.

— Бедный барон! — воскликнул д'Арманталь. — А как же, черт возьми, вы выбрались оттуда?

— А, в этом-то и вся прелесть моей истории. Едва принц вышел, а я оказался под сургучом — мою дверь опечатали последней, и, следовательно, Леблан закончил свое дело, — Дюбуа позвал лакея принца.

«Как вас зовут?» — спросил Дюбуа.

«Лапьер, ваша милость», — ответил лакей, весь дрожа.

«Дорогой Леблан, — сказал Дюбуа, — объясните, пожалуйста, господину Лапьеру, какому наказанию подлежит тот, кто повинен в срывании печатей, наложенных полицией его величества».

«Отправке на галеры», — ответил Леблан своим обычным любезным тоном.

«Дорогой господин Лапьер, — продолжал Дюбуа медовым голосом, — вы слышите: если вам угодно побыть несколько лет гребцом на судах его величества короля Франции, вам стоит только тронуть пальцем одну из этих ленточек или сургучных печатей, и ваше дело будет сделано. Если же, напротив, вам приятно получить сотню луидоров, берегите как зеницу ока печати, которые мы наложили, и через три дня вам будут отсчитаны эти сто луидоров».

«Я предпочитаю сто луидоров», — сказал этот прохвост Лапьер.

«Ну что же, тогда подпишите этот протокол: мы назначаем вас сторожем кабинета принца».

«Я к вашим услугам, ваша милость», — ответил Лапьер и подписал бумагу.

«Теперь скажите, — спросил Дюбуа, — понимаете ли вы, какая ответственность ложится на вас?»

«Да, ваша милость».

«Прекрасно, дорогой Леблан, нам здесь больше нечего делать, — сказал Дюбуа. — Я получил все что хотел», — добавил он, показывая на бумагу, которую вытащил из камина.

И при этих словах он вышел в сопровождении своего приспешника.

Лапьер посмотрел им вслед, потом, увидев в окно, что они садятся в экипаж, сказал мне, повернувшись в сторону туалетной:

«Скорее, скорее, господин барон, вам нужно уйти отсюда, пока мы одни».

«Ты, плут, значит, знал, что я здесь?»

«Черт возьми, разве иначе я согласился бы быть сторожем!»

Я видел, как вы вошли в туалетную и подумал, что вам было бы не особенно приятно пробыть там три дня».

«И ты был прав. В награду за эту хорошую мысль ты получишь от меня сто луидоров».

«Боже мой, что вы делаете?» — вскричал Лапьер.

«Ты же видишь — пытаюсь выйти».

«Только не через дверь, господин барон, только не через дверь. Не хотите же вы, чтобы бедный отец семейства отправился на галеры. К тому же для верности они заперли комнату на ключ и унесли его с собой».

«Как же тогда мне выйти, негодяй?»

«Поднимите голову».

«Поднял».

«Посмотрите вверх».

«Смотрю».

«Направо».

«Ну?»

«Вы ничего не видите?»

«А-а, круглое оконце!»

«Ну вот. Встаньте на стул, на стол, на что придется. Окно выходит в альков... Так... Теперь прыгайте, вы упадете на кровать, вот и все. Вы не ушиблись, господин барон?»

«Нет. Принц, право, очень мягко спал. Желаю ему, чтобы там, куда его увезли, у него была такая же прекрасная постель!»

«Надеюсь, теперь господин барон не забудет о той услуге, которую я ему оказал».

«Ты говоришь о ста луидорах, не так ли?»

«Господин барон их сам обещал».

«Вот что, бездельник, поскольку я сейчас не склонен остаться без денег, возьми это кольцо, оно стоит триста пистолей; значит, ты выгадаешь на этой замене шестьсот ливров».

«Господин барон — самый щедрый из всех господ, каких я знаю».

«Хорошо. А теперь как мне отсюда выйти?»

«По этой лестничке. Спустившись, господин барон окажется в буфетной, потом пройдет через кухню и выйдет через калитку, потому что парадный подъезд, быть может, охраняется».

«Спасибо за объяснение».

Я последовал указаниям Лапьера, прошел через буфетную, кухню, сад, нашел калитку, мигом добрался с улицы Святых Отцов сюда, и вот я у вас.

— А где теперь принц де Селламаре? — спросил шевалье.

— Откуда я знаю! — сказал де Валеф. — Наверное, в тюрьме.

— Проклятье, проклятье, проклятье! — пробормотал Бриго.

— Ну что же вы скажете о моей одиссее, аббат?

— Что она была бы очень забавной, если бы не эта злосчастная бумага, которую проклятый Дюбуа выхватил из огня.

— Да, в самом деле, — сказал де Валеф, — это все портит.

— И у вас нет никакого представления, что это была за бумага?

— Ни малейшего. Но будьте спокойны, аббат, она не потеряна, и когда-нибудь мы это узнаем.

В эту минуту слышались шаги на лестнице. Открылась дверь, и показалась толстощекая физиономия Бонифаса.

— Прошу прощенья, господин Рауль, — сказал наследник госпожи Дени, — но я ищу не вас, а папашу Бриго.

— Неважно, господин Бонифас, милости прошу. Господин барон, позвольте вам представить крестника аббата Бриго, сына моей достойной хозяйки госпожи Дени, который до меня занимал эту комнату.

— Смотри-ка, вы дружите с баронами, господин Рауль! Какая честь, черт возьми, для дома матушки Дени! Вы вправду барон?

— Ладно, ладно, пострел, — сказал аббат, которому не улыбалось, чтобы здесь знали, что он вращается в таком обществе. — Ты сказал, что искал меня?

— Именно вас.

— Что тебе надо?

— Мне — ничего. Это мамаша Дени вас требует.

— А что ей нужно? Ты знаешь, в чем дело?

- Еще бы мне не знать! Она хочет у вас спросить, почему завтра собирается парламент.
- Завтра собирается парламент?! — вскричали де Валеф и д'Арманталь.
- С какой целью? — спросил Бриго.
- Да ведь именно это и интересует бедную женщину.
- А откуда твоя мать узнала, что собирается парламент?
- Это я ей сказал.
- А ты откуда узнал?

— От моего прокурора, ей-Богу! Жулю сегодня был у первого президента, и как раз в это время пришел приказ из Тюильри. Так что, если завтра загорится контора, вы можете быть совершенно уверены, папаша Бриго, что это не я ее поджег. Подумайте только, они все придут в красных мантиях. Вот раков-то соберется!

— Ладно, шалопай, скажи матери, что я зайду к ней, когда буду спускаться.

— Sufficit!²³ Мы будем вас ждать. До свидания, господин Рауль, до свидания, господин барон. Да уж, раки будут дешевы! Два су штука!

И господин Бонифас вышел, даже не подозревая, какое впечатление произвело это известие на трех его слушателей.

— Замышляется какой-то государственный переворот, — проговорил д'Арманталь.

— Я побегу к герцогине дю Мен, чтобы предупредить ее, — сказал де Валеф.

— А я к маркизу де Помпадур, узнать новости, — отозвался Бриго.

— А я остаюсь, — сказал д'Арманталь. — Если я вам понадобится, аббат, вы знаете, где меня найти.

— Но если вас не будет дома, шевалье?

— О, я буду недалеко. Вам стоит только открыть окно, да три раза хлопнуть в ладоши, и я прибегу.

Аббат Бриго и барон де Валеф взяли свои шляпы и вместе спустились на улицу, чтобы направиться каждый в свою сторону. Через пять минут после их ухода д'Арманталь тоже вышел и поднялся к Батильде, которую застал в большом волнении. Было уже пять часов пополудни, а Бюва еще не вернулся. Это был первый такой случай с тех пор, как Батильда себя помнила.

III. КОРОЛЕВСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ

На следующий день в семь часов утра аббат Бриго зашел за д'Арманталем, который был уже одет и ждал его.

Они оба закутались в плащи, надвинули шляпы на глаза и пошли по улице Клери, а затем по площади Побед и саду Пале-Рояль.

Подходя к улице Эшель, они заметили необычайное оживление: все подъезды к Тюильри охранялись многочисленными отрядами шеволержеров и мушкетеров, и любопытные, которых не допускали во двор и в сад Тюильри, теснились на площади Карусель. Д'Арманталь и Бриго смешались с толпой.

Когда они добрались до того места, где теперь находится Триумфальная арка, к ним подошел офицер мушкетеров, закутанный, как и они, в широкий плащ. Это был де Валеф.

— Ну, что нового, барон? — спросил у него Бриго.

— А, это вы, аббат, — сказал де Валеф, — мы ищем вас. Со мной здесь Лаваль и Малезье. Я только что отошел от них, они должны быть где-нибудь поблизости. Не будем удаляться отсюда, и они не замедлят к нам присоединиться. А вы сами что-нибудь знаете?

— Нет, ничего. Я заходил к Малезье, но его уже не было.

— Скажите лучше, что его еще не было. Мы провели всю ночь в Арсенале.

— И ничего тревожного не произошло? — спросил д'Арманталь.

— Ничего. Герцога дю Мен и графа де Тулуз пригласили на регентский совет, который должен был собраться сегодня утром до заседания парламента. В половине седьмого они оба были в Тюильри, так же как и герцогиня дю Мен, которая, чтобы лучше следить за ходом событий, расположилась в принадлежащих ей апартаментах дворца Тюильри.

²³ Этого достаточно (лат.)

— Известно ли что-нибудь о принце де Селламаре? — спросил д'Арманталь.

— Принца де Селламаре увезли по дороге на Орлеан в карете, запряженной четверкой лошадей, в сопровождении одного придворного и под конвоем двадцати шевалежеров.

— А относительно бумаги, которую выхватил из пепла Дюбуа, ничего не удалось узнать? — спросил Бриго.

— Ничего.

— А что думает герцогиня дю Мен?

— По ее мнению, что-то замышляется против незаконнорожденных принцев. И все случившееся будет использовано для того, чтобы лишить их еще некоторых привилегий. Поэтому сегодня утром она строго отчитала своего мужа, и он пообещал ей держаться твердо. Но она на это не рассчитывает.

— А как обстоит дело с графом де Тулуз?

— Мы его видели вчера вечером. Но вы же его знаете, дорогой аббат, с его скромностью или, вернее, смирением ничего не поделаешь. Он всегда находит, что для него и его брата и так делают слишком много, и готов во всем уступать регенту.

— Кстати, король...

— Ну что же король...

— Как он принял арест своего воспитателя?

— А вы не знаете? По-видимому, между маршалом и епископом Фрежюсским было соглашение о том, что, если одного из них отстранят от особы его величества, другой тотчас же сложит с себя свои обязанности. Вчера утром епископ Фрежюсский исчез.

— Где же он?

— Бог его знает! Но король, который довольно спокойно отнесся к тому, что потерял своего маршала, безутешно оплакивает исчезновение епископа.

— А от кого вы все это знаете?

— От герцога де Ришелье. Вчера он приехал около двух часов в Версаль, чтобы нанести визит королю, и нашел его величество в отчаянии, среди осколков разбитых им стекол и фарфора. К несчастью, — вы ведь знаете Ришелье! — вместо того чтобы усугубить печаль короля, он его рассмешил, рассказав ему всякий вздор и разбив вместе с ним остатки фарфора и стекол.

В эту минуту мимо группы, которую составляли аббат Бриго, д'Арманталь и де Валеф, прошел какой-то человек в мантии адвоката и в четырехугольной шапочке, напевая рефрен песенки, сочиненной о маршале после битвы при Рамильи:

Вильруа, Вильруа,

Славный воин короля...

Вильгельма, Вильгельма, Вильгельма.

Бриго обернулся: ему показалось, что он узнает в прохожем переодетого маркиза де Помпадур. Адвокат остановился и подошел к заговорщикам. У аббата Бриго не оставалось больше сомнений — это был именно маркиз.

— А, метр Клеман, — сказал он ему, — что нового во дворце?

— Большая новость, если только она подтвердится: говорят, парламент отказывается собраться в Тюильри.

— Слава Богу! — воскликнул де Валеф. — Это примирило бы меня с красными мантиями. Но нет, они не осмелятся.

— Черт возьми! Вы же знаете, что господин де Мэм — наш человек. Он был назначен президентом по протекции герцога дю Мена.

— Да, это правда, но с того времени много воды утекло, и, если ваша уверенность, метр Клеман, зиждется только на этом, я вам советую не слишком рассчитывать на него.

— Тем более, — сказал де Валеф, — что, как вы знаете, он только что добился от регента указа о выплате ему пятисот тысяч ливров при отставке.

— О, посмотрите-ка! — сказал д'Арманталь. — Мне кажется, происходит что-то новое. Разве заседание регентского совета уже окончилось?

В самом деле, во дворце Тюильри поднялась суeta, и к Павильону Часов подали кареты герцога дю Мен и графа де Тулуз. В ту же минуту показались оба брата. Они обменялись

несколькими словами, затем каждый сел в свою карету, и оба экипажа умчались через ворота, выходящие на набережную.

Аббат Бриго, маркиз де Помпадур, д'Арманталь и де Валеф в течение десяти минут терялись в догадках по поводу этого происшествия, которое вызвало большое волнение в толпе, но не могли понять его истинную причину. Наконец они заметили Малезье, который, по-видимому, их искал. Они подошли к нему и по его встревоженному лицу догадались, что он может сообщить им малоуспокоительные известия.

— Ну, — спросил маркиз де Помпадур, — есть ли у вас какие-нибудь соображения насчет того, что происходит?

— Увы! — ответил Малезье. — Боюсь, что все погибло.

— Вы знаете, что герцог дю Мен и граф де Тулуз покинули регентский совет? — спросил де Валеф.

— Я был на набережной, когда по ней проезжал герцог. Он узнал меня, велел кучеру остановить карету и послал ко мне лакея вот с этой записочкой.

— Посмотрим, — сказал Бриго и прочел:

«Я не знаю, что замышляется против нас, но от имени регента нам, то есть графу де Тулуз и мне, предложили покинуть совет. Это предложение я счел приказом, и, так как всякое сопротивление было бесполезно, поскольку у нас в совете всего лишь четыре или пять голосов, да и то я не уверен, можем ли мы на них рассчитывать, я вынужден был подчиниться. Постарайтесь увидеть герцогиню, которая должна быть в Тюильри, и скажите ей, что я уезжаю в Рамбуйе, где буду ждать дальнейших событий.

Преданный вам Луи Огюст».

— Трус! — сказал де Валеф.

— И ради таких людей мы рискуем головой! — прошептал маркиз де Помпадур.

— Вы ошибаетесь, дорогой маркиз, — возразил аббат Бриго. — По-моему, мы рискуем головой не ради других, а ради самих себя... Не так ли, шевалье? О чем вы думаете, черт возьми?

— Подождите, аббат, — ответил д'Арманталь. — Кажется я узнаю... Да, черт побери, это он самый! Вы не уходите отсюда, господа?

— Нет, по крайней мере, я не уйду, — ответил маркиз де Помпадур.

— И я, — сказал де Валеф.

— И я, — сказал Малезье.

— И я, — сказал аббат.

— В таком случае, через минуту я к вам вернусь.

— Куда вы идете? — спросил Бриго.

— Не обращайтесь внимания, аббат, — сказал д'Арманталь. — Мне надо отлучиться по личному делу.

И, покинув Валефа, державшего его под руку, он тотчас же начал пробираться через толпу по направлению к человеку, за которым уже несколько минут пристально следил взглядом и который благодаря своей недюжинной силе, всегда внушающей толпе должное почтение, пробирался к дворцовой решетке с двумя подвыпившими девицами, повисшими у него на руках.

Что-то рассказывая им, он в пояснение чертил на песке концом трости какие-то линии, а длинная шпага при каждом его движении била соседей по ногам.

— Видите ли, мои принцессы, — говорил он, — вот что такое Королевское заседание. Уж я-то это знаю: я видел, как оно собиралось по случаю смерти прежнего короля, когда отменили его завещание и провозгласили, забыв всякое уважение к его величеству Людовику XIV, что незаконные дети остаются незаконными. Проходит оно, изволите видеть, в большом зале, продолговатом или квадратном — безразлично; место короля вот здесь, пэры — там, парламент — лицом к ним...

— Скажи, Онорина, — прервала одна из девиц, — тебе интересно то, что он рассказывает?

— Да ничуть; стоило, обещая зрелище, тащить нас сюда с набережной Сен-Поль, чтобы показать нам всего-навсего полсотни конных мушкетеров и в конце дюжину шевалежеров!

— Послушай, старина, — сказала первая из собеседниц, — мне сдается, что если б мы отправились есть матлот в Рапе, это было бы посытней твоего Королевского заседания, а?

— Мадемуазель Онорина, — ответил тот, к кому было обращено это коварное приглашение, — хоть я имею честь знать вас каких-нибудь двенадцать часов, но успел заметить, что вы слишком много внимания уделяете еде, а для женщины это весьма скверный недостаток. Постарайтесь его исправить, по крайней мере, на все то время, что останетесь со мной.

— Нет, ты послушай, Эфеми! Он собирается таскать нас до пяти вечера — и это после его несчастного омлета на свином сале и трех бутылок белого вина! Хитрец! Ну, так предупреждаю, мой красавчик: я сбегу, если меня сейчас же не накормят.

— Тише, моя страсть, как говорит господин Пьер Корнель, тише! — ответил кавалер, к тщеславию которого был обращен этот гастрономический призыв, и он схватил и зажал, как клещами, запястья девиц своими могучими руками. — Подумаешь, одним блюдом больше, одним меньше! Вы принадлежите мне до четырех часов вечера по соглашению, заключенному с мадам... как бишь там вы ее зовете? Впрочем, мне все равно.

— Да, но мы хотим есть, хотим есть!

— В договоре, мои курочки, не было ни слова о кормежке; и вообще если кто-то здесь обижен, так это я.

— Ты, мерзкий скряга?

— Да, я. Я требовал двух женщин.

— Ну и что? Ты их получил.

— Э, простите, простите! Повторяю: я требовал двух женщин, а это значит одну блондинку и одну брюнетку. А мне, воспользовавшись темнотой, подсунули двух блондинок! Это совершенно то же самое, как если бы мне дали только одну. Да, да, совершенно! Так что я имел бы право требовать возмещения убытков. Так что помолчим, любовь моя, помолчим.

— Но это несправедливо! — вскричали разом обе девицы.

— Что вы хотите? Мир полон несправедливостей. Вот, может быть, одна из них совершается в эту минуту над бедным господином дю Меном. Если бы у вас было хоть чуточку сердца, вы думали бы только об огорчениях, которые припасены для этого бедного принца. Что до меня, то мой желудок от горя сжался так, что я не смогу проглотить и крошки. Впрочем, вы просили зрелища; вот оно, да еще какое! Смотрите! И вспомните пословицу: «Кто смотрит, тот обедает».

— Капитан, — хлопнув по плечу Рокфинета, прервал его назидания шевалье, надеявшийся, что, благодаря сутолоке, вызванной приближением членов парламента, он сможет, не обращая на себя внимания, обменяться несколькими словами с нашим старым знакомым, которого он здесь случайно нашел, — не могу ли я сказать вам два слова с глазу на глаз?

— Хоть четыре, шевалье, хоть четыре, вы мне доставите величайшее удовольствие... Оставайтесь здесь, мои кошечки, — прибавил он, помещая девиц в первом ряду, — и, если вас кто-нибудь обидит, дайте мне знак. Я буду в двух шагах отсюда. Вот и я, шевалье, вот и я! — продолжал он, выводя д'Арманталя из толпы, теснившейся вокруг судейских, проходивших во дворец. — Я заметил и узнал вас уже минут пять назад, но мне не подобало заговорить первому с вами.

— Я с удовольствием вижу, что капитан Рокфинет по-прежнему осторожен, — сказал д'Армантадь.

— В высшей степени осторожен, шевалье. Поэтому, если вы хотите мне сделать новое предложение, говорите смело.

— Нет, капитан, по крайней мере, пока нет. К тому же это неподходящее место для совещания такого рода. Я только хотел спросить у вас на всякий случай, живете ли вы по-прежнему там, где я вас нашел в прошлый раз.

— Все там же, шевалье. Я что плющ — где зацепился, там и умру; но, как и плющ, я лезу все выше: иначе говоря, если вы окажите мне честь своим визитом, вы найдете меня уже не на втором или на третьем, а на шестом или седьмом этаже, поскольку, в силу известной зависимости, которую вы поймете, даже не будучи великим экономистом, я поднимаюсь вверх

по мере того, как мои фонды падают, и так как они сейчас на самой низшей точке, я живу, естественно, на самом верху.

— Как, капитан, — со смехом сказал д'Арманталь, опуская руку в карман своей куртки, чтобы достать кошелек, — вы находитесь в стесненном положении и не обращаетесь к вашим друзьям?

— Чтобы я занял деньги! — ответил капитан, останавливая жестом щедрого шевалье. — За кого вы меня принимаете? Когда я оказываю услугу и в знак признательности мне делают подарок — прекрасно! Когда я вступаю в сделку и мой партнер выполняет ее условия — чудесно! Но разве я стану просить денег, не имея на это права? Это хорошо для церковной крысы, но не для благородного человека. Хотя я и простой дворянин, но так же горд, как герцог или пэр. Однако простите, простите, я вижу, мои плутовки удирают, а я не хочу, чтобы меня провели такие твари. Если я вам понадобится, вы знаете, где меня найти. До свидания, шевалье, до свидания.

И, не дожидаясь, чтобы д'Арманталь сказал еще что-нибудь, Рокфинет бросился в погоню за девицами Онориной и Эфеми, решившими, что они находятся вне поля зрения капитана и пожелавшими воспользоваться этим обстоятельством, чтобы поискать еще где-нибудь матлот, отведать которого почтенный кондотьер хотел бы не меньше, чем они, будь у него потолще кошелек.

Поскольку было еще одиннадцать часов утра, а торжественное заседание парламента должно было кончиться, по всей вероятности, лишь часам к четырем дня и до тех пор, по-видимому, ничего решиться не могло, шевалье подумал, что ему лучше посвятить любви те три или четыре часа, которые оставались в его распоряжении, чем оставаться на площади Карусель. К тому же, чем больше он приближался к катастрофе, тем сильнее он испытывал потребность видеть Батильду. Она стала неотъемлемой частью его жизни, стала необходимой для его существования, и в момент, когда ему предстояло расстаться с ней, быть может, навсегда, он не понимал, как мог бы он прожить в разлуке с возлюбленной хотя бы один день. Поэтому, движимый не покидавшей его ни на минуту потребностью видеть Батильду, шевалье отправился не разыскивать своих товарищей, а на улицу Утраченного Времени.

Д'Арманталь нашел бедное дитя в страшной тревоге. Бюва, ушедший из дома накануне в половине десятого утра, так и не появлялся. Нанетта уходила справляться о нем в библиотеку и, к своему крайнему изумлению, узнала от его озадаченных собратьев, что достойного чиновника не видели здесь уже пять или шесть дней. Такое нарушение привычек Бюва с несомненностью указывало на близость чрезвычайных событий. С другой стороны, Батильда, заметила накануне, что Рауль охвачен каким-то лихорадочным возбуждением; хотя шевалье и подавлял его с присущей ему силой воли, тем не менее было ясно, что он глубоко взволнован. Словом, к прежним опасениям Батильды присоединились новые тревоги, и она инстинктивно чувствовала, что над ней нависла невидимая, но неминуемая опасность, что с часу на час на нее может обрушиться несчастье.

Но, когда Батильда видела д'Арманталя, все ее былые и вновь возрождающиеся опасения тонули в счастье, которым она наслаждалась в настоящем. Со своей стороны Рауль, как в силу свойственного ему самообладания, так и потому, что испытывал на себе такое же влияние, какое сам оказывал на нее, думал в эти минуты только о Батильде. Однако на этот раз и он и она были так озабочены, что не могла удержаться, чтобы не выразить д'Арманталю своего беспокойства, а ему тем труднее было рассеять его, что отсутствие Бюва связывалось в сознании молодого человека с уже появлявшимися у него подозрениями, которые он все время пытался отогнать.

Тем не менее время, как всегда, прошло быстро, и, когда пробило четыре часа, влюбленным показалось, что они провели вместе всего лишь пять минут. В этот час они обычно расставались. Если Бюва должен был вернуться, то именно к этому времени. Обменявшись тысячью клятв, молодые люди расстались, условившись, что, если с одним из них что-нибудь случится, другой будет тотчас же извещен в любое время дня или ночи.

У двери дома госпожи Дени д'Арманталь встретил аббата Брито. Заседание парламента кончилось; ничего определенного еще не было известно, но распространялись слухи, что приняты ужасные меры. Впрочем, скоро должны были прибыть известия: аббат Бриго

условился с маркизом де Помпадур и де Малезье о встрече у д'Арманталя, за которым, как за наименее известным из всех, должны были меньше следить.

Через час пришел маркиз де Помпадур. Он сообщил, что парламент, вначале желавший воспротивиться регенту, всецело подчинился его воле. Письма короля Испании были зачитаны и обсуждены.

Было решено, что немедленно после принцев крови соберутся на совещание герцоги и пэры. Незаконнорожденные принцы лишались всех своих почетных преимуществ и приравнивались к пэрам. Наконец, герцог дю Мен терял звание главного интенданта воспитания короля, которое переходило к герцогу Бурбонскому. Только граф де Тулуз, в порядке исключения, пожизненно сохранил свои привилегии.

Затем пришел Малезье, только что покинувший герцогиню. Еще не кончилось заседание парламента, а ей уже предложили оставить ее апартаменты в Тюильри, которые отныне принадлежали герцогу Бурбонскому. Такое оскорбление, как это легко понять, вывело из себя надменную внучку великого Конде. Ее охватил такой гнев, что она собственноручно разбила все свои зеркала и приказала выбросить мебель из окна, а после этого села в карету и уехала, послав Лавалья в Рамбуйе, чтобы побудить герцога дю Мея к какому-либо энергичному демаршу, и поручив Малезье созвать в ту же ночь всех ее друзей в Арсенал.

Помпадур и Бриго запротестовали, указывая на неосторожность такого шага. За герцогиней, без всякого сомнения, следили. Собраться в Арсенале в тот самый день, когда она была так раздражена, что, вероятно, ни для кого не составляло тайны, значило серьезно скомпрометировать себя. Помпадур и Бриго высказались за то, чтобы умолять ее высочество выбрать для встречи другой день и другое место. Малезье и д'Арманталь также видели неосторожность шага, предпринятого герцогиней дю Мен, и связанную с ним опасность. Однако оба они, один из преданности герцогине, другой — из чувства долга, считали, что если приказ опасен, то повиноваться ему тем более является делом чести.

Обмен мнениями, как это всегда бывает при подобных обстоятельствах, начинал переходить в горячий спор, когда послышались шаги двух человек, поднимавшихся по лестнице.

Так как три заговорщика, условившиеся встретиться у д'Арманталя, уже собрались, аббат Бриго, всегда державшийся начеку и первым услышавший шум, поднес палец к губам, чтобы призвать своих собеседников к молчанию.

Тогда стало явственно слышно, как шаги приближаются. Затем донесся тихий шепот, как будто два человека о чем-то советовались. Наконец дверь открылась, и в комнату вошли солдат французской гвардии и гризетка.

Гвардеец оказался бароном де Валеф.

Когда же гризетка откинула черную накидку, закрывавшую ее лицо, заговорщики узнали в ней герцогиню дю Мен.

IV. ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ

— Ваше высочество здесь! Ваше высочество у меня! — вскричал д'Арманталь. — Чем заслужил я такую честь?

— Настал момент, шевалье, — сказала герцогиня, — когда мы должны показать нашим людям, что действительно уважаем их. К тому же никто не сможет сказать, что друзья герцогини дю Мен подвергают себя опасности ради нее, а она остается в стороне. Слава Богу, я внучка великого Конде и чувствую, что ни в чем не посрамлю моего деда.

— Вы вдвойне желанный гость, ваше высочество, — сказал маркиз де Помпадур, — потому что выводите нас из большого затруднения. При всей нашей готовности повиноваться вашим приказам, мы колебались при мысли о том, с какой опасностью сопряжено подобное собрание в Арсенале сейчас, когда полиция не спускает с вас глаз.

— И я подумала о том же, маркиз. Поэтому, вместо того чтобы ждать вас, я решила прийти к вам. Меня сопровождал барон. Я приказала отвезти меня к графине де Шавиньи, подруге де Лонэ, которая живет на улице Май. Там мы послали людей за этим платьем, переоделись и, так как мы находились в двух шагах отсюда, отправились к вам пешком, и вот

мы здесь. Мессир д'Аржансон будет, право, очень хитер, если узнает нас в этом наряде.

— Я с удовольствием вижу, ваше высочество, — сказал Малезье, — что события этого ужасного дня отнюдь не повергли вас в уныние.

— Меня, Малезье? Надеюсь, вы меня знаете достаточно хорошо, чтобы ни минуты не опасаться этого. В уныние! Напротив, я никогда не чувствовала в себе столько сил и такую волю! Ах, почему я не мужчина!

— Приказывайте, ваше высочество, — сказал д'Арманталь, — и все, что вы сделали бы, если бы могли действовать сами, мы сделаем за вас.

— Нет, нет. То, что сделала бы я, для других невозможно.

— Нет ничего невозможного, сударыня, для пяти человек, преданных вам, как мы. К тому же в наших собственных интересах действовать быстро и решительно. Не надо думать, что регент на этом остановится. Послезавтра, завтра, может быть, даже сегодня вечером мы все будем арестованы. Дюбуа утверждает, что бумага, которую он выхватил из огня у принца де Селламаре не что иное, как список заговорщиков. Если это так, ему известны наши имена. Значит, сейчас над головой каждого из нас висит дамоклов меч. Не будем ждать, пока оборвется нить, на которой он подвешен, а схватим его и сами нанесем удар.

— Нанесем удар, но куда и каким образом? — спросил аббат Бриго. — Этот злосчастный парламент опрокинул все наши предположения. Разве мы приняли надлежащие меры, разве у нас есть определенный план?

— Ах, лучший план, суливший наибольшие шансы на успех, это тот, который мы наметили первоначально, — сказал Помпадур. — Ведь если бы его не погубило неслыханное стечение обстоятельств, он был бы осуществлен.

— Что ж, если план был хорош, то он таким и останется, — сказал де Валеф. — Вернемся же к нему.

— Да, но, когда этот план потерпел неудачу, он стал известен регенту, и тот теперь держится настороже, — заметил Малезье.

— Напротив, — возразил Помпадур, — прежний план имеет то преимущество, что регент и его приспешники думают, будто мы оставили его, раз он не увенчался успехом.

— И вот доказательство, — сказал де Валеф. — Регент принимает меньше предосторожностей, чем когда бы то ни было, на случай возможного нападения. Так, например, с тех пор как мадемуазель де Шартр поселилась в Шельском монастыре, он раз в неделю отправляется ее навестить и проезжает один, без охраны и без слуг, если не считать кучера и двух лакеев, через Венсенский лес. И это в восемь или девять часов вечера!

— А по каким дням он наносит этот визит? — спросил аббат Бриго.

— По средам, — ответил Малезье.

— По средам? Завтра как раз среда, — сказала герцогиня.

— Аббат Бриго, — спросил де Валеф, — у вас сохранился паспорт с визой на выезд в Испанию?

— Сохранился.

— И вы по-прежнему можете устранить все препятствия в пути?

— Да. Почтмейстер — наш человек, а нам придется иметь дело только с ним. Что до остальных, то тут все пройдет само собой.

— Ну что же! — сказал де Валеф. — С разрешения ее королевского высочества я собираю завтра семь или восемь друзей, подстерегаю регента в Весенском лесу, похищаю его и — погоняй, кучер! — через три дня буду в Памплоне.

— Одну минутку, дорогой барон, — сказал д'Арманталь, — я замечу вам, что вы встаете мне поперек дороги и что право выполнить это предприятие принадлежит мне.

— Дорогой шевалье, вы уже сделали то, что должны были сделать. Теперь очередь за другими!

— Вовсе нет, Валеф. Дело идет о моей чести, я должен взять реванш. Поэтому вы меня бесконечно обидите, настаивая на своем.

— Все, что я могу сделать для вас, дорогой д'Арманталь, — сказал де Валеф, — это предоставить выбор ее высочеству. Герцогиня знает, что мы одинаково преданы ей. Пусть она решает.

— Соглашаетесь ли вы на мой суд, шевалье? — спросила герцогиня.

— Да, ибо я надеюсь на вашу справедливость, сударыня, — ответил шевалье.

— И вы правы. Да, честь осуществить это предприятие принадлежит вам. Да, я отдаю в ваши руки судьбу сына Людовика Четырнадцатого и внучки великого Конде. Да, я всецело полагаюсь на вашу преданность и на вашу храбрость и надеюсь, что на этот раз вы одержите успех, тем более что фортуна перед вами в долгу. Итак, дорогой д'Арманталь, на вашу долю выпадает вся опасность, но также и вся честь!

— Я с благодарностью принимаю и то и другое, сударыня, — сказал д'Арманталь, почтительно целуя руку, протянутую ему герцогиней, — завтра в это время либо я буду мертв, либо регент будет на пути в Испанию.

— Вот речь, достойная мужчины, — сказал маркиз де Помпадур. — В добрый час, и, если вам понадобится помощь, дорогой шевалье, рассчитывайте на меня.

— И на меня, — сказал де Валеф.

— А мы разве ни на что не годны? — сказал де Малезье.

— Дорогой сенешаль, — сказала герцогиня, — у каждого свой жребий; от поэтов, сановников и духовных особ требуется совет, от военных — исполнение... Шевалье, вы уверены, что опять найдете тех людей, которые были с вами в последний раз?

— Я уверен, по крайней мере, в их начальнике.

— Когда вы его увидите?

— Сегодня вечером.

— В котором часу?

— Сейчас же, если угодно вашему высочеству.

— Чем раньше, тем лучше.

— Через четверть часа я буду у него.

— Как мы сможем узнать его последнее слово?

— Я принесу его вам, ваше высочество, где бы вы ни находились.

— Только не в Арсенал, — сказал аббат Бриго, — это слишком опасно.

— А не можем ли мы подождать здесь? — спросила герцогиня.

— Я замечу вашему высочеству, — ответил Бриго, — что мой подопечный — весьма степенный молодой человек, принимающий у себя лишь немногих знакомых, и, если наш визит затянется, он может возбудить подозрение.

— Не назначить ли нам свидание в таком месте, где мы были бы свободны от подобных опасений? — спросил Помпадур.

— Совершенно верно, — сказала герцогиня. — Встретимся, например, на площади Елисейских полей. Мы с Малезье приедем в карете без герба и без лакеев. Помпадур, Валеф и Бриго по отдельности присоединятся к нам. Там мы подождем д'Арманталя и примем последние меры,

— Прекрасно! — сказал д'Арманталь. — Человек, который мне нужен, живет как раз на улице Сент-Оноре.

— Вы знаете, шевалье, что вы можете обещать вашим людям сколько угодно денег, мы обязуемся заплатить, — сказала герцогиня.

— Я позабочусь о том, чтобы наполнить ваш секретер, — добавил аббат Бриго.

— И хорошо сделаете, аббат, — с улыбкой ответил д'Арманталь, — потому что я-то знаю того человека, который позаботится о его опустошении.

— Итак, мы обо всем договорились. Через час на площади Елисейских полей..

— Через час, — сказал д'Арманталь.

— Через час, — повторили Помпадур, Бриго и Малезье.

Затем герцогиня поправила свою накидку, закрыв ею лицо, взяла под руку де Валефа и вышла первой. Малезье последовал за нею так, чтобы не терять ее из виду; наконец Бриго, Помпадур и д'Арманталь спустились все вместе. На площади Побед маркиз и аббат расстались: первый пошел по улице Врийер, второй — по улице Пажевен. Что касается шевалье, то он продолжал идти по улице Нев-де-Пти-Шан, которая и вывела его на улицу Сент-Оноре неподалеку от того известного дома, где он должен был найти достойного капитана.

То ли по воле случая, то ли благодаря расчетливому выбору герцогини дю Мен, которая

по достоинству оценила д'Арманталя и поняла, что на него можно сделать ставку, шевалье оказался более чем когда бы то ни было втянутым в заговор. Но дело касалось его чести — он считал, что его долгом было сделать то, что он взял на себя, и, хотя шевалье предвидел ужасные последствия того предприятия, ответственность за которое легла на него, он шел навстречу событиям, как и прежде, с высоко поднятой головой и исполненным отваги сердцем, готовый пожертвовать всем, даже своей жизнью, даже своей любовью, для того чтобы сдержать данное им слово.

Он явился поэтому к Фийон с тем же спокойствием и той же решимостью, что и в первый раз, хотя с того времени в его жизни многое изменилось. Принятый, как и тогда, самой хозяйкой заведения, шевалье осведомился у нее, может ли он видеть капитана Рокфинета.

Без сомнения, Фийон ожидала, что к ней обратятся с менее невинным вопросом, потому что, узнав д'Арманталя, она не смогла сдержать жест удивления. Однако, как бы сомневаясь в личности того, кто с ней говорил, она осведомилась, не он ли два месяца назад тоже спрашивал капитана. Шевалье, думая, что этим устранил все препятствия, если они имелись, ответил утвердительно.

Д'Арманталь не ошибся, потому что Фийон, едва услышав этот ответ, позвала довольно элегантную девицу, некую Мартон, и приказала ей проводить шевалье в комнату номер семьдесят два, на шестом этаже, над антресолью. Та послушно взяла свечу и пошла впереди, жеманясь, как субретка из комедии Мариво. Д'Арманталь следовал за ней. Сегодня на лестнице не слышалось веселых песен, в доме была тишина. Чрезвычайные события этого дня, несомненно, отвлекли постоянных посетителей достойной хозяйки капитана от привычных им свиданий. А поскольку шевалье, со своей стороны, думал в данный момент, без сомнения, о серьезных вещах, он одолел шесть этажей, не обращая ни малейшего внимания на ужимки своей провожатой. Та, подойдя к комнате номер семьдесят два, обернулась и спросила д'Арманталя с очаровательной улыбкой, не ошибся ли он и действительно ли ему нужен именно капитан.

Вместо ответа шевалье постучал в дверь.

— Войдите, — послышался густой бас Рокфинета.

Шевалье сунул в руку своей провожатой луидор, чтобы отблагодарить ее за беспокойство, открыл дверь и оказался лицом к лицу с капитаном.

Изменения произошли не только с домом, но и с Рокфинетом. Это не был уже, как в первый раз, соперник господина де Бонневалья. Тогда он был окружен одалисками, возлежал посреди остатков пиршества, курил длинную трубку и философски сравнивал мирские блага с исчезающим дымом. А теперь он был один в маленькой темной мансарде, слабо освещенной свечкой, дрожащие отблески которой придавали что-

то таинственное суровой физиономии капитана, стоявшего опершись на камин. В глубине комнаты, на складной кровати, лежала шляпа, указывавшая на состояние финансов Рокфинета, и его шпага, славная колишемарда.

— А-а, это вы, шевалье? — спросил Рокфинет тоном, в котором сквозила легкая ирония. — Я вас ждал.

— Вы меня ждали, капитан? Что же навело вас на мысль о вероятности моего визита?

— События, шевалье, события...

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что некоторые лица решили, что смогут начать открытую войну, и поэтому дали отставку бедному капитану Рокфинету, как кондотьеру, головорезу, который годен только для налетов и засад в темном переулке или в лесу; они хотели создать нечто вроде Лиги, устроить маленькую фронтду, но вот наш друг Дюбуа все узнал; пэры, на которых, казалось, можно было рассчитывать, спасовали, и парламент сказал «Да», вместо того чтобы сказать «Нет». Тогда опять вспомнили о капитане. «Дорогой капитан, помогите, добрейший капитан, выручайте!» Разве не так обстоит дело, шевалье? Ну что ж, вот он, ваш капитан. Чего от него хотят? Говорите.

— Действительно, дорогой капитан, — сказал д'Арманталь, не зная, как ему отнестись к словам Рокфинета, — есть доля истины в том, что вы говорите. Однако вы ошибаетесь, думая, что я вас забыл. Если бы наш план удался, вы убедились бы, что я не из тех, у кого короткая

память, и я пришел тогда предложить вам мой кредит, как я пришел сегодня просить у вас помощи.

— Гм... — пробурчал капитан. — За те три дня, что я живу в этой комнате, я много размышлял о тщете всего земного, и меня охватило желание окончательно уйти от дел, а если уж предпринять еще одно, то только достаточно выгодное, чтобы обеспечить мне мало-мальски сносное будущее.

— Ну что же, — сказал шевалье, — как раз такое дело я и хочу вам предложить. Речь идет, дорогой капитан, скажу напрямик, потому что после того, что было между нами, мне кажется, мы можем обойтись без предисловий, речь идет...

— О чем? — спросил капитан, который, видя, что д'Арманталь остановился и с беспокойством осматривается по сторонам, безрезультатно ожидал окончания фразы.

— Простите, капитан, но мне показалось...

— Что вам показалось, шевалье?

— Что я слышу шаги... Потом какой-то треск за обшивкой стены...

— В этом заведении немало крыс, предупреждаю вас. Не далее как прошлой ночью эти твари принялись за мои пожитки. Извольте полюбоваться.

И капитан показал шевалье полу своего камзола, изгрызенную крысами.

— Да, наверное, это они, я ошибся. Итак, дорогой Рокфинет, речь идет о том, чтобы воспользоваться неосмотрительностью регента, который, возвращаясь из Шельского монастыря, где спасается его дочь, проезжает без охраны через Венсенский лес, и, похитив его, отправить наконец в Испанию.

— Простите, шевалье, — сказал Рокфинет, — но, прежде чем продолжать разговор, я вас предупреждаю, что по этому поводу нам нужно заключить новый договор, а всякий новый договор предполагает новые условия.

— На этот счет, капитан, у нас не возникнет спора. Вы сами поставите условия. Скажите только, располагаете ли вы по-прежнему вашими людьми? Вот что действительно важно.

— Располагаю.

— Будут ли они готовы завтра в два часа?

— Будут.

— Это все, что нужно.

— Простите, нужно еще кое-что: нужны деньги, чтобы купить лошадь и оружие.

— Возьмите этот кошелек, в нем сто луидоров.

— Хорошо, я вам отдам в них отчет.

— Итак, мы встретимся у меня в два часа.

— Идет.

— Прощайте, капитан.

— До свидания, шевалье. Значит, мы условились, что вы не будете удивляться, если я проявлю некоторую требовательность.

— Я разрешаю вам это. Вы ведь знаете, в последний раз я жаловался только на то, что вы проявляете излишнюю скромность.

— Ну-ну, — сказал капитан, — вы человек покладистый... Подождите, я вам посвечу: было бы досадно, если бы такой славный малый, как вы, сломал себе шею.

И капитан взял свечу, которая, догорев до бумаги, укреплявшей ее в розетке подсвечника, вспыхнула ярким пламенем, что позволило д'Арманталю благополучно спуститься с лестницы. Добравшись до последней ступеньки, он еще раз попросил капитана быть точным, что тот ему твердо пообещал.

Д'Арманталь отнюдь не забыл, что герцогиня дю Мен с тревогой ждет результата свидания, которое он только что имел, поэтому, тщетно поискав взглядом Фийон, он не стал беспокоиться о том, куда она делась, и, выйдя из дому, свернул на улицу Фейян и направился к Елисейским полям, еще не совсем опустевшим, но уже малолюдным. Добравшись до площади, он увидел карету, стоявшую на обочине дороги, и Двух мужчин, которые прогуливались на некотором расстоянии от нее по боковой аллее. Он подошел к карете. Заметив его, из дверцы с нетерпением выглянула женщина. Шевалье узнал герцогиню; она была с Малезье и Валефом. Что касается двух гуляющих мужчин, то, увидев д'Арманталя, приближавшегося к карете, они

поспешили к нему. Само собой понятно, это были Помпадур и Бриго.

Шевалье, не называя Рокфинета и не распространяясь о характере славного капитана, рассказал им в немногих словах, как обстоит дело. Этот рассказ был встречен радостными восклицаниями. Герцогиня протянула д'Арманталю для поцелуя свою изящную ручку, мужчины обменялись с ним рукопожатием.

Было решено, что на следующий день в два часа герцогиня, Помпадур, Лаваль, Валеф, Малезье и Бриго соберутся у матери Давранша, которая жила на улице Фобур-Сент-Антуан, номер пятнадцать, и будут ждать там исхода событий. Их обо всем известит сам Давранш, который с трех часов будет находиться у заставы Трона с двумя лошадьми — для себя и для шевалье. Он будет издали следовать за д'Арманталем и вернется сообщить, что произошло. Еще пять оседланных и взнузданных лошадей будут стоять наготове в конюшне дома Давранша в Сент-Антуанском предместье, чтобы в случае неудачи д'Арманталя заговорщики могли без промедления бежать.

Когда они условились обо всем этом, герцогиня заставила д'Арманталя сесть к ней в карету. Она хотела отвезти его к нему домой, но он заметил ей, что появление кареты у дверей госпожи Дени вызвало бы в квартале сенсацию, а, как ни лестно это было бы для него, она могла бы при сложившихся обстоятельствах стать опасной для всех. Поэтому после многократных изъявлений признательности, которую герцогиня испытывала к д'Арманталю за его преданность, она высадила шевалье на площади Побед.

Было десять часов вечера. Д'Армантадь почти не виделся с Батильдой в течение дня; он хотел еще раз ее повидать; он был уверен, что найдет ее у окна, но этого ему было мало: ему нужно было сказать ей нечто слишком серьезное и интимное, чтобы переговариваться с ней через всю улицу. Он думал о том, как бы, несмотря на столь поздний час, проникнуть к Батильде, когда ему показалось, что под аркой, которая вела в ее дом, стоит женщина. Он приблизился и узнал Нанетту.

Она стояла здесь по распоряжению Батильды. Бедная девушка была в смертельной тревоге. Бюва так и не пришел. Весь день она провела у окна в ожидании возвращения д'Арманталя, а он все не возвращался. Ее терзали смутные опасения, зародившиеся у нее в ту ночь, когда шевалье в первый раз пытался похитить регента, и ей казалось, что есть какая-то связь между странным исчезновением Бюва и тем мрачным выражением лица, которое она заметила накануне у д'Арманталя. Шевалье вернулся и Нанетта осталась ждать Бюва, а д'Армантадь поднялся к Батильде.

Батильда услышала и узнала его шаги, поэтому, когда он пришел, она уже стояла в дверях. С первого взгляда она заметила задумчивое выражение, которое видела на его лице накануне той страшной ночи.

— О Боже мой, Боже мой! — воскликнула она, увлекая молодого человека в комнату и закрывая за собой дверь. — Боже мой, Рауль, с вами что-нибудь случилось?

— Батильда, — сказал д'Армантадь, глядя на девушку с грустной улыбкой и в то же время с доверием, — Батильда, вы часто говорили, что во мне есть что-то неведомое и таинственное и что это пугает вас.

— О да, да! — воскликнула Батильда. — И это единственное, что меня терзает, внушает мне страх за будущее.

— И вы правы, ибо до того, как я познакомился с вами, до того, как я вас увидел, я отказался от полной свободы воли. Частица моего существа уже не принадлежит мне: она подчинена высшей власти и зависит от непредвиденных событий. Это черное облачко на ясном небе. Смотря по тому, откуда подует ветер, оно может исчезнуть как дым, или вырасти в грозную тучу. Рука, которая держит и направляет мою руку, может привести меня на вершину почестей и славы, но может и низринуть в пучину невзгод. Скажите мне, Батильда, склонны ли вы разделить со мною и удачу и злосчастье, и покой и бурю?

— Все что угодно, Рауль, все, все!

— Взвесьте, на что вы идете, Батильда. Быть может, нам предназначена счастливая жизнь, быть может, нас ждет изгнание или заточение, быть может... быть может, вам суждено стать вдовою, не будучи еще женой.

Батильда так побледнела и зашаталась, что Рауль, подумав, что она падает в обморок,

хотел было ее поддержать. Но у Батильды была сильная воля, она овладела собой и, протянув д'Арманталю руку, сказала:

— Рауль, разве не говорила я вам, что я вас люблю, что никогда я не любила и никогда не полюблю другого? Мне кажется, что все обещания, которых вы требуете от меня, заключены в этих словах. Вы хотите новых заверений, я даю их вам, но они излишни. Ваша жизнь будет моей, Рауль; ваша смерть повлечет за собой мою. То и другое в руках Божьих. Да исполнится воля Божья на земле и на небесах!

— А я, Батильда, клянусь перед ликом Христа, — сказал д'Арманталь, подводя ее к распятию у изголовья кровати, — что с этой минуты вы моя жена перед Богом и людьми и что если события, от которых, быть может, зависит моя жизнь, не позволяют мне предложить вам ничего, кроме моей любви, глубокой, неизменной и вечной, то в ней вы можете не сомневаться. Дай же первый поцелуй твоему супругу, Батильда.

Перед ликом Христа молодые люди упали в объятия друг другу и обменялись первым поцелуем вместе с последней клятвой.

Когда д'Арманталь покинул Батильду, Бюва еще не пришел.

V. ДАВИД И ГОЛИАФ

Около восьми часов утра к д'Арманталю пришел аббат Брито. Он принес ему двадцать тысяч ливров, частью золотом, частью в векселях, подлежащих учету в Испании. Герцогиня провела ночь у графини де Шавиньи на улице Мель. Все, о чем они условились накануне, оставалось в силе, и герцогиня дю Мен рассчитывала на шевалье и по-прежнему смотрела на него как на своего спасителя. Что касается регента, то подтвердилось сообщение, что в этот день он должен, по обыкновению, поехать в Шель.

В десять часов Бриго и д'Арманталь вышли из дому; Бриго отправился на бульвар Тамплъ, где условился встретиться с Помпадуром и Валефом, а д'Арманталь — к Батильде.

В маленьком семействе царило крайнее беспокойство. Бюва все еще не приходил, и по глазам Батильды можно было легко угадать, что она мало спала и много плакала. К тому же при первом взгляде, брошенном на д'Арманталя, Батильда поняла, что готовится новая экспедиция вроде той, которая ее так испугала. На д'Армантале был костюм, в котором она видела его в тот вечер, когда, войдя к себе в комнату, он сбросил свой плащ на стул и предстал перед ней с пистолетами за поясом, но на этот раз на нем были еще высокие сапоги со шпорами, указывающие на то, что он собирается ехать верхом. Все эти признаки в обычное время не говорили бы ни о чем особенном, но после вчерашней сцены, после ночной помолвки без свидетелей, о которой мы поведали читателю, они приобретали огромное значение, становились в высшей степени знаменательными.

Батильда попыталась вначале расспросить шевалье, но, так как д'Арманталь сказал ей, что тайна, которую она хочет узнать, ему не принадлежит, и попросил ее говорить о другом, бедное дитя не решалось настаивать. Спустя примерно час после прихода д'Арманталя открылась дверь и вошла подавленная Нанетта. Она ходила в библиотеку. Бюва там не появлялся, и никто не мог ничего сообщить ей о нем. Не в силах более сдерживать себя, Батильда разразилась слезами.

Тогда Рауль признался ей в своих опасениях: бумаги, которые мнимый принц де Листне дал переписать Бюва, имели довольно большое политическое значение. Бюва мог быть скомпрометирован и арестован. Но ему нечего было бояться: в силу той совершенно пассивной роли, которую он играл в этом деле, ему не угрожала никакая опасность. Так как Батильде, не знавшей, что и думать, мерещилась еще большая беда, она с жадностью ухватила за эту мысль, которая, по крайней мере, оставляла ей некоторую надежду. Она не призналась самой себе в том, что больше всего беспокоилась, пожалуй, не за Бюва и что пролитые ею слезы были далеко не всецело вызваны страхом за судьбу опекуна.

Всякий раз, когда д'Арманталь находился возле Батильды, время для него не шло, а летело. Он думал поэтому, что поднялся к ней лишь несколько минут назад, но вот уже пробило половину второго. Рауль вспомнил, что в два часа к нему должен придти Рокфинет, чтобы договориться об условиях нового соглашения. Он поднялся; Батильда побледнела. Д'Арманталь

понял все, что происходит в ее душе, и пообещал ей вернуться, как только уйдет человек, которого он ждал. Это обещание несколько успокоило бедную девушку. И Батильда, видя, какое глубокое впечатление производит ее грусть на Рауля, попыталась улыбнуться. Молодые люди множество раз повторили вчерашние клятвы принадлежать друг другу и наконец расстались с грустью и верой друг в друга и в свою любовь. К тому же, как мы сказали, они думали, что разлучаются всего только на час.

Д'Арманталь провел у своего окна всего лишь несколько минут, когда на углу улицы Монмартр показался капитан Рокфинет верхом на серой в яблоках лошади, быстрой и вместе с тем выносливой; видно было, что выбирал ее знаток. Он ехал шагом с видом человека, которому безразлично, смотрят ли на него или нет. Только его шляпа, вероятно благодаря покачиванию, неизбежному при верховой езде, приняла среднее положение, которое не позволило бы разгадать состояние финансов даже ближайшим друзьям.

Подъехав к дверям дома госпожи Дени, Рокфинет спешился в три приема с той же точностью движений, с какой проделал бы это в манеже. Он привязал лошадь к ставню, удостоверился, что из седельных кобур не выпали пистолеты, и скрылся в подъезде. Через минуту д'Арманталь услышал его размеренные шаги. Наконец открылась дверь, и капитан вошел.

Как и накануне, лицо его было серьезно и задумчиво. Устремленные в одну точку глаза и сжатые губы указывали на бесповоротно принятое решение, и улыбка, с которой принял его д'Арманталь, не вызвала у него ответной улыбки.

— Ну, дражайший капитан, — сказал д'Арманталь, быстрым взглядом подметив все эти признаки, которые, поскольку дело касалось такого человека, как Рокфинет, не могли не внушать некоторого беспокойства, — я вижу, вы по-прежнему воплощенная точность.

— Это военная привычка, шевалье: я ведь старый солдат, и тут нет ничего удивительного.

— Поэтому я и не сомневался в вас, но вы могли не встретить ваших людей.

— Я же вам сказал, что знаю, где их найти.

— И они на своем посту? — Да.

— Где именно?

— На конном рынке у ворот Сен-Мартен.

— И вы не боитесь, что их заметят?

— Как же можно, по-вашему, опознать среди трех сотен крестьян, которые продают или покупают лошадей, двенадцать или пятнадцать человек, одетых, как и остальные, в крестьянское платье? Это, как говорится, иголка в стоге сена, и только я один могу найти эту иголку.

— Но как эти люди смогут вас сопровождать, капитан?

— Нет ничего проще. Каждый из них выбирает лошадь, которая ему подходит, предлагает за эту лошадь цену, на которую продавец отвечает другой ценой. Я приезжаю, даю моим людям по двадцать пять или тридцать луидоров; каждый расплачивается за свою лошадь, велит ее оседлать, садится на нее, опускает в седельные кобуры пистолеты, которые были у него за поясом, и уезжает своей дорогой, чтобы к пяти часам быть на условленном месте в Венсенском лесу. Только там я им объясняю, зачем я их собрал, снова раздаю деньги, становлюсь во главе отряда и выполняю свое дело, если, конечно, мы с вами договоримся об условиях.

— Ну что ж, капитан, — сказал д'Арманталь, — мы обсудим их, как добрые товарищи. Мне кажется, я принял заранее все меры для того, чтобы вы были довольны теми условиями, которые я могу вам предложить.

— Посмотрим, — сказал Рокфинет, садясь за стол, опуская голову на руки, сжатые в кулаки, и пристально глядя на д'Арманталь, стоявшего перед ним спиной к камину.

— Во-первых, я удваиваю сумму, которую вы получили в последний раз, — сказал шевалье.

— О, я не гонюсь за деньгами! — сказал Рокфинет.

— Как, вам не нужны деньги, капитан?

— Нисколько.

— Что же вам тогда нужно?

— Положение.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, шевалье, что с каждым днем я старею на двадцать четыре часа и что с возрастом приходит новая философия.

— Объясните же, капитан, — сказал д'Арманталь, которого начинали всерьез беспокоить все эти обиняки Рокфинета, — к чему побуждает вас стремиться ваша философия?

— Я уже вам сказал, шевалье: к приличному положению, к чину, который соответствовал бы моей долгой службе. Не во Франции, вы понимаете? Во Франции у меня слишком много врагов, начиная с господина шефа полиции. Но получить такое положение, скажем, в Испании — вот это мне подошло бы. Испания — прекрасная страна, там красивые женщины, там люди лопатами загребают дублоны! Я решительно хочу иметь чин в Испании.

— Что ж, это возможно, все зависит от того, какой чин вы желаете получить.

— Черт возьми, вы же понимаете, шевалье, что пустяков не стоит и желать!

— Вы меня пугаете, сударь, — сказал д'Арманталь, — потому что у меня нет печатей короля Филиппа Пятого, чтобы выдавать патенты от его имени. Но это неважно, скажите все-таки, чего вы хотите.

— Так вот, — сказал Рокфинет, — я вижу столько молокососов, которые командуют полками, что мне тоже пришло в голову стать полковником.

— Полковником? Это невозможно! — вскричал д'Арманталь.

— А почему? — спросил Рокфинет.

— Потому что если сделают полковником вас, который играет второстепенную роль в этом деле, что же, по-вашему, должен потребовать, например, я, возглавляющий все предприятие?

— Вот в том-то и штука. Я хотел бы, чтобы вы на минуту поставили себя на мое место. Помните, что я сказал вам однажды на улице Валуа?

— Напомните мне, капитан, я запомнил.

— Я сказал вам, что, если бы дело такого рода было в моих руках, оно, пожалуй, пошло бы лучше. Я добавил, что когда-нибудь еще поговорю с вами об этом, и вот я говорю.

— Что вы имеете в виду, капитан, черт возьми?

— Очень простую вещь, шевалье. Мы предприняли с вами на половинных началах первую попытку, которая потерпела неудачу. Тогда вы взялись за дело по-другому, решив, что сможете обойтись без меня, и опять потерпели неудачу. В первый раз это произошло под покровом ночи и без шума; каждый из нас пошел своей дорогой, и больше не о чем было говорить. Напротив, во второй раз вы провалились среди бела дня и со скандалом, который скомпрометировал вас всех, так что если вы не нанесете противнику решительный и неожиданный удар, то вы пропали, поскольку наш друг Дюбуа знает ваши имена, и завтра, а может быть, даже сегодня вечером вы все будете арестованы — шевалье, бароны, герцоги и принцы. Но есть на свете один человек, один-единственный, который может вас вывести из затруднения — капитан Рокфинет. И вот вы ему предлагаете то же место, которое он занимал в первом деле, каково! Вы начинаете с ним торговаться? Фи, шевалье! Вы же понимаете, черт возьми, что в соответствии со службой, которую может сослужить человек, возрастают и его притязания. Так вот, я стал для вас весьма важным лицом. Обращайтесь же со мной подобающим образом, или я сложу руки и предоставлю действовать Дюбуа,

Д'Арманталь до крови закусил губу, но, понимая, что имеет дело со старым кондотьером, стремившимся продавать свои услуги как можно дороже, и что сказанное капитаном относительно нужды, которую испытывают в нем, было совершенно верно, он сдержал свое нетерпение и усмирил свою гордость.

— Итак, — сказал д'Арманталь, — вы хотите быть полковником?

— Вот именно, — сказал Рокфинет.

— Но, предположим, я дам вам соответствующее обещание. Кто поручится, что моего влияния будет достаточно, чтобы это обещание было признано имеющим законную силу?

— Поэтому, шевалье, я и намерен сам обделать свои делишки.

— Где же это?

— Да в Мадриде.

— Кто вам сказал, что я вас туда возьму?

— Не знаю, возьмете ли вы меня или нет, но я туда поеду.

— В Мадрид? А зачем?

— Доставить туда регента.

— Вы сошли с ума.

— Ну-ну, шевалье, без грубостей! Вы спрашиваете у меня мои условия, я вам их представляю. Они вам не подходят? До свидания, от этого мы не перестанем быть добрыми друзьями.

И Рокфинет встал, взял свою шляпу, которую в начале разговора положил на комод, и сделал шаг к двери.

— Как, вы уходите? — сказал д'Арманталь.

— Конечно, ухожу.

— Но вы забываете, капитан...

— А, вы правы, — ответил Рокфинет, делая вид, что превратно понял д'Арманталя. — Вы дали мне сто луидоров, и я должен дать вам в них отчет. — Он вытащил из кармана кошелек и продолжал: — Серая в яблоках лошадь четырех или пяти лет — тридцать луидоров; пара двухзарядных пистолетов — десять луидоров; седло, уздечка и т. д. и т. д. — два луидора, всего сорок два луидора. В этом кошельке пятьдесят восемь луидоров. Лошадь, седло, пистолеты, уздечка остаются у вас. Считайте сами: мы квиты.

И он бросил кошелек на стол.

— Но я не об этом говорю, капитан.

— О чем же вы говорите?

— Я говорю, что вам не может быть доверена столь важная миссия.

— Тем не менее будет так, как я сказал, или вовсе ничего не будет. Я доставлю регента в Мадрид. Я доставлю его один, или он останется в Пале-Рояле.

— И вы считаете себя достаточно родовитым дворянином, — сказал д'Арманталь, — чтобы вырвать из рук Филиппа Орлеанского шпагу, разрушившую стены Лериды ла Пюсель и покоившуюся рядом со скипетром Людовика Четырнадцатого на бархатной подушке с золотыми кистями?

— Я слышал в Италии, — ответил Рокфинет, — что в битве при Павии Франциск Первый отдал свою шпагу какому-то мяснику.

И капитан, надвинув шляпу на брови, снова сделал шаг к двери.

— Послушайте, капитан, — сказал д'Арманталь более миролюбивым тоном, — оставим эти пустые препирательства. Пусть будет не по-моему, не по-вашему: я повезу регента в Испанию, а вы поедете со мной.

— Как бы не так! Чтобы бедный капитан затерялся в пыли, поднятой славным шевалье? Чтобы блестящий полковник затмил старого бандита? Нет, шевалье, так нельзя. Я возьму это дело в свои руки или вообще не стану в него вмешиваться.

— Но это же предательство! — вскричал д'Арманталь.

— Предательство, шевалье? В чем же это, скажите на милость, вы усмотрели предательство со стороны капитана Рокфинета? Какие соглашения я нарушил? Какие тайны я разгласил? Я предатель, шевалье? Тысяча чертей! Не далее как позавчера мне предлагали горы золота, чтобы я стал предателем, и я отказался. Нет, нет, вы пришли ко мне вчера с просьбой помочь вам во второй раз. Я сказал вам, что охотно сделаю это, во на новых условиях. Так вот эти условия я вам только что изложил; вы вольны принять их или отвергнуть. В чем же вы тут видите предательство?

— А если бы даже я был так низок, чтобы принять эти условия, неужели вы думаете, сударь, что доверие, которое шевалье д'Арманталь внушает ее королевскому высочеству герцогине дю Мен, перенеслось бы на капитана Рокфинета?

— Какое, черт возьми, отношение имеет ко всему этому герцогиня дю Мен! Вы взяли на себя определенное дело. Есть обстоятельства, мешающие вам выполнить его самолично, вы уполномочиваете на это меня, вот и все.

— Иначе говоря, — сказал д'Арманталь, — вы хотите иметь возможность отпустить регента, если он предложит вам вдвое большую плату за то, чтобы вы его оставили во Франции, чем я за то, чтобы вы увезли его в Испанию?

— Быть может, и так, — сказал Рокфинет насмешливым тоном.

— Послушайте, капитан, — сказал д'Арманталь: делая над собой новое усилие, чтобы сохранить хладнокровие, и пытаясь снова завязать переговоры, — послушайте, я вам дам двадцать тысяч ливров наличными.

— Ерунда! — сказал Рокфинет.

— Я возьму вас в Испанию.

— Пустяки! — сказал капитан.

— И клянусь честью добиться для вас полка. Рокфинет принялся насвистывать какую-то песенку.

— Берегитесь! — сказал д'Арманталь. — Теперь, когда дело зашло так далеко и вы знаете наши страшные тайны, вам опаснее отказаться, чем согласиться!

— А что же со мной случится, если я откажусь? — спросил Рокфинет.

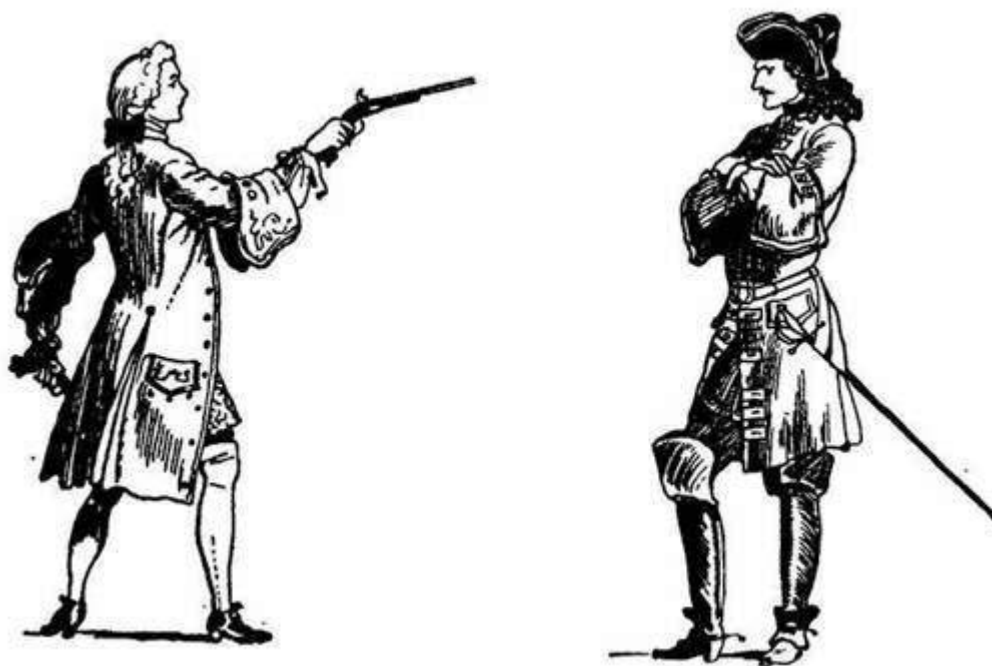
— Случится то, капитан, что вы не выйдете из этой комнаты.

— А кто мне помешает это сделать? — сказал капитан.

— Я! — вскричал д'Арманталь, бросаясь вперед и становясь перед дверью с пистолетами в обеих руках.

— Вы! — сказал Рокфинет, сделав шаг к шевалье, скрестив на груди руки и пристально глядя на него.

— Еще один шаг, капитан, — сказал шевалье, — и, даю вам честное слово, я вас застрелю!



— Это вы-то меня застрелите, когда вы дрожите, как старая баба! Знаете, что будет? Вы промахнетесь, на шум сбегутся соседи. Они позовут стражу. У меня спросят, почему вы стреляли в меня, и мне придется сказать, в чем дело.

— Да, вы правы, — сказал д'Арманталь, опуская пистолеты и засовывая их за пояс, — я убью вас более почетным образом, чем вы того заслуживаете. Обнажите шпагу, обнажите шпагу!

И д'Арманталь, упершись левой ногой в дверь, вытащил свою шпагу и встал в позицию.

Это была изящная маленькая шпага, какие носят при дворе, — тонкий стальной клинок с золотым эфесом. Рокфинет рассмеялся.

— А чем же вы прикажете мне защищаться? — сказал он, оглядываясь вокруг себя. — Нет ли у вас здесь случайно вязальных спиц вашей возлюбленной, шевалье?

— Защищайтесь той шпагой, которая у вас на боку, сударь! — ответил д'Арманталь. — Вы же видите, что, как она ни длинна, я встал так, чтобы не отступить ни на шаг.

— Что ты об этом думаешь, колишемарда? — спросил капитан насмешливым тоном,

обращаясь к славной шпаге, сохранившей имя, которое дал ей Раван.

— Она думает, что вы трус, капитан! — вскричал д'Армантадь. — Потому что нужно рассекь вам лицо, чтобы заставить вас драться.

И молниеносным движением д'Армантадь оцарапал своим

клинком лицо капитана, оставив у него на щеке синеватый след, словно от удара хлыстом.

Рокфинет издал крик, который можно было принять за рычание льва, потом отскочил назад и, обнажив шпагу, приготовился к бою.

И вот между этими двумя людьми, каждый из которых видел другого на дуэли и знал, с кем имеет дело, начался страшный, яростный и безмолвный поединок. Теперь, как легко понять, д'Армантадь обрел свое обычное хладнокровие, а Рокфинет пришел в бешенство. Он ежесекундно угрожал д'Армантадю своей длинной шпагой, но хрупкий клинок его противника следовал за ней, точно железо за магнитом, свистя и извиваясь вокруг нее как змея. Прошло минут пять, и, хотя шевалье не нанес ни одного удара, он парировал все выпады Рокфинета. Наконец во время одного особенно быстрого дегаже он запоздал с парадом и почувствовал, что острие шпаги Рокфинета слегка задело его грудь. В ту же минуту пятно крови проступило на его кружевном жабо. Увидев это, д'Армантадь сделал скачок вперед и так близко сошелся с Рокфинетом, что эфесы соприкоснулись. Капитан сразу понял, в какое невыгодное положение ставит его при таком сближении длинная шпага. Один штосе — и он погиб. Рокфинет тотчас отскочил назад, но его левый каблук скользнул по недавно натертому паркету, и, чтобы сохранить равновесие, он невольно поднял руку, в которой держал шпагу, а д'Армантадь, естественно, воспользовался этим, сделал выпад и по самую рукоятку вонзил ему в грудь клинок. Шевалье, в свою очередь, отскочил назад, чтобы избежать ответного удара, но эта предосторожность была излишней: капитан на мгновение замер, широко открыл блуждающие глаза, выронил шпагу, схватился обеими руками за рану и рухнул на пол, распростершись во весь рост.

— Проклятая шпажонка, — прошептал он и в ту же минуту испустил дух. Тонкий клинок пронзил сердце гиганта.

Между тем д'Армантадь по-прежнему стоял в позиции ангард, устремив взгляд на капитана и опуская шпагу, по мере того как его противника покидала жизнь. Наконец он оказался перед трупом, но у этого трупа были открыты глаза, и, казалось, они все еще смотрят на шевалье. При этом зрелище д'Армантадь в ужасе застыл, прислонившись к двери. Волосы у него стали дыбом, на лбу выступил холодный пот; он не смел пошевелиться, и его победа казалась ему сном. Вдруг в последней конвульсии губы умирающего сложились в ироническую улыбку; кондотьер скончался и унес с собой свою тайну.

Как распознать теперь среди трехсот крестьян, собравшихся на конном рынке, двенадцать или пятнадцать мнимых барышников, которые должны похитить регента?

Д'Армантадь издал глухой крик; он готов был отдать десять лет жизни, чтобы продлить на десять минут жизнь капитана. Он обхватил труп руками, приподнял его, окликнул Рокфинета, вздрогнул, увидев свои обгаренные кровью руки, и уронил тело в лужу крови, ручьем стекавшей к двери по слегка наклонному полу и уже просачивавшейся за порог.

В эту минуту заржала застоявшаяся лошадь, привязанная к ставню. Д'Армантадь направился к двери, но вдруг ему пришла в голову мысль, что у Рокфинета, может быть, есть какая-нибудь бумага, записка, список, которым можно будет руководствоваться. Несмотря на отвращение, внушаемое ему трупом, он подошел к нему, обшарил один за другим все карманы капитана, но единственными бумагами, которые он в них нашел, были три или четыре старых счета от ресторатора и любовное письмо Нормандки.

Тогда, поскольку д'Армантадю больше нечего было делать в этой комнате, он подошел к секретеру, набил карманы золотом и векселями, запер за собой дверь, сбегал по лестнице, вскочил на застоявшуюся лошадь, помчался галопом по улице Гро-Шене и скрылся за ближайшим к бульвару поворотом.

VI. СПАСИТЕЛЬ ФРАНЦИИ

В то время как в мансарде госпожи Дени совершалась эта ужасная катастрофа, Батильда, встревоженная тем, что окно д'Арманталя остается так долго закрытым, открыла свое, и первое, что она заметила, была серая лошадь, привязанная к ставню. А поскольку она не видела, как капитан вошел к д'Арманталю, то подумала, что лошадь предназначена для Рауля, и это тотчас пробудило в ее душе прежние и новые страхи.

Батильда осталась у окна, глядя во все стороны и стараясь прочесть по лицу каждого проходящего, является ли он участником готовящейся драмы, в которой, как она инстинктом угадывала, д'Арманталю принадлежала главная роль. Итак, с трепещущим сердцем и блуждающими глазами она, вытянув шею, озиралась по сторонам, как вдруг ее тревожный взгляд остановился на одной точке. В ту же минуту девушка радостно вскрикнула: она увидела Бюва, показавшегося на углу улицы Монмартр. В самом деле, это был достойный каллиграф собственной персоной. То и дело оглядываясь, словно опасаясь преследования, и держа на весу трость, он шел настолько быстро, насколько позволяли его короткие ноги.

Пока он проходит под аркой ворот и поднимается по темной лестнице, на середине которой он встретит свою питомицу, бросим взгляд назад и объясним причины его долгого отсутствия, доставившего, мы в этом уверены, не меньше беспокойства нашим читателям, чем бедной Батильде и доброй Нанетте.

Мы помним, как Дюбуа под страхом пытки принудил Бюва раскрыть заговор и каждый день приходить к нему, чтобы снимать копии с документов, полученных для переписки от мнимого принца де Листне. Так министр регента узнал один за другим все планы заговорщиков, которые он опрокинул арестом маршала де Вильруа и созывом парламента.

В понедельник утром Бюва, как обычно, пришел к Дюбуа с новой кипой бумаг, которые передал ему накануне Давранш. Это был манифест, составленный Малезье и Помпадуром, и письма наиболее именитых бретонских баронов, которые, как мы видели, примкнули к заговору.

Бюва, по обыкновению, принялся за работу; но около четырех часов, когда он встал, чтобы отправиться домой, и уже держал в одной руке шляпу, а в другой — трость, за ним пришел Дюбуа, который провел его в маленькую комнатку, находившуюся над той, где он работал, и там спросил у него, что он думает об этом помещении. Польщенный тем, что Дюбуа так считается с его мнением, Бюва поспешил ответить, что находит комнату очень уютной.

— Тем лучше, — сказал Дюбуа, — мне очень приятно, что она вам по нраву, потому что это ваша комната.

— Моя? — испуганно переспросил Бюва.

— Ну да, ваша. Что же удивительного в том, что я хочу иметь под рукой и, главное, не выпускать из виду такого важного человека, как вы?

— Так, значит, я буду жить в Пале-Рояле? — спросил Бюва.

— По крайней мере несколько дней, — ответил Дюбуа.

— Но, монсеньер, позвольте мне хотя бы предупредить Батильду.

— В том-то и дело, что мадемуазель Батильда не должна ничего знать.

— Но вы, по крайней мере, разрешите мне в первый раз, когда я выйду...

— В течение всего того времени, которое вы пробудете здесь, вы отсюда не выйдете.

— Но тогда, значит, я узник?! — с ужасом вскричал Бюва.

— Вы правы, дорогой Бюва, — государственный узник. Но успокойтесь, ваше заточение будет недолгим, и, пока оно продлится, вам будут оказывать все знаки внимания, на какие имеет право спаситель Франции. Ибо вы спасли Францию, дорогой господин Бюва, теперь уж в этом не приходится сомневаться.

— Я спас Францию?! — воскликнул Бюва. — И вот я в заточении, под запорами, за решеткой!

— Где, черт возьми, вы увидели запоры и решетки, дорогой Бюва? — со смехом спросил Дюбуа. — Эта дверь запирается только на задвижку, и в ней нет даже замочной скважины; что

касается окна, то, как видите, оно выходит в сад Пале-Рояля и не забрано никакой решеткой, так что вы можете без помехи наслаждаться великолепным видом. Вам будет здесь не хуже, чем самому регенту.

— О, моя комнатка! О, моя терраса! — пролепетал Бюва и, уничтоженный, упал в кресло. Дюбуа, которому некогда было утешить Бюва, вышел и поставил у двери часового.

Эту меру легко объяснить: Дюбуа боялся, как бы, узнав об аресте де Вильруа, заговорщики не заподозрили, откуда исходит разоблачение, а если бы они стали расспрашивать Бюва, он признался бы во всем. Это признание заставило бы заговорщиков приостановить исполнение своих планов, между тем как Дюбуа, осведомленный отныне обо всех их замыслах, хотел предоставить им скомпрометировать себя до конца, чтобы раз навсегда покончить со всеми этими заговорами.

Около восьми часов вечера, когда уже начинало темнеть, Бюва услышал громкий шум за дверью и какое-то металлическое позвякивание, крайне встревожившее его; ему случилось слышать множество историй о государственных узниках, убитых в тюрьме, и он, весь дрожа, встал и подбежал к окну. Во дворе и в саду Пале-Рояля былолюдно, в галереях загорались огни, и все, что открывалось взору Бюва, было полно движения, веселья и света. Он издал стон при мысли о том, что ему, быть может, придется проститься с этим миром, в котором жизнь бьет ключом. В эту минуту открылась дверь. Бюва, задрожав, обернулся и увидел двух рослых лакеев в красных ливреях, которые внесли накрытый стол. Металлический шум, который так тревожил Бюва, оказался позвякиванием серебряных блюд и приборов.

Первым душевным движением Бюва было желание возблагодарить Господа Бога за то, что неминуемая опасность, как он думал, угрожавшая ему, обратилась в обстоятельства, по-видимому, вполне приемлемые. Но почти тотчас ему пришла в голову мысль, что пагубные замыслы, направленные против него, остались неизменными, что их лишь решили привести в исполнение иным путем и что его не убьют, как Жана Бесстрашного или герцога Гиза, а отравят, как Великого дофина или герцога Бургундского. Он бросил быстрый взгляд на двух лакеев, и ему померещилось в их физиономиях что-то зловещее, выдающее исполнителей тайной мести. С этой минуты решение Бюва было принято, и, несмотря на соблазнительный вид дымящихся блюд, он отказался от всякой еды, величественно объявив, что не хочет ни есть, ни пить.

Лакеи исподтишка переглянулись. Это были два продувных молодца, которые с первого взгляда оценили Бюва по достоинству и, не понимая, как можно не испытывать голода при виде начиненного трюфелями фазана и не чувствовать жажды при виде бутылки шамбертена, разгадали опасения узника. Они шепотом обменялись несколькими словами, и тот, кто был побойчее, понимая, что есть возможность извлечь выгоду из создавшегося положения, направился к Бюва, который отступал перед ним до тех пор, пока не уперся спиной в камин.

— Сударь, — сказал он ему проникновенным тоном, — мы понимаем ваши опасения. Но так как мы честные слуги, то хотим доказать вам, что мы не способны приложить руку к злодеянию, в котором вы нас подозреваете. Поэтому в течение всего вашего пребывания в этой комнате мой товарищ и я, каждый по очереди, будем пробовать все блюда и все вина, которые вам будут подаваться. Мы почтем себя счастливыми, если благодаря нашей самоотверженности сможем принести вам некоторое успокоение.

— Сударь, — ответил Бюва, сгорая от стыда от того, что его тайные мысли были разгаданы, — вы очень любезны, но, Бог свидетель, я не хочу ни есть, ни пить, как я уже имел честь вам сказать.

— Неважно, сударь, — сказал лакей. — Так как мы с товарищем хотим, чтобы у вас не осталось ни малейшего сомнения, мы все же сделаем пробу, которую вам предложили... Контуа, друг мой, — продолжал лакей, садясь на место, которое должен был занять Бюва, — сделайте одолжение, подайте мне несколько ложек этого супа, крылышко пулярки с рисом и чуточку бургундского... Так, хорошо... За ваше здоровье, сударь!

— Сударь, — ответил Бюва, глядя широко раскрытыми от удивления глазами на лакея, так беззастенчиво обедавшего вместо него, — сударь, это я ваш слуга. И мне хотелось бы узнать ваше имя, чтобы сохранить его в памяти рядом с именем того доброго тюремщика, который дал святому Косме такое же доказательство самоотверженности, какое вы даете мне.

Об этом говорится в «Практической морали», сударь, — продолжал Бюва. — И я позволю себе сказать вам, что вы во всех отношениях достойны фигурировать в этой книге.

— Сударь, — скромно ответил лакей, — меня зовут Бургиньон, а это мой товарищ Конттуа. Его очередь проявить свою самоотверженность наступит завтра, и он от меня не отстанет... Ну-ка, дружище Конттуа, положите мне кусочек фазана и налейте бокал шампанского. Разве вы не понимаете, что я должен отведать все блюда и попробовать все вина, чтобы вполне успокоить господина. Я знаю, это нелегко, но в чем же состояла бы заслуга честного человека, если бы он не налагал

на себя время от времени подобных обязательств? За ваше здоровье, господин Бюва!

— Да воздаст вам Бог, господин Бургиньон!

— Теперь, Конттуа, подайте мне десерт, чтобы у господина Бюва не осталось никаких сомнений.

— Господин Бургиньон, уверяю вас, что, если бы у меня и были какие-либо сомнения, они бы уже давно рассеялись.

— Нет, сударь, нет, прошу прощения, но вы еще не совсем избавились от них... Конттуа, друг мой, подогрейте кофе. Я хочу, чтобы он был точно таким, каким пил бы его господин Бюва, а я полагаю, что господин Бюва любит очень горячий кофе.

— Да, да, сударь, — с поклоном ответил Бюва, — я пью его кипящим, честное слово.

— А-а, — сказал Бургиньон, прихлебывая кофе из своей чашки и блаженно закрывая глаза, — вы правы, сударь: только такой кофе и хорош; когда он холодный, это весьма посредственный напиток. Что касается этого кофе, то, должен сказать, он превосходен... Конттуа, друг мой, примите мои поздравления, вы восхитительно прислуживаете. А теперь помогите мне убрать стол. Вы должны знать, что для тех, кто не хочет ни есть, ни пить, нет ничего более неприятного, чем запах яств и вин. Сударь, — продолжал Бургиньон, пятась к двери, которую он тщательно закрыл, прежде чем приняться за еду, и открывая ее, в то время как его приятель двигал стол вперед, — сударь, на случай, если вам что-нибудь понадобится, у вас есть три звонка: один у вашей кровати и два у камина; те, что у камина, — для нас, а тот, что у кровати, — для камердинера.

— Спасибо, сударь, — сказал Бюва, — вы слишком любезны. Я не хочу никого беспокоить.

— Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь; монсеньер желает, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома.

— Монсеньер очень любезен.

— Вы ничего больше не желаете, сударь?

— Ничего, мой друг, ничего, — сказал Бюва, растроганный такой преданностью, — разве только выразить вам мою признательность.

— Я лишь исполняю мой долг, сударь, — скромно ответил Бургиньон, кланяясь в последний раз и закрывая за собой дверь.

— Право, — сказал Бюва, с умилением глядя вслед Бургиньону, — надо признать, что есть очень лживые поговорки. Например, говорят: «Наглый, как лакей», а вот человек, который занимается этим ремеслом и тем не менее очень вежлив. Право, я больше не буду верить поговоркам или, по крайней мере, буду делать различие между ними.

Ничто так не возбуждает аппетита, как вид и запах хорошего обеда. Обед, который только что унесли на глазах у

Бюва, превосходил по своей роскоши все, что добрейший каллиграф мог до сих пор себе представить, и, измученный спазмами в желудке, он начинал раскаиваться в чрезмерной недоверчивости по отношению к своим преследователям, но было уже поздно. Правда, Бюва мог позвонить господину Бургиньону или господину Конттуа и попросить, чтобы ему еще раз подали есть, но он был слишком робок, чтобы позволить себе такое волеизъявление. Поэтому, поискав среди изречений, которым надлежало по-прежнему придавать веру наиболее утешительную, и усмотрев прямую аналогию между своим положением и пословицей «Кто спит, тот сыт», он решил придерживаться ее и, не имея возможности пообедать, попытаться, по крайней мере, поспать.

Он уже хотел последовать этому решению, но на него напали новые страхи: не могут ли

воспользоваться его сном, чтобы уничтожить его? Ночь — это время козней; он часто слышал от мамы Бюва истории о балдахинах, которые, опускаясь, удушают несчастного спящего; о кроватях, которые проваливаются в люк, притом так тихо, что те, кто поживает на них, даже не просыпаются; о потайных дверях в деревянной обшивке стен и даже в мебели, которые бесшумно открываются, чтобы впустить убийц. Не для того ли, чтобы он беспечно заснул глубоким сном, ему подали столь обильный обед, столь отменные вина? Все это, в сущности, возможно. Поэтому Бюва, у которого было в высшей степени развито чувство самосохранения, начал со свечой в руке самым тщательным образом обследовать комнату. Открыв все дверцы шкафов, выдвинув все ящики комода, опробовав все филенки панелей, Бюва подошел к кровати и, опустившись на четвереньки, боязливо заглянул под нее, едва не коснувшись лицом ковра, на котором стоял, как вдруг услышал у себя за спиной шаги. Поскольку положение, в котором он находился, не позволяло и думать о самозащите, он остался недвижим и в холодном поту, с замиранием сердца стал ждать, что произойдет. Прошло несколько мгновений, и наконец зловещую тишину нарушил голос, заставивший Бюва задрожать:

— Простите, сударь, не ищите ли вы свой ночной колпак? Бюва был обнаружен. Если опасность существовала, ее нельзя было избежать. Поэтому он вытащил голову из-под кровати, взял в руку свечу и, оставаясь на коленях, в позе, как бы воплощающей смирение и беззащитность, повернулся к тому, кто обратился к нему с этим вопросом, и увидел перед собой человека в черном, который держал на полусогнутой руке какие-то вещи — как показалось Бюва, предметы одежды.

— Да, сударь, — сказал Бюва, ухватываясь за подсказанную ему отговорку с недюжинным присутствием духа, за которое он мысленно себя похвалил, — да, сударь, именно так, я ищу мой ночной колпак. Разве это возбуждается?

— Почему же, сударь, вы не позвонили, вместо того чтобы утруждать себя? Я имею честь быть назначенным вам в услужение в качестве камердинера, и я принес вам ночной колпак и шлафрок.

При этих словах лакей разложил на кровати богато расшитый халат, колпак из тонкого батиста и весьма кокетливую розовую ленту. Бюва, по-прежнему стоя на коленях, смотрел на все это с величайшим изумлением.

— Теперь не угодно ли вам, сударь, — сказал лакей, — чтобы я помог вам раздеться?

— Нет, сударь, нет! — вскричал Бюва, отличавшийся крайней стыдливостью, сопровождая, однако, свой отказ самой приветливой улыбкой, на какую только был способен. — Нет, я привык раздеваться сам. Спасибо, сударь, спасибо!

Лакей удалился, и Бюва остался один.

Так как осмотр комнаты был окончен, а голод, становившийся все более ощутимым, внушал Бюва желание как можно скорее уснуть, он, вздохнув, тотчас же принялся за свой ночной туалет, поставил, чтобы не остаться без света, одну из свечей на уголок камина и с глубоким стоном улегся в самую мягкую и покойную постель, в какой ему когда-либо доводилось поживать.

Но не таков сон, какова постель, — эту аксиому Бюва по собственному опыту смог прибавить к своему списку правдивых пословиц. То ли из-за страха, то ли из-за пустоты в желудке Бюва провел очень беспокойную ночь и лишь к утру задремал, да и то во сне его преследовали самые ужасные и нелепые кошмары. Под утро ему приснилось, что его заточили в жаркое из баранины с фасолью. Тут как раз вошел лакей и спросил у него, в котором часу ему будет угодно завтракать.

Этот вопрос был так связан с последним сновидением Бюва, что его пробрала дрожь при одной мысли о еде, и он ответил невнятным бормотанием, которое, очевидно, показалось лакею имеющим какой-то смысл, потому что он сразу же вышел, говоря, что сейчас будет подано.

Бюва не привык завтракать в постели; поэтому он с живостью вскочил с кровати и поспешно оделся. Едва он окончил свой туалет, вошли господи Бургиньон и Контюа, неся завтрак, как накануне они принесли обед.

И вот повторилась сцена, которую мы уже описали, с той только разницей, что на сей раз угощался господин Контюа, а прислуживал господин Бургиньон. Но, когда очередь дошла до кофе и Бюва, который уже сутки ничего не ел, увидел, что его излюбленный напиток,

перелившись из серебряного кофейника в фарфоровую чашку, вот-вот перейдет в пищевод господина Контуа, он не мог больше выдержать и объявил, что его желудок требует, чтобы его чем-нибудь ублажили, и что поэтому он, Бюва, желает, чтобы ему оставили кофе и булочку. Это заявление пришлось, по-видимому, немного не по нраву самоотверженному господину Контуа, но ему тем не менее пришлось удовольствоваться двумя ложечками ароматного напитка, который был затем оставлен вместе с булочкой и сахарницей на маленьком круглом столике, после чего два бездельника, посмеиваясь в бороду, унесли остатки плотного завтрака. Едва за ними закрылась дверь, как Бюва бросился к столику и, впопыхах даже не обмакнув булочку в кофе, проглотил и то и другое. Когда он слегка подкрепился, как ни скудна была его трапеза, вещи начали представляться ему не в столь безотрадном свете.

В самом деле, Бюва был не лишен здравого смысла; поскольку он благополучно провел вчерашний вечер и истекшую ночь, а утро началось для него совсем недурно, он начал понимать, что если его и лишали свободы по каким-то политическим мотивам, то, по крайней мере, не только не посягали на его жизнь, а, напротив, окружали такими заботами, предметом которых он до сих пор никогда не был. Потом Бюва невольно почувствовал на себе благодетельное воздействие роскоши, как бы источающей некий флюид, который проникает в каждую пору и веселит сердце. Он рассудил, что обед, поданный ему вчера, был лучше его обычного обеда; признал, что постель, на которой он спал, была весьма мягка; нашел, что кофе, только что выпитый им, обладал ароматом, которого лишен был его домашний кофе с примесью цикория. Наконец, он не мог скрыть от себя, что удобные кресла и стулья с мягким сиденьем, которыми он пользовался последние двадцать четыре часа, имели неоспоримое превосходство перед его кожаным креслом и плетеным стулом. Таким образом, единственное, что его действительно мучило, была мысль о том, какое беспокойство должна испытывать Батильда, видя, что он не возвращается. Не осмеливаясь возобновить просьбу, с которой он накануне обратился к Дюбуа, он подумал было о том, чтобы подать весть своей питомице; ему пришло в голову по примеру Железной Маски, который бросил из окна своей тюрьмы на берег моря серебряное блюдо, бросить со своего балкона письмо во двор Пале-Рояля, но он знал, какие пагубные последствия имело для несчастного узника это нарушение воли господина де Сен-Мара, и страшился, прибегнув к подобной попытке, усугубить строгость заточения, которое пока что казалось ему в общем терпимым.

Вследствие всех этих размышлений Бюва провел утро гораздо спокойнее, чем вечер и ночь; к тому же его желудок, успокоенный чашкой кофе и булочкой, уже не докучал ему, и он испытывал лишь легкий аппетит, который даже доставляет удовольствие, когда знаешь, что тебя ждет хороший обед. Прибавьте к этому открывавшийся из окна приятный вид, как нельзя лучше отвлекающий узника от черных мыслей, и вы поймете, что он провел время до часу пополудни без особой скорби и скуки.

Ровно в час открылась дверь, и снова появился накрытый стол, который, так же как и утром и накануне вечером, внесли два лакея. На этот раз за него не сел ни господин Бургиньон, ни господин Контуа: Бюва заявил, что он вполне удостоверился в добрых намерениях своего высокого хозяина, благодарит господ Контуа и Бургиньона за самоотверженность, которую они поочередно проявили, и просит их теперь прислуживать ему. Лакеи не удержались от гримасы, но повиновались.

Нетрудно догадаться, что счастливое расположение духа, в коем прибывал Бюва, еще улучшилось благодаря превосходному обеду, который ему принесли!

Бюва отведал все блюда и попробовал все вина. Он откусал кофе, прихлебывая его маленькими глоточками, — роскошь, которую обычно позволял себе только по воскресеньям. Сверх этого аравийского нектара, он выпил рюмочку ликера мадам Анфу. От всего этого, надо сказать, он пришел в состояние, близкое к экстазу.

Поданный вечером ужин имел такой же успех, но так как Бюва несколько больше, чем за обедом, предавался дегустации шамбертена и силлери, то к восьми часам он уже испытывал блаженство, не поддающееся описанию. Поэтому, когда вошел лакей, чтобы постелить ему постель, Бюва уже не стоял на четвереньках, засунув голову под кровать, а сидел, развалившись в мягком кресле и положив ноги на каминную решетку, и с бесконечно нежными модуляциями голоса напевал сквозь зубы, моргая глазами:

Пусти меня гулять,
Резвиться и играть
На травке под кустом,
В орешнике густом.

Все это, конечно, свидетельствовало о значительном улучшении самочувствия достойного писца по сравнению с тем, каково оно было двадцать четыре часа назад. Более того, когда лакей, как и вчера, спросил, не помочь ли ему раздеться, Бюва, который несколько затруднялся в выражении своих мыслей, лишь улыбнулся в знак согласия и протянул ему руки, чтобы он снял с него сюртук, а затем ноги, чтобы он его разул. Но, несмотря на необычайно благодушное настроение, в котором пребывал Бюва, его природная сдержанность не позволила ему большей непринужденности, и, только оставшись в полном одиночестве, он разделся совсем.

На этот раз, в отличие от вчерашнего дня, Бюва с наслаждением растянулся в постели, через пять минут заснул, и ему приснилось, что он турецкий султан и что у него, как у Соломона, триста жен и пятьсот наложниц.

Поспешим заметить, что это было единственное игривое сновидение, посетившее стыдливого Бюва за всю его целомудренную жизнь.

Бюва проснулся свежий, как роза, озабоченный единственно тем, что Батильда, должно быть, тревожится о нем, но в остальном совершенно счастливый.

Завтрак, понятно, отнюдь не испортил его хорошего настроения, совсем напротив... Осведомившись, может ли он написать его преосвященству архиепископу Камбрейскому, и узнав, что это не возбраняется никаким распоряжением, он попросил бумаги и чернил, что и было ему принесено, вытащил из кармана перочинный нож, с которым никогда не расставался, с величайшей тщательностью очинил перо и начал писать своим прекрасным почерком в высшей степени трогательное прошение о том, чтобы в случае если его заточение должно продлиться, ему было дано разрешение принять Батильду или, по крайней мере, известить ее, что, помимо свободы, он решительно ни в чем не нуждается благодаря тому вниманию, которое ему оказывает его превосходительство первый министр.

Это прошение, к написанию которого по всем правилам каллиграфического искусства Бюва приложил величайшее старание и в котором все заглавные буквы изображали очертания различных растений, деревьев или животных, заняло у достойного писца все время от завтрака до обеда. Садясь за стол, он передал прошение Бургиньону, который взялся лично отнести его господину первому министру, объявив, что тем временем прислуживать Бюва может и один Контуа. Через четверть часа Бургиньон вернулся и сообщил Бюва, что монсеньера сейчас во дворце нет, но что ввиду его отсутствия прошение было передано особе, разделяющей с ним заботы о государственных делах, и что эта особа распорядилась привести к ней Бюва, как только он кончит обедать, причем, однако, Бюва просили ни в коей мере не торопиться, поскольку тот, кто его должен принять, в эту минуту тоже обедает. Воспользовавшись этим разрешением, Бюва не спеша отдал должное лучшим блюдам, отведал лучшие вина, охотно выкушал кофе, с наслаждением выпил рюмку ликера и, покончив с этой последней операцией, решительным тоном объявил, что он готов предстать перед заместителем первого министра.

Часовому было приказано пропустить Бюва, и тот в сопровождении Бургиньона гордо прошел мимо него. Некоторое время Бюва следовал за лакеем по длинному коридору, потом спустился подлинной лестнице, и наконец Бургиньон открыл ему какую-то дверь и доложил о господине Бюва.

Бюва оказался в своего рода лаборатории, расположенной на первом этаже, перед человеком лет сорока двух, очень просто одетым, лицо которого показалось ему знакомым. Наклонившись над тиглем, стоявшем на ярком огне, он внимательно следил за какой-то химической реакцией, придавая ей, по-видимому, большое значение. Заметив Бюва, этот человек поднял голову и, с интересом посмотрев на него, сказал:

- Это вы, сударь, Жан Бюва?
- К вашим услугам, сударь, — с поклоном ответил Бюва.
- Прощение, которое вы послали архиепископу, написано вашей рукой?
- Моей собственной, сударь.
- У вас, сударь, прекрасный почерк.

Бюва поклонился с улыбкой, исполненной скромной гордости.

— Архиепископ мне сообщил, сударь, — продолжал незнакомец, — какие вы оказали нам услуги.

— Его преосвященство слишком добры, — пробормотал Бюва. — Это не стоит благодарности.

— Как не стоит благодарности! Напротив, господин Бюва, это очень даже стоит благодарности, черт возьми, и в доказательство, если вы хотите о чем-нибудь просить регента, я берусь передать ему вашу просьбу.

— Раз вы уж благоволите, сударь, предложить мне свое ходатайство перед его королевским высочеством, будьте добры сказать ему, что я прошу его, когда он будет не так стеснен в средствах, распорядиться о выплате мне задолженности.

— Какой задолженности, господин Бюва? Что вы хотите сказать?

— Дело в том, сударь, что я имею честь служить в королевской библиотеке, но вот уже скоро шесть лет, как нам говорят в конце каждого месяца, что в казначействе нет денег.

— И как велика эта задолженность?

— Сударь, мне понадобились бы чернила и перо, чтобы назвать вам точную цифру.

— Ну, приблизительно. Прикиньте в уме.

— Это составит пять тысяч триста ливров с небольшим, если отбросить су и денье.

— И вы желаете, чтобы вам их заплатили?

— Не скрою, сударь, что это доставило бы мне удовольствие.

— И это все, о чем вы просите?

— Решительно все.

— Ну, а за услугу, которую вы оказали Франции, вы не просите никакой награды?

— Да, сударь, я прошу передать моей воспитаннице Батильде, которая, вероятно, очень встревожена моим отсутствием, что она может не беспокоиться обо мне и что я нахожусь в заключении в Пале-Рояле. Я попросил бы даже, если бы не боялся злоупотребить вашей добротой, сударь, чтобы ей разрешили меня навестить. Но, если вы находите эту вторую просьбу слишком нескромной, я ограничусь первой.

— Мы сделаем лучше, господин Бюва. Так как причин, по которым мы вас задержали здесь, больше не существует, мы вернем вам свободу, и вы сможете сами пойти к вашей воспитаннице.

— Как, сударь, — сказал Бюва, — я больше не узник?

— Вы можете уйти отсюда, когда захотите.

— Сударь, я ваш покорный слуга. Имею честь засвидетельствовать вам свое почтение.

— Простите, господин Бюва, еще одно слово.

— Сделайте одолжение, сударь,

— Я повторяю, что Франция вам многим обязана и должна воздать по заслугам. Напишите же регенту, что вам причитается, обрисуйте ваше положение, и, если у вас есть какое-либо особое желание, смело изложите его. Я ручаюсь, что ваше ходатайство будет уважено.

— Вы очень добры, сударь. Я не премину воспользоваться вашим советом. Значит, я могу надеяться, что при первых поступлениях в государственную казну...

— ...вам будет выплачена задолженность.

— Сударь, я сегодня же пошлю прошение регенту.

— А завтра вам заплатят.

— Ах, сударь, как вы добры!

— Ступайте, господин Бюва, ступайте, вас ждет ваша воспитанница.

— Вы правы, сударь, но она ничего не проиграет от того, что ей пришлось ждать, поскольку я принесу ей такую приятную новость. Имею честь кланяться, сударь... Ах, прошу прощения, не сочтите за нескромный вопрос. — Позвольте спросить: как вас зовут?

— Господин Филипп.

— Имею честь кланяться, господин Филипп.

— До свидания, господин Бюва. Одну минутку, я должен распорядиться, чтобы вас выпустили.

При этих словах он позвонил, и в комнату вошел лакей.

— Позовите Равана.

Лакей вышел. Через две секунды в комнату вошел молодой офицер гвардии.

— Раван, — сказал господин Филипп, — проводите этого доброго человека до ворот Пале-Рояля. Он волен идти, куда ему вздумается.

— Слушаю, ваше высочество, — сказал молодой офицер. Бюва опешил. Он открыл рот, чтобы спросить, кто этот человек, которого величали его высочеством, но Раван не дал ему времени на это.

— Пойдемте, сударь, — сказал он, — пойдемте, я вас жду. Бюва оторопело посмотрел на господина Филиппа и на офицера, но Раван, не понимая причины его замешательства, вторично пригласил его следовать за ним. Бюва повиновался, вытащив из кармана носовой платок и вытирая пот, крупными каплями выступивший у него на лбу. У ворот часовой хотел остановить Бюва.

— По приказу его королевского высочества господина регента этот человек свободен, — сказал Раван.

Часовой взял на караул и пропустил их.

Бюва подумал, что с ним сейчас случится удар; у него подкашивались ноги, и, чтобы не упасть, он прислонился к стене.

— Что с вами, сударь? — спросил его провожатый.

— Простите, сударь, — пролепетал Бюва, но тот господин, с которым я только что имел честь разговаривать, случайно не...

— Его высочество регент собственной персоной.

— Не может быть! — воскликнул Бюва.

— Однако это так, — ответил Раван.

— Как, значит, сам господин регент пообещал мне, что я сполна получу задолженность?! — воскликнул Бюва.

— Я не знаю, что он вам пообещал, но я знаю, что человек, приказавший мне проводить вас, — господин регент, — ответил Раван.

— Но он сказал мне, что его зовут Филипп.

— Ну да, Филипп Орлеанский.

— Ах да, правда, сударь, Филипп — его родовое имя, это всем известно. Но, значит, регент — прекрасный человек. Подумать только, что нашлись гнусные негодяи, которые вступили в заговор против него, против человека, который дал мне слово, что распорядится выплатить мне задолженность! Да, эти люди, сударь, заслуживают, чтобы их повесили, колесовали, четвертовали, сожгли заживо! Ведь вы того же мнения, сударь, не так ли?

— Сударь, у меня нет мнения о столь важных делах, — со смехом сказал Раван. — Мы с вами у выхода на улицу. Я хотел бы побывать в вашем обществе подольше, но его высочество через полчаса уезжает в Шельское аббатство, а так как он намерен дать мне перед отъездом некоторые распоряжения, я, к моему великому сожалению, вынужден вас покинуть.

— Это мне и только мне, сударь, приходится испытывать сожаление, — учтиво сказал Бюва, отвешивая глубокий поклон в ответ на легкий кивок молодого человека, который уже исчез, когда Бюва поднял голову.

Теперь Бюва волен был идти куда угодно и, воспользовавшись этим, направился к площади Побед, а с площади Побед — к улице Утраченного Времени, на которую он и свернул как раз в ту минуту, когда д'Армантадь пронзил шпагой капитана Рокфинета. И в ту же минуту бедная Батильда, не подозревая о том, что происходит у ее соседа, увидела своего опекуна и бросилась к нему вниз по лестнице, где они и встретились между третьим и четвертым этажом.

— О папочка, дорогой папочка! — вскричала Батильда, поднимаясь по лестнице под руку с Бюва и чуть не на каждой ступеньке останавливая его, чтобы поцеловать. — Где вы были? Что с вами случилось? Почему мы не видели вас с понедельника? Боже мой, как мы с Нанеттой беспокоились! Но, должно быть, с вами произошли какие-то невероятные события?

— О да, совершенно невероятные, — сказал Бюва.

— Ах, Боже мой, расскажите же, папочка! Прежде всего, откуда вы идете?

— Из Пале-Рояля.

— Как из Пале-Рояля? У кого же вы были в Пале-Рояле?

— У регента.

— Вы — у регента?! И что же вы делали у регента?

— Я был узником.

— Узником? Вы?

— Государственным узником.

— Но почему же вы были узником?

— Потому что я спас Францию.

— О Боже мой, папочка, уж не сошли ли вы с ума? — с испугом вскричала Батильда.

— Нет, но было от чего, и не такой уравновешенный человек, как я, и впрямь сошел бы с ума.

— Но объясните же, прошу вас.

— Представь себе, против регента был составлен заговор.

— О Боже мой!

— И я был замешан в нем.

— Вы?

— Да, то есть да и нет... Ты ведь знаешь этого принца де Листне?

— Ну?

— Так это лжепринц, дитя мое, это лжепринц!

— Но эти бумаги, которые вы переписывали для него...

— Манифесты, прокламации, поджигательские воззвания, всеобщий мятеж... Бретань, Нормандия... Генеральные штаты... испанский король... И все это раскрыл я.

— Вы?! — в ужасе вскричала Батильда.

— Да, я. И его высочество регент только что назвал меня спасителем Франции и обещал выплатить мне задолженность!

— Папа, папа, вы говорили о заговорщиках? — сказала Батильда. — Знаете ли вы, кто эти заговорщики?

— Во-первых, герцог дю Мен. Представь себе, этот жалкий бастард строит козни против такого человека, как его высочество регент! Затем некий граф Лаваль, некий маркиз де Помпадур, некий барон де Валеф, принц де Селламаре, потом этот несчастный аббат Бриго. Представь, я снял копию со списка...

— Папа, папа, — сказала Батильда прерывающимся от волнения голосом, — среди всех этих имен вам не попадалось имя... имя... шевалье... Рауля д'Арманталя?

— А как же! — воскликнул Бюва. — Шевалье Рауль д'Арманталь. Вы погубили человека, которого я люблю! Но я клянусь вам памятью моей матери, что если он умрет, то умру и я.

И, подумав, что, быть может, еще не поздно предупредить Рауля об угрожающей ему опасности, Батильда, оставив ошеломленного Бюва, бросилась к двери, словно на крыльях, спустилась по лестнице, в два прыжка пересекла улицу, почти не касаясь ступенек, взлетела на пятый этаж и, запыхавшаяся, изнемогающая, едва живая, толкнула плохо запертую д'Арманталем дверь, которая уступила первому ее усилию, и увидела труп капитана, распростертый на полу и плавающий в луже крови.

Это зрелище было столь неожиданным для Батильды, что, не подумав о том, что она может окончательно скомпрометировать своего возлюбленного, девушка бросилась к двери, зовя на помощь; но — то ли потому, что ее силы иссякли, то ли потому, что она поскользнулась в крови, — выскочив на площадку, она с ужасающим криком упала навзничь.

На этот крик сбегались соседи и нашли Батильду в обмороке; падая, она ударилась о дверной косяк и сильно разбила себе голову.

Батильду снесли к госпоже Дени, которая поспешила оказать ей гостеприимство.

Что касается капитана Рокфинета, то, так как конверт письма, которое нашли у него в кармане, он разорвал, чтобы разжечь трубку, а никаких других бумаг, указывающих на его имя или домашний адрес, при нем не оказалось, то тело отвезли в морг, где спустя три дня оно было опознано Нормандкой.

VII. БОГ РАСПОЛАГАЕТ

Между тем д'Арманталь, как мы видели, ускакал во весь опор, понимая, что нельзя терять ни минуты, если он хочет предотвратить пагубные для его рискованного предприятия последствия, которые могла повлечь за собой смерть капитана

Рокфинета. Поэтому в надежде узнать по какому-нибудь признаку людей, которые должны были играть роль статистов в разыгрывающейся грандиозной драме, он проехал по бульварам до ворот Сен-Мартен и, свернув налево, оказался на конном рынке, где, как мы помним, двенадцать или пятнадцать контрабандистов, завербованных Рокфинетом, ожидали приказаний капитана.

Но, как и сказал покойный, в глазах постороннего эти таинственные люди, одетые так же, как и другие, были неотличимы от крестьян и барышников. Напрасно д'Арманталь рыскал по всему рынку. Ни одно лицо не было ему знакомо; продавцы и покупатели, казалось, были столь равнодушны ко всему, кроме своих сделок, что два или три раза, подъехав к тем, кого он принимал за мнимых крестьян, шевалье удалялся, даже не обратившись к ним: он боялся, что, пытаясь найти нужных ему людей среди пятисот или шестисот находившихся на рынке крестьян, он совершит какую-нибудь оплошность, которая может сделать эту попытку не только бесполезной, но и опасной. Д'Арманталь оказался в плачевном положении: еще час назад у него бесспорно были в руках все средства для успешного осуществления заговора, но, убив капитана, он сам разбил промежуточное звено, и вся цепь распалась. Д'Арманталь до крови кусал себе губы, впивался ногтями в грудь, ездил взад и вперед по рынку, все еще надеясь, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство выведет его из затруднения. Но время шло, а на рынке все оставалось по-прежнему, никто не заговаривал с шевалье, а два крестьянина, к которым он, не найдя другого выхода, обратился с двусмысленными вопросами, посмотрели на него с таким простодушным удивлением, широко раскрыв глаза и разинув рот, что д'Арманталь в ту же минуту прервал начатый разговор, решив, что попал впросак.

Между тем пробило пять часов.

Регент должен был возвращаться из Шеля часов в восемь или девять вечера. Таким образом, нельзя было терять времени, тем более, что замышляемая засада была последней ставкой заговорщиков, которые с минуты на минуту ожидали ареста. Д'Арманталь не скрывал от себя трудности своего положения: он домогался чести руководить предприятием, на него, следовательно, и ложилась вся ответственность, а это была страшная ответственность; с другой стороны, он оказался в таких обстоятельствах, когда храбрость бесполезна, когда человеческая воля разбивается о невозможность, когда единственный шанс на успех состоит в том, чтобы признать свое бессилие и попросить помощи у тех, кто ожидает ее от вас.

Д'Арманталь был человеком дела — его решение вскоре было принято. В последний раз он объехал рынок, по которому кружил вот уже полтора часа, чтобы посмотреть, не выдаст ли себя наконец какой-нибудь заговорщик, обнаружив нетерпение подобно ему самому.

Но, видя, что все лица вокруг остаются бесстрастными и ничего не выражающими, он пустил лошадь в галоп, миновал бульвары, доехал до Сент-Антуанского предместья, спешил к у дома номер пятнадцать, взобрался по лестнице на шестой этаж, открыл дверь маленькой комнаты и предстал перед герцогиней дю Мен, де Лавалем, Помпадуром, Валефом, Малезье и Вриго.

Увидев его, все вскрикнули от неожиданности.

Д'Арманталь рассказал обо всем: о притязаниях Рокфинета, о споре, который завязался из-за них, о дуэли, которой кончился этот спор; он распахнул свой сюртук и показал свою рубашку, залитую кровью; потом он поведал о своей надежде найти контрабандистов и стать во главе их вместо капитана, но его надежда оказалась тщетной: попытки опознать на конном рынке сообщников капитана не привели ни к какому результату; и в заключение он обратился с просьбой о помощи к Лавалю, Помпадуру, и Валефу, которые тотчас ответили на его призыв, заявив, что готовы идти за шевалье на край света и во всем ему повиноваться,

Итак, ничего еще не было потеряно: четыре решительных человека, действующие за свой страх и риск, прекрасно могли заменить двенадцать или пятнадцать бродяг, движимых лишь

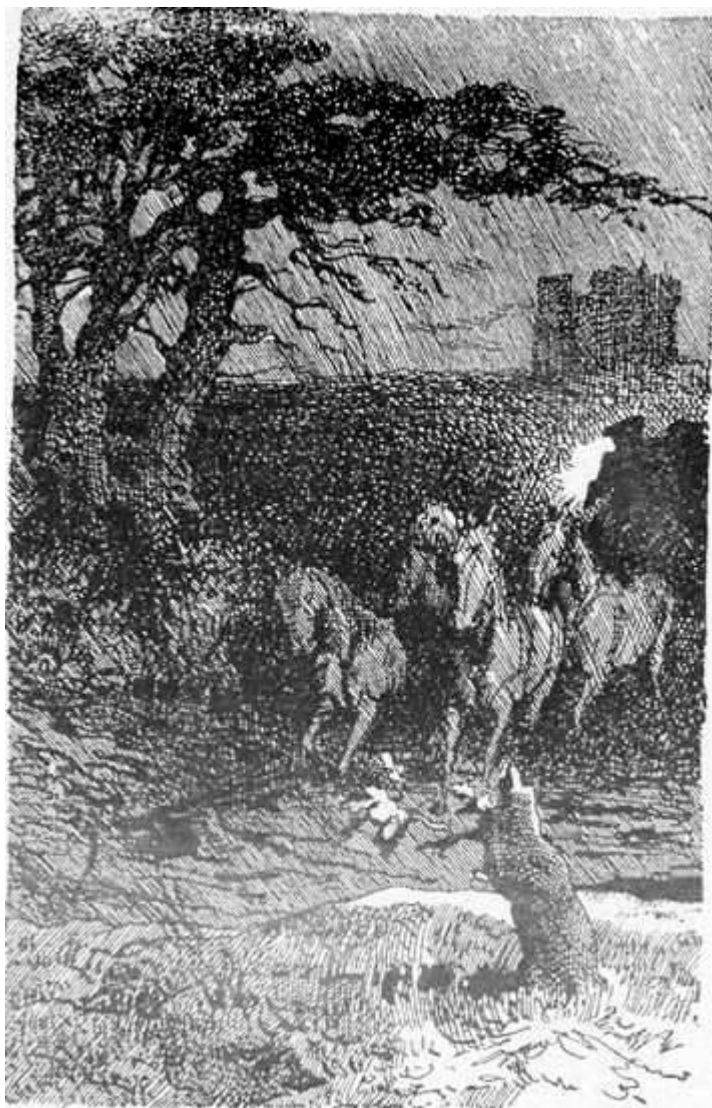
желанием заработать по двадцать луидоров на брата. Лошади стояли наготове в конюшне, все были вооружены. Давранш еще не уехал, значит, маленький отряд располагал еще одним преданным человеком. Заговорщики послали за черными бархатными масками, чтобы регент как можно дольше не мог узнать своих похитителей. С герцогиней оставили Малезье и Бриго, которые, естественно, не могли принять участия в подобном предприятии: первый — по своему возрасту, а второй — по своей профессии. Условились встретиться в Сен-Манде и разъехались поодиночке, чтобы не возбуждать подозрений. Спустя час пятеро заговорщиков собрались и засели в засаду на дороге в Шель между Венсенским лесом и Ножансюр-Марн. Башенные часы в замке пробили половину седьмого.

А Давранш успел разузнать, что регент отбыл в половине четвертого и что при нем не было ни свиты, ни охраны: он ехал один в карете, запряженной четверкой лошадей, с двумя жокеями а-ля д'Омон и всего лишь одним курьером впереди. Таким образом, серьезного сопротивления опасаться не приходилось. Было решено, что заговорщики остановят карету принца, повернут в Шарантон, почтмейстер которого был безгранично предан герцогине дю Мен, завезут регента во двор почтовой станции и, закрыв за ним ворота, принудят пересест в ожидающий его дорожный экипаж с фореитором в седле. Д'Армантадь и Валеф поместятся возле герцога, и экипаж умчится. Они переправятся через Марну в Альфоре, через Сену в Вильнев-Сен-Жорже, минуют Гран-Во и выедут через Монлери на дорогу в Испанию. Если на той или другой почтовой станции регент захочет позвать на помощь, д'Армантадь и Валеф попытаются угрозами заставить его замолчать, а на случай если угрозы не подействуют, у них был пресловутый паспорт, чтобы доказать, что узник, взывающий о помощи, не принц, а сумасшедший, который вообразил себя регентом и которого везли к семье, проживающей в Сарагосе. Все это было, правда, несколько рискованно, но, как известно, именно рискованные предприятия обычно увенчиваются успехом, тем более что те, против кого они направлены, их никогда не предвидят.

Пробило семь, потом восемь часов. На радость д'Армантадю и его товарищам, сумерки все сгущались, близилась ночь. Проехали две-три почтовые и частные кареты, всякий раз вызывающие ложную тревогу, но в то же время подготовившие заговорщиков к настоящему нападению. К половине девятого стало совсем темно, и некоторый страх, который, вполне естественно, они испытывали вначале, начал сменяться нетерпением.

В девять часов послышался какой-то шум. Давранш принял ухом к земле и отчетливо различил стук колес приближавшейся кареты. В ту же минуту на расстоянии примерно тысячи шагов, у поворота дороги, подобно свету звезды, забрезжил огонек. Заговорщики вздрогнули — это был, очевидно, факел курьера. Скоро в этом не осталось сомнения: показалась карета с двумя фонарями. Д'Армантадь, Помпадур, Валеф и Лаваль в последний раз обменялись рукопожатиями, надели маски, и каждый занял назначенное ему место.

Между тем карета быстро приближалась. Она действительно



принадлежала герцогу Орлеанскому. При свете факела в руке курьера, скакавшего в шагах двадцати пяти впереди упряжки, был виден его красный камзол. Дорога была пустынна, кругом стояла безмолвная тишина. Словом, все, казалось, благоприятствовало заговорщикам. Д'Армантадь бросил последний взгляд на своих товарищей; он увидел посреди дороги Давранша, притворявшегося пьяным; на обочинах, по обе стороны от него, — Лаваль и Помпадур, а напротив себя — Валефа, проверявшего, легко ли вынимаются у него pistols из седельных кобур. Что касается курьера, двух жокеев и принца, то было очевидно, что они чувствуют себя в полной безопасности и попадут прямо в руки тех, кто их поджидал.



Карета все приближалась; курьер уже миновал д'Арманталя и Валефа. Он едва не наехал на Давранша, как вдруг тот вскочил, схватил за уздечку его лошадь, вырвал у него из рук факел и погасил его. Увидев это, жокеи хотели повернуть назад, но было уже поздно: Помпадур и Лаваль, бросившись к ним с pistols в руках, привели их к повиновению, а д'Армантадь и Валеф тем временем подъехали к дверцам кареты, погасили фонари и объявили принцу, что не станут посягать на его жизнь, если он не окажет сопротивления, но если, напротив, он будет защищаться или звать на помощь, они прибегнут к крайним мерам.

Против ожидания д'Арманталя и Валефа, которые знали храбрость регента, принц ограничился тем, что сказал:

— Хорошо, господа, не причиняйте мне зла, я поеду куда вам угодно. Бросив взгляд на дорогу д'Армантадь и Валеф увидели, что Лаваль, Помпадур и Давранш уводят в чащу леса курьера, двух жокеев, а также лошадь курьера и двух пристяжных лошадей, которых они выпрягли из кареты. Шевалье тотчас спрыгнул со своей лошади и вскочил на ту, на которой ехал первый жокей. Лаваль и Валеф поместились возле дверец; карета снова помчалась,

свернула влево по первой попавшейся дороге и, выехав на боковую аллею, бесшумно, с потушенными фонарями покатила по направлению к Шарантону. Все было так хорошо рассчитано, что похищение заняло не больше пяти минут, не встретило никакого сопротивления и не вызвало ни единого крика. На этот раз заговорщикам решительно сопутствовала удача.

Но, доехав до конца аллеи, д'Армантадь встретил первое препятствие: то ли случайно, то ли преднамеренно шлагбаум был закрыт. Пришлось возвращаться назад, чтобы выбраться на другую дорогу. Шевалье повернул лошадей, выехал на параллельную аллею, и карета, на минуту замедлившая ход, помчалась с прежней скоростью.

Новая аллея, по которой ехал шевалье, вела к перекрестку; одна из дорог, расходящихся от него, вела прямо в Шарантон; времени терять не приходилось, потому что проехать через перекресток было, во всяком случае, необходимо.

На миг д'Армантадю показалось, что во тьме перед ним суетятся люди, но это видение тут же исчезло, рассеявшись как туман, и карета без помехи продолжала свой путь. Когда д'Армантадь уже подъезжал к перекрестку, ему послышалось лошадиное ржание и металлический лязг, с каким вытаскивают сабли из ножен. Но, то ли решив, что это свист ветра в листве, то ли подумав, что не следует останавливаться из-за каждого шума, он продолжал свой путь с той же скоростью, в том же безмолвии и в той же темноте.

Однако, подъехав к перекрестку, д'Армантадь увидел нечто странное: все дороги преграждала какая-то стена. Там явным образом что-то происходило. Д'Армантадь тотчас остановил карету и хотел повернуть назад, но увидел, что позади выросла такая же стена. В ту же минуту раздались голоса Валефа и Лавалы: «Мы окружены, спасайся, кто может!» И они оба, повернув в сторону от кареты, перескочили на лошадях через ров и скрылись в лесу. Но д'Армантадь, ехавший на лошади, впряженной в карету, не мог последовать за своими товарищами. Не имея таким образом возможности миновать живую стену, в которой он начал распознавать кордон королевских мушкетеров, шевалье решил опрокинуть ее, дал шпоры лошади и, опустив голову, с пистолетами в обеих руках, помчался к ближайшей от него дороге, не заботясь о том, та ли это, по которой ему нужно ехать. Но не успел он сделать и десяти шагов, как пуля, пущенная из мушкета, пробила голову его лошади, и та рухнула, опрокинув его и придавив ему ногу.

В ту же минуту восемь или десять всадников спешили и бросились на д'Арманталя, который, выстрелив наугад из одного пистолета, поднес другой к голове, чтобы покончить с собой. Но он не успел этого сделать: два мушкетера схватили его за руки, а четверо других вытащили из-под крупа лошади. Мнимому принцу, оказавшемуся всего лишь переодетым лакеем, приказали выйти из кареты, на его место посадили д'Арманталя, рядом с ним сели два офицера, вместо убитой лошади впрягли другую, и карета, сопровождаемая эскадроном мушкетеров, двинулась в новом направлении. Спустя четверть часа она покатила по подъемному мосту, а еще через минуту закричали петли тяжелых ворот, и д'Армантадь проехал под сводами темного перехода, на другом конце которого его ждал офицер в мундире полковника.

Это был господин де Лонэ, начальник Бастилии.

Теперь, если наши читатели хотят знать, как был раскрыт заговор, пусть они вспомнят о беседе Дюбуа и Фийон. Подружка первого министра, как мы знаем, подозревала, что капитан Рокфинет замешан в каких-то противозаконных кознях, и выдала его на том условии, что ему будет сохранена жизнь. Несколько дней спустя, когда к ней пришел д'Армантадь, она, узнав в нем того молодого дворянина, который уже однажды совещался с капитаном, поднялась вслед за ним по лестнице и из комнаты, смежной с жилищем Рокфинета, сквозь дырку, сделанную в обшивке стены, слышала все.

Ей стал известен таким образом план похищения регента во время его возвращения из Шеля. В тот же вечер об этом плане было сообщено Дюбуа. И, чтобы поймать виновных с поличными, он приказал Бургиньону переодеться в платье регента и окружил Венсенский лес кордоном серых мушкетеров, шеволежеров и драгун. Мы только что видели, к чему привела эта

хитрость. Глава заговора был схвачен на месте преступления, и, так как первый министр знал имена всех остальных заговорщиков, у них, по всей вероятности, оставалось мало шансов вырваться из раскинутой им сети.

VIII. ПАМЯТЬ ПЕРВОГО МИНИСТРА

Батильда очнулась в комнате мадемуазель Эмилии. Когда она открыла глаза, у нее в ногах, на постели, лежала Мирза, у изголовья по обе стороны кровати стояли девицы Дени, а в углу, поникнув головой и положив руки на колени, сидел подавленный горем Бюва.

Вначале мысли ее мешались, и первым чувством, в котором она отдала себе отчет, была физическая боль. Она поднесла руку к голове: рана была выше виска; врач, которого сразу позвали, наложил повязку, сказав, чтобы его позвали опять, если у больной обнаружится жар.

Удивленная тем, что, пробудившись от тягостного, мучительного сна, она оказалась в чужом доме, девушка обвела вопросительным взглядом всех, кто находился в комнате, но Атенаис и Эмилия отвели глаза, Бюва издал глухой стон, и только Мирза вытянула мордочку, чтобы ее погладили. К счастью для ласковой собачки, память Батильды начинала проясняться, пелена забытья, застилавшая события, мало-помалу рассеивалась. Вскоре она начала связывать разорванные нити, которые помогли ей мысленно восстановить происшедшее. Она вспомнила возвращение Бюва; вспомнила то, что он рассказал ей о заговоре; вспомнила об опасности, угрожавшей д'Армантадю вследствие разоблачения, сделанного Бюва; о своей надежде спасти Рауля, вовремя предупредив его; о том, как она стремительно перебежала через улицу и поднялась по лестнице; наконец, о том, как она вошла в комнату Рауля, и, снова испустив вопль ужаса, как будто она во второй раз оказалась перед трупом капитана, Батильда вскричала:

— А он, а он? Что с ним случилось?

Ответа не последовало: никто из присутствующих не знал, что ответить на этот вопрос. Бюва, глотая слезы, встал и направился к двери. Батильда поняла всю глубину горя и раскаяния, таившегося в этом безмолвном уходе. Она взглядом остановила Бюва, потом, протянув к нему руки, спросила:

— Папочка, разве вы больше не любите вашу бедную Батильду?

— Я не люблю тебя?! О мое дорогое дитя! — вскричал Бюва, падая на колени перед кроватью. — Я не люблю тебя? Боже мой, это ты скорее перестанешь любить меня теперь, и будешь права, потому что я жалкий человек! Я должен был догадаться, что ты любишь этого молодого шевалье, и скорее пойти на все, вынести все, чем... Но ты мне ничего не сказала, ты не доверила мне свою тайну, а что подделаешь, при самых добрых намерениях я совершаю одни только глупости. О, несчастный я человек! — рыдая, воскликнул Бюва. — Неужели ты меня когда-нибудь простишь и разве смогу я жить, если ты меня не простишь?

— Папочка, папочка, — вскричала Батильда, — постарайтесь только узнать, что с ним случилось, я вас умоляю!

— Хорошо, дитя мое, я наведу справки. Ведь ты простишь меня, если я тебе принесу хорошие вести? А если они окажутся дурными... ты меня еще больше возненавидишь, и это будет вполне справедливо. Но ведь ты не умрешь?

— Идите, идите! — сказала Батильда, обвивая руками шею Бюва и целуя его со смешанным чувством благодарности, которую она питала к нему в течение семнадцати лет, и горя, которое он причинил ей за один день.

Изо всего этого Бюва понял только, что он получил поцелуй. Он решил, что, если бы Батильда очень сердилась на него, она бы его не поцеловала, и, наполовину утешенный, взял трость и шляпу, осведомился у госпожи Дени, как одет шевалье, и отправился на розыски.

Идти по следу Рауля было нелегко, в особенности для такого наивного следопыта, как Бюва. Правда, он узнал от одной соседки, что шевалье вскочил на серую лошадь, которая в течение получаса стояла возле дома, привязанная к ставню, и что он свернул на улицу Гро-Шене. Знакомый Бюва лавочник, живший на углу улицы Женер, припомнил, что мимо его дома во весь опор промчался всадник, приметы которого всецело совпали с описанием Бюва. Наконец, торговка фруктами, лавка которой находилась на углу бульвара, клялась всеми

святыми, что заметила того, о ком ее спрашивали, и что он скрылся на спуске к воротам Сен-Дени. Однако за пределами этих трех свидетельств данные становились туманными, неопределенными, неуловимыми, так что после двухчасовых поисков Бюва вернулся в дом госпожи Дени, не имея других сведений, кроме того, что, куда бы ни направился д'Арманталь, он, во всяком случае, проезжал по бульвару Бон-Нувель.

Когда Бюва пришел, его питомица металась на постели. За время его отсутствия Батильде стало хуже: назревал кризис, который предвидел врач. Глаза больной лихорадочно блестели, лицо горело, речь стала прерывистой. Госпожа Дени снова послала за врачом.

Бедная женщина и сама была в тревоге. Она давно уже подозревала, что аббат Брито замешан в какой-то политической игре, и то, что она узнала о д'Армантале, который оказался не простым студентом, а блестящим полковником, подтверждало ее догадки, потому что именно аббат Брито привел к ней д'Арманталя. Это сходство в их положении немало способствовало тому, чтобы настроить госпожу Дени, вообще очень сердечную и отзывчивую, в пользу Батильды. Она с жадностью выслушивала поэтому те немногие сведения, которые Бюва принес больной, и, так как они были далеко не достаточны, чтобы успокоить Батильду, обещала ей, если со своей стороны что-нибудь узнает, немедленно сообщить ей все новости.

Тем временем пришел врач. Как он ни владел собой, по его виду легко было понять: состояние Батильды значительно ухудшилось. Он прибег к обильному кровопусканию, прописал освежающие напитки и посоветовал дежурить кому-нибудь ночью у постели больной. Эмилия и Атенаис, которые, если забыть об их смешных манерах, были, в сущности, прекрасные девушки, объявили, что это их забота и они, сменяя друг друга, проведут ночь возле Батильды. Эмилия на правах старшей захотела дежурить первой, на что Атенаис согласилась без возражений.

Кровопускание несколько облегчило состояние Батильды. Она, по-видимому, почувствовала себя лучше; госпожа Дени покинула ее, мадемуазель Атенаис ушла в свою комнату, Эмилия, сидя возле камина, читала книжечку, которую она достала из кармана, как вдруг во входную дверь дважды постучали, но так поспешно и сильно, что сразу стало ясно, в каком волнении был стучавший. Батильда вздрогнула и приподнялась, опираясь на локоть. Эмилия сунула книжку в карман и, заметив движение больной, подбежала к ее кровати. С минуту они молча прислушивались к шуму открывавшихся и закрывавшихся дверей, потом до них донесся чей-то голос, и, раньше, чем Эмилия успела сказать: «Это голос не господина Рауля, а аббата Бриго», Батильда снова уронила голову на подушку.

Минуту спустя госпожа Дени приоткрыла дверь и изменившимся голосом позвала Эмилию; та вышла, оставив Батильду одну.

Вдруг Батильда вздрогнула. Аббат был в смежной комнате, и ей послышалось, что он произнес имя Рауля. В то же время она вспомнила, что не раз видела аббата у д'Арманталя. Ока знала, что аббат — один из самых близких людей герцогини дю Мен, и подумала, что, быть может, он принес известия, касающиеся Рауля. Ее первым намерением было встать с кровати, надеть платье и выйти, чтобы расспросить его. Но потом она подумала, что, если он принес дурные вести, ей не сообщат их и что лучше прислушаться к доносившемуся разговору, по-видимому чрезвычайно оживленному. Поэтому она приникла ухом к деревянной обшивке стены и вся обратилась вслух.

Аббат Бриго рассказывал госпоже Дени о том, что произошло. Валеф примчался в Сент-Антуанское предместье предупредить герцогиню дю Мен, что все провалилось. Герцогиня тотчас освободила заговорщиков от данного ей слова и предложила Малезье и Бриго бежать, куда каждый из них сочтет нужным. Что касается ее самой, то она укрылась в Арсенале. Бриго пришел поэтому попрощаться с госпожой Дени: он покидал Париж с тем, чтобы, переодевшись странствующим торговцем, добраться до Испании.

Когда в ходе рассказа, прерывавшегося восклицаниями госпожи Дени и девиц Эмилии и Атенаис, аббат дошел до катастрофы, постигшей д'Арманталя, ему показалось, будто в соседней комнате раздался крик. Но, поскольку на него никто не обратил внимания, а Бриго не знал, что Батильда здесь, он не придавал значения этому шуму, решив, что ошибся насчет его происхождения. К тому же Бонифас, которого тоже позвали, вошел как раз в эту минуту. А поскольку аббат питал к Бонифасу особую слабость, его появление направило чувства Бриго в

более личную сферу.

Однако для долгого прощания времени не было. Бриго хотел, чтобы утро застало его как можно дальше от Парижа. Поэтому он наскоро простился со всем семейством Дени и взял с собой только Бонифаса, который заявил, что хочет проводить своего друга Бриго до заставы.

Открыв дверь, выходившую на лестницу, они услышали голос привратника, который, казалось, не хотел кого-то пропускать, и тотчас спустились, чтобы выяснить причину спора. На лестнице стояла Батильда с распущенными волосами, босиком, в ночном платье, пытаясь выйти, несмотря на усилия привратника, старавшегося его удержать. Ее щеки пылали, она была в жару и в то же время дрожала всем телом и стучала зубами от озноба. Бедная девушка все слышала, ее лихорадочное возбуждение перешло в бред, она хотела отправиться к Раулю, увидеть его, умереть вместе с ним. Три женщины обхватили ее, чтобы увести. Она с минуту вырывалась, произнося бессвязные слова; но скоро ее силы иссякли, она запрокинула голову, еще раз прошептала имя Рауля и опять потеряла сознание.

Снова послали за врачом. Случилось то, чего он опасался: у Батильды началось воспаление мозга. В эту минуту постучали в дверь — это был Бюва, неприкаянная душа (Бриго и Бонифас видели, как он бродил перед домом). Не в силах справиться со своим беспокойством, он пришел попросить, чтобы ему позволили приютиться в каком-нибудь уголке, все равно где, лишь бы он повсечасно имел сведения о Батильде. Семья бедной госпожи Дени была сама слишком подавлена несчастьем, чтобы не понять горя других. Госпожа Дени сделала знак Бюва сесть в углу и удалилась в свою комнату вместе с Атенаис, снова оставив Эмилию у постели больной.

Перед рассветом вернулся Бонифас; он проводил Бриго до заставы Анфер, где аббат его покинул, надеясь благодаря хорошей лошади и удачному маскараду достичь испанской границы.

Батильда по-прежнему была в бреду; всю ночь она говорила о Рауле. Несколько раз произнесла имя Бюва, неизменно обвиняя его в том, что он убил ее возлюбленного; и всякий раз несчастный писец, не осмеливаясь оправдываться, не осмеливаясь отвечать, не осмеливаясь жаловаться, молча раздражался слезами, думая только о том, как бы поправить беду. Наконец, с наступлением дня, он, по-видимому, принял твердое решение: он подошел к кровати, поцеловал горячую руку Батильды, посмотревшей на него не узнавая, и вышел.

Бюва в самом деле решил прибегнуть к крайней мере: пойти к Дюбуа, рассказать ему все и попросить в виде единственной награды — вместо выплаты жалованья, вместо продвижения по службе в библиотеке — помиловать д'Арманталя. Уж это-то, во всяком случае, могли сделать для человека, которого сам регент назвал спасителем Франции. Бюва нимало не сомневался, что он скоро вернется с доброй вестью и что эта добрая весть возвратит здоровье Батильде.

Поэтому Бюва поднялся к себе, чтобы привести в порядок свой костюм, на котором сильно отразились события вчерашнего дня и ночные тревожения. К тому же он не решался слишком рано явиться к первому министру, боясь причинить ему беспокойство. Так как было еще только девять часов, когда он закончил свой туалет, он зашел на минуту в комнату Батильды. В ней все было так же, как накануне, когда девушка покинула ее. Бюва сел на стул, на котором сидела она, потрогал предметы, которых она касалась чаще всего.

На каминных часах пробило десять. В этот час Бюва несколько дней кряду ходил в Пале-Рояль. Его боязнь показаться назойливым уступила поэтому место надежде быть принятым, как его принимали раньше. Бюва взял трость и шляпу, поднялся к госпоже Дени, чтобы справиться, как себя чувствовала Батильда с того времени, как он ее покинул, и узнал, что она непрестанно звала Рауля и что врач в третий раз пустил ей кровь. Бюва глубоко вздохнул, возвел глаза к небу, как бы призывая его в свидетели, что он сделает все возможное для того, чтобы поскорее облегчить страдания своей питомицы, и отправился в Пале-Рояль.

Он выбрал неудачный момент для визита: Дюбуа, в последние пять или шесть дней не знавший ни минуты отдыха, ужасно страдал от болезни, которая спустя несколько месяцев свела его в могилу; к тому же он был раздосадован тем, что схвачен был один д'Арманталь, и только что приказал Леблану и д'Аржансону с сугубой энергией вести следствие, когда его камердинер, привыкший к ежедневному приходу достойного переписчика, доложил о

господине Бюва.

— Что это за господин Бюва? — спросил Дюбуа.

— Это я, ваше преосвященство, — сказал бедный писец, отважившись проскользнуть в дверь и кланяясь первому министру.

— Кто вы такой? — спросил Дюбуа, как будто никогда его не видел.

— Как, ваше преосвященство, — спросил удивленный Бюва, — вы меня не узнаете? Я пришел поздравить вас с раскрытием заговора.

— Хватит с меня таких поздравлений, увольте от ваших, господин Бюва! — сухо сказал Дюбуа.

— Но я пришел также, ваше преосвященство, попросить вас об одной милости.

— О милости? А по какому праву?

— Но вспомните, ваше преосвященство, — пролепетал Бюва, — что вы обещали мне награду.

— Тебе награду, бездельник!

— Как, ваше преосвященство, — сказал Бюва, все более ужасаясь, — неужели вы забыли, что здесь, в этом кабинете, вы сами сказали мне, что мое счастье у меня в руках?

— А сегодня, — сказал Дюбуа, — твоя жизнь у тебя в ногах, потому что, если ты сейчас же не уберешься отсюда...

— Но, ваше преосвященство...

— А-а, ты еще рассуждаешь, негодяй! — вскричал Дюбуа и приподнялся, опираясь одной рукой о подлокотник кресла, а другую протягивая к своему архиепископскому посоху. — Подожди, подожди, сейчас увидишь...

С Бюва было довольно и того, что он уже увидел: угрожающий жест первого министра дал ему понять, что произойдет, если он не побережется, и бедняга пустился наутек. Но как ни быстро удалялся Бюва, он все же успел услышать, как Дюбуа со страшными проклятиями приказывал лакею избить просителя до смерти палкой, если он еще раз появится в Пале-Рояле.

Бюва понял: здесь для него все кончено, и ему надо не только отказаться от надежды быть полезным д'Арманталю, но и примириться с тем, что не может быть и речи о выплате задолженности, которую он уже считал лежащей у себя в кармане. Эти грустные думы, вполне естественно, привели его к мысли о том, что он уже неделю не был в библиотеке, и так как он находился поблизости от нее, то решил зайти в свою рабочую комнату, хотя бы для того, чтобы извиниться перед хранителем библиотеки, объяснив ему причину своего отсутствия. Но тут Бюва ожидал еще более страшный удар: открыв дверь комнаты, он увидел, что его кресло занято незнакомым человеком.

Так как в течение пятнадцати лет Бюва никогда не опаздывал ни на один час, заведующий решил, что он умер, и заменил его другим.

Бюва лишился места в библиотеке за то, что спас Францию.

Ему было не под силу выдержать столько ужасных испытаний, обрушившихся на него одно за другим. Он вернулся домой почти таким же больным, как Батильда.

IX. БОНИФАС

Между тем, как мы сказали, Дюбуа старался ускорить следствие по делу д'Арманталя в надежде, что показания шевалье дадут ему оружие против тех, кому он хотел нанести удар. Но д'Арманталь упорно отрицал какое бы то ни было соучастие других заговорщиков. В том, что касалось его самого, он признавал все, говоря, что покушение на регента было совершено им из личной мести, вызванной несправедливостью, жертвой которой он стал, лишившись полка. Что касается людей, которые его сопровождали и оказали ему помощь в этом предприятии, то он заявил, что это были два жалких контрабандиста, не знавшие даже, кого они эскортируют. Все это было маловероятно. Однако в протоколы дознания нельзя было занести ничего, кроме ответов обвиняемого. Таким образом, к великому разочарованию Дюбуа, подлинники виновники ускользнули от возмездия благодаря неизменному запирательству шевалье, который заявил, что видел всего лишь раз или два герцога и герцогиню дю Мен и что ни герцог, ни герцогиня никогда не возлагали на него никакой политической миссии.

Один за другим были арестованы и отправлены в Бастилию Лаваль, Помпадур и Ванеф, но, так как они знали, что могут рассчитывать на шевалье, и так как заговорщики предусмотрели возможность ареста и заранее условились, что каждый из них должен говорить, все они прибегали к полному отрицанию своего участия в заговоре, признавая, что поддерживали отношения с герцогом и герцогиней дю Мен, но утверждая, что с их стороны эти отношения ограничивались почтительной дружбой. Что касается д'Арманталя, то они говорили, что знают его как благородного человека, который имел основания жаловаться на постигшую его большую несправедливость, и только. Одному за другим им устроили очные ставки с шевалье, но эти очные ставки лишь утвердили их в намерении придерживаться избранной системы защиты, показав каждому из них, что все его товарищи неукоснительно следуют той же системе.

Дюбуа был в бешенстве; у него было более чем достаточно улики по делу о Генеральных штатах, но это дело было загублено чрезвычайным заседанием парламента, который осудил письма Филиппа V и унизил узаконенных принцев; все считали, что они и так уже достаточно наказаны, чтобы за этот же проступок карать их во второй раз. Дюбуа рассчитывал поэтому на показания д'Арманталя, чтобы возбудить против герцога и герцогини дю Мен новый процесс, более серьезный, чем первый, потому что на этот раз речь шла о прямом покушении, если не на жизнь, то, по крайней мере, на свободу регента. Однако упорство шевалье разбило эти надежды; гнев Дюбуа обратился поэтому против самого д'Арманталя. И, как мы сказали, он отдал приказ Леблану и д'Аржансону вести следствие самым энергичным образом, — приказ, который эти должностные лица исполняли со своей обычной пунктуальностью.

Тем временем болезнь Батильды прогрессировала, и бедная девушка была на волосок от смерти. Но наконец молодость и сила восторжествовали над недугом, и за нервным возбуждением и бредом последовал полный упадок сил. Казалось, жар поддерживал ее, и, по мере того как он спадал, жизнь от нее уходила. Однако каждый день приносил улучшение, правда слабое, но все же ощутимое для добрых людей, окружавших больную. Мало-помалу она стала узнавать окружающих, потом заговорила с ними. Но, к всеобщему удивлению, она больше не произносила имени д'Арманталя. Впрочем, это было для всех большим облегчением, потому что они могли сообщить Батильде о шевалье лишь весьма печальные известия и, понятно, предпочитали, чтобы она не касалась этой темы. Итак, все, начиная с врача, думали, что она совершенно забыла о случившемся, а если и помнила, то смешивала действительность со своими кошмарами.

Однако все, даже врач, заблуждались. Вот что произошло дальше.

Однажды утром, когда Батильда, казалось, заснула и ее ненадолго оставили одну, Бонифас приоткрыл дверь и заглянул в комнату, чтобы осведомиться о ее здоровье, как он это делал каждое утро с тех пор, как она заболела. Заслышав ворчание Мирзы, Батильда обернулась и, увидев Бонифаса, сразу подумала, что, быть может, узнает от него то, о чем она тщетно спрашивала других: что случилось с д'Арманталем. Унимая Мирзу, она протянула к Бонифасу свою бледную, исхудалую руку. Тот нерешительно взял ее в свои большие красные руки; затем, глядя на девушку и качая головой, сказал:

— О да, мадемуазель Батильда, о да, вы были правы: вы девушка благородного происхождения, а я всего лишь грубый мужлан. Вам был предназначен прекрасный дворянин, и меня полюбить вы не могли.

— Не могла полюбить так, как вы ожидали, Бонифас, — сказала Батильда, — но я могу любить вас иначе.

— Это правда, мадемуазель Батильда? Это правда?! Что же, любите меня, как вам захочется, лишь бы вы любили меня хоть немножко.

— Я могу любить вас как брата.

— Как брата?! Вы полюбите бедного Бонифаса как брата! И он сможет любить вас как сестру, он сможет иногда брать вас за руку, вот как сейчас; он сможет иногда обнять вас, как обнимает своих сестер Мели и Наис! О, скажите, мадемуазель Батильда, что надо для этого сделать?

— Друг мой... — сказала Батильда.

— О! Она называет меня своим другом, — воскликнул Бонифас, — она называет меня

своим другом! Меня, который говорил о ней такие ужасные вещи! Послушайте, мадемуазель Батильда, не называйте меня вашим другом; я не заслуживаю этого. Вы не знаете, как я говорил о вас, что вы живете в любовной связи со стариком, хоть я и сам этому нисколько не верил, честное слово! Понимаете, это был гнев, это было бешенство. Мадемуазель Батильда, зовите меня негодяем, зовите меня мерзавцем! Поверьте, это будет для меня меньшим наказанием, чем слышать, как вы зовете меня своим другом. Ах ты мерзавец Бонифас, ах ты негодяй Бонифас!

— Друг мой, — сказала Батильда, — если вы и вправду говорили это, я вам прощаю; потому что сейчас вы можете не только загладить эту вину, но и приобрести право на мою вечную признательность.

— Но что надо сделать для этого? Скажите же! Надо броситься в огонь? Надо выпрыгнуть в окно с третьего этажа? Надо... я не знаю что, но я это сделаю, что бы это ни было, неважно, мне все равно. Скажите, умоляю вас,

— Нет, друг мой, — сказала Батильда, — исполнить мою просьбу гораздо легче, чем сделать все то, о чем вы говорили.

— Так говорите же, говорите, мадемуазель Батильда!

— Однако поклянитесь, что вы это сделаете.

— Клянусь истинным Богом, мадемуазель Батильда.

— А если вам скажут что-то, что заставит вас отказаться?

— Что бы я отказался сделать то, о чем вы просите?! Да никогда, во веки веков!

— И вы исполните мою просьбу, какие бы страдания мне это ни причинило?

— Ах, но это совсем иное дело, мадемуазель Батильда. Нет, если это заставит вас страдать, я откажусь; пусть лучше меня четвертуют!

— Но если я вас об этом прошу, друг мой? — сказала Батильда со всей возможной убедительностью.

— О, когда вы так со мной говорите, я готов заплакать, как фонтан Избиенных Младенцев! Ну вот, слезы уже полились.

И Бонифас разрыдался.

— Так вы мне скажите все, дорогой Бонифас?

— О, все, все!

— Скажите мне прежде всего... — Батильда остановилась.

— Что?

— Вы не догадываетесь, Бонифас?

— О, конечно! Я так и знал. Вы хотите знать, что случилось с господином Раулем. Не так ли?

— Да, да! — воскликнула Батильда. — Да, во имя Неба, скажите, что с ним случилось?

— Бедняга! — прошептал Бонифас.

— Боже мой, он умер? — спросила Батильда, приподнимаясь на постели.

— Нет, к счастью, нет, но он в заточении. — Где?

— В Бастилии.

— Я так и думала, — ответила Батильда, падая на подушки. — Боже мой, Боже мой, в Бастилии!

— Ну вот, теперь вы плачете. Мадемуазель Батильда, мадемуазель Батильда!..

— А я здесь, едва живая, прикованная к постели!

— О, не плачьте так, мадемуазель Батильда, пожалейте вашего бедного Бонифаса!

— Нет, нет, я возьму себя в руки, я буду крепиться. Видишь, Бонифас, я уже не плачу.

— Она говорит мне «ты»! — вскричал Бонифас.

— Но ты понимаешь, — продолжала Батильда с возрастающим возбуждением, потому что у нее опять начался жар, — ты понимаешь, мой добрый друг, мне нужно знать все, что происходит, час за часом, чтобы в тот день, когда он умрет, могла умереть и я.

— Вы... умереть, мадемуазель Батильда?! Это невозможно, невозможно!

— Я ему это обещала, я поклялась ему в этом. Бонифас, ты будешь мне сообщать, не правда ли?

— О Боже мой, Боже мой, как я несчастен, что обещал вам это!

— И потом, если понадобится... в страшную минуту... ты мне поможешь... ты меня

отвезешь. Не правда ли, Бонифас? Я должна его увидеть... еще раз... хотя бы на эшафоте...

— Я сделаю все, что вы захотите, все, все! — воскликнул Бонифас.

— Ты мне это обещаешь?

— Я клянусь вам в этом!

— Тише, сюда идут... Ни слова, это наша с тобой тайна.

— Да, да... наша тайна.

— Хорошо, поднимитесь, вытрите глаза, берите с меня пример, улыбайтесь. И Батильда рассмеялась с лихорадочным возбуждением; на нее было страшно смотреть. К счастью, вошел Бюва. Бонифас воспользовался этим, чтобы уйти.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил добряк.

— Лучше, папочка... лучше, — сказала Батильда. — Я чувствую, что ко мне возвращаются силы и через несколько дней я смогу вставать. Но почему же, папочка, вы не идете на службу? (Бюва издал стон.) Хорошо, что вы не покидали меня, когда я была больна. Но теперь, когда мне лучше, вам надо опять ходить в библиотеку. Слышите, папочка?

— Да, мое дитя... — сказал Бюва, глотая слезы. — Да, я пойду туда.

— Ну вот, вы плачете. Вы же видите, что мне лучше. Неужели вы хотите меня огорчить?

— Я плачу, — сказал Бюва, вытирая глаза платком, — я плачу, но это от радости. Да, я пойду на службу, мое дитя, я пойду.

И Бюва, поцеловав Батильду, поднялся к себе, потому что не хотел сказать ей, что потерял место. И бедная девушка снова осталась одна.

Она с облегчением вздохнула; теперь она была спокойна. Бонифас, в качестве клерка стряпчего служивший в Шатле, узнавал из первых рук обо всем, что происходит, а Батильда была уверена, что он от нее ничего не утаит. В самом деле, на завтра она узнала, что Рауля допрашивали и что он принял всю вину на себя. На следующий день ей стало известно, что ему устроили очные ставки с Валефом, Лавалем и Помпадуром, но что это ни к чему не привело. Словом, верный своему обещанию, Бонифас ежедневно приносил ей последние известия. И каждый вечер Батильда, слушая его рассказ, каким бы тревожным он ни был, чувствовала прилив сил. Так прошло две недели. На пятнадцатый день Батильда начала вставать и ходить по комнате, к великой радости Бюва, Нанетты и всей семьи Дени.

Однажды Бонифас, против обыкновения, вернулся в три часа от мессира Жулю и вошел в комнату больной. Бедный малый был так бледен и расстроен, что Батильда поняла, что он принес какое-то ужасное известие, и, вскрикнув, встала во весь рост, не сводя с него глаз.

— Итак, все кончено? — сказала она.

— Увы! — ответил Бонифас. — И этот упрямец сам виноват. Ему предлагали помилование, вы понимаете, мадемуазель Батильда, ему предлагали помилование, если он все расскажет, а он не захотел.

— Значит, надежды больше нет, — вскричала Батильда, — он приговорен?

— Сегодня утром, мадемуазель Батильда, сегодня утром.

— К смерти? Бонифас кивнул головой.

— И когда его казнят?

— Завтра, в восемь часов утра.

— Хорошо, — сказала Батильда.

— Но, быть может, еще есть надежда, — сказал Бонифас.

— Какая? — спросила Батильда.

— Если он решится выдать своих сообщников... Девушка рассмеялась, но столь странным смехом, что Бонифаса пробрала дрожь.

— В конце концов, кто знает! — сказал Бонифас. — Я бы, например, на его месте так и сделал. Я бы сказал: это задумал не я, честное слово, не я, а такой-то, такой-то и такой-то.

— Бонифас, — сказала Батильда, — мне нужно выйти из дому.

— Вам, мадемуазель Батильда? — с испугом вскричал Бонифас. — Вы выйти? Да вы этим убьете себя.

— А я говорю вам, что мне нужно выйти.

— Но вы же не держитесь на ногах.

— Вы ошибаетесь, Бонифас, я окрепла. Смотрите!

И Батильда принялась ходить по комнате твердым и уверенным шагом.

— К тому же, — продолжала Батильда, — вы сходите для меня за наемной каретой.

— Но, мадемуазель Батильда...

— Бонифас, вы обещали повиноваться мне. До сих пор вы держали слово. Или вы устали от своей преданности?

— Я устал от преданности вам, мадемуазель Батильда?! Накажи меня Господь Бог, если есть хоть слово правды в том, что вы говорите. Вы просите меня найти вам карету, я найду вам хоть две.

— Идите, мой друг, — сказала девушка, — идите, мой брат!

— О, мадемуазель Батильда, этими словами вы можете заставить меня сделать все, что только захотите. Через пять минут карета будет здесь,

И Бонифас выбежал из комнаты.

На Батильде было широкое, развевающееся белое платье; она стянула его поясом, накинула на плечи мантилью и приготовилась выйти. Когда она направлялась к двери, вошла госпожа Дени.

— О Бог мой! — вскричала добрая женщина. — Что вы собирались сделать, дорогое дитя?

— Сударыня, — сказала Батильда, — мне нужно выйти из дому.

— Выйти из дому? Да вы сошли с ума!

— Вы ошибаетесь, сударыня, я в полном рассудке, — сказала Батильда с улыбкой, — но, если вы станете меня удерживать, я, возможно, и вправду лишусь ума.

— Но куда же вы идете, дорогое дитя?

— Разве вы не знаете, сударыня, что он осужден?

— О Боже мой, Боже мой, кто вам это сказал? Я так просила всех скрывать от вас эту ужасную новость!

— Да, а завтра вы сказали бы мне, что он умер, не так ли? И я бы вам ответила: «Это вы его убили, потому что у меня, быть может, есть средство спасти его».

— У вас, мое дитя, у вас есть средство спасти его?

— Я сказала «быть может», сударыня. Дайте же мне испытать это средство — единственное, которое у меня осталось.

— Ступайте, мое дитя, — сказала госпожа Дени, обезоруженная вдохновенным тоном Батильды. — Ступайте, и да ведет вас Господь.

И госпожа Дени посторонилась, чтобы пропустить Батильду.

Батильда вышла, медленным, но твердым шагом спустилась по лестнице, перешла улицу, поднялась к себе на пятый этаж и открыла дверь своей комнаты, она тут не была со дня катастрофы. На шум ее шагов из чулана вышла Нанетта. Увидав Батильду, она вскрикнула: ей показалось, что перед ней призрак ее молодой хозяйки.

— Что с тобой, милая Нанетта? — серьезным тоном спросила Батильда.

— Ох, Боже мой, — вся дрожа, воскликнула бедная женщина, — это вправду вы, наша мадемуазель, или только ваша тень?

— Это я, я, Нанетта, потрогай меня, а еще лучше поцелуй. Слава Богу, я еще не умерла!

— А почему вы ушли из дома Дени? Вам сказали там что-нибудь обидное?

— Нет, милая Нанетта, нет, просто мне обязательно, непременно нужно кое-куда съездить.

— Да разве мы вам позволим выйти из дому в таком состоянии? Ни за что! Это значило бы вас убить. Господин Бюва, господин Бюва, вот наша мадемуазель, она хочет выйти, скажите ей, что это невозможно.

Батильда обернулась к Бюва с намерением употребить все свое влияние на него, если он попытается ее остановить, но по его потрясенному лицу сразу поняла, что он знает роковую новость... Со своей стороны Бюва при виде ее разразился слезами.

— Отец, — сказала Батильда, — То, что происходило до этого дня, делали люди. Но теперь дела их окончены; остальное принадлежит Богу. Отец, я верю: Бог сжалятся над нами.

— Это я его убил, — вскричал Бюва, падая в кресло, — это я его убил!.. Батильда величаво подошла к нему и поцеловала его в лоб.

— Но что ты собираешься делать, мое дитя? — спросил Бюва.

— То, что велит мне долг, — ответила Батильда.

И она открыла ларчик, врезанный в молитвенную скамейку, взяла оттуда черный бумажник и вытащила из него письмо.

— О, ты права, ты права, мое дитя! — воскликнул Бюва. — Я забыл об этом письме.

— А я помнила о нем, — сказала Батильда, целуя письмо и пряча его на груди, — потому что это все, что мне оставила в наследство моя мать.

В эту минуту послышался шум кареты, остановившейся у дверей дома.

— Прощайте, отец, прощай, Нанетта! — сказала Батильда. — Молите Бога, чтобы он ниспослал мне удачу!

И она удалилась с торжественной важностью, которая делала ее в глазах Бюва и Нанетты похожей на святую.

У дверей дома она нашла Бонифаса, который ждал ее с каретой.

— Не поехать ли мне с вами, мадемуазель Батильда? — спросил Бонифас.

— Нет, мой друг, — сказала Батильда, протягивая ему руку. — Сегодня не нужно. Быть может, завтра...

И она села в карету.

— Куда вас отвезти, красавица-мадемуазель? — спросил кучер.

— В Арсенал, — ответила Батильда.

Х. ТРИ ВИЗИТА

Приехав в Арсенал, Батильда спросила мадемуазель де Лонэ, которая по ее просьбе тотчас же ввела ее к госпоже дю Мен.

— А-а, это вы, мое дитя, — рассеяно сказала озабоченная герцогиня. — Я вижу, вы не забываете друзей, когда они попадают в беду. Это хорошо.

— Увы, сударыня, — произнесла Батильда, — я пришла к вашему королевскому высочеству, чтобы поговорить о том, кто еще несчастней вас. Конечно, вы, ваше высочество, лишились некоторых ваших титулов и высоких званий, но на этом и остановится мщение, ибо никто не осмелится посягнуть на жизнь или хотя бы на свободу сына Людовика Четырнадцатого или внучки Великого Конде.

— На жизнь — нет, — ответила герцогиня дю Мен, — но что касается свободы, за это я не поручусь. Вы понимаете, три дня назад в Орлеане арестовали этого глупца аббата Бриго, переодетого странствующим торговцем, и, когда ему предъявили ложные показания, якобы исходящие от меня, он признался во всем и ужасно скомпрометировал нас, так что я не буду удивлена, если сегодня же ночью нас арестуют.

— Тот, ради кого я пришла молить вас о сострадании, сударыня, — сказала Батильда, — никого не выдал и приговорен к смерти за то, что хранил молчание.

— А, дорогое дитя, вы говорите о бедном д'Армантаде! Да, я знаю, это честный дворянин! Вы, значит, с ним знакомы?

— Увы, — произнесла мадемуазель де Лонэ, — Батильда не только знакома с ним, она его любит!

— Бедное дитя! Боже мой, но что же делать? Вы же понимаете — я бессильна, я не имею никакого влияния. В моем положении попытаться хлопотать за д'Арманталя означало бы отнять у него последнюю надежду, если еще есть надежда.

— Я это понимаю, сударыня, — сказала Батильда, — поэтому я пришла просить ваше высочество только об одном: через кого-нибудь из ваших друзей, через кого-нибудь из знакомых, с помощью ваших старых связей помогите мне проникнуть к его высочеству господину регенту. Остальное я беру на себя.

— Но, дитя мое, знаете ли вы, о чем меня просите? — спросила герцогиня. — Знаете ли вы, что для регента не существует ничего святого?... Знаете ли вы, что вы прекрасны, как ангел, и даже ваша бледность заставляет восхищаться вами? Знаете ли вы...

— Сударыня, — сказала Батильда с величайшим достоинством, — я знаю, что мой отец спас ему жизнь и погиб за него!

— А, это другое дело, — сказала герцогиня. — Подождите, я подумаю, что можно сделать... Да, верно... Де Лонэ, позови Малезье.

Мадемуазель де Лонэ повиновалась, и через минуту вошел верный сенешаль.

— Малезье, — позвала герцогиня дю Мен, — вы отвезете эту юную особу к герцогине Беррийской, которой и поручите ее от моего имени. Ей нужно видеть регента, и немедленно, понимаете? Дело идет о жизни человека, и заметьте, такого человека., как наш дорогой д'Арманталь, за спасение которого я сама много дала бы.

— Я готов, сударыня, — ответил Малезье.

— Вы видите, дитя мое, я делаю все, что в моих силах, — сказала герцогиня. — Если я могу быть вам полезна чем-нибудь еще, если, например, для того, чтобы подкупить тюремщика и подготовить побег, вам нужны деньги, то, хотя их у меня немного, я помогу вам: у меня есть еще бриллианты, и их нельзя употребить лучше, чем для спасения жизни столь храброго дворянина. Итак, не теряйте времени, обнимите меня и поезжайте к моей племяннице. Вы ведь знаете, она любимица своего отца.

— О сударыня, — воскликнула Батильда, — вы ангел! И, если я добьюсь успеха, я буду вам обязана больше чем жизнью!

— Бедная крошка!.. — проговорила герцогиня, глядя вслед Батильде. Потом, когда та удалялась, герцогиня, которая действительно с минуты на минуту ждала ареста, сказала, обращаясь к своей наперснице: — Ну что ж, де Лонэ, примемся опять за наши сундуки.

Тем временем Батильда в сопровождении Малезье снова села в свой экипаж и поехала в Люксембургский дворец, куда и прибыла через двадцать минут.

Благодаря покровительству Малезье ее беспрепятственно пропустили в апартаменты, провели в маленький будуар и попросили там подождать, пока сенешаль, которого проводили к ее королевскому высочеству, объяснит герцогине, о какой милости ее хотят просить.

Малезье выполнил свою миссию с тем рвением, которое он вкладывал во все, о чем его просила герцогиня дю Мен. Не прошло и десяти минут, как он вышел к Батильде вместе с герцогиней Беррийской.

У герцогини было очень доброе сердце, и ее живо тронул рассказ Малезье, поэтому, когда она появилась, можно было безошибочно сказать, что она заранее испытывает сочувствие к девушке, пришедшей просить ее покровительства. Батильда, почувствовав расположение герцогини, подошла к ней, с мольбою сложив руки. Она хотела упасть к ногам ее, но та, взяв ее руки в свои, удержала ее и, поцеловав в лоб, сказала:

— Бедное дитя, ах, зачем вы не пришли ко мне неделю назад!

— А почему мне лучше было прийти неделю назад, чем теперь? — с волнением спросила Батильда.

— Потому что неделю назад я никому не уступила бы удовольствия привести вас к моему отцу, тогда как сегодня это невозможно.

— Невозможно? О Боже мой! Почему же? — воскликнула Батильда.

— Так вы, значит, не знаете, бедное дитя, что с позавчерашнего дня я впала в полную немилость. Увы, хоть я и принцесса, но, как и вы, я женщина и, как и вы, имела несчастье полюбить. Но нам, принцессам королевской крови, наше сердце не принадлежит. Оно подобно тем драгоценным камням, которые являются собственностью короны, и распоряжаться им без соизволения короля или первого министра считается преступлением. Я отдала свое сердце, и тут мне не на что жаловаться, потому что меня простили, но я отдала свою руку, и меня наказали. Три дня назад мой любовник стал моим супругом, и, странная вещь, поступок, за который при других обстоятельствах меня похвалили бы, вменяют мне в вину. Даже мой отец поддался общему гневу, и вот уже три дня как мне запрещено показываться ему на глаза. Сегодня утром я поехала в Пале-Рояль, но меня не допустили к отцу.

— Увы, — воскликнула Батильда, — как я несчастна! Вся моя надежда была на вас, сударыня, потому что я не знаю никого, кто мог бы ввести меня к его высочеству регенту, а завтра в восемь часов утра убьют того, кого я люблю, так же, как вы любите Риона. О Боже мой, Боже мой, я погибла, я обречена!..

— Боже мой, помогите же нам! — сказала герцогиня, обращаясь к мужу, который вошел в эту минуту. — Этой бедной девушке нужно видеть моего отца, и притом сейчас же, без

промедления: от этого свидания зависит ее жизнь, больше того — жизнь человека, которого она любит! Как быть? Подумайте. Племянник де Лозена, по-моему, может найти выход из любого положения. Найдите же нам способ повидать регента, и, если это возможно, я буду любить вас еще больше!

— Я знаю такой способ, — с улыбкой ответил Рион.

— О сударь, — воскликнула Батильда, — скажите же его мне, и я вам буду навеки благодарна!

— Ну, говорите же! — проговорила герцогиня Беррийская почти с таким же волнением, как и Батильда.

— Но дело в том, что этот способ может в высшей степени скомпрометировать вашу сестру.

— Которую?

— Мадемуазель де Валуа.

— Аглаю? Каким образом?

— Разве вы не знаете, что есть на свете чародей, который имеет дар проникать к ней в любое время дня и ночи неизвестно как и каким путем?

— Ришелье? Верно! — воскликнула герцогиня Беррийская. — Ришелье может вывести нас из затруднения. Но...

— Но... Договаривайте, сударыня, умоляю вас! Быть может, он не захочет?

— Боюсь, что да, — ответила герцогиня.

— О, я буду так просить его, что он сжалится надо мной! — воскликнула Батильда. — К тому же вы ведь дадите мне записочку к нему, не правда ли? Ваше высочество окажет мне эту милость, а он не решится отказать в том, о чем его просит ваше высочество.

— Мы сделаем лучше, — сказала герцогиня. — Госпожа де Муши — моя первая фрейлина, и мы попросим проводить вас к герцогу. Уверяю, что господин де Ришелье должен питать к ней признательность. Вы видите, мое дитя, что я не могла выбрать для вас лучшего ходатая.

— Благодарю вас, сударыня, — воскликнула Батильда, — благодарю вас! Вы правы, и еще не вся надежда потеряна. Так вы говорите, что у герцога Ришелье есть способ проникнуть в Пале-Рояль?

— Нет, нет, поймите меня правильно: я этого не утверждаю, но так говорят.

— О Боже мой, — сказала Батильда, — только бы мы застали его дома!

— Да, это была бы большая удача. Который час?.. Еще только восемь! Наверное, он обедает в городе и заедет домой переодеться. Я скажу госпоже де Муши, чтобы она его подождала вместе с вами... Не правда ли, милая, — продолжала герцогиня, увидев вошедшую фрейлину и, как обычно, дружески обратившись к ней, — ты дождешься герцога?

— Я сделаю все, что прикажет ваше высочество, — сказала госпожа де Муши.

— Ну, так я тебе приказываю, ты слышишь, приказываю добиться от герцога Ришелье, чтобы он проводил мадемуазель к регенту!.. И, чтобы склонить его к этому, я разрешаю тебе использовать всю власть, которую ты имеешь над ним.

— Госпожа герцогиня изволит заходить слишком далеко, — сказала, улыбаясь, госпожа де Муши.

— Ступай, ступай, — сказала герцогиня, — делай, что я сказала; я все беру на себя. А вы, дитя мое, не падайте духом. Ступайте за госпожой де Муши; и если вы на своем пути услышите немало плохого об этой бедной герцогине Беррийской, на которую так злобствуют, потому что однажды она принимала послов, сидя на троне с тремя ступенями, а в один прекрасный день проехала через весь Париж с эскортом из четырех трубачей, — скажите тем, кто предает меня анафеме, что я, в сущности, добрая женщина и, несмотря на все проклятия, надеюсь, что мне многое простится, ибо я много любила; не правда ли, Рион?

— О мадам, — воскликнула Батильда, — я не знаю, хорошо или плохо о вас говорят; но знаю, что я готова целовать следы ваших ног, настолько вы мне кажетесь доброй и великой!

— Ступайте, дитя мое, ступайте. Если вы разминетесь с герцогом де Ришелье, то, наверное, не узнаете, где его найти, и напрасно будете ждать его возвращения.

— Пойдемте же скорее сударыня, с позволения ее высочества! — сказала Батильда,

увлекая за собой госпожу де Муши. — Потому что сейчас для меня каждая минута стоит года!

Спустя четверть часа Батильда и госпожа де Муши входили в особняк Ришелье. Против всякого ожидания, герцог был дома. Госпожа де Муши велела доложить о себе. Ее тотчас попросили пожаловать в кабинет, куда она вошла в сопровождении Батильды. Женщины застали господина де Ришелье и его секретаря Раффе за разборкой писем, многие из которых они сжигали, а некоторые откладывали в сторону.

— Боже мой, сударыня, — сказал герцог, увидев госпожу де Муши и направившись к ней навстречу с улыбкой на устах, — какими судьбами? Чему я обязан счастьем видеть вас у себя в половине девятого вечера?

— Желанию заставить вас, герцог, сделать доброе дело.

— Ах, вот как? В таком случае, торопитесь, сударыня.

— Уж не уезжаете ли вы сегодня вечером из Парижа?

— Нет, но завтра утром я отправляюсь в Бастилию.

— Что за шутки!

— Поверьте, сударыня, я никогда не шучу, если речь идет о том, чтобы переселиться из моего собственного особняка, где мне очень хорошо, в здание, принадлежащее королю, где мне очень плохо. Я знаком с этим зданием, вот уже третий раз я туда возвращаюсь.

— Но что же вас заставляет думать, что утром вы будете арестованы?

— Я предупрежден об этом.

— Верным человеком?

— Судите сами.

И герцог подал госпоже де Муши письмо, которое она и прочла:

«Невиновны Вы или виновны, все равно Вам нужно бежать не теряя времени. Завтра Вы будете арестованы. Регент только что сказал во всеуслышание, при мне, что герцог Ришелье, наконец, попался».

— Как вы полагаете, хорошо ли осведомлена особа, написавшая это письмо?

— Думаю, что да, потому что, кажется, узнаю этот почерк.

— Итак, вы видите, что я был прав, когда сказал, что нужно торопиться. Теперь, если то, о чем вы хотите меня просить, можно сделать в течение ночи, говорите, я к вашим услугам.

— Для этого достаточно и одного часа.

— Тогда говорите. Вы ведь знаете, сударыня, что вам я ни в чем не могу отказать.

— Хорошо, — сказала госпожа де Муши, — вот в двух словах, о чем идет речь. Вы собираетесь пойти поблагодарить сегодня вечером особу, которая вас предупредила?

— Быть может, — сказал со смехом Ришелье.

— Так вот нужно, чтобы вы представили ей мадемуазель.

— Мадемуазель? — с удивлением сказал герцог, повернувшись к Батильде, которая до этой минуты держалась позади, наполовину окутанная темнотой. — А кто эта мадемуазель?

— Эта бедная девушка любит шевалье д'Арманталя, которого, как вы знаете, завтра должны казнить. Она хочет просить регента о помиловании его.

— Вы любите шевалье д'Арманталя, мадемуазель? — спросил герцог Ришелье, обращаясь к Батильде.

— О господин герцог!.. — краснея, пролепетала Батильда.

— Не скрывайте этого, мадемуазель. Шевалье д'Армантадь — благородный молодой человек, и я сам отдал бы за его спасение десять лет жизни. Но полагаете ли вы, по крайней мере, что у вас есть средство расположить регента в его пользу?

— Я так думаю, господин герцог.

— Ну что ж, будь по-вашему. Это принесет мне счастье.

— О господин герцог! — воскликнула Батильда.

— Я решительно начинаю верить, дорогой Ришелье, — сказала госпожа де Муши, — что, как говорят, вы заключили договор с дьяволом, чтобы проникать в замочные скважины, и, признаюсь, теперь я не так тревожусь за вас, зная, что вы отправляетесь в Бастилию.

— Во всяком случае, сударыня, — сказал герцог, — как вам известно, милосердие предписывает навещать узников. Если случайно у вас осталось какое-то воспоминание о бедном Армане...

— Молчите, герцог, не будьте нескромны, и мы посмотрим, что можно сделать для вас. А пока что вы обещаете мне, что мадемуазель увидит регента, не так ли?

— Это решено.

— В таком случае, прощайте, герцог, и да будет для вас легким заточение в Бастилии.

— Вы говорите мне «прощайте»?

— До свидания!

— В добрый час!

И герцог, поцеловав руку госпоже де Муши, проводил ее до двери. Потом, вернувшись к Батильде, он сказал:

— Мадемуазель, то, что я делаю для вас, я не сделал бы ни для кого другого. Я открою вам тайну, которой никто не знает: я доверяю вам репутацию и честь принцессы крови. Но положение серьезное и заслуживает того, чтобы мы пожертвовали ради такого случая некоторыми приличиями. Поклянитесь же мне, что вы никогда не расскажете никому, кроме разве одного человека — потому что я знаю, есть лица, для которых у нас не существует тайн, — поклянитесь мне, что вы никому не расскажете о том, что увидите, и что никто не узнает, каким образом вы попали к регенту.

— Господин герцог, я клянусь вам в этом самым святым для меня — памятью моей матери!

— Этого достаточно, мадемуазель, — сказал герцог, дергая за шнурок звонка.

Вошел лакей.

— Лафос, — сказал герцог, — скажи, чтобы заложили гнедых в карету без герба.

— Господин герцог, — сказала Батильда, — если вы хотите сберечь время, то в нашем распоряжении наемная карета, которая ждет меня внизу.

— Ну что ж, тем лучше. Мадемуазель, я к вашим услугам.

— Поехать ли мне с господином герцогом? — спросил лакей.

— Нет, не стоит, останься с Раффе и помоги ему привести в порядок все эти бумаги. Среди них есть много таких, которым вовсе не следует попадаться на глаза Дюбуа.

И герцог, предложив руку Батильде, спустился с ней по лестнице, посадил ее в экипаж и, приказав кучеру остановиться на углу улицы Сент-Оноре и улицы Ришелье, сел рядом с ней с таким беспечным видом, словно не знал, что участь, от которой он хотел избавить шевалье, через две недели, быть может, будет ждать его самого.

ХІ. ШКАФ ДЛЯ ВАРЕНЬЯ

Экипаж остановился в указанном месте, кучер открыл дверцу, герцог вышел и помог Батильде выйти, затем, достав из кармана ключ, отпер, стараясь не шуметь, наружную дверь дома на углу улицы Ришелье и улицы Сент-Оноре, который значится теперь под номером 218.

— Прошу прощения, мадемуазель, — сказал герцог, предлагая девушке руку, — что я веду вас по лестнице, которая так плохо освещена. Но мне очень важно остаться не узнанным, если случайно меня здесь кто-нибудь встретит. К тому же нам нужно подняться всего лишь на второй этаж.

Действительно, поднявшись ступенек на двадцать, герцог достал из кармана второй ключ, осторожно открыл дверь, выходящую на лестничную площадку, вошел в прихожую и, взяв свечу, зажег ее от фонаря, горевшего на лестнице.

— Еще раз прошу прощения, мадемуазель, — сказал герцог, — но здесь я имею обыкновение сам себе прислуживать, и вы сейчас поймете, почему я решил обходиться в этой квартире без лакея.

Батильде было мало дела, есть ли у герцога слуги. Она вошла в прихожую, ничего не ответив ему, и герцог запер за ней дверь двойным поворотом ключа.

— Теперь следуйте за мной, — сказал герцог и пошел впереди девушки со свечой в руке.

Они прошли через столовую и гостиную, наконец вошли в спальню, и герцог остановился.

— Мадемуазель, — сказал Ришелье, ставя свечу на камин, — помните, вы дали мне слово, что никому не откроете того, что увидите.

— Да, я дала вам слово, господин герцог, и даю еще раз. О, я была бы слишком

неблагодарна, если бы нарушила его.

— Так вот, я посвящаю вас в тайну, которая до сих пор была известна только двоим. Это любовная тайна, и мы отдаем ее под охрану любви.

И герцог Ришелье, отодвинув филенку в деревянной обшивке стены, открыл проем, к которому с противоположной стороны пролегал задняя стенка шкафа, и тихонько постучал три раза. Через минуту послышалось шелканье ключа, поворачиваемого в замке, потом сквозь щели досок пробился свет и нежный голос спросил: «Это вы?» Наконец после утвердительного ответа герцога из стенки шкафа тихонько выпали три доски, открыв проход из одной комнаты в другую, и герцог Ришелье с Батильдой оказались перед мадемуазель де Валуа, которая вскрикнула, увидев своего любовника в обществе женщины.

— Не бойтесь, дорогая Аглая, — сказал герцог, пройдя в соседнюю комнату и взяв за руку мадемуазель де Валуа, в то время как Батильда неподвижно стояла на месте, не решаясь сделать ни шагу более, пока ее присутствие не будет объяснено. — Вы сами сейчас меня поблагодарите за то, что я выдал тайну нашего благословенного шкафа.

— Но, герцог, не объясните ли вы?.. — сказала мадемуазель де Валуа, делая паузу после этого неоконченного вопроса и по-прежнему с беспокойством глядя на Батильду.

— Сию минуту, милая принцесса. Вы не раз слышали от меня о шевалье д'Армантале, не правда ли?

— Не далее как позавчера, герцог, вы говорили мне, что ему стоит произнести одно только слово, чтобы спасти свою жизнь, погубив вас всех, но что он не скажет этого слова.

— Так вот: он его не сказал, он приговорен к смерти, завтра его казнят, эта девушка его любит, а его помилование зависит от регента. Теперь вы понимаете?

— Да, да, да! — сказала мадемуазель де Валуа.

— Идите сюда, мадемуазель, — сказал герцог Ришелье Батильде, взяв ее за руку. Потом, обернувшись к принцессе, продолжал: — Она не знала, как попасть к вашему отцу, дорогая Аглая, и обратилась ко мне, когда я только что получил ваше письмо. Мне нужно было поблагодарить вас за добрый совет, а так как я знаю ваше сердце, я и подумал, что нельзя выразить вам благодарность более приятным для вас образом, чем доставив вам возможность спасти жизнь человека, молчание которого, вероятно, спасло мне жизнь.

— И вы были правы, дорогой герцог... Добро пожаловать, мадемуазель. Теперь скажите, чего вы желаете? Что я могу сделать для вас?

— Я желаю видеть его высочество регента, — сказала Батильда. — И ваше высочество может отвести меня к нему.

— Вы подождете меня, господин герцог? — с беспокойством спросила мадемуазель де Валуа.

— Неужели вы можете в этом сомневаться?

— Тогда войдите в шкаф для варенья, чтобы кто-нибудь не застал вас здесь. Я отведу мадемуазель к моему отцу и вернусь.

— Я вас жду, — сказал герцог, входя в шкаф по указанию принцессы. Мадемуазель де Валуа обменялась вполголоса несколькими словами со своим возлюбленным, заперла шкаф, положила ключ в карман и, протянув руку Батильде, сказала:

— Мадемуазель, все любящие женщины — сестры. Арман и вы были правы, рассчитывая на меня. Пойдемте.

Батильда поцеловала руку, которую протянула ей мадемуазель де Валуа, и последовала за ней.

Две женщины прошли через апартаменты, выходящие на площадь Пале-Рояля, и, повернув налево, вступили в покои, которые расположены вдоль улицы Валуа. В этой части дворца находилась спальня регента.

— Мы пришли, — сказала мадемуазель де Валуа, останавливаясь перед дверью и глядя на Батильду, которая при этих словах зашаталась и побледнела, ибо душевные силы, поддерживавшие ее в последние три или четыре часа, готовы были иссякнуть как раз в тот момент, когда она в них более всего нуждалась.

— О Боже мой, Боже мой, я ни за что не осмелюсь! — воскликнула Батильда.

— Полно, мадемуазель, не унывайте. Мой отец добр. Войдите, упадите к его ногам. Его

сердце и Бог сделают остальное.

При этих словах, видя, что Батильда все еще колеблется, принцесса втокнула ее в комнату и, закрыв за ней дверь, бесшумно убежала к герцогу де Ришелье, оставив девушку наедине с регентом.

От неожиданности Батильда слегка вскрикнула, и регент, который прохаживался взад и вперед по комнате, глядя себе под ноги, поднял голову и обернулся.

Батильда, не в силах сделать ни шагу более, упала на колени, и вытащила из-за корсажа письмо и протянула его регенту.

У регента было слабое зрение: он не сразу понял, что происходит, и направился к Батильде, которая казалась ему в полумраке расплывчатым белым пятном. Скоро он распознал в этом пятне женщину, а в этой женщине — красивую девушку, застывшую в умоляющей позе. Что касается бедной Батильды, то она тщетно пыталась произнести свою просьбу: у нее пропал голос, а вслед за тем силы оставили ее — она запрокинула голову и упала бы на ковер, если бы регент ее не поддержал.

— Боже мой, мадемуазель, — сказал регент, на которого признаки глубокой скорби произвели свое обычное действие, — что с вами и что я могу для вас сделать? Сядьте же, сядьте в это кресло, прошу вас!

— Нет, ваше высочество, нет, — прошептала Батильда, — мне надлежит быть у ваших ног, ибо я пришла просить вас о милости.

— О милости? О какой же?

— Узнайте сначала, кто я, ваше высочество, — сказала Батильда, — а потом я, быть может, осмелюсь говорить.

И она протянула герцогу Орлеанскому письмо, на котором зиждилась вся ее надежда.

Регент взял ее письмо, глядя поочередно то на него, то на девушку, и, подойдя к свече, горевшей на камине, узнал свой собственный почерк, снова перевел взгляд на девушку и наконец прочел следующее:

«Сударыня,

Ваш супруг погиб за Францию и за меня. Ни Франция, ни я не можем вернуть Вам его. Но, если Вам когда-нибудь что-либо понадобится, помните, что мы у Вас в долгу. С глубоким уважением

Филипп Орлеанский».

— Я безоговорочно признаю, что это письмо написано мной, мадемуазель, — сказал регент, — но, прошу меня извинить, к стыду моему, я не помню, кому я его написал.

— Взгляните на адрес, ваше высочество, — сказала Батильда, немного ободренная полной благосклонностью, написанной на лице герцога.

— Кларисса дю Роше!.. — воскликнул регент. — Да, в самом деле, теперь я вспоминаю: я написал это письмо из Испании после смерти Альбера, который был убит в битве при Альмансе. Я написал это письмо его вдове. Как оно попало к вам, мадемуазель?

— Увы, ваше высочество, я дочь Альбера и Клариссы.

— Вы, мадемуазель! — воскликнул регент — Вы! А что стало с вашей матерью?

— Она умерла, ваше высочество.

— Давно?

— Около четырнадцати лет назад.

— Но, надеюсь, она умерла счастливой и ни в чем не нуждаясь?

— Нет, ваше высочество, в отчаянии и нуждаясь во всем.

— Но почему же она не обратилась ко мне?

— Вы, ваше высочество, были еще в Испании.

— О Боже мой, что вы говорите! Продолжайте, мадемуазель. Вы не можете себе представить, как меня интересует то, о чем вы рассказываете. Бедная Кларисса, бедный Альбер! Помню, они так любили друг друга! Она, верно, не смогла его пережить... Знаете ли вы, мадемуазель, что ваш отец спас мне жизнь при Нервиндене?

— Да, ваше высочество, знаю, и это дало мне смелость предстать перед вами.

— Но что же стало потом с вами, мое дитя, что стало с вами, бедная сирота?

— Меня призрел, ваше высочество, друг нашей семьи, скромный писец, по имени Жан

Бюва.

— Жан Бюва?! — воскликнул регент. — Подождите-ка, мне знакомо это имя. Жан Бюва?.. Но ведь это же бедняга-переписчик, который раскрыл весь заговор и который несколько дней назад лично изложил мне свои претензии. Он служит в библиотеке, ему не выплачивают задолженности, не так ли?

— Да, ваше высочество.

— Мадемуазель, — продолжал регент, — кажется, все близкие вам люди предназначены судьбой для моего спасения. Я дважды ваш должник. Вы сказали, что пришли просить меня о милости, говорите же смело, я вас слушаю.

— О Господи, дай мне силы!.. — сказала Батильда.

— Значит, вы просите о чем-то важном и трудновыполнимом?

— Ваше высочество, — сказала Батильда, — я прошу сохранить жизнь человеку, который приговорен к смерти!

— Не идет ли речь о шевалье д'Армантале? — спросил регент.

— Увы, ваше высочество, вы угадали.

Регент задумчиво нахмурил лоб. И Батильда, увидев, какое впечатление произвела ее просьба, почувствовала, что у нее сжимается сердце и подкашиваются ноги.

— А кто он вам? Родственник, свойственник, друг?

— Он — моя жизнь, он — моя душа! Я люблю его, ваше высочество!

— Но знаете ли вы, что, если я его помилую, я должен буду помиловать всех его сообщников, а среди них есть еще более виновные, чем он?

— Только сохраните ему жизнь, ваше высочество! Пусть он не умрет. Это все, о чем я прошу.

— Но, если я заменю ему смертную казнь пожизненным заключением, вы его больше не увидите.

Батильда почувствовала, что близка к обмороку, и протянув руку, ухватила за спинку кресла.

— Что станет тогда с вами? — продолжал регент.

— Я уйду в монастырь, — сказала Батильда, — и до конца моих дней буду молиться за вас, ваше высочество, и за него.

— Это невозможно! — сказал регент.

— Почему же, ваше высочество?

— Потому что как раз сегодня, час назад, у меня попросили вашей руки и я ее обещал.

— Мою руку, ваше высочество?! Вы обещали мою руку?! Кому же, Бог мой?

— Читайте, — сказал регент, взяв со своего бюро распечатанное письмо и подавая его девушке.

— Рауль! — вскричала Батильда. — Это почерк Рауля. Бог мой! Что это значит?

— Читайте, — повторил регент.

И Батильда прерывающимся голосом прочла вслух следующее письмо:

«Ваше высочество,

я заслужил смерть, я это знаю и не прошу сохранить мне жизнь. Я готов умереть в назначенный день и час, но во власти Вашего высочества скрасить мне смерть, и я на коленях умоляю Вас оказать мне эту милость. Я люблю одну девушку, на которой женился бы, если бы остался в живых. Позвольте, чтобы она стала моей женой теперь, когда мне суждено умереть. Пусть, расставаясь с ней навсегда, оставляя ее одну на всем свете, я смогу утешаться, по крайней мере, тем, что даю ей в защиту свое имя и состояние. По выходе из церкви, Ваше высочество, я взойду на эшафот. Это моя последняя просьба, мое единственное желание. Не отвергайте мольбы умирающего.

Рауль д'Арманталь».

— О ваше высочество, ваше высочество! — разрыдавшись, воскликнула Батильда. — Вы видите, что в то время, как я думала о нем, он думал обо мне! Не права ли я, что люблю его, когда он меня так любит?

— Да, — сказал регент, — и я исполню его просьбу, она справедлива. Пусть эта милость, как он говорит, скрасит его последние минуты!

— Ваше высочество, ваше высочество, — воскликнула девушка, — и это все, что вы ему даруете?!

— Как видите, — сказал регент, — он сам воздает себе по заслугам и не просит ничего другого.

— О, как это жестоко, как это ужасно! Увидеть его, чтобы в ту же минуту потерять!.. Ваше высочество, ваше высочество, сохраните ему жизнь, умоляю вас, пусть даже я никогда его больше не увижу!

— Мадемуазель, — сказал регент тоном, не терпящим возражений, набрасывая несколько строк на листе бумаги и запечатывая его своей печатью, — вот письмо господину де Лонэ, коменданту Бастилии, оно содержит мои указания относительно осужденного. Мой капитан гвардии поедет вместе с вами и проследит, чтобы эти указания были выполнены.

— О, даруйте ему жизнь, ваше высочество, во имя Неба, даруйте ему жизнь, умоляю вас на коленях!

Регент позвонил, лакей открыл дверь.

— Позовите маркиза де Лафара, — сказал регент.

— Ваше высочество, вы очень жестоки! — сказала Батильда, поднимаясь. — Позвольте же мне умереть вместе с ним, тогда, по крайней мере, мы не разлучимся даже на эшафоте, не расстанемся даже в могиле!

— Господин де Лафар, — сказал регент, — проводите мадемуазель в Бастилию. Вот письмо для господина де Лонэ. Вы вместе с ним прочтете это письмо и проследите, чтобы содержащиеся в нем распоряжения были в точности выполнены.

Потом, не обращая внимания на последний крик отчаяния, который издала Батильда, герцог Орлеанский открыл дверь своего кабинета и удалился.

XII. ВЕНЧАНИЕ IN EXTREMIS²⁴

Лафар увлек за собой полумертвую девушку и посадил ее в одну из карет, всегда стоявших наготове во дворе Пале-Рояля. Карета тотчас помчалась во весь опор, направляясь к Бастилии по улице Клер и бульварам.

Во время всего пути Батильда не проронила ни слова. Она была безмолвна, холодна и бесчувственна, как статуя. Глаза ее, устремленные в одну точку, были сухи. Только подъезжая к крепости, она вздрогнула: ей показалось, что на том самом месте, где был казнен шевалье де Роган, во мраке возвышается эшафот. Немного дальше часовой крикнул: «Кто идет?» Потом экипаж проехал по подъемному мосту, поднялась решетка, открылись ворота, и карета остановилась у лестницы, которая вела к коменданту.

Выездной лакей без ливреи открыл дверцу. Лафар помог Батильде сойти. Она едва держалась на ногах; душевные силы покинули ее, когда исчезла надежда.

Лафару и лакею пришлось почти нести ее на второй этаж. Господин де Лонэ ужинал. Батильду оставили в гостиной, а Лафара немедленно повели к коменданту.

Прошло минут десять, в течение которых изнемогающая Батильда оставалась в кресле, куда она упала, войдя в гостиную. Бедняжка думала только об ожидавшей ее вечной разлуке с Раулем, мысленно видела, как ее возлюбленный поднимается на эшафот.

Через десять минут вошел Лафар вместе с комендантом. Батильда машинально подняла голову и посмотрела на них блуждающим взором.

Тогда Лафар подошел к ней и, предлагая ей руку, сказал:

— Мадемуазель, в церкви все готово, и священник вас ждет.

Батильда встала, ничего не ответив, бледная и оцепеневшая. Почувствовав, что у нее подкашиваются ноги, она оперлась на руку Лафара. Господин де Лонэ шел впереди, двое слуг с факелами освещали им путь.

Войдя в церковь через одну из боковых дверей, Батильда увидела д'Арманталя, входившего через другую дверь в сопровождении Валефа и Помпадура. Это были свидетели жениха, а господин де Лонэ и Лафар были свидетелями невесты. У каждой двери неподвижно,

²⁴ На пороге смерти (лат.)

словно застывшие статуи, стояли два гвардейца с обнаженными шпагами.

Влюбленные шли навстречу друг другу: Батильда, бледная и изнемогающая, Рауль, спокойный, с улыбкой на устах. Когда они поравнялись с алтарем, шевалье взял девушку за руку и подвел ее к предназначенным для них местам. Там они оба упали на колени, не сказав ни слова друг другу.

Алтарь был освещен всего лишь четырьмя восковыми свечами. И в этой церкви, и без того темной и овеванной мрачными воспоминаниями, их тусклый свет придавал церемонии что-то общее с заупокойной службой. Священник начал мессу. Это был красивый седовласый старик с печальным лицом, на котором повседневные обязанности оставили глубокий след. Ведь он был капелланом Бастилии двадцать пять лет и за эти двадцать пять лет выслушал немало горьких исповедей и увидел немало печальных зрелищ.



Прежде чем благословить супругов, он по обычаю обратился к ним с кратким наставлением. Но, вместо того чтобы говорить супругу об обязанностях главы семейства, а супруге — об обязанностях матери, вместо того чтобы приподнять завесу над их будущей жизнью, он говорил им о небесном покое, о милосердии Божием, о вечном воскресении. Батильда чувствовала, что задыхается. Рауль, видя, что она готова разрыдаться, взял ее за руку и посмотрел на нее с такой грустной и глубокой покорностью, что бедная девушка сделала над собой последнее усилие, чтобы сдержать слезы, которые, она чувствовала, капля за каплей падали ему на сердце. В момент благословения она склонила голову на плечо Рауля. Священник подумал, что ей стало дурно, и остановился.

— Продолжайте, продолжайте, отец мой, — прошептала Батильда.

И священник произнес сакраментальный вопрос, на который оба ответили «да», казалось вложив в это слово все силы своей души.

По окончании церемонии д'Армантадь спросил у господина де Лонэ, будет ли ему позволено провести с женой оставшиеся ему немногие часы жизни. Господин де Лонэ ответил, что ничего не имеет против и что их отведут в камеру д'Арманталя. Тогда Рауль расцеловался с Валефом и Помпадуром, поблагодарил их за то, что они согласились быть свидетелями на этом мрачном венчании, пожал руку Лафару, выразил свою признательность господину де Лонэ за доброе отношение к нему во время его пребывания в Бастилии и, обняв за талию Батильду, которая, казалось, вот-вот рухнет на каменные плиты церкви, повел ее к двери, через которую вошел. Там ждали двое людей с факелами, которые пошли впереди и проводили их к двери камеры д'Арманталя. Привратник открыл им дверь. Рауль и Батильда вошли, дверь закрылась, и супруги остались одни.

Тут Батильда, которая до сих пор сдерживала слезы, не смогла более противиться своей скорби. Из груди ее вырвался душераздирающий крик, и она, ломая руки и рыдая, упала в кресло, сидя в котором д'Армантадь, без сомнения, часто думал о ней в течение трех недель своего заточения. Рауль бросился к ее ногам, обнял ее колени и хотел утешить. Но он сам был так потрясен горем, что мог лишь рыдать вместе с ней. Это железное сердце тоже растопилось, и Батильда почувствовала на своих губах одновременно слезы и поцелуи возлюбленного.

Они провели вдвоем не больше получаса, когда услышали приближающиеся шаги, а вслед за тем поворот ключа в замочной скважине. Батильда вздрогнула и судорожно прижала к своему сердцу д'Арманталя. Рауль понял, какое ужасное опасение мелькнуло у его жены, и успокоил ее. Это еще не мог быть тот, кого она страшилась увидеть: казнь была назначена на восемь часов утра, а только что пробило одиннадцать вечера. В самом деле, появился господин де Лонэ.

— Господин шевалье, — сказал комендант, — будьте добры следовать за мной.

— Один? — спросил д'Армантадь, в свою очередь заключая в объятия Батильду.

— Нет, вместе с супругой, — сказал комендант.

— Вместе, вместе! Ты слышишь, Рауль? — вскричала Батильда. — Куда угодно, только бы вместе! Мы готовы, сударь, мы готовы!

Рауль в последний раз сжал Батильду в объятиях, запечатлел у нее на лбу последний поцелуй и последовал за господином де Лонэ, призвав на помощь всю свою гордость, стершую с его лица всякий след только что испытанного им ужасного волнения.

Все трое некоторое время шли по коридорам, освещенным лишь редкими фонарями, потом спустились по винтовой лестнице и оказались у двери башни. Эта дверь выходила во внутренний двор, который был окружен высокими стенами и служил местом для прогулок узникам, не осужденным на одиночное заключение. Во дворе стоял экипаж, заложенный двумя лошадьми, на одной из которых сидел кучер; в темноте поблескивали кирасы десяти или двенадцати мушкетеров.

В один и тот же миг молодые супруги почувствовали проблеск надежды. Батильда просила регента заменить Раулю смертную казнь пожизненным заключением. Быть может, регент даровал ему эту милость. Карета, заложенная, вероятно, для того, чтобы отвезти осужденного в какую-нибудь тюрьму, отряд мушкетеров, видимо предназначенный конвоировать его, — все это придавало правдоподобие такому предположению.

Между тем господин де Лонэ дал знак карете приблизиться. Кучер повиновался, дверца открылась, и комендант, сняв шляпу подал руку Батильде, чтобы помочь ей сесть в экипаж. Батильда на мгновение заколебалась и обернулась, чтобы посмотреть, не уводят ли Рауля, но, увидев, что он готовится последовать за ней, села в карету. Через секунду Рауль сидел возле нее. Тотчас дверца закрылась, карета тронулась в сопровождении конвойных, скакавших по обе стороны от нее, проехала по крытому переходу, потом по подъемному мосту и наконец оказалась вне Бастилии.

Супруги бросились в объятия друг другу. Сомнений больше не было: регент помиловал д'Арманталя и, более того, очевидно, согласился не разлучать его с Батильдой. Об этом Батильда и д'Армантадь не осмеливались и мечтать. Жизнь в заточении, которая всякому другому показалась бы мукой, была для них упоительным существованием, раем любви. Они смогут постоянно видеть друг друга, никогда не расставаться! Чего еще они могли желать, даже когда были хозяевами своей судьбы и мечтали об общем будущем? Одна только грустная мысль пришла им обоим, и, повинаясь единому движению сердца, как это бывает только с людьми, которые любят друг друга, они в один голос произнесли имя Бюва.

В эту минуту карета остановилась. В этих обстоятельствах все вызывало страх у бедных влюбленных. Оба они испугались, что тешили себя чрезмерной надеждой, и задрожали от ужаса. Почти тотчас открылась дверца, и показался кучер.

— Что тебе надо? — спросил д'Армантадь.

— Да как же, сударь, — сказал кучер, — я хотел бы знать, куда вас везти.

— Как куда меня везти? — вскричал д'Армантадь. — Разве ты не получил приказа?

— Мне было приказано привезти вас в Венсенский лес, на дорогу между замком и Ножан-сюр-Марн. Вот мы и приехали.

— А куда делся наш конвой? — спросил шевалье.

— Конвой? Он покинул нас у заставы.

— О Боже мой, Боже мой! — воскликнул д'Арманталь, между тем как Батильда, трепеща от надежды, лишь молитвенно сложила руки. — О Боже мой, возможно ли это?

И шевалье выпрыгнул из экипажа, с жадностью посмотрел вокруг, протянул руки к Батильде, которая, в свою очередь, устремилась к нему, и они оба испустили крик радости и благодарности.

Они были свободны, как воздух, которым дышали.

Регент лишь отдал приказ отвезти д'Арманталя на то место, где шевалье похитил Бургиньона, думая, что похищает самого регента.

Это была единственная месть, которую позволил себе Филипп Добродушный.

* * *

Спустя четыре года после этого события Бюва, получивший прежнее место в библиотеке и вождеденную задолженность, имел удовольствие вложить перо в руку красивого трехлетнего мальчика. Это был сын Рауля и Батильды.

Первые два имени, которые написал ребенок, были имена Альбера дю Роше и Клариссы Грей.

Третьим было имя Филиппа Орлеанского, регента Франции.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Быть может, некоторые из наших читателей настолько заинтересовались лицами, играющими второстепенную роль в нашем повествовании, что желают знать, как сложилась их жизнь после катастрофы, погубившей заговорщиков и спасшей регента.

Мы в двух словах удовлетворим их любопытство.

Герцог и герцогиня дю Мен, чьи заговоры регент хотел пресечь раз и навсегда, были арестованы: герцог — в Со, а герцогиня — в ее маленьком домике на улице Сент-Оноре. Герцога доставили в Дурланский замок, а герцогиню — в Дижонский, откуда затем перевезли в Шалонскую крепость. Оба они были освобождены через несколько месяцев, обезоружив регента: герцогиня — полным отрицанием своей вины, а герцог — полным признанием.

Мадемуазель де Лонэ отправили в Бастилию. Тяготы заключения, как можно видеть из оставленных ею мемуаров, были для нее весьма скрашены любовной связью с шевалье де Минелем; и не раз, уже после выхода на свободу, ей случалось, оплакивая неверность дорогого узника, говорить, подобно Нинон или Софи Арну (не знаю точно, которой из них): «О прекрасное время, когда мы были так несчастны!»

Ришелье был арестован, как его предупреждала мадемуазель де Валуа, на следующий день после того, как он привел Батильду к регенту, но его заключение обернулось для него новым триумфом. Как только распространился слух, что прекрасный узник получил разрешение прогуливаться на террасе Бастилии, улицу Сент-Антуан запрудили самые элегантные экипажи Парижа, и через двадцать четыре часа она стала самым модным местом прогулок. Поэтому регент, утверждавший, что у него в руках достаточно улик против господина де Ришелье, чтобы приказать отрубить ему четыре головы, если бы он их имел, не рискнул навсегда лишиться популярности у прекрасного пола, удерживая долее герцога в тюрьме. После заключения, продолжавшегося три месяца, Ришелье вышел из Бастилии, более чем когда бы то ни было пользуясь славой и успехом у дам. Однако к этому времени шкаф для варенья оказался замурован, а бедная мадемуазель де Валуа стала герцогиней Моденской.

Аббат Бриго, арестованный, как мы сказали, в Орлеане, некоторое время находился в тюрьмах этого города, к великому отчаянию доброй госпожи Дени, девиц Эмилии и Атенаис и господина Бонифаса. Но в одно прекрасное утро, когда семья Дени садилась завтракать, вошел аббат Бриго, как всегда, спокойный и аккуратный. Его встретили с восторгом и засыпали вопросами, но он, со свойственной ему осторожностью, отослал любопытных к своим

судебным показаниям, говоря, что это дело доставило ему уже много неприятностей и его очень обяжут, если никогда не будут о нем говорить. А так как аббат Бриго пользовался, как мы видели, поистине самодержавной властью в доме госпожи Дени, его желание было в точности выполнено, и с этого дня больше не было речи о деле «улицы Утраченного Времени, №5», как будто оно никогда и не существовало.

Несколько дней спустя Помпадур, Валеф, Лаваль и Малезье тоже вышли из тюрьмы. Что касается кардинала де Полиньяка, то его даже не арестовали: он был просто выслан в свое аббатство д'Аншен.

Лагранж-Шансель, автор «Филиппик», был вызван в Пале-Рояль, где его ждал регент.

— Сударь, — сказал ему герцог, — думаете ли вы обо мне все то, что вы написали?

— Да, ваше высочество, — ответил Лагранж-Шансель.

— Ваше счастье! — сказал регент. — Потому что, если бы вы написали подобные гнусности против своей совести, я приказал бы вас повесить.

И регент ограничился тем, что сослал Лагранж-Шанселя на остров Сент-Маргерит, где тот пробыл лишь три или четыре месяца. Враги регента распространили слух, будто по его приказу Лагранж-Шанселя отравили, и герцог не нашел лучшего средства опровергнуть эту новую клевету, как открыть двери тюрьмы перед мнимым мертвецом, который вышел из нее полный ненависти и желчи более, чем когда бы то ни было.

Это последнее доказательство милосердия герцога Орлеанского показалось Дюбуа до такой степени неуместным, что он прибежал к регенту, чтобы устроить ему сцену. Но вместо ответа на все его упреки герцог лишь пропел ему рефрен песенки, которую сочинил о нем Сен-Симон:

Я добряк, это так, я добряк!

Это привело Дюбуа в такой гнев, что регент, чтобы помириться с ним, был вынужден сделать его кардиналом.

Назначение Дюбуа преисполнило Фийон такой гордости, что она объявила о своем намерении отныне принимать у себя только тех посетителей, которые ведут свой род с 1399 года.

Впрочем, она потеряла в этой катастрофе одну из своих самых знаменитых пансионерок: через три дня после смерти капитана Рокфинета Нормандка удалилась в монастырь Кающихся Грешниц.

КОНЕЦ

РОМАН А. ДЮМА «ШЕВАЛЬЕ Д'АРМАНТАЛЬ»

Рано утром 1 сентября 1715 года с балкона королевского дворца в Париже торжественно прозвучала традиционная формула, означавшая конец одного и начало нового царствования: «Король умер, да здравствует король!» Закончилось изнурившее Францию правление Людовика XIV. Он пережил своих сыновей и внуков. После его смерти престол достался его правнуку — малолетнему Людовику XV, которому в это время едва минуло пять лет.

По праву рождения пост регента принадлежал племяннику Людовика XIV — Филиппу Орлеанскому. Еще при жизни старого короля вокруг кандидатуры будущего регента развернулась ожесточенная тайная борьба. Придворная камарилья во главе с всесильной королевской фавориткой — госпожой де Ментенон, стремясь удержать власть, выдвигала своего ставленника — герцога дю Мен, незаконного сына короля Людовика XIV.

Но военные неудачи и жестокая реакционная политика в последние годы правления Людовика XIV внушили всей стране ненависть к королевскому окружению. Кризис абсолютизма порождал в различных слоях населения стремление к реформам. В этих условиях Филипп Орлеанский, находившийся в опале при старом дворе, привлек к себе надежды и симпатии оппозиционных кругов. Чем больше преследовала Филиппа деспотическая госпожа де Ментенон, обвинявшая его в безвременной гибели сыновей и внуков короля, чем более

яростно герцогиня дю Мен грозила убить его собственными руками, тем с большим интересом приглядывались к нему люди, недовольные политикой последних лет. На стороне герцога Орлеанского оказался парламент, чьи привилегии беспощадно ущемлялись Людовиком XIV. Кандидатуру Филиппа Орлеанского поддерживали и недовольные королевской политикой круги крупной буржуазии. В его пользу высказались и некоторые представители старой феодальной аристократии, возмущенные возвышением незаконных сыновей короля — герцога дю Мен и графа Тулузского, возведенных в ранг принцев крови и пэров Франции.

Европейские державы также пытались оказать влияние на выбор регента. Особенную заинтересованность в этом вопросе проявила Испания. По Утрехтскому договору (1713), который подвел итоги кровавой войне за Испанское наследство, европейские державы согласились признать испанским королем родного внука Людовика XIV — Филиппа V. Вступив на испанский престол, Филипп V был обязан официально отречься от всяких притязаний на французскую корону. Однако новый испанский король принял самое горячее участие в тайной борьбе за власть, которая велась во Франции. Он сам хотел стать регентом при малолетнем короле; в случае же неудачи он был готов выдвинуть на этот пост безличного, слабохарактерного герцога дю Мен.

Иную позицию занимала в этом вопросе Англия. Стремление Филиппа V объединить Испанию и Францию под эгидой единой власти, выразившееся в его известной фразе: «Нет больше Пиренеев!» — вызывало решительный протест в Лондоне. Усиление Испании ставило под угрозу выполнение весьма выгодного для англичан Утрехтского договора. Вместе с тем, учитывая враждебные отношения между Филиппом V и Филиппом Орлеанским, английская дипломатия рассчитывала, что при герцоге Орлеанском Франция откажется от прежней внешней политики и вступит в союз с Англией против Испании. В последние месяцы жизни Людовика XIV борьба приняла особенно острый характер. Кардинал Альберони, первый министр Филиппа V, посылал в Париж своему послу принцу Сел-ламару депеши — одну более спешную и более грозную, чем другую — требуя у него проникнуть в тайны королевского завещания и создать придворный заговор в пользу Испании. В это же время английский посол от имени короля Георга I прямо предложил Филиппу Орлеанскому поддержку своего правительства.

Не решаясь официально лишить герцога Орлеанского регентства, принадлежавшего ему по праву, старый король под давлением придворных кругов в своем завещании попытался сделать власть будущего регента номинальной. Управление королевством фактически вручалось Совету регентства, составленному в большинстве своем из его прежних приближенных. Командование войсками и наблюдение за воспитанием малолетнего Людовика XV по завещанию передавалось герцогу дю Мен.

Полный нетерпения свести счеты с покойным королем и его окружением и вернуть свои привилегии, парламент спешно собрался на другой же день после смерти Людовика XIV. Вопреки завещанию, регент получил полную свободу в управлении государством, а притязания герцога дю Мен были решительно отвергнуты. Потерпев поражение, придворная камарилья затаила злобу.

Важнейшим актом новой внешней политики Франции было заключение так называемого Четверного союза (1718), в котором объединились Англия, Австрия, Голландия и Франция. Союз этот фактически был направлен против Испании. Он требовал от Филиппа V соблюдения условий тягостного для него Утрехтского мира и отказа от всяких притязаний на итальянские провинции. Переход Франции на сторону Англии, старого и заклятого врага Испании, был большим ударом для Филиппа V. Чтобы разрушить Четверной союз и оторвать Францию от Англии, было решено совершить во Франции государственный переворот, используя для этого оппозиционную регенту придворную знать. Таковы были непосредственные политические причины, вызвавшие к жизни так называемый «Заговор Селламара» (1718 год). Заговор просуществовал всего несколько месяцев и был раскрыт еще в декабре 1718 года.

Не желая ссориться с влиятельнейшими семьями Франции, тем более что страна спешно готовилась к войне и особенно нуждалась в гражданском мире, регент был склонен проявить снисходительность по отношению к арестованным заговорщикам. Большинство участников заговора и, в первую очередь, его сановная верхушка вскоре были освобождены.

10 января 1719 года Франция объявила войну Испании. Не в состоянии сопротивляться союзным войскам, Испания признала свое поражение. Кардинал Альберони, вдохновитель заговора Селламара, пал, а в феврале 1720 года Испания присоединилась к Четверному союзу. Но надеждам, которые буржуазные круги во Франции в какой-то мере возлагали на Филиппа Орлеанского, так и не суждено было сбыться. Эпоха регентства была периодом дальнейшего углубления кризиса феодально-абсолютистской системы. Все попытки регента вывести страну из экономического тупика закончились полной неудачей. Внутривластные реформы проведенные герцогом Орлеанским, имели половинчатый, непоследовательный характер. В последние годы регентства он отказался и от этих реформ, и правление его приняло деспотические черты.

Заговор Селламара послужил Александру Дюма сюжетом для его романа «Шевалье д'Арманталь». Сам Дюма считал этот роман одним из наиболее занимательных своих произведений. Роман был написан в начале 1840 года, в счастливую пору расцвета таланта и первых шумных успехов Дюма-романиста, вскоре после триумфов «Капитана Поля» и за несколько лет до появления знаменитой эпопеи о трех мушкетерах.

В исторических романах Дюма по-своему отразился тот необычайный интерес к историческому прошлому, который составляет одну из характерных черт духовной жизни европейского общества в первую половину XIX века. В те годы зачастую называли XIX столетие «веком истории». «Все принимает теперь форму истории», — писал французский романтик Шатобриан.

Политика стала мощным стимулом интенсивного развития исторической науки. В начале XIX века, в эпоху между первой и второй революциями во Франции, буржуазная историография достигла вершины своего развития. Французские историки эпохи Реставрации — Гизо, Минье, Тьерри и др. по всей противоречивости и буржуазной ограниченности их науки по-своему, как указывают Маркс и Энгельс, стремились к материалистическому пониманию истории и объяснению классовой борьбы в современном обществе. Именно в эти годы необычайного обострения интереса к истории возникли и достигли больших художественных успехов жанры исторической драмы и исторического романа.

«Историческая драма и исторический роман суть выражение Франции и XIX века», — говорил молодой Бальзак.

Не случайно, что самым популярным писателем в Западной Европе начала XIX века стал Вальтер Скотт, создатель исторического романа на Западе. Колоссальный успех его романов В. Г. Белинский прямо связывал с тем, что шотландский романист «разгадал потребность века».

«Вальтер Скотт, — писал Белинский, — был создателем нового рода поэзии, который мог возникнуть только в XIX веке, — исторического романа». «Дать историческое направление, искусству XIX века — значило гениально угадать тайну современной жизни»¹.

Эпоха Реставрации была периодом расцвета французского исторического романа. В эти годы были написаны «Сен-Мар» А. де Виньи, «Хроника времен Карла IX» П. Мериме, «Шуаны» Бальзака, «Ган-Исландец» Гюго, задуман знаменитый «Собор Парижской богоматери».

В 1830 году пришла к концу недолгая, но оставившая глубокие следы в искусстве эпоха расцвета французского исторического романа. Дальнейшее развитие и обострение политической борьбы все настойчивее выдвигали современную тематику. Придя к власти, французская буржуазия решительно отвергла многие достижения своего собственного идейного развития, уже более не соответствующие ее современным потребностям. Так, идеи буржуазной историографии 1820-х годов, представление о классовой борьбе как о важном факторе общественных преобразований, идеи о необходимости ломки и разрушения отживающих социальных форм и проч. — все то, что служило буржуазии в пору ее революционности, после 1830 года обернулось против ее собственных интересов. На смену идее непрерывного поступательного движения общества пришла «буржуазная иллюзия о вечности и совершенстве капиталистического производства», а великие догадки о классовой борьбе сменились самонадеянным и лживым утверждением социальной гармонии в буржуазном обществе.

Правда, крупнейшие писатели эпохи — Бальзак, Стендаль, Мериме подошли к оценке

буржуазной современности с исторической точки зрения. Романы Бальзака стали своего рода историей современного буржуазного общества, а Стендаль сам назвал свой политический роман «Красное и черное» хроникой 1830 года. Вместе с тем в эпоху Июльской монархии (1830—1848) складывается новый тип исторического романа. Отвечая распространившемуся в широких писательских кругах пристрастию к истории, он вместе с тем отражал общее понижение теоретического уровня буржуазного исторического мышления. Его философской основой стала насквозь идеалистическая, наивная и поверхностная теория случайного объяснения великих исторических явлений.

Теория случайностей открыла неограниченные возможности для превращения исторического романа в приключенческий и наложила отпечаток на творчество многих писателей 1830—1840-х годов — Ф. Сулье, Э. Сю, А. Дюма. В 1840 году Э. Скриб построил на ее основе свою известную комедию — «Стакан воды».

«Быть может, вы думаете, как и все, — говорит герой этой комедии, — что политические катастрофы, революции, крушения империй происходят из-за серьезных, глубоких и важных причин? Заблуждение!.. Знаете ли вы, каким образом я стал вдруг государственным деятелем? Я стал министром потому, что я умел танцевать сарабанду, и потерял власть потому, что заболел насморком... Великие результаты создаются незначительными причинами. Это моя теория!»

Александр Дюма вырос в эпоху, когда интерес к истории был одним из самых распространенных и самых жгучих интересов образованного общества. Вальтер

Скотт был его любимым писателем. Дюма упивался его романами и пытался подражать ему. «За дело, будущий Вальтер Скотт, за дело!» — говорил он себе, впервые принимаясь за перо. Переделка «Айвенго» в трехактную пьесу была его первым литературным опытом. Обратившись к художественному творчеству, Дюма взялся за изучение истории. В 1830-е годы он уже не только сочинял романы, но и писал исторические очерки о французском средневековье, заслужившие одобрение такого выдающегося ученого, как Огюстен Тьерри.

Писатель был большим любителем национальной старины и весьма образованным человеком в этой области. Правда, в его книгах иногда встречаются фактические ошибки и досадные анахронизмы. В «Шевалье д'Армантале», например, он настойчиво указывает номера домов, где проживают его герои — простак Бюва, шевалье, мнимый принц Листнэ и др., в то время как парижские улицы 1718 года не знали этой современной нумерации домов, она стала появляться лишь в конце XVIII столетия. Но, за исключением подобных мелких, частных ошибок, Дюма, как правило, показывает себя отличным знатоком истории.

Роман «Шевалье д'Арманталь» основан на обширном мемуарном наследии эпохи регентства. В распоряжении писателя были воспоминания многих видных людей того времени, некоторые из которых имели непосредственное отношение к заговору Селламара. Дюма широко использовал мемуары госпожи Сталь (в романе она фигурирует под своей девичьей фамилией де Лонэ), одного из доверенных лиц герцогини дю Мен. Он хорошо знал «Мемуары» герцога Сен-Симона. Ему были доступны мемуары герцога Ришелье, кардинала Альберони, генерал-лейтенанта полиции д'Аржансона и др. Некоторые сцены романа указывают на знакомство писателя с архивными документами. В уста многих исторических героев романа — герцогини дю Мен, принца Селламара,

Филиппа Орлеанского, аббата Дюбуа — писатель зачастую вкладывает их подлинные слова, найденные в переписке и мемуарной литературе. Дюма не только довольно подробно и точно описал основные события заговора Селламара, но и бережно сохранил в своем рассказе многие достоверные подробности. Правда, позднейшие исследователи эпохи регентства нашли некоторые новые материалы о заговоре Селламара, еще неизвестные Дюма. Так, например, Дюма очень мало знал о личности одного из своих главных героев — простаке Бюва. Очевидно, поэтому он обращался с Бюва гораздо более свободно, чем с кем-нибудь из других исторических героев романа. Среди старинных манускриптов Французской императорской библиотеки внимание ученых долгое время привлекала анонимная рукопись под названием «Летопись наиболее замечательных событий, случившихся во время регентства покойного монсеньера герцога Орлеанского, со второго сентября 1715 до смерти этого знаменитого принца, которая произошла второго декабря 1723 года».

Тайна этой весьма интересной и содержательной хроники, долго интриговавшая ученых, была раскрыта лишь в начале 1860-х годов, когда в руки исследователей попала папка, содержащая черновики «Летописи». На папке прекрасным каллиграфическим почерком было выведено «Мемуары сьера Бюва, переписчика королевской библиотеки». Автором загадочной рукописи оказался герой романа Дюма — простак Бюва. Среди добросовестного, в эпическом тоне повествования о различных больших и малых происшествиях этих лет мы встречаем там весьма интересный рассказ о разоблачении заговора Селламара. О своей личной роли в этом опасном деле Бюва остерегается упоминать, но его описание содержит целый ряд любопытных деталей, доступных лишь глазу очевидца.

* * *

Что же привлекло внимание Дюма к далеким событиям 1718 года? Это объясняется рядом причин и прежде всего мотивами политического характера. В 1830 году на французский престол вступил Луи-Филипп Орлеанский, представитель младшей ветви королевского дома Бурбонов и потомок регента Филиппа Орлеанского.

В обстановке острой идейной борьбы начала 1830-х годов появился ряд книг из истории Орлеанского дома, вышедших из-под пера сторонников и противников Июльской монархии. Одним из первых выступил Жан Вату, писатель и историк, — человек, близкий к окружению Луи-Филиппа. В 1830 году он опубликовал свою «Историю Пале-Руаяля». Это была, в сущности, история Орлеанской фамилии, так как с 1661 года, когда Генриетта Английская, дочь казненного короля Карла I, вышла замуж за брата Людовика XIV — Филиппа Орлеанского (отца будущего регента), Пале-Руаяль стал резиденцией Орлеанов и непосредственным молчаливым свидетелем упадка и возвышения их рода.

Особенную политическую актуальность приобрели в годы Июльской монархии исследования об эпохе регентства. В истории регентства находили политические аналогии с современностью. Возвышение принца Орлеанского дома, его борьба с представителями старого королевского двора, стремление вывести страну из политического кризиса, эдикты, возвращающие привилегии парламенту, попытки пойти навстречу интересам крупной буржуазии, — все это в сознании современников и сторонников Луи-Филиппа перекликалось с современным положением. В 1832 году появилось капитальное исследование Лемомтея — «История регентства и малолетства Людовика XV». В том же году Жан Вату опубликовал два тома своего «Заговора Селламара». Книга Вату — произведение своеобразное и весьма характерное для той поры, когда писатели щеголяли исторической эрудицией, а ученые — умением живописно и увлекательно излагать историю. Стремясь доказать научную объективность и достоверность своего произведения, Вату снабдил его обширными приложениями и бесчисленными ссылками на подлинные архивные документы. Вместе с тем рассказ его отличается большой живостью, некоторые главы написаны в форме диалогов, которые ведут между собой исторические персонажи. Задуманная в дни политических заговоров и первых открытых выступлений против Июльской монархии, книга Вату звучала необычайно актуально. Писатель прославлял в ней государственную мудрость регента, сумевшего быстро и решительно подавить заговор Селламара.

Книга Вату была, очевидно, известна Дюма и его сотруднику Огюсту Маке, первому подавшему мысль писателю написать роман о заговоре Селламара. Возможно, что Дюма в некоторой степени использовал собранный там обширный архивный материал. Но «Шевалье д'Арманталь» значительно отличается от «Заговора Селламара» в художественном и идейном отношении. На рубеже 1830—1840-х годов, как раз в ту пору, когда создавался роман Дюма, Франция вступила в полосу новых политических тревог и волнений. Близилась февральская революция 1848 года. В обществе росли оппозиционные антиправительственные настроения. Снова подняли головы республиканцы, которых правительство жестоко преследовало на протяжении всего минувшего десятилетия. Весной 1840 года началась борьба за избирательную реформу, взволновавшая всю Францию.

Правительство самым решительным образом подавляло все проявления общественного

недовольства. В воздухе пахло грозой.

Роман Дюма был непосредственным откликом на события этих лет. В нем ясно обнаружилась противоречивость мировоззрения писателя, пытавшегося в накаленной политической атмосфере 1840-х годов найти примирительную, компромиссную позицию.

Роман рисует Францию, охваченную тяжелым внутривластным кризисом. В стране готовится антиправительственный заговор, назревает угроза гражданской войны — «вдовой Фронды», как говорят герои романа. Регент Филипп Орлеанский, один из главных героев романа, ищет выход из создавшегося положения. Мудрость регента проявляется прежде всего в том, что он стремится исходить в своих решениях не из собственных чувств и пристрастий, а из интересов государства. Именно эта позиция заставляет его искать не обострения отношений со всеми противниками, а возможного соглашения. Регент у Дюма проявляет много терпения, снисходительности, готовности к мирному урегулированию вопросов. Это не означает «и слабости, ни нерешительности Филиппа Орлеанского — в нужный момент он действует быстро и смело. Но высшим актом его государственной мудрости, по Дюма, является прощение заговорщиков.

Таким образом, роман Дюма «Шевалье д'Арманталь» был своеобразным обращением к правительству, призывом к политической умеренности и попыткам общественного умиротворения.

Таковы были теперь уже давно забытые мотивы, придававшие роману политическую актуальность в 1841 году.

Но история заговора Селламара интересовала писателя и по другим причинам. Она представляла собой сюжет, в высшей степени соответствующий его понятиям и вкусам исторического романиста. Сложившиеся в обстановке углублявшегося кризиса буржуазной историографии историко-философские воззрения писателя испытали на себе сильное влияние теории случайностей, Дюма нашел в ней простейшее объяснение исторических загадок, своеобразный критический пафос, новое подтверждение своей веры в безграничные возможности человеческой личности.

Заговор Селламара, угрожавший европейскому равновесию, чуть было не перекроивший политическую карту мира и рухнувший по вине никому не известному переписчика бумаг, казался Дюма великолепным доказательством этой теории. Разумеется, более углубленное изучение истории показало бы, что заговор, задуманный мадридскими дипломатами, был политической авантюрой, обреченной на неудачу, так как он не имел сколько-нибудь прочной социальной опоры внутри Франции. Все же концепция романа «Шевалье д'Арманталь» сводится к прославлению роли случая в человеческой жизни.

Сюжет романа построен на удивительном и сложном сцеплении случайных событий. Случай привел к дуэли между д'Арманталем и друзьями регента. Роман открывается сценой, в которой приятель д'Арманталя, барон Валеф, поджидает на мосту случайного прохожего, чтобы пригласить его принять участие в этой неожиданной дуэли в качестве секунданта. Так, по вине случая, происходит имеющее столь важные последствия знакомство шевалье с капитаном Рокфинетом, всемогущий случай разрушает заговор и спасает жизнь герою, приговоренному к смертной казни.

Как уже говорилось выше, обратной стороной убеждения Дюма в могуществе случая была его вера в человека. Герои его романов 1840-х годов — люди волевые, деятельные, не изнеженные баловни, а борцы, преодолевающие преграды и подчиняющие себе обстоятельства. Они сами меняют течение событий и подчас выступают в роли спасительного providения. В этом проявляется своеобразный гуманистический пафос творчества Дюма.

Романтика активного отношения к жизни во многом определяет структуру приключенческого романа Дюма 1840-х годов, движущим началом которого являются не обстоятельства, увлекающие за собой героя, а сам человек, бросающий вызов судьбе и вступающий в борьбу с врагами. Но, для того чтобы герой в романе Дюма благополучно преодолел опасности этой борьбы, он должен быть не только деловитым и отважным, как капитан Рокфинет, но и человеком с чистой совестью, как д'Арманталь.

Почти все персонажи романа «Шевалье д'Арманталь», вплоть до таких второстепенных, как Фийон или Лакей герцогини дю Меи д'Авранш, были взяты писателем из истории. И все-таки

ему понадобились никому не ведомые, вымышленные Батильда и д'Арманталь. Без них распалась бы не только романтическая коллизия, то, самое главное, моральная концепция, так как честный и храбрый д'Арманталь и скромная, любящая Батильда воплощают, по мысли автора, подлинные, непреходящие моральные ценности человеческой жизни. Эти черты творчества Дюма: увлечение национальной историей и умение передать ее особый аромат, влюбленность в жизнь, симпатия к обыкновенным, смелым, честным и хорошим людям — делают лучшие произведения знаменитого французского писателя понятными и близкими самым широким читательским кругам.

Т. В а н о в с к а я

* * *